ИЗД-ВО „ПРОМЕТЕЙ“

ВЕРШИНЫ

КНИГА ПЕРВАЯ



М. СОЛОМОНОВЪ. 09.

В. Базаровъ • П. Берлинъ • Ив. Бунинъ • А. Гликбергъ, Ст. Ивановичъ • Вл. Краних фельдъ • Дм. Крачковскій • А. Луначарскій • Л. Мартовъ, М. Морозовъ • В. Муйжель • М. Невѣдомскій • Парвусъ • А. Потресовъ (старовѣръ), П. Юшкевичъ, Сем. Юшкевичъ • А. Ѳедоровъ.

Книгоиздательство „ПРОМЕТЕЙ“

СПБ., Пушкинская, 15.

Амфитеатровъ, А. В. Сумерки божковъ. Романъ.
Ч. I . . . . . 1 р. 25 к.
Ч. II . . . . . 1 „ 50 „

Амфитеатровъ, А. В. Противъ теченія . . 1 „ — „

Амфитеатровъ, А. В. Антики . . . . . 1 „ 25 „

Волинъ, Ю. Разсказы. Изд. 3-е . . . . . 1 „ — „

Войничъ. Оводъ . . . . . — „ 60 „

Оедоровъ, А. За океанъ (изд. иллюстр.) 1 „ — „

Степнякъ-Кравчинскій. Собраніе сочиненій. Въ 6 частяхъ. Ц. каждой части . . 1 „ — „

Ч. I. Штундистъ П. Руденко.
Ч. II. Подпольная Россія.
Ч. III. Домикъ на Волгѣ.
Ч. IV. Андрей Кожуховъ
Ч. V. Эскизы и силуэты.
Ч. VI. Критика и публицистика.

Венгеровъ, С. А. Основныя черты исторіи новѣйшей русской литературы. Изд. 2-е, съ прибавленіемъ этюда: **„Побѣдители или побѣжденные“** ***(о модернизмѣ)*** . . — р. 40 к.

Венгеровъ, С. А. Очерки по исторіи русской литературы. Т. I . . . . . 2 „ 50 „

Каталогъ—безплатно.

Библіотека
Служащихъ Ковенской
Сберегательной Кассы.

Кн-во „ПРОМЕТЕЙ“
СПБ., Пушкинская, 15.

Литературно-критическіе и философско-публицистическіе сборники

ВЕРШИНЫ.

Отдѣломъ беллетристики завѣдуетъ **Семенъ Юшкевичъ**,
отдѣломъ статей—**П. Юшкевичъ**.

Книга поступила
въ библіотеку
6 МАЯ 1909
№ 1374

Книга первая.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1909.

Р1
1349
Вер
1к



227
51

Типографія т-ва „Общественная Польза", Большая Подъяческая, 39.

Вмѣсто предисловія.

Русская общественная мысль продолжаетъ испытывать результаты пораженія движенія послѣднихъ лѣтъ. На основѣ затяжного политическаго и соціально-экономическаго кризиса создался тяжелый идейный кризисъ, захватившій всѣ безъ исключенія демократическіе элементы общества. Потеря руководящихъ точекъ зрѣнія, головокружительная смѣна настроеній, непрекращающаяся лихорадка такъ называемыхъ исканій—такова картина того разброда и хаоса, въ которомъ очутилась наша интеллигенція.

Но рано или поздно выходъ изъ тупика нашей жизни будетъ найденъ. Каковъ бы ни былъ этотъ выходъ — а объ этомъ теперь можно дѣлать одни лишь туманныя предположенія и догадки—не послѣднюю роль въ немъ сыграетъ факторъ идейный, моментъ теоретическій. Чтобъ можно было справиться съ хаосомъ жизни, прежде всего долженъ быть преодолѣнъ хаосъ мысли. Посреди общей неопредѣлен-

ности всѣхъ отношеній современности это, можетъ быть, наиболѣе опредѣленный пунктъ. Съ этой точки зрѣнія наше время должно разсматривать — и использовать—какъ эпоху теоретическихъ итоговъ и новой теоретической подготовки.

Не отказываясь отвѣчать на вопросы текущей общественной и политической жизни, сборники «Вершины» будутъ особенное вниманіе удѣлять идеологическимъ проблемамъ—проблемамъ философіи, литературной критики, общей публицистики. Не связывая себя ни съ однимъ изъ борющихся въ марксизмѣ идейныхъ направленій, «Вершины», въ качествѣ свободной трибуны, равно открыты для нихъ.

Семенъ Юшкевичъ.

ДЕНЬГИ

(СЕМЬЯ)

Комедія нравовъ.

Семенъ Юшкевичъ «ДЕНЬГИ». Право собственности внѣ Россіи закрѣплено за авторомъ во всѣхъ странахъ, гдѣ это допускается существующими законами. Гг. переводчиковъ просятъ обращаться за разрѣшеніемъ на переводъ и за справками къ представителю автора И. П. Ладыжникову по адресу: Berlin W. 15, Uhlandstrasse 145, Buhnen und Buchferlag, J. Ladyschnikow.

Семенъ Юшкевичъ.

Дѣйствующія лица:

Рафаилъ Штекеръ.
Полина, жена Штекера.
Маркъ, студентъ первокурсникъ. } Дѣти Штекера.
Зиночка. }
Матильда. }
Мендельсонъ, служитъ у Штекера.
Саша, женихъ Зиночки.
Брамъ.
Гиршъ.
Гейне.
Абрамсонъ.
Мейеръ.
Короликъ.
Косакъ.
Банкиры.
Нищіе.

Первое дѣйствіе.

Полина сидитъ въ гостинной, съ разсчетной книгой въ рукахъ и съ недовольнымъ видомъ подводитъ итоги. Иногда она шепчетъ: „Мы тутъ разоримся, мы непремѣнно разоримся“. Встала и въ волненіи прошлась по комнатѣ. Ей подсорокъ. Она красива. У нея подвижное лицо, мягкій вкрадчивый голосъ, который въ нужный моментъ звучитъ сильно и непреклонно,—и такіе же мягкіе вкрадчивые жесты. Мендельсонъ въ своемъ постоянномъ сѣренькомъ клѣтчатомъ костюмѣ, съ ярко краснымъ галстухомъ вокругъ высокаго, подпирающаго его чуть отвислыя щеки, воротника. Ему 28 лѣтъ. Онъ невысокій, черноусый. Съ Полиной держится довольно свободно, но иногда впадаетъ въ непочтительный тонъ. Нѣсколько въ сторонѣ четырнадцатилѣтняя Матильда стоя читаетъ книгу. Безсознательно она дѣлаетъ шаловливыя гримасы, грызетъ ногти, вскидываетъ головой, горбится или поднимаетъ одну руку вверхъ и долго остается въ такомъ положеніи.

Полина.

Вотъ подумай, Мендельсонъ. За чай мы здѣсь платимъ шесть рублей фунтъ, мясо сорокъ пять копѣекъ фунтъ,—знали ли мы что-нибудь подобное въ нашемъ городѣ?

Мендельсонъ.

Такихъ цѣнъ, мадамъ Штекеръ, мы не знали. Чай мы платили два рубля, самое душистое масло тридцать копѣекъ фунтъ.

Полина.

Пожалуйста, не поддакивай мнѣ. Я сама знаю, насколько дешевле была тамъ наша жизнь (вздыхаетъ). Сегодня ровно годъ, какъ мы выѣхали изъ нашего города. (съ грустью). Изъ нашего города. Рафаилъ по этому случаю хотѣлъ устроить праздникъ, пригласить Гейне, Абрамсона, Гирша... но я не согласилась.

Мендельсонъ (нараспѣвъ).

Почему же, мадамъ Штекеръ?

Полина.

Такъ. Мнѣ вовсе не весело, что мы покинули нашъ городъ и притомъ праздникъ обошелся бы очень дорого.

Мендельсонъ.

Господинъ Рафаилъ на это дѣло истратили бы навѣрное не менѣе... пятисотъ рублей.

Полина.

А онъ даже и не поморщился бы. Да, Мендельсонъ, жизнь въ этомъ большомъ, сумасшедшемъ городѣ совсѣмъ не та, что въ нашемъ. Тамъ мы были первыми. Держали весь городъ въ своихъ рукахъ и при этомъ тратили мало, богатство росло и Рафаилъ безъ меня ни одного дѣла не начиналъ. А здѣсь иначе. Ношу дорогія платья, брилліанты, купили особнякъ, автомобили. Были уже и за границей и въ Ниццѣ...

Мендельсонъ.

Почему же вы вздыхаете, мадамъ Штекеръ? И слава Богу...

Полина.

Тебя не просятъ благодарить за меня Бога. Терпѣть не могу, когда ты всюду носъ суешь. Вѣдь одни дураки могутъ думать, что Ротшильдъ сталъ Ротшильдомъ потому, что былъ хорошимъ финансистомъ. Это совершенная неправда. Ротшильдъ умѣлъ хорошо копить,—вотъ откуда его богатство.

Мендельсонъ.

Мадамъ Штекеръ, но господинъ Рафаилъ умѣютъ копить деньги не хуже господина Ротшильда.

Полина.

Онъ умѣетъ. Я умѣю, а не онъ. Кто поддался Королику и купилъ заводъ? Сколько мы потеряли на этомъ заводѣ...

Мендельсонъ.

Завода дѣйствительно не нужно было покупать. Но ничего, найдется еще дуракъ, который купитъ его у васъ.

Полина.

Оставь меня. А зачѣмъ Рафаилъ затѣялъ новыя дѣла: заводскія, банковскія?

Менделъсонъ.

Ахъ, мадамъ Штекеръ, мы же должны слушаться денегъ. Развѣ господинъ Рафаилъ хочетъ? Деньги этого хотятъ. Мы же всѣ, какъ игрушки, въ рукахъ денегъ... И если господину Рафаилу удастся все-таки войти въ компанію съ господиномъ Брамомъ...

Полина.

Не говори мнѣ о Брамѣ. Намъ никто не нуженъ, у насъ своя вѣрная дорога. И какъ только я получу въ свои руки деньги Рафаила, то я скоро всему положу конецъ. (Обратила вниманіе на то, что Матильда, стоя, читаетъ). Матильдочка, ты опять, стоя, читаешь?

Матильда (капризно).

Ахъ, мамаша...

Полина.

Но это же не красиво... Она уже пожимаетъ плечами. Вся, вся въ отца своимъ упрямствомъ...

Матильда.

Ахъ, мамаша, не мѣшайте мнѣ читать. (Не глядя, садится гдѣ-то).

Менделъсонъ.

Мадамъ Штекеръ, а господинъ Рафаилъ въ самомъ дѣлѣ собираются перевести и свою половину на ваше имя?

Полина.

Вотъ онъ уже и выпытываетъ. Разскажи ему. Лисица.

Менделъсонъ.

Почему я уже лисица? Развѣ я здѣсь чужой? Я вѣдь у васъ служу 15 лѣтъ. Поступилъ мальчикомъ и теперь сталъ довѣреннымъ лицомъ господина Рафаила...

Полина (съ сердцемъ).

Довѣренный дуракъ, вотъ кто ты... Живешь въ домѣ 15 лѣтъ, а удержать Рафаила ни въ чемъ не можешь.

Знаетъ ли онъ, зачѣмъ мы живемъ? Думаетъ ли о семьѣ, о будущемъ? Ему лишь бы шумъ поднимать вокругъ себя... Но подожди,—перейдутъ же деньги въ мои руки, и я положу конецъ всѣмъ глупостямъ... Серьезно пойдетъ наша жизнь... Какъ молитва она будетъ...

(Штекеръ появляется въ среднихъ дверяхъ. Въ рукахъ у него пульверизаторъ).

Штекеръ (раздраженно лакею).

Я тебѣ сколько разъ говорилъ, что когда я прохожу мимо, ты долженъ мнѣ поклониться. Дуракъ! Хамъ! Ты знаешь, у кого служишь? У Штекера... У Рафаила Штекера. Ступай...

Лакей.

Слушаю...

Штекеръ (передразниваетъ).

Слушаю, слушаю. Ступай. (Лакей выходитъ). Эти люди воображаютъ, что я для нихъ родился, а не они для меня. (Сразу успокоился и добродушно обращается къ Мендельсону) Мендельсонъ, побрызгай на меня сзади изъ пульверизатора. (Мендельсонъ беретъ пульверизаторъ). Сегодня, Полиночка, ровно годъ, какъ мы выѣхали изъ нашего города. Все-таки годъ. Подойди, поцѣлуемся. (Цѣлуются). Мендельсонъ, не довольно-ли?

Мендельсонъ (убѣдительно).

Господинъ Рафаилъ, я же вижу, что дѣлаю. Не упрямьтесь. Еще немножечко.

Штекеръ.

Довольно, я тебѣ говорю.

Мендельсонъ.

Еще чуточку. Пахнуть, такъ пахнуть. (Брызгаетъ).

Штекеръ.

Полиночка, представь себѣ, что мнѣ вчера Короликъ разсказалъ. Это замѣчательно. Абрамсонъ послалъ три

тысячи Браму для сиротскаго училища, которое тотъ началъ строить. Понимаешь ли ты этотъ ходъ? Какъ тебѣ это нравится?

Полина.

Мнѣ это нисколько не нравится, но пусть дураки дѣлаютъ, что хотятъ. Я никогда не давала на такія глупости, и не буду давать.

Штекеръ.

Какъ глупости? Ты же дурочка? Будетъ этому конецъ, Мендельсонъ?

Мендельсонъ.

Еще только подъ мышками. Господинъ Рафаилъ, поднимите, пожалуйста, руки.

Штекеръ.

Подъ мышками? Это другое дѣло. (Поднялъ руки. Къ Полинѣ). Вѣдь это, Полиночка, хитрость со стороны Абрамсона: очень Абрамсонъ интересуется сиротскимъ домомъ. Брамомъ онъ интересуется, а не домомъ. Но ничего, господинъ Абрамсонъ, у меня уже есть противъ васъ хорошій планъ. Посылайте деньги Браму, посылайте.

Полина.

Ты опять съ планами. Опять за старое? Вотъ ты уже сердишься,—машешь руками?..

Штекеръ.

Потому что ты ничего не понимаешь въ дѣлахъ, и всегда раздражаешь меня.

Полина.

Раздражаю? Почему тебя Короликъ не раздражаетъ? А кто заводъ купилъ?

Штекеръ (брезгливо).

Ну, заводъ. Случается.

Полина.

Все у тебя такъ случается. Вдругъ ты автомобили выписалъ, когда узналъ, что Абрамсонъ купилъ, а самъ даже сѣсть въ автомобиль боишься,—вдругъ ты особнякъ купилъ... Что тебѣ деньги?

Штекеръ.

Именно тогда, дурочка... чего ты тутъ не понимаешь? Зачѣмъ мнѣ нуженъ автомобиль, если его нѣтъ у Абрамсона? Зачѣмъ особнякъ, если его нѣтъ у Гирша?

Полина.

Почему же два, а не одинъ?

Штекеръ.

Она меня нарочно сегодня раздражаетъ. Почему, почему? Потому. Такъ я хочу, и довольно. Два, а не одинъ. Все по два, все по два (улыбается). А для дѣлъ, Полиночка, это прекрасно...

Полина (упрямо).

Это разореніе, а не прекрасно...

Штекеръ.

Ты уже съ утра начала насъ хоронить?

Мендельсонъ (вмѣшался).

Что мнѣ дѣлать съ пульверизаторомъ?

Штекеръ.

Ты не знаешь мѣста пульверизатора? Принеси ручное зеркальце. (Мендельсонъ выходитъ). Конечно, Полина, пару тысячъ, хоть кровь съ носа, а нужно послать Браму, и даже несмотря на то, что я этихъ благотворительныхъ шарлатанскихъ учрежденій терпѣть не могу... Пошлю. Но мы съ Короликомъ выработали другой планъ, какъ расположить Брама ко мнѣ. Что, если бы, подумали мы съ нимъ, собрать бѣдняковъ со

всего города и одарить каждаго, какъ слѣдуетъ. Вѣдь стонъ же вездѣ будетъ стоять, а, Полиночка?

Полина.

Ну, научи, какъ мнѣ тебя спокойно слушать? Что это за новая выдумка Королика? И тебѣ не жаль выбросить деньги на какихъ-то бѣдняковъ?

Штекеръ.

Ты опять со своими вопросами? Вѣдь это же для дѣла. Вы, господинъ Брамъ, любите людей, о которыхъ говорятъ. Вотъ вамъ человѣкъ, о которомъ много говорятъ. Она уже расплакалась! Она уже за сердце схватилась! Да что я тутъ такого сказалъ? (Вдругъ съ цѣлью отвлечь ея вниманіе). Посмотри-ка, Полиночка, Матильда забралась съ ногами на диванъ...

Полина. (встрепенулась).

Матильдочка, что ты дѣлаешь? Тебѣ мѣшаетъ, что диванъ цѣлъ? Ты же бархатъ портишь...

Матильда.

Ахъ, мамаша. Я его не порчу.

Полина.

Какъ не портишь? Сними же ноги... Сколько этотъ диванъ стоитъ? Папѣ захотѣлось мебель изъ-за границы. Я говорила, что не хочу заграничной мебели, видишь, Рафаилъ. Нѣтъ, эта дѣвочка меня въ гробъ загонитъ. Приложи, Рафаилъ, руку и услышишь, какъ у меня сердце бьется.

Штекеръ (приложилъ).

Очень сильно бьется. Развѣ эти дѣти жалѣютъ своихъ родителей? Что она читаетъ?

Матильда.

Я, папа, читаю Гейне... Папа, это такая прекрасная книга.

Штекеръ (съ живостью).

Вотъ оттого она и на диванъ съ ногами садится, что читаетъ Гейне. Библію давай ей читать.

Матильда (удивленно).

Какую библію? Папа, что ты говоришь?

Штекеръ.

Однимъ словомъ, библію. Гдѣ же Мендельсонъ съ зеркальцемъ?

Матильда (съ упрекомъ).

Ахъ, папа, папочка. Это же Гейне.

Мендельсонъ.

Я уже давно здѣсь.

Штекеръ (становится противъ трюмо).

Подержи, Мендельсонъ, зеркальце такъ, чтобы я свою спину увидѣлъ. Немного выше, немножко ниже. Да что ты съ ума сошелъ?

Мендельсонъ.

Вовсе я не сошелъ съ ума.

Штекеръ (охарашивается).

Полиночка, подойди-ка ко мнѣ.

Полина (капризно).

Ахъ, не хочу, оставь меня. У тебя теперь есть Короликъ.

Штекеръ.

Перестань же сердиться. Съ кѣмъ же мнѣ разговаривать? Со стѣнами? Подумай, какъ хорошо будетъ, если я войду въ компанію съ Брамомъ. Вѣдь полъ-губерніи будетъ въ нашихъ рукахъ. Только надо его хорошо расположить, а Абрамсона отстранить. Она уже опять поблѣднѣла!...

Полина.

Ноги бы себѣ этотъ Короликъ сломалъ, прежде чѣмъ переступилъ нашъ порогъ. Что ты съ нами дѣлаешь?

Штекеръ (строго).

Полина, довольно. Все имѣетъ свои границы. Поцѣлуемся, конецъ и миръ. И слезъ чтобы не было. Ты подойешь? (Полина будто бы покорно подходитъ. Подставляетъ щеку). Это, Полиночка, не нашъ городъ. Тутъ все въ тонкости и въ тонкости...

Полина (притворно униженно).

Рафаилъ... Ради нашей семьи... Развѣ я за себя прошу? Что мнѣ нужно? Я могу и ни ѣсть, ни пить, лишь бы денегъ не трогать, Рафаилъ... Въ твоихъ рукахъ вѣдь судьба всего нашего рода.

Штекеръ. (добродушно).

Ты же дурочка... (Цѣлуетъ ее). Мендельсонъ, вызови къ телефону Абрамсона. Я хочу ему сдѣлать непріятность по телефону. (Мендельсонъ выходитъ). (Входитъ лакей).

Лакей.

Господинъ Короликъ пришелъ...

Штекеръ.

Короликъ? Хорошо—иду...

(Быстро выходитъ и сталкивается съ Зиночкой, которая вбѣгаетъ съ ворохомъ платьевъ въ рукахъ. Штекеръ удивленно пожалъ плечами. Зиночкѣ—17 лѣтъ).

Зиночка (въ слезахъ, томно).

Мамаша, мамаша, посмотрите на эти платья, которыя прислала ваша мадамъ Лизъ. Полюбуйтесь. Вотъ желтое, черное, маренъ, сиреневое, розовое и это бѣлое, что на мнѣ. Оцѣните отдѣлку, фасонъ, (заплакала).

Полина (недовольно).

Теперь меня заставляютъ платьями заниматься. Что я за несчастная мать. Въ головѣ у меня папа сидитъ, Короликъ сидитъ, Брамъ сидитъ...

Зиночка (перебивая съ обидой).

У васъ всегда кто-нибудь въ головѣ сидитъ, а о дочери никто не хочетъ подумать.

Полина (раздраженно).

Не хочетъ. Почему не хочетъ? Я думаю. Голова у меня отъ думъ разрывается.

Зиночка.

Думаете. Знаю я, какъ вы думаете. Вамъ бы только съ папой ссориться (Показываетъ ей платья). Посмотрите лучше платья...

Полина (вздыхаетъ, разсматриваетъ).

Что же въ этихъ платьяхъ плохого, Зиночка? Фасонъ очень красивый и отдѣлка очень хорошая...

Зиночка.

Еще бы красивая. У васъ все красиво. Боже мой, никто, никто не хочетъ обо мнѣ позаботиться. А какъ платье сидитъ на мнѣ? Здѣсь морщитъ, тамъ тянетъ... Завтра вечеръ у Гейне. Мнѣ хотѣлось съ Сашей показаться въ новомъ платьѣ и вотъ... (Заплакала).

Голосъ Саши.

Не волнуйся такъ, Зиночка, умоляю тебя...

Зиночка (быстро).

Я сейчасъ, Сашенька. Я не волнуюсь. Я уже успокоилась. (Шепчетъ матери). Саша сидитъ, какъ на иголкахъ. Онъ страшно огорченъ... Посмотрите, какой ваша Лизъ шелкъ дала. (Бѣжитъ къ дверямъ). Мадемуазель, мадемуазель, пожалуйте сюда...

Дѣвушка (входитъ).

Что прикажете?

Зиночка.

Пожалуйста, безъ вашего «что прикажете». Что это за шелкъ дала ваша мадамъ? Она насъ за идіотокъ принимаетъ? Передайте вашей мадамъ, что она мошенница, а не портниха. Я на нее въ судъ подамъ. И уберите отъ меня ваши платья.

Дѣвушка.

Я не могу ихъ взять. Я должна спросить у мадамъ.

Зиночка.

Что, что? Съ кѣмъ вы разговариваете? Вы не смѣете. Саша, Саша, меня оскорбляютъ...

Полина.

Богъ съ тобой, Зиночка! Кто тебя оскорбляетъ?

Саша (влетаетъ).

Кто тебя оскорбилъ, дорогая? Я такъ и зналъ, что эти платья тебя до слезъ доведутъ. Перестань, милая, у тебя опухнутъ вѣки. Ахъ, мама, вы совсѣмъ ее не оберегаете. Вѣдь она такая нѣжная...

Полина.

Теперь я виновата. Она же первая начала кричать.

Зиночка.

Какъ я, а не эта грубіянка? Уведи меня, Саша... Никто меня здѣсь не понимаетъ. (Плачетъ).

Саша.

Ради Бога, только не плачь... Зиночка. Ахъ, мама, теперь мнѣ придется цѣлый день прикладывать ей компрессы къ глазамъ. Пойдемъ, дорогая.

(Входитъ Маркъ. Громко зѣваетъ).

Маркъ.

О, Зиночка плачетъ. Здравствуйте, Саша. Когда вы пришли? (Къ Полинѣ). Я еще не успѣлъ глазъ продрать, а онъ ужъ тутъ.

Саша.

Ахъ, мы такъ разстроены, Маркъ. Зиночка, не надо же плакать... Понимаете, портниха испортила всѣ платья, а завтра вечеръ у Гейне...

Зиночка.

Посмотри хоть ты, Маркъ. Ты вѣдь понимаешь въ женскихъ платьяхъ...

Маркъ (Надѣваетъ пенснэ).

А ну, отойди-ка отъ меня на шагъ, Зиночка. (Зиночка отошла. Маркъ оглядываетъ ее). Да что вы, господа? Чудесное платье... Очаровательное... Прямо шикъ...

Полина.

Вотъ видишь, Зиночка, Маркъ то же самое говоритъ, что и я.

Маркъ.

Ахъ, мама, я совсѣмъ не желаю быть съ вами одного мнѣнія. Когда я говорю, то это я говорю, а когда вы говорите, то это вы говорите. Вы въ женскомъ гардеробѣ ничего не понимаете, а я женскій гардеробъ знаю до послѣдней черточки. (Снова оглядываетъ Зиночку). Нѣтъ, Зиночка, смѣло можешь принять платье.

Зиночка (растерялась).

Я не знаю. Саша, какъ ты думаешь...

Саша (нѣжно).

Я всегда думаю, какъ ты скажешь.

Маркъ.

Ну, идите, идите цѣловаться... Нельзя же о платьяхъ цѣлый день разговаривать...

Зиночка.

Какъ я тебѣ благодарна, Маркъ. Ты меня спасъ. (Гордо къ дѣвушкѣ). Возьмите платья и снесите ихъ въ мою комнату... Смотрѣть на нее не могу... (Выходятъ).

Маркъ.

Видите, мамаша, какъ я быстро все устроилъ? Я знаю, какъ съ людьми надо обращаться... (Вдругъ рѣшительно). Мамаша, я проигралъ въ клубѣ триста рублей. Кому-съ? Гиршу...

Полина (подпрыгнула).

Опять!... О, проклятый...

Маркъ.

Я такъ и зналъ, что вы подпрыгнете и скажете: «о, проклятый»... Я все знаю напередъ, я лицо человѣка, какъ книгу читаю, а вы мнѣ говорите: «учись»... Зачѣмъ мнѣ учиться? Деньги-съ? Деньги-съ есть у папаши.. Мамаша, пришлите триста рублей.

Полина.

Сейчасъ я тебѣ дамъ. Еще бы. Поговори лучше съ твоимъ отцомъ, который опять ввязывается въ отчаянное дѣло...

Маркъ.

Знаемъ ваши штучки...

Полина (раздраженно).

Какія штучки? Папа твой неспособенъ глупости сдѣлать? Въ нашемъ городѣ онъ ихъ мало надѣлалъ? А здѣсь? А заводъ, а Короликъ? Ты бы хоть помолчалъ.

Маркъ (разсмѣялся).

Я напередъ знаю, какъ каждое мое слово должно на васъ дѣйствовать. Деньги-съ?

Полина.

Да, деньги. Вотъ такъ взять тысячи и выбросить на вѣтеръ. Развѣ онъ жалѣетъ денегъ? или понимаетъ, какъ надо ихъ цѣнить? Деньги, бумага, соръ—у него одно и то же.

Маркъ (внимательно).

А вы что, мамаша? Конечно, молчите и лицемѣрите. Вамъ вѣдь только бы вторую половину денегъ выманить у него, а пока дѣлай, что хочешь...

Полина.

Неправда, ничего я не хочу. Я страдаю, страдаю (заплакала).

Маркъ.

Уже заплакали. А я увѣренъ, что вы даже не плачете, а смѣетесь въ платокъ. Покажите на пари хотя бы одну слезу. Не хотите?

Полина (сдѣлала страдальческое лицо).

Боже мой! Какъ у меня сердце сжалось. Я когда-нибудь такъ и умру отъ этихъ разговоровъ съ тобой, съ нимъ... Вѣдь васъ же мучаетъ наше богатство,—вы ненавидите его (вскрикнула). Сердце...

Маркъ (разсердился).

Теперь сердце (съ крикомъ). Дать воды, дать воды? (Въ раздумьѣ). А можетъ и не сжалось сердце? Вотъ такъ со слезами, съ сердцемъ завладѣете папашиной половиной и начнете всѣми командовать. Знаю я васъ.

Полина. (встала. Возмущена).

Уйди отъ меня, уйди! Вы бы давно обнищали безъ меня. Кто у насъ думаетъ о деньгахъ, о будущемъ, о всемъ нашемъ родѣ? Я,—только я! Вся жизнь моя ушла на то, чтобы съ вами бороться...

Маркъ. (брезгливо).

Родъ, деньги. Вѣчно у васъ одинъ припѣвъ...

Полина.

Ну, да, деньги. Деньги и родъ! Развѣ наши деньги обыкновенныя. Это еврейскія деньги. Горбы выростаютъ на плечахъ, пока ихъ собирешь и тысячи глазъ нужно, чтобы сберечь ихъ.

Маркъ.

Слышали!.. Надоѣло...

Полина.

Слышали! И твоихъ внуковъ тоже защитить нужно... Развѣ не евреями они будутъ? Чѣмъ играть въ карты и пропадать по ночамъ съ Володей Гейне и Митей, ты бы лучше матери пришелъ на помощь, жалѣлъ бы копейку, учился...

Маркъ.

Что это за учительскій тонъ? Не желаю я учиться... Успѣю. Папа богачъ, а я стану за грошами гнаться... Я хочу жизнью наслаждаться.

Полина.

Наслаждайся—наслаждайся. Ты и такъ уже въ чахоткѣ... Гуляй, губи здоровье. Пусть папа выбрасываетъ десятки тысячъ. Дѣлайте,—будете вы потомъ плакаться, будете проклинать!..

Маркъ (сталъ серьезнымъ).

Какъ? Десятки тысячъ. Извините, папаша. На это я несогласенъ. Десятки тысячъ, а мнѣ изъ-за рубля приходится торговаться съ нимъ. Позвольте, папаша, вы Штекеръ, и я Штекеръ...

Полина (испуганно).

Тише, Маркъ, ради Бога. Не трогай его... Я сама все устрою... (Всплеснула руками). Ну, онъ уже съ ума сошелъ.

Маркъ (съ гнѣвомъ).

Не успокаивайте меня. Опять рисковать? Позвольте, кто тутъ старшій сынъ, кто наслѣдникъ? Кому все будетъ принадлежать? Онъ долженъ оберегать мое состояніе, а не спускать его.

Матильда (вдругъ поднялась. Подходитъ къ Марку).

Дуракъ. (Выходитъ).

Маркъ (оторопѣлъ).

Что она сказала? Дѣвчонка... (бѣжитъ за нею). Дѣвчонка. Вотъ ваше воспитаніе, мамаша. (Бѣгаетъ по комнатѣ). Вы опять приложили платокъ къ глазамъ? (Слышенъ голосъ Штекера). Ага, папаша. Хорошо. Сейчасъ я съ нимъ поговорю.

Полина (съ ужасомъ и мольбой).

Ради Бога, Маркъ. Ты все погубишь. Я съ ума сойду. Я тебя умоляю.

Маркъ.

Оставьте вы меня.

Штекеръ (входитъ).

Ступай-ка сюда, безсовѣстный, подойди-ка ко мнѣ...

Мендельсонъ (стоитъ въ дверяхъ).

Что-то, господинъ Рафаилъ, не хочется итти.

Штекеръ.

Лисица. Не хочется? А кого я засталъ у тебя въ комнатѣ? Отвѣчай.

Мендельсонъ (покорно).

Бермана.

Штекеръ.

Съ какихъ это поръ ты подружился съ Берманомъ? Какія дѣла у тебя могутъ быть съ правой рукой Абрамсона? Говори. (Дернулъ его за руку. Мендельсонъ крикнулъ). Перестань кричать.

Мендельсонъ.

Не могу, господинъ Рафаилъ, я васъ очень сильно испугался... Оно само кричитъ въ горлѣ... Вотъ опять... (странно вскрикиваетъ).

Штекеръ (отошелъ).

Какъ онъ тебѣ нравится, Полина?

Мендельсонъ (поглаживаетъ грудь. Говоритъ съ удовольствіемъ).

Уже перестало кричать.

Маркъ (вдругъ).

Папаша.

Штекеръ (запальчиво).

Что такое, что, что?

Маркъ.

Дайте же сказать!

Штекеръ (разсмѣялся).

Извини, Маркъ, извини. Я думалъ, что говорю еще съ Мендельсономъ.

Полина.

Маркъ, умоляю тебя... Сыночекъ! не нужно.

Маркъ.

Оставьте меня... Вы одно знаете—льстить, а я иду прямо. Папаша, я узналъ, что вы опять собираетесь выбросить тысячи на вѣтеръ. Правда ли это?

Штекеръ.

Какъ на вѣтеръ? Въ дѣло Брама, а не на вѣтеръ. И какая драгоцѣнная мысль мнѣ только что пришла въ голову, пока я съ Короликомъ разговаривалъ.

Маркъ (старается сдержаться, но это ему плохо удается)

А по-моему это рискъ.

Штекеръ.

Въ какомъ смыслѣ рискъ? Мендельсонъ, принеси пальто, шляпу, палку. Мы сейчасъ поѣдемъ съ Кроликомъ въ банкъ (Мендельсонъ выходитъ).

Маркъ.

Во всякомъ смыслѣ. Я не хочу, чтобы вы рисковали.

Полина (перебила).

А я не позволяю тебѣ такъ разговаривать съ папой. Онъ отецъ, или нѣтъ? Не смѣй, не смѣй.

Маркъ.

Молчите же, говорю я вамъ. Со мной онъ, какъ и вы, торгуется изъ за рубля, а не поморщится тысячи выбросить. Позвольте, папаша, деньги вѣдь не совсѣмъ уже ваши. Я не позволю, я наслѣдникъ. (Раздражается все больше. Мендельсонъ входитъ съ вещами). Я единственный сынъ. Потребую отчета.

Полина (всплеснула руками).

Боже мой... Боже мой.

Штекеръ (внимательно смотритъ на него).

Ты не сошелъ съ ума?

Маркъ.

Сошелъ... Я не буду молчать. Эти тысячи вы должны были бы отдать мнѣ, сыну своему, а не чортъ знаетъ кому. Что это такое въ самомъ дѣлѣ?

Штекеръ (повелительно).

Мендельсонъ, кто тутъ старшій?

Мендельсонъ (подобострастно).

Конечно вы, господинъ Рафаилъ.

Штекеръ.

Деньги мои, или не мои? Кто удесятерилъ богатство? Я или онъ? Захочу и собакамъ выброшу. Захочу, нищимъ отдамъ... Никто мнѣ не смѣетъ мѣшать.

Полина (испуганно).

Конечно ты можешь, Рафаилъ. Ты все можешь. (Къ Марку). Видишь. Я говорила. О, проклятый, проклятый...

Маркъ (оретъ).

Не смѣйте меня проклятымъ называть. Онъ не можетъ, онъ ничего не можетъ. Все мое...

Штекеръ.

Всѣхъ наслѣдства лишу. Всѣхъ въ нищету брошу. Я господинъ...

Полина (къ Марку).

Уйди, уйди. Видишь, что ты надѣлалъ? Среди звѣрей я живу. (Замѣтила, что Маркъ собирается говорить). Молчи, или я умру тутъ же на твоихъ глазахъ. (Борется съ нимъ. Шепчетъ). Выйди, выйди смотри, я плачу, я же плачу. (Насильно уводитъ Марка). (Штекеръ ходитъ по комнатѣ. Вдругъ разсмѣялся).

Штекеръ.

Онъ думаетъ, Мендельсонъ... (смѣется). Онъ думаетъ, что я въ самомъ дѣлѣ очень разсердился. А я только немножечко, только чуточку. Вѣдь я ихъ всѣхъ обожаю, и ее, и дѣтей, и его. И какой молодецъ. Погулять любитъ, а состояніе бережетъ. Вѣдь выбросить тысячи въ самомъ дѣлѣ не шутка.

Мендельсонъ.

Еще какъ не шутка, господинъ Рафаилъ.

Штекеръ.

А какой у него темпераментъ, какой огонь. Такимъ и я былъ въ молодости. Ничего, Мендельсонъ, перебѣсится,

кончитъ университетъ, и будетъ отличнымъ адвокатомъ. Можетъ быть и не изъ первыхъ, а можетъ быть и изъ первыхъ. Да и что за трудность быть первымъ?

Мендельсонъ.

Ровно никакой, господинъ Рафаилъ. Вотъ это. (Сложилъ пальцы и дунулъ на нихъ).

(Стукъ въ дверь).

Штекеръ.

Кто тамъ?

Короликъ (входитъ).

Господинъ Штекеръ, пора же ѣхать.

Штекеръ.

Ѣдемъ, ѣдемъ. Мендельсонъ, пальто. Смотрите же, Короликъ, всѣ золотые быки должны быть подняты на ноги... Ходите, звоните, кричите. Мы имъ тутъ покажемъ Штекера. Ахъ, Мендельсонъ, если бы ты зналъ, какая замѣчательная мысль пришла намъ въ голову.

Мендельсонъ (помогаетъ Штекеру надѣть пальто).

Господинъ Рафаилъ, можно мнѣ знать, какая? Я никому не скажу...

Штекеръ.

Такая мысль, такая. Чортъ бы побралъ этого умницу Королика. Посмотри-ка на него... Онъ стоитъ, какъ будто ничего не знаетъ, ни въ чемъ не виноватъ. (Хлопаетъ Королика по плечу. Тотъ хитро смѣется). Вотъ такъ Короликъ. Ну, и Короликъ же, ей Богу.

(Оба смѣются и выходятъ. Мендельсонъ почтительно идетъ за ними. Раболѣпно посмѣивается).

Второе дѣйствіе.

Большая просторная гостиная. На стѣнахъ картины въ большихъ темныхъ рамахъ. Нѣсколько мраморныхъ и бронзовыхъ скульптуръ. Большія кресла разставлены полукругомъ. Нѣсколько столиковъ. Масса бездѣлушекъ... Штекеръ просматриваетъ бумаги.

Мендельсонъ.

Вотъ здѣсь мы посадимъ банкира Абрамсона, неправда ли, господинъ Рафаилъ? Ничего, господинъ Абрамсонъ, дастъ Богъ, начнете вы кровью харкать. Это почетное мѣсто мы отведемъ...

Штекеръ (Смѣется).

Я очень люблю, Мендельсонъ, когда ты разсуждаешь. Продолжай, продолжай. Одного только не понимаю, почему тебя зовутъ Мендельсономъ? Есть банкиръ Мендельсонъ, былъ ученый Мендельсонъ, музыкантъ,—причемъ ты тутъ?

Мендельсонъ.

Причемъ? (Дѣлаетъ видъ, что думаетъ). А можетъ быть, господинъ Рафаилъ... можетъ быть, я прихожусь имъ дальнимъ родственникомъ? Вѣдь мы же (описываетъ кругъ пальцемъ) всѣ родственники.

Штекеръ (смѣется).

Чепуха.

Мендельсонъ.

Или, можетъ быть, когда я долженъ былъ родиться, Богъ сказалъ себѣ: не дамъ этому Мендельсону богатства, не сдѣлаю его ученымъ, но зато награжу его самой лучшей фамиліей.

Штекеръ.

Чепуха. Станетъ Богъ заниматься тобой.

Мендельсонъ.

Тогда я уже не знаю, почему. (Передвигаетъ кресло). Здѣсь сядетъ фабрикантъ Гиршъ. Онъ говоритъ мало, но слова его тяжелѣе золота. Какъ вы думаете, господинъ Рафаилъ, найдется ли у него милліона два? Это кресло для банкира Мейера. Небольшая птица, хотя и банкиръ. Пусть и за это скажетъ спасибо. Тутъ мы устроимъ нашего Королика, тамъ Косака и другую мелкую птицу. (Медленно и съ уваженіемъ). Но если явится самъ господинъ Брамъ... Господинъ Рафаилъ, какъ вы думаете, найдется ли у него милліоновъ пять?

Штекеръ.

Только пять? у него больше... гораздо больше.

Мендельсонъ.

Ахъ, Боже мой. Значитъ, онъ въ два съ половиной раза богаче Гирша и въ пять разъ Гейне.

Штекеръ.

Ты шутишь съ Брамомъ. (Прячетъ бумаги въ карманъ). Это одинъ изъ крупнѣйшихъ богачей здѣсь. И кто съ нимъ сойдется... (дѣлаетъ жестъ). Освѣти-ка мнѣ эту картину. (Отступаетъ на шагъ). Прекрасно, прекрасно. Теперь покупаютъ Айвазовскаго, вотъ вамъ Айвазовскій. Дьявола начнутъ покупать, я дьявола поставлю здѣсь.

Мендельсонъ.

Они уже будутъ въ вашихъ рукахъ. Ого, мы имъ тутъ покажемъ.

Штекеръ.

Тише. Объ этомъ не слѣдуетъ кричать. (Потушилъ электричество). Умѣй носить маску на своихъ мысляхъ. Увидишь, какъ я буду сегодня держаться. Учись у меня, учись, Мендельсонъ.

Мендельсонъ.

Что же,—я не учусь? Я очень хорошо учусь у васъ. Господинъ Рафаилъ, вы въ самомъ дѣлѣ хотите этотъ союзъ устроить, или какъ?

Штекеръ.

Ну, что ты за дуракъ такой? Конечно, устрою... А кромѣ того, союзъ поможетъ мнѣ въ дѣлѣ съ Брамомъ. Короликъ завтра ему скажетъ: «Штекеръ». А, отвѣтитъ Брамъ: Штекеръ, знаю. Очень серьезный солидный человѣкъ, энергичный. Устроилъ союзъ. Всѣ кричали трестъ, трестъ, а онъ взялъ, да устроилъ союзъ. Обѣщалъ большія деньги.

Мендельсонъ.

Какъ? Деньги?

Штекеръ.

Оселъ. Причемъ я тутъ, если ты болванъ? Копѣйки не дамъ. Я только пообѣщаю дать. Гроша моего они не увидятъ. А грандіозную раздачу денегъ для кого я устраиваю? Для себя развѣ?

Мендельсонъ.

А, понялъ. Теперь уже понялъ. Ну, ну, не говорите даже больше. Господинъ Рафаилъ, а какъ же мадамъ?

Штекеръ.

Вотъ съ ней мнѣ дѣйствительно бѣда. На все отвѣчаетъ: «Нѣтъ». Дуется, не хочетъ выйти къ Браму. Причемъ тутъ гордость, я не понимаю? Затвердила одно: «отдай мнѣ и вторую половину денегъ».

Мендельсонъ.

Ахъ, господинъ Рафаилъ...

Штекеръ.

Что «ахъ»? Дуракъ... Почему и не отдать ей всего? Ты не знаешь, что деньги хитры? Притворяются тихонь-

кими и вдругъ уходятъ отъ тебя. (Разсердился) Ты долженъ понимать меня съ одного слова... Полина меня любитъ или нѣтъ? Почему я долженъ ее бояться?

Мендельсонъ.

Разумѣется, любитъ... Хотя я... господинъ Рафаилъ... (Испугался Штекера). Да, да,—вы правы... Отдайте мадамъ и свою половину. Какая разница?

Штекеръ (сердито).

Я самъ знаю разницу и не твое дѣло... Молчи. (Пауза). Я тебѣ забылъ еще сказать, что Брамъ любитъ, когда его очень хорошо встрѣчаютъ.

Мендельсонъ.

Не объясняйте мнѣ, понимаю. Я такую встрѣчу устрою, что ему во снѣ не снилось... Поставлю рядъ лакеевъ у входа...

Штекеръ.

Молодецъ. (Замѣтивъ Полину, появляющуюся у дверей). О, Полиночка. Я только-что говорилъ о тебѣ. (Подошелъ къ ней). Ты сегодня хорошо выглядишь, очень очень... (Цѣлуетъ ее). Свѣженькая, совсѣмъ свѣженькая...

Полина.

Мендельсонъ, выходи-ка отсюда. Уже насторожилъ уши?

Мендельсонъ.

Когда я насторожилъ? Даже не думалъ.

Штекеръ.

Ступай, Мендельсонъ. (Тотъ выходитъ). Ты къ нему несправедлива, Полиночка. Вѣдь онъ намъ такъ преданъ.

Полина.

Не люблю, когда онъ всюду носъ суетъ. Вдругъ насторожитъ уши. (Показываетъ). Вдругъ сдѣлаетъ вотъ такіе глаза. (Неожиданно). Рафаилъ, что же будетъ?

Штекеръ (удивленно).

Что, «что будетъ»? О чемъ ты говоришь?

Полина.

Будто ты не понимаешь. Ну, о томъ же. Не надо Брама. Я все знаю, все понимаю, только не надо Брама. Уступи Полиночкѣ... (ласкается къ нему) своей Полиночкѣ. У меня сегодня такъ плохо съ сердцемъ. Приложи-ка руку. (Беретъ его руку и прикладываетъ къ груди).

Штекеръ.

Ахъ, Боже мой... Зачѣмъ ты напрасно волнуешься? Возьми примѣръ съ мадамъ Гейне или съ мадамъ Абрамсонъ. Почему тѣ не вмѣшиваются въ дѣла? Живутъ себѣ, какъ птички и беззаботно поютъ...

Полина.

Полина тебя проситъ. (Оглядывается). Я тебѣ что то на ухо скажу: (говоритъ—онъ улыбается, но отрицательно киваетъ головой). Ну, дай еще разъ ухо... Шепчетъ еще разъ на ухо). Нѣтъ? Ну, смотри, послѣ этого даже не подходи ко мнѣ.

Штекеръ (возмутился).

И ты тоже не подходи. Ничего не понимаетъ и споритъ. Абрамсонъ бы два года жизни отдалъ, еслибы я отъ Брама отказался. Понимаешь? Деньги не должны спать.

Полина (серьезно).

Не шути съ деньгами, Рафаилъ. Деньги этого не любятъ.

Штекеръ.

Что ты мнѣ все надоѣдаешь: деньги, деньги. Что ты понимаешь во мнѣ? Плевать я на деньги хотѣлъ. Главное, я... Я не деньги люблю, я работу люблю, горѣть,

кипѣть, строить планы, достигать цѣлей, и бѣжать все дальше, все дальше...

Полина.

А я не вѣрю въ тебя. Никакимъ твоимъ планамъ я не вѣрю. Я люблю прямыя и ясныя дѣла. Я даю пятьдесятъ тысячъ и получаю шестьдесятъ тысячъ. Это просто, спокойно и не нужно головой вертѣть.

Штекеръ.

Кто же тебѣ мѣшаетъ? Дѣлай. А я вложу полмилліона въ Брамовскіе заводы. Посмотримъ, кто больше выиграетъ.

Полина (съ ужасомъ).

Полмилліона? Что ты сказалъ? Ты рискуешь такой суммой?

Штекеръ.

Почему же я рискую? Съ Брамомъ нѣтъ риска.

Полина.

Это хуже заграницы, особняка. Потемнѣло въ глазахъ. Полмилліона. Вотъ у меня сердце сейчасъ лопнетъ. Лопнуло. Поддержи меня.

Мендельсонъ (просунулъ голову въ дверь).

Можетъ быть, принести воды?

Полина (выпрямляясь).

Онъ подслушивалъ. Ахъ, ты негодяй, мерзавецъ!

Мендельсонъ (Опять просунулъ голову).

Когда я подслушивалъ? И не думалъ даже.

Полина (подбѣгаетъ къ Мендельсону).

Вонъ. (Возвращается къ Рафаилу). И ты думаешь, что я допущу? Ты будешь насъ разорять, а я буду молчать? Покажи мнѣ свое одно удачное дѣло здѣсь. Хоть одно. Заводъ купилъ,—пропало пятьдесятъ тысячъ. Купилъ особнякъ—пропало сто тысячъ.

Штекеръ (разсердился).

Не твое дѣло... Хочу такъ. И замолчи.

Полина.

Не буду молчать. Кто ты? Огромный умъ? Удачникъ? Финансистъ? Ты просто фантазеръ и ничего больше. Тебѣ кажется, что мы въ нашемъ городѣ? Здѣсь только и поджидали такого, какъ ты, чтобы обобрать...

Штекеръ.

Меня обобрать? Такой еще не родился. Ты же дура. У тебя нѣтъ ни полета фантазій, нѣтъ грандіозныхъ плановъ... А я... Увидишь, какъ я всѣхъ заберу въ руки.

Полина.

Ты заберешь? Хвастунъ... Грандіозные планы, полетъ фантазіи, а деньги идутъ къ чорту... Кто работалъ въ нашемъ городѣ? Я. Ни одного дѣла тебѣ нельзя было довѣрить. Вездѣ была я. Все дѣлала я... Похвастайся-ка, что я лгу.

Штекеръ (въ бѣшенствѣ).

Замолчи, я тебѣ говорю. Ротъ закрой.

Полина.

Самъ замолчи. Ты для другихъ Штекеръ, а не для меня. Я за наши деньги и тебѣ, и себѣ и всѣмъ глаза вырву. Не подходи ко мнѣ. (Отбѣгаетъ отъ него). Я тебя не боюсь.

Штекеръ (бѣжитъ за ней).

Ротъ закрой, ротъ, ротъ. (Закрылъ ей ротъ рукой).

Полина (борется).

Ну, убей меня,—убей, только денегъ не отдавай. Чѣмъ намъ обнищать,—лучше смерть...

*

Штекеръ (Отпустилъ ее. Съ ужасомъ, раскаяніемъ и грустью).

Вотъ до чего ты меня доводишь... Въ первый разъ я поднялъ руку на тебя. Спавшаго звѣря ты разбудила во мнѣ...

Полина.

Мнѣ все равно. Дѣтей, моихъ дѣтей я защищаю. Ага, ты хочешь весь родъ нашъ разсорить... Не пущу... Нѣтъ! Убѣгу отъ тебя. Буду бороться... брошу тебя. О, сумасшедшій, упрямецъ, фантазеръ. Уѣду, минуты не останусь больше съ тобой. (Штекеръ бросился къ ней, хочетъ поцѣлуями успокоить ее). Не смѣй меня цѣловать. Пусти, пусти... И, помни, Рафаилъ... (Вырывается, грозитъ ему пальцемъ и быстро выходитъ).

Штекеръ (стоитъ растерянный).

Что она сказала? Что она сказала? (Зоветъ) Полина, Полина, ступай сюда, сейчасъ приди.

Мендельсонъ (врывается).

Можно войти?

Штекеръ (съ досадой).

Да ты вѣдь вошелъ уже.

Мендельсонъ (быстро).

Господинъ Рафаилъ, уже начинаютъ собираться. Господинъ Гейне поднимаются по лѣстницѣ.

Штекеръ (вздрагиваетъ, засуетился).

Отчего же ты раньше не сказалъ? (Нервно застегиваетъ сюртукъ). Ты слышалъ, что здѣсь дѣлалось?

Мендельсонъ (скромно).

Слышалъ. Я очень хорошо слышалъ.

Штекеръ.

Что ты скажешь, Мендельсонъ? Вотъ женщина! Посмотри, все ли на мнѣ въ порядкѣ?

Полина (заглядываетъ).

Помни же, Рафаилъ (Скрывается).

Штекеръ (Оглянулся).

Что помни? Что это за слово помни? (Разсерженно). Не спереди, дуракъ, смотри, а сзади. Спереди я самъ вижу. Вотъ довѣрь ему что-нибудь...

Мендельсонъ.

Господинъ Рафаилъ, все въ порядкѣ, рѣшительно все. Ахъ, господинъ Рафаилъ, вы должны были бы...

Штекеръ (оборвалъ его).

Что? (Грозно). Не твое дѣло. Теперь бѣги внизъ. Возьми лакеевъ.

Лакей (открываетъ дверь. Громогласно).

Господинъ Гейне.

Штекеръ.

Проси. (Идетъ навстрѣчу).

(Входитъ тучный, важный, съ непомѣрно-большимъ животомъ старикъ. Лысина во всю голову. Мендельсонъ, раболѣпно склонившись передъ нимъ, выходитъ на цыпочкахъ).

Штекеръ (радушно).

Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Гейне. Счастливъ видѣть васъ у себя.

Гейне (говоритъ форсированно громко).

Здравствуйте. Я, какъ всегда, первый. Но это уже извѣстно, что я всегда и вездѣ являюсь первымъ. (Смѣется).

Штекеръ.

Что за бѣда, дорогой Гейне...

Гейне.

А какъ съ Брамомъ? Уладилось?

Штекеръ.

Уладилось, уладилось. Онъ далъ мнѣ слово, что пріѣдетъ.

Гейне.

Значитъ пріѣдетъ. Разъ обѣщалъ, то пріѣдетъ. Если бы онъ сказалъ какъ-нибудь такъ, (вертитъ пальцемъ), или какъ-нибудь иначе, то сомнительно. Абрамсона я здѣсь увижу? Что это за новая скульптура у васъ?

Штекеръ.

Такъ, новая... Я очень люблю скульптуру. А вотъ эту картину вы видѣли? (Подходитъ и освѣщаетъ).

Гейне.

Чья это?

Штекеръ.

Айвазовскій. Очень хорошая картина.

Лакей (громко).

Господинъ Гиршъ.

(Очень полный старикъ, лысина во всю голову. Ходитъ медленно, чванливо. Уродливая, большая голова. Крупныя черты лица. Штекеръ бѣжитъ къ нему навстрѣчу).

Гейне (оглянулся).

Кто такое? А, Гиршъ... Здравствуйте, Гиршъ. (Сѣлъ). Сядьте здѣсь. Гдѣ же вашъ Мейеръ? Что это за картина, Гиршъ, вы знаете?

Гиршъ (здоровается).

Эта? Айвазовскій.

Гейне (смѣется).

Вамъ бы писать исторію живописи, а не быть фабрикантомъ. Какъ онъ вамъ нравится, Штекеръ? Все онъ знаетъ, все знаетъ. Ну, а это что за картина? (Подходитъ и осматриваетъ).

Лакей.

Господинъ Мейеръ, господинъ Бѣленькій.

(Два очень высокихъ худыхъ господина. Мейеръ неряшливо одѣтъ. Лакей произноситъ неразборчиво рядъ именъ).

Гейне (оглянулся).

Кто такой? Не разслышалъ. А, Мейеръ? Идите сюда, Мейеръ. На чемъ закрыли биржу вчера?

Лакей.

Господинъ Косакъ... (Низенькій, плотный въ пенснэ. Носитъ пиджакъ. Въ отличіе отъ другихъ свободенъ отъ всякой чопорности). Господинъ Мозесъ... (Низенькій, почти карликъ, черноглазый съ брюшкомъ). Господинъ Фельметъ... (Чудовищно худой съ очень впалой грудью). Господинъ Пикъ (рыжеватый, изысканно одѣтъ).

(Медленно шествуетъ. За ними входятъ новые. Лакеи разносятъ чай).

Лакей.

Господинъ Короликъ.

Короликъ (входитъ быстро. Суетъ руки направо и налѣво).

Здравствуйте, здравствуйте, я тоже пришелъ.

Гейне.

А, Короликъ. Безъ него нигдѣ не обойдется. Короликъ, сядьте здѣсь, есть анекдотъ?

(Всѣ обступаютъ Королика, каждый тянетъ его къ себѣ).

Короликъ.

Вы же меня разорвете. Здравствуйте, господинъ Гейне. Для васъ всегда найдется анекдотъ и... съ хорошимъ перцемъ.

Гейне.

Пусть будетъ съ перцемъ. Идите сюда и разсказывайте. Сдѣлали что нибудь?

Короликъ.

Э... Маленькое... Съ чѣмъ? Съ рентой. Какъ здоровье вашей супруги?

Гейне.

Здорова, здорова. Она всегда здорова. Въ Карлсбадъ еще не собирается. (Угодливый смѣхъ кругомъ). Ну, давайте анекдотъ.

Короликъ.

Господинъ Гейне, у меня есть къ вамъ дѣло. (Понялъ жестъ Гейне). Хорошо? Ну, хорошо, мнѣ словъ не нужно. Анекдотъ. Господа, Абрамсона здѣсь нѣтъ между нами? (Оглядывается). И дамъ тоже нѣтъ?

Голоса (со смѣхомъ).

Нѣтъ, нѣтъ.

Короликъ.

Хорошо. Всѣмъ вамъ извѣстно, что я люблю маленькихъ, толстенькихъ женщинъ. Положимъ, кто ихъ не любитъ? Но Абрамсонъ ихъ-таки любитъ. За маленькую женщину онъ вамъ отдастъ и отца, и мать, и свою старую жену въ придачу. (Кругомъ гоготъ).

Вотъ иду я на-дняхъ съ нимъ мимо сада и говоримъ о дѣлахъ, о кризисахъ, чортъ его знаетъ, о чемъ говоримъ. И вдругъ замѣчаемъ впереди насъ вотъ такую маленькую (показываетъ) и такую толстенькую женщину. Что, господа, со мной сдѣлалось, разсказывать много не нужно. Абрамсонъ... (машетъ рукой, Гейне всталъ).

Гейне.

Я вижу, что изъ этого выйдетъ очень сальный анекдотъ. Пойдемте, Короликъ, въ сторону и разскажите тихо. (Отводитъ Короликa. Слушатели возбужденно слѣдуютъ за нимъ).

Лакей.

Господинъ Абрамсонъ.

Штекеръ (бѣжитъ навстрѣчу).

Вотъ и онъ. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Абрамсонъ. Почему такъ поздно?

Абрамсонъ.

Дѣло задержало... (Оглядывается). Ого, кого я тутъ вижу.

(Въ кучкѣ, гдѣ Гейне, громкій хохотъ; весело здороваются съ Абрамсономъ, разсаживаются. Лакеи предлагаютъ чай. Гости пьютъ, жуютъ бисквиты, тихо разговариваютъ и т. д.).

Гиршъ, (зѣвая).

А уважаемаго Брама все еще нѣтъ? (Прихлебываетъ чай).

Штекеръ (вынулъ часы).

Я его жду съ минуты на минуту.

Пикъ (говоритъ, ни къ кому не обращаясь. Краснѣетъ, чуть заикается).

На биржѣ разнеслись слухи, что господинъ Штекеръ предпринимаетъ нѣчто имѣющее интересъ для всѣхъ насъ. Правда-ли это?

Абрамсонъ (испуганно и брезгливо).

Ахъ, всѣ эти слухи...

Пикъ.

Если нѣтъ, то я доволенъ. Мы не нуждаемся.

Штекеръ (улыбается).

Въ самомъ дѣлѣ, господинъ Пикъ? Вы въ этомъ увѣрены? (Пикъ опустилъ глаза). Господинъ Абрамсонъ, будемъ говорить прямо. Развѣ мы не нуждаемся? Или у насъ нѣтъ враговъ? Короликъ, не мѣшайте мнѣ...

Короликъ.

Я не мѣшаю... Я хочу только сказать: враговъ? Милліоновъ враговъ... (смѣшанные голоса).

Штекеръ.

Если на биржѣ говорятъ о моемъ желаніи быть полезнымъ капиталистамъ, то эти слухи вѣрны. (Говоръ). Да, я хочу быть полезенъ.

Гейне.

Хорошо, будьте полезны... Кто отъ пользы отказывается?

Мозесъ.

Мы любимъ пользу...

Пикъ (крутитъ усы. Покраснѣлъ, говоритъ, еще сильнѣе запинаясь. Опустилъ голову).

Извините... Нѣтъ-съ... Капиталистъ не нуждается... Нѣтъ-съ... Конечно, случается... Но, нѣтъ-съ...

Фельметъ (поднялся).

Пикъ, сядьте, васъ не спрашиваютъ.

Короликъ.

Вы никогда ни съ кѣмъ не согласны, господинъ Пикъ. Вы даже не выслушали...

Пикъ (краснѣетъ еще больше).

Все выслушалъ, все понялъ. Категорически—нѣтъ-съ.

Штекеръ.

Что нѣтъ? Господинъ Пикъ, извините меня, но вы разсуждаете, какъ ребенокъ. Гдѣ вы видите большія радости капиталиста? Онъ не плачется? За нимъ не ходятъ какъ за больнымъ и нянька, и мамка, и бабушка?

Короликъ.

Уй, уй, уй, какъ это вѣрно...

Штекеръ (притворно сердится). Если вы не дадите, говорить, Короликъ, то я никогда не кончу. Слѣ-

довательно, господинъ Пикъ, намъ надо укрѣпиться, и я съ своей стороны готовъ дать на это пятьдесятъ тысячъ, даже сто тысячъ рублей...

(Всѣ ошеломлены, смятеніе, очень одобрительный шопотъ).

Голоса... (троекратно, на разные лады). Деньги... Деньги... Деньги...

Мозесъ (басомъ).

Браво, браво...

Пикъ (встаетъ)

Прошу всѣхъ: нѣтъ-съ... Категорически нѣтъ-съ...

Абрамсонъ (вскочилъ, впился глазами въ Штекера).

Какъ? Сто тысячъ? Вы не шутите? Вы сказали: сто тысячъ? Не можетъ быть.

Фельметъ (вдругъ начинаетъ хохотать безъ видимой причины).

Штекеръ (недовольно).

Почему же не можетъ быть? Развѣ мнѣ трудно дать сто тысячъ? Что вы, любезный Абрамсонъ...

Короликъ.

Господинъ Абрамсонъ, что у господина Штекера денегъ нѣтъ? А двѣсти тысячъ онъ не можатъ дать, если бы захотѣлъ?

Абрамсонъ.

Пожалуйста, васъ не спрашиваютъ.

Гейне.

Перестаньте ссориться. Какъ, Штекеръ, въ самомъ дѣлѣ сто тысячъ? Уй, это очень жирно, честное слово. Мозесъ аплодируетъ).

Абрамсонъ (съ досадой и крикливо).

Кто это аплодируетъ, я хотѣлъ бы знать? Что мы въ театрѣ? На какое дѣло онъ даетъ сто тысячъ? Перестаньте аплодировать, господинъ Мозесъ...

Мозесъ (басомъ).

Зачѣмъ вы держите мои руки? Я аплодирую, потому что господинъ Штекеръ этого заслуживаетъ.

Гиршъ.

Я ничего не хочу знать. Возьмемъ эти сто тысячъ и хорошо накормимъ тѣхъ, кто голоденъ.

Фельметъ (снова начинаетъ хохотать. Королекъ останавливаетъ его).

Абрамсонъ.

Вы всегда любите кормить кого-нибудь на чужой счетъ. Я васъ очень уважаю, господинъ Гиршъ, но извините меня,—это правда (смѣхъ). Пусть Штекеръ скажетъ, чего онъ хочетъ.

Штекеръ.

Чего я хочу? Развѣ это еще не ясно. Господа, мы вѣдь всѣ въ разбродѣ. Даже здѣсь, среди насъ, это видно. Мы-же въ разбродѣ. Покажите мнѣ домъ, мѣсто, городъ, гдѣ богачъ не говорилъ бы о союзѣ и не задумывался бы о своемъ будущемъ. Будемъ откровенны. Вѣдь мы у себя, въ своей семьѣ.

Мозесъ (басомъ).

Говорите... Пикъ, сядьте.

Голоса.

Говорите, говорите.

Абрамсонъ.

Что говорите: я совершенно противъ этого «говорите».

Штекеръ.

Вы меня удивляете, любезный Абрамсонъ. Почему?

Абрамсонъ (вскипѣлъ).

Какой я вамъ любезный Абрамсонъ? Съ какихъ поръ? Это просто интрига противъ меня! Я ее понимаю, я ее раскрою. (Шумъ, разноголосица).

Гейне (всталъ).

Въ чемъ дѣло? Уй, какъ нехорошо. Фи, Абрамсонъ...

Абрамсонъ.

Я его понимаю. Хотите выбросить сто тысячъ?— выбрасывайте, но насъ оставьте въ покоѣ. Это темная интрига. Это игра на повышеніе. Хитрости свои отвезите назадъ въ вашъ городъ.

Штекеръ.

Господа, господа, за что это? (Шумъ).

Абрамсонъ.

Я знаю, что говорю. И... берегитесь, Штекеръ... Тутъ не вашъ городъ. Намъ извѣстны ваши подвиги тамъ...

Штекеръ (уперъ руки въ бока).

Ну, Абрамсонъ...

Абрамсонъ.

Да-съ, Штекеръ...

(Медленно погрозилъ Штекеру пальцемъ и съ напускнымъ достоинствомъ выходитъ. Смѣхъ, недоумѣніе, тревожные разговоры. Пауза).

Гейне.

Что же будетъ дальше, если начало такое плохое?

Штекеръ (грустно).

Вотъ такъ всегда у насъ разрушаются самыя дорогія дѣла. Приходитъ какой-нибудь Абрамсонъ и все къ чорту. Извините, что говорю «какой-нибудь». Ему, можетъ быть, мой носъ не понравился, а между тѣмъ дѣло идетъ ни больше, ни меньше какъ о нашемъ будущемъ. Каждый изъ насъ, не имѣя опоры въ своихъ, страдаетъ. Мы нищаемъ, разоряемся...

Короликъ (вмѣшался).

Охъ, какъ это вѣрно.

Гиршъ.

Вы правы, Штекеръ.

Гейне (очень громко).

Что это насъ такъ оплакиваютъ! Гдѣ опасность? Въ чемъ дѣло!

Мозесъ.

Какъ гдѣ? Вездѣ! Каждый часъ, каждую минуту. Почему вы господинъ Косакъ молчите?

Косакъ.

Не имѣю ничего сказать (беретъ изъ рукъ лакея стаканъ чаю). Я слушаю и удивляюсь, въ особенности вамъ, господинъ Гейне! Какъ! Вы не видите опасность? Вы не видите того, что ползетъ на насъ? Всмотритесь въ лицо этого необъятнаго... Сколько тупого звѣрства и угрозы! Оно спереди, оно сзади, оно хочетъ окружить насъ желѣзнымъ кольцомъ (испугъ, вниманіе). Ну, а мы?. (оглядываетъ презрительно всѣхъ). Мы разжирѣли, облѣнились...

Гейне.

Я облѣнился?..

Косакъ.

Не вы,—всѣ мы... а тамъ растутъ... Тамъ медленно, вѣрно захватываютъ всѣ пути, всѣ дороги... Руки тамъ сильны, сердца полны отваги и вѣры (съ презрѣніемъ). А мы?.. Мы рыхлые... (тревога).

Штекеръ, (захлебываясь).

Замѣчательно... Прекрасно...

Мозесъ.

Сядьте же, Пикъ. Меня морозъ подираетъ по кожѣ отъ словъ Косака. (Растерянно). Что же намъ дѣлать, что намъ дѣлать?

Косакъ
Штекеръ } (вмѣстѣ). Объединиться, союзъ...

Косакъ.

Возьмемъ съ нихъ примѣръ. Поучимся у нихъ...

Гейне (упрямо).

А я не хочу. Я никого не боюсь... Я самъ раздавлю опасность.

Пикъ.

Я тоже... Ого,—я тоже... вотъ такъ...

Штекеръ.

Не надо споровъ. Дѣло идетъ о нашемъ будущемъ, о томъ, что намъ всѣмъ дорого... Безъ союза мы не обойдемся... (Шумъ). Господа, господа...

Мендельсонъ (влетаетъ).

Господинъ Брамъ пріѣхали... господинъ Брамъ пріѣхали...

(Шумъ смятеніе. Всѣ встаютъ въ волненіи. Шопотъ: „Брамъ, Брамъ". Штекеръ засуетился. Быстро застегиваетъ сюртукъ).

Штекеръ.

Брамъ!.. (Взволнованно). Господа, я сейчасъ одну минуту...

(Бѣжитъ. Короликъ бѣжитъ за нимъ).

Штекеръ (машетъ руками).

Не надо, не надо. Я самъ.

(Напряженное ожиданіе. Тишина. Тихіе разговоры).

Короликъ.

Ну, Штекеръ... Вотъ такъ Штекеръ...

(Штекеръ входитъ подъ руку съ Брамомъ. Брамъ—высокій, громоздскій и среди остальныхъ кажется колоссомъ. Онъ весь въ золотѣ и въ драгоцѣнныхъ камняхъ. Лицо немного сонное, глубоко равнодушное. Вѣки глазъ почти сомкнуты. Говоритъ спокойно, безстрастно, не громко и не тихо, въ одномъ тонѣ, не повышая и не понижая го-

лоса. Гости образовали двѣ шеренги. Брамъ ласково, но величественно раскланивается направо и налѣво. Нѣкоторые отвѣчаютъ поклономъ, другіе забѣгаютъ впередъ и почтительно протягиваютъ руку, льстиво улыбаются и такъ далѣе).

Брамъ (безстрастно).

Я уже съ трудомъ поднимаюсь по лѣстницѣ; время, господа...

(Мейеръ борется съ Короликомъ изъ-за стула).

Мейеръ, (одолѣвъ Королика).

Вотъ стулъ, вотъ стулъ. Господинъ Брамъ, прошу васъ...

Короликъ (съ ужасомъ).

Господинъ Брамъ поблѣднѣлъ...

Штекеръ.

Можетъ быть, воды, вина? (Хлопаетъ въ ладоши. Вбѣгаетъ лакей).

Брамъ.

Благодарю. (Беретъ Штекера за руку). Благодарю, прошло...

Короликъ (расталкиваетъ толпу).

Отойдите въ сторону... Дайте воздуха, дайте воздуха.

Брамъ (замѣтилъ Королика).

Здравствуйте, Короликъ.

Короликъ (подбѣгаетъ, почтительно согнулся).

Честь имѣю кланяться...

Брамъ (повернулъ голову).

По... по... посвятите меня въ двухъ словахъ въ суть дѣла...

Короликъ (къ Штекеру).

Позвольте, господинъ Штекеръ, мнѣ это сдѣлать.

Косакъ (вмѣшался).

Сути еще нѣтъ. Это пока разговоръ на тему о союзѣ капиталистовъ на случай... на случай...

Короликъ (быстро).

Плохихъ дѣлъ, неурожая и такъ далѣе, и такъ далѣе. Дайте же, господинъ Косакъ, договорить.

Брамъ (медленно).

Одоб... одоб... одобряю...

Голоса.

Господинъ Брамъ одобряетъ...

Брамъ.

Союзъ ну... ну... нуженъ... нуженъ... нуженъ.

(Одобрительный говоръ. Въ кучкѣ, гдѣ Пикъ, протесты. Оживленно жестикулируютъ. Штекеръ стоитъ одинъ противъ Брама и неистово аплодируетъ).

Штекеръ, (когда стихло).

Господа, минута счастливая. Теперь мы всѣ, кажется—одна семья. Большая, дружная, честная семья... Мы основа... Мы будемъ сильны... Мы... мы... мы... Предлагаю выбрать уважаемаго господина Брама предсѣдателемъ нашего собранія... (Аплодисменты). (Брамъ кланяется). А теперь прошу всѣхъ въ залу для болѣе детальнаго обсужденія моего проекта...

Брамъ (всталъ).

Мы... мы... мы должны поддерживать другъ друга.

(Нѣкоторые подобострастно аплодируютъ).

Лакей раскрываетъ двери въ залъ. Гейне съ Брамомъ и Гиршемъ идутъ впереди. Всѣ входятъ, оживленно разговаривая. Штекеръ скрывается въ лѣвой двери и быстро выводитъ оттуда Полину).

Штекеръ (восторженнымъ шопотомъ).

Теперь, Полиночка, Брамъ мой. Одобрилъ, одобрилъ... Мой... Я былъ великъ. Поцѣлуемся и пойдемъ туда скорѣе...

Полина.

Ты же сумасшедшій. Куда ты меня тащишь? Довольно цѣловаться, довольно цѣловаться.

Штекеръ (весело передразниваетъ).

Довольно цѣловаться, довольно цѣловаться.

Полина (сурово).

Оставь меня...

Штекеръ (мальчишески).

Оставь меня, оставь меня...

Полина (всплеснула руками).

Онъ съ ума сошелъ...

Штекеръ (всплеснулъ руками).

Онъ съ ума сошелъ (цѣлуетъ ее). Кто уменъ, Полиночка? Я бы себя самъ поцѣловалъ. Вѣдь я же... я... я самъ не знаю, что я такое... Умъ? Нѣтъ, больше... Талантъ? Больше, больше... Идемъ...

Полина (вырвалась).

Нѣтъ. Туда? О, нѣтъ...

Штекеръ.

Ты не перестанешь? Идемъ, говорю тебѣ... (цѣлуетъ ее). Это, Полиночка, не то, что въ нашемъ городѣ. Тутъ арена... Дорогая моя, пойдемъ же туда... Я хочу тобой погордиться и похвалиться. Вѣдь такая жена, какъ ты,—это же прелесть, это же роскошь...

Полина (вырвала руку).

Ни за что не пойду... Я? Ни за что...

(Убѣгаетъ. Штекеръ погнался за нею, поймалъ и, весело смѣясь и взявъ ее подъ руку, насильно уводитъ въ столовую).

Трѣтье дѣйствіе.

Кабинетъ Штекера. Масса картинъ. Полина, одѣтая къ выходу, сидитъ на софѣ. Штекеръ, взволнованный, ходитъ по комнатѣ.

Штекеръ (остановился подлѣ Полины).

Скажи прямо, чего ты отъ меня хочешь? Чего ты добиваешся всю эту недѣлю? Ты опять молчишь?

Полина (слабымъ голосомъ).

Не кричи на меня... мнѣ ничего не нужно... Я хочу только уѣхать.

Штекеръ.

Куда уѣхать? Зачѣмъ уѣхать? (Въ негодованіи убѣгаетъ въ уголъ кабинета). Что она со мной разыгрываетъ? Обморокъ, слабость, сердцебіеніе... Да говори ты со мной громко. Не закатывай глазъ.

Полина.

Я не хочу больше. Я не могу... (Залилась слезами). Пусть все идетъ ко дну безъ меня. Вернусь въ свой городъ, поселюсь съ мамой...

Штекеръ.

Да, вѣдь, я лопнуть могу. Честное слово, я лопну. Все идетъ такъ прекрасно. Короликъ получилъ отъ Брама почти утвердительный отвѣтъ. Благодаря моему проекту, я сразу сталъ виднымъ лицомъ, въ газетахъ обо мнѣ столько пишутъ, что мнѣ читать надоѣло; въ передней ждутъ бѣдняки, которые разнесутъ мое имя по всѣмъ закоулкамъ города. Чего же еще? Зачѣмъ ты стала на моей дорогѣ? Полиночка... (хочетъ обнять ее).

Полина.

Не подходи ко мнѣ. Я тебѣ больше не жена и не хочу твоихъ поцѣлуевъ... Цѣлуйся съ кѣмъ хочешь, только не со мной. Ты будешь радъ, если я уѣду, я знаю. Ты возьмешь другую женщину. Ну, возьми, возьми. Подари ей богатство.

Штекеръ.

Что она говоритъ, что она говоритъ? Какая женщина? Полиночка...

Полина.

Не называй меня Полиночкой. Ты думаешь, я не понимаю, для чего я тебѣ всегда нужна была? Я хорошо понимаю, а какъ до денегъ—Полина чужая.

Штекеръ (возмущенный).

Ты же просто лжешь... Развѣ я не подарилъ тебѣ половину своего состоянія?

Полина.

А сколько я здоровья потеряла, пока ты согласился? Ты меня не мучилъ въ продолженіе цѣлаго года? И то тебѣ мѣшало и это тебѣ мѣшало. Я васъ знаю, мужчинъ. Если любишь меня, долженъ вѣрить. Какая тебѣ разница, на чье имя богатство, на твое или на мое? Ага, уже машешь руками. Я понимаю, понимаю. Пусти меня. Внизу ждетъ извозчикъ.

Штекеръ (держитъ ее за руку).

Куда я тебя пущу? Ни за что...

Полина (расплакалась).

А на что ушла моя жизнь? Какой мужъ имѣлъ такую подругу? Плохо тебѣ было со мной?

Штекеръ (бѣгаетъ по комнатѣ).

Но она же мнѣ на горло наступила. Или откажись отъ Брама, или она уѣзжаетъ...

Полина.

Я не только это говорю,—ты деньги перепиши на мое имя...

Штекеръ (не слушаетъ).

Какъ я могу отказаться отъ Брама, когда даже Гейне, не кто-нибудь, Гейне, золотой быкъ, изъ нашего дома не выходитъ, чтобы хоть какую-нибудь часть имѣть въ этомъ дѣлѣ. Абрамсонъ пріѣхалъ извиняться, на биржѣ уже всѣ мнѣ низко кланяются.

Полина.

А я не вѣрю въ это дѣло... Наши полмилліона мнѣ дороже всѣхъ Брамовскихъ. Не хочу его и не вѣрю. Что ты съ нами дѣлаешь? Желаешь рискнуть полумилліономъ, обезпечь меня и дѣтей. Отдай мнѣ свою половину, и я успокоюсь. (Вдругъ мѣняетъ тонъ). Рафаилъ, подойди ко мнѣ. (Отрицательный жестъ Штекера). Подойди же, прошу тебя.

Штекеръ.

Оставь меня...

Полина.

Ну! Сядь возлѣ меня. (Штекеръ сѣлъ). Возьми мои руки въ свои. (Толкаетъ его локтемъ). Ну! Посмотри мнѣ прямо въ глаза.

Штекеръ.

Я не хочу смотрѣть тебѣ прямо въ глаза.

Полина.

Почему? Ну! Плохо тебѣ было со мной? Ну?

Штекеръ.

А потомъ придется къ тебѣ съ поклономъ ходить. Нужна тысяча рублей—Полина, напиши чекъ.

Полина.

А я скажу: Рафаилъ, береги наши деньги и напишу.

Штекеръ.

Но если откажешь?

Полина.

Конечно, откажу. Почему я тебѣ вѣрю? Скажи мнѣ: отдай, Полина, то, что я тебѣ подарилъ, я сейчасъ же отдамъ, потому что я люблю тебя. (Обнимаетъ его). Ты думаешь, мнѣ легко было рѣшиться уѣхать? Я вспомнила день нашей свадьбы. Какъ ты меня любилъ тогда. Помнишь, на другой день,-чуть встали, мы подошли къ окну.

Штекеръ (растроганный).

Я тебя теперь не меньше люблю. Даже больше. Кончится ли когда-нибудь моя любовь къ тебѣ?

Полина.

Мужъ мой... (Толкаетъ его локтемъ). Ну! Когда же ты это сдѣлаешь? Ну!

Штекеръ (снова сердито).

Сразу же нельзя этого сдѣлать.

Полина.

Не сердись. Почему? Подпиши только чеки на банки, гдѣ держишь деньги.

Штекеръ.

Ахъ, Боже мой... Ну, хорошо, хорошо. Я самъ обдумаю, какъ лучше сдѣлать.

Полина.

Значитъ, да? Да? Ты не жалѣешь? (Обнимаетъ его). Деньги будутъ цѣлы,—деньги будутъ расти. Мы ихъ въ цѣпи закуемъ, чтобы они не ушли отъ насъ. Мы и дѣтямъ не довѣримъ ихъ. Мы ихъ обезпечимъ такъ, чтобы они всегда росли, и весь родъ нашъ будетъ богатѣть. (Снимаетъ шляпу). Рафаилъ... Я уже пріѣхала, я опять дома. Поцѣлуй меня.

Штекеръ (цѣлуетъ ее).

Когда ты говоришь о деньгахъ, ты какъ будто поешь. (Послѣ паузы). Отчего я тебя такъ люблю? Что въ тебѣ особеннаго? Женщина, какъ женщина. Самая обыкновенная. А я тебя обожаю. (Съ тихой грустью и трепетомъ). Никто не знаетъ, какъ я люблю тебя... (Долго смотритъ на нее съ любовью).

Полина.

Обыкновенная... Я лучше всѣхъ. Поцѣлуй меня здѣсь и здѣсь.

Штекеръ.

Ну, иди, дорогая. Слава Богу, миръ въ домѣ. (Съ вопросомъ). Конецъ и миръ? (Полина улыбнулась). Слышишь, какъ они шумятъ? Хотятъ копѣечекъ. Иди, иди. Растемъ, Полиночка, растемъ.

Полина.

Смотри же, не раздавай много.

Штекеръ.

Конечно, не много. А, можетъ быть, вернешь мнѣ обѣщаніе? Нѣтъ? (Со вздохомъ и грустью). Ну, иди.. (Кричитъ). Мендельсонъ...

Полина.

Поцѣлуй меня еще разъ... (Штекеръ цѣлуетъ). Рафаилъ, черезъ сто лѣтъ наши правнуки будутъ благодарить насъ за сегодняшнее. Мужъ мой... Будущіе благодарятъ насъ. (Уходитъ. Штекеръ стоитъ задумчивый).

Мендельсонъ (входитъ).

Наконецъ-то вы позвали меня... Эти бѣдняки меня прямо замучили. Подай имъ господина Штекера. А какъ я имъ могу подать господина Штекера?

Штекеръ (Разсѣянъ. Онъ весь подъ вліяніемъ послѣднихъ словъ жены).

Что? Будущіе благодарятъ насъ... Будущіе!.. Возьми эти два мѣшечка съ серебромъ и поставь здѣсь. А мѣшечекъ. съ мѣдью отложи въ сторону. Поздравь меня, Мендельсонъ. Я уже сталъ нищимъ. (Насильственно смѣется). Нѣтъ больше богача Штекера.

Мендельсонъ.

Господинъ Рафаилъ, вы, кажется, шутите?

Штекеръ.

Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ. Я обѣщалъ ей все.

Мендельсонъ.

Свою половину? Поздравляю васъ. Какъ же можно... Нѣтъ, я другое хотѣлъ сказать. Все? Конечно, такъ и нужно было сдѣлать. Поставила-таки мадамъ на своемъ. Что же теперь будетъ?

Штекеръ.

Ничего. Стану подъ окномъ просить милостыню. (Серьёзно). Я очень люблю эту женщину, Мендельсонъ. Никто не знаетъ, какъ я люблю ее. Безъ нея я мертвъ, безъ нея я не человѣкъ... И она меня тоже очень любитъ. Правда, Мендельсонъ?

Мендельсонъ.

Конечно любитъ, господинъ Рафаилъ.

Штекеръ.

Да, любитъ. Вѣрю, любитъ. Это, Мендельсонъ, замѣчательная женщина. Никто ее не понимаетъ. Я и покричу на нее и посержусь, но я знаю, кто она. Она смотритъ впередъ, на сотни лѣтъ... И она меня любитъ... Правда, Мендельсонъ?

Мендельсонъ.

Конечно, господинъ Рафаилъ.

Штекеръ.

Любитъ. Вѣрю!.. Что это за шумъ? Скажи имъ, чтобы перестали.

Мендельсонъ (подошелъ къ дверямъ).

Эй, вы, не шумите. Господинъ Штекеръ этого не любитъ.

(Тихій ропотъ. Мендельсонъ закрываетъ дверь).

Штекеръ (уже овладѣлъ собой и сразу мѣняется).

Сейчасъ ты увидишь, какъ нужно раздавать деньги. Всѣ, для популярности, посылаютъ тысячи или сотни въ будто бы благотворительныя, но въ сущности, шарлатанскія учрежденія, а я самъ учрежденіе...

Мендельсонъ.

Сколько разговоровъ о васъ, господинъ Рафаилъ, если бы вы знали. Куда бы я ни пришелъ, я слышу ваше имя... И даже на почтѣ тоже говорятъ о васъ... Господинъ Рафаилъ, вы тутъ даже какъ будто и ростомъ стали выше, честное слово, выше... Господинъ Рафаилъ, правда, вы возьмете меня въ контору Штекеръ-Брама?

Штекеръ.

Увидимъ. А Королика все еще нѣтъ. Вѣроятно, онъ пріѣдетъ вмѣстѣ съ Гейне. Абрамсонъ и Гиршъ тоже пріѣдутъ... Начнемъ пока безъ нихъ. Позови кого-нибудь, кто порѣчистѣе. Что это, какой-то нахалъ осмѣлился просунуть голову въ дверь?

Мендельсонъ (бѣжитъ къ дверямъ и машетъ руками).

Пошелъ, пошелъ, тебя позовутъ... Вотъ я тебѣ голову оторву. (Голова скрывается). Эти бѣдняки хуже чертей. Стой, стой... Ты! Не толкайся...

Женщина.

Пустите меня, я маленькихъ дѣтей дома оставила; посмотри-ка, онъ не впускаетъ.

Мендельсонъ.

Стойте, не пущу. Тутъ нуженъ порядокъ. Нельзя, нельзя. Кто тутъ изъ васъ умѣетъ хорошо говорить?

Голосъ.

Дѣти, кто умѣетъ хорошо говорить?

Рыжій (выдвигается).

Я умѣю...

Женщина.

Нѣтъ, я. Не вѣрьте ему. Онъ двухъ словъ не умѣетъ связать. Пропустите меня. (Проскальзываетъ между рукъ Мендельсона и вбѣгаетъ). А, что? Не пустилъ? (Мендельсонъ хочетъ ее поймать). Нѣтъ, меня не поймаешь, если я съ утра куска хлѣба во рту не имѣла.

Штекеръ.

Что это за проклятая женщина? Вотъ и другіе вошли. Оставь ее и выведи тѣхъ. Нельзя же всѣмъ сразу.

Мендельсонъ (говоритъ, задыхаясь).

Вотъ черти... Что я съ ними сдѣлаю? Пошли вонъ. (Гонитъ ихъ). Есть очередь. Ну, ты, рыжій, подвигайся...

Рыжій.

Мы тутъ съ самаго утра...

Мендельсонъ (разсердился).

Не выгодно? Нѣтъ, ты скажи мнѣ, тебѣ не выгодно?

Штекеръ.

Не церемонься съ нимъ... Какіе нахалы.

(Толпа недовольна. Подчиняясь Мендельсону, выходитъ за двери и снова возвращается).

Женщина (къ Штекеру).

Что это, извините, за порядки? Раздаютъ деньги, гдѣ же они?

Штекеръ (хочетъ расположить ее къ себѣ).

Сядьте, мадамъ, присядьте.

Женщина (удивленно).

Мадамъ? Это вы меня назвали мадамъ? Спасибо вамъ и извините (Неманно садится въ кресло).

Штекеръ.

Возьми, Мендельсонъ, мѣшечекъ въ руки. Какъ васъ зовутъ, мадамъ?

(Женщина не поняла вопроса. Боится, что ей помѣшаютъ, и потому отвѣчаетъ скороговоркой).

Женщина.

Вдова и пять маленькихъ... вотъ такихъ маленькихъ дѣтей...

Штекеръ (нетерпѣливо).

Потомъ, потомъ. Я спрашиваю, какъ васъ зовутъ. Нуженъ же порядокъ.

Голосъ изъ толпы.

Какъ тебя зовутъ,—понимаешь, какъ тебя зовутъ?

Женщина, (отмахиваясь руками).

Вдова... и пять маленькихъ, вотъ такихъ маленькихъ дѣтей... Квартира? Какая квартира? Хлѣбъ?.. Какой хлѣбъ!..

Мендельсонъ.

Если ты будешь плакать, то я тебя сейчасъ же выведу.

Женщина.

Что же мнѣ танцовать, чтобы вамъ удовольствіе доставить? Хорошо, буду танцовать. (Встала и уперла руки въ бока).

Штекеръ.

Нуженъ же порядокъ. Когда наступитъ время, мы вамъ позволимъ плакать,—но раньше всего, какъ васъ зовутъ?

Женщина (успокоилась).

Бернштейнъ. Ита Бернштейнъ.

Штекеръ.

Такъ бы и сказали сразу. Теперь мадамъ Бернштейнъ, разскажите, не слыхали ли вы чего-нибудь обо мнѣ?

Женщина (растерялась).

Или я слышала? Что, напримѣръ? (Смѣется угодливо). А, теперь я поняла. Напримѣръ, что вы очень богаты, или другое что-нибудь? (Смотритъ вопросительно на Мендельсона и на Штекера).

Мендельсонъ (сердито).

Вотъ дура... Что ты глаза выпучила? Тебя спрашиваютъ,—хвалятъ ли,—ты и отвѣчай, что хвалятъ.

Штекеръ.

Мендельсонъ, не подсказывай ей.

Мендельсонъ.

Господинъ Рафаилъ, вѣдь это же дура. Съ кѣмъ вы разговариваете?

Женщина.

Это? Такъ сразу бы спросили. Ну, конечно, хвалятъ. Богъ въ небѣ... Господинъ Штекеръ, говорятъ, ангелъ и очень умный, конечно.

Штекеръ (ласково).

Хорошо, хорошо. Пожалуйста, мадамъ Бернштейнъ, сколько вы сказали у васъ дѣтей?

Женщина.

Пять маленькихъ, вотъ такихъ маленькихъ...

Штекеръ (добродушно).

Дай ей, Мендельсонъ. Дай ей чтобы хватило ей и дѣтямъ. Не плачьте, мадамъ. Дай еще. Это очень хорошая женщина... Позови другого.

Женщина.

Богъ въ небѣ! Спасибо и спасибо вамъ. Конечно, ангелъ, чистый ангелъ. (Стала въ толпѣ).

Рыжій (проталкивается. Не ожидаетъ вопроса) Очень нуждаюсь, нуждался и, вѣроятно, буду нуждаться.

Штекеръ.

Они уже опять кучей вошли.

Мендельсонъ.

Что же мнѣ дѣлать съ ними, господинъ Рафаилъ? Пусть уже стоятъ. Вѣдь это мухи, а не люди.

Рыжій.

Очень нуждаюсь, нуждался... (Дѣлаетъ жестъ).

Штекеръ (обратилъ на него вниманіе).

Онъ уже слишкомъ плохо одѣтъ. (Сердито и скороговоркой бросаетъ толпѣ). Очень бѣдныхъ прошу меня оставить въ покоѣ. Есть благотворительныя учрежденія и такъ далѣе, и такъ далѣе. Позови, Мендельсонъ, другого.

Мендельсонъ (беретъ рыжаго за руку).

Иди, иди. Есть благотворительныя учрежденія.

Рыжій (возмутился).

Что? Уйти? А десять человѣкъ меня выведутъ отсюда? Съ самаго утра жду. Полдня не ѣлъ. А это вы видѣли? (Распахиваетъ пиджакъ. Видно голое тѣло) Ага, испугались. А вотъ это? Нѣтъ, вы господинъ, нагнитесь, сдѣлайте себѣ удовольствіе. (Указываетъ на ноги). Ага... (Съ удареніемъ). А вотъ это вы видѣли?

Сдѣлайте себѣ удовольствіе. (Показываетъ Штекеру кулакъ).

Штекеръ (крикнулъ).

Дай ему поскорѣе, Мендельсонъ, что-нибудь и пусть онъ уйдетъ.

Рыжій (съ торжествомъ, захлебываясь).

Что, Ита, говорилъ я вамъ? Всѣ они таковы. Не говорилъ я этого? Когда имъ показываютъ вотъ такую штучку, они сейчасъ же мягче становятся...

Женщина.

Я тебя даже не знаю.

Рыжій (возмущенно).

Не знаешь? Сдѣлай себѣ удовольствіе и замолчи. Я все понимаю. (Къ Штекеру). Дайте-ка еще немножко. Пожалуйста, не пугайте меня вашими глазами. Вынимайте-ка лучше денежки.

Штекеръ.

Мендельсонъ, выгони его. Вотъ мерзавецъ. Помогай такимъ скотамъ послѣ этого.

Голоса (испуганно).

Пусть онъ уйдетъ, пусть онъ уйдетъ...

Мендельсонъ.

Эй, ты, выходи, и чтобы я тебя здѣсь больше не видѣлъ. (Толкаетъ его).

Рыжій.

И уйду... Обжоры, развратники. Съ утра морите людей. Что? Сдѣлай себѣ удовольствіе и посмотри, что у меня въ душѣ дѣлается...

Мендельсонъ.

Ну, ну, убирайся. (Выталкиваетъ его, обращается къ толпѣ, которая всё увеличивается). Такихъ намъ

не нужно. Господа, кто тутъ изъ васъ получше одѣтъ? Никого? (Бормотаніе). Господинъ Рафаилъ, здѣсь нѣтъ такого, кто получше одѣтъ.

Штекеръ.

Я увѣренъ, что они нарочно такъ одѣлись. Дѣлать нечего. Пусть идетъ всякій, кто хочетъ.

Мендельсонъ (разставилъ руки).

Стой, стой. (Толпа напираетъ). Нельзя всѣмъ сразу...

(Изъ толпы выходитъ мужчина, становится противъ Штекера, снимаетъ шапку).

Мужчина.

Нѣтъ возможности...

Штекеръ (съ сарказмомъ).

Гдѣ вы такія одежды находите?

Мужчина (затрудняется).

Нѣтъ возможности... Ну... Когда уже нѣтъ возможности...

Штекеръ.

Что возможности? Какъ тебя зовутъ?

Женщина.

Онъ хочетъ сказать, что уже нѣтъ возможности терпѣть.

Мужчина (обрадованный).

Вотъ это самое, вотъ это самое. Когда уже нѣтъ ее. Ахъ, Боже мой.

Мендельсонъ (сердито).

Ты замолчишь или нѣтъ?

Мужчина (испуганно).

Молчу, молчу.

Штекеръ (съ досадой).

Подожди. Значитъ, тебѣ очень плохо. Есть ли у тебя жена, дѣти?

Мужчина.

Ничего, господинъ, нѣтъ. Однимъ словомъ, ничего. Ахъ, Боже мой.

Штекеръ.

Очень хорошо. Теперь дальше. Не слыхалъ ли ты чего-нибудь,.. нѣтъ, онъ не дастъ себя разспросить. Дай ему, Мендельсонъ, что-нибудь...

Мужчина.

Господинъ...

Штекеръ,

(которому вся эта исторія надоѣла, говоритъ уже брезгливо).

Убери его отъ меня... Онъ меня раздражаетъ. И мнѣ уже это надоѣло. Короликъ вѣчно опаздываетъ. Кто еще тамъ?

Корзинщикъ

(подбѣгаетъ, говоритъ очень привѣтливо и съ довѣріемъ).

Здравствуйте, здравствуйте. (Быстро беретъ руку Штекера).

Штекеръ (старается вырвать руку).

Здравствуйте.

Корзинщикъ (скороговоркой).

Чтобы эти обѣ руки могли вѣчно раздавать. Правая пусть не знаетъ о лѣвой, а лѣвая о правой. А какъ дѣла? Хороши? Ну, слава Богу, слава Богу.

Штекеръ.

Какъ васъ?..

Корзинщикъ (не далъ кончить).

Принесло сюда? Вотъ такъ и принесло. Слышали о васъ. Все слышимъ, все видимъ, все знаемъ. Какъ? Это нашъ секретъ.

Штекеръ (смѣется. Кругомъ смѣхъ).

Не говорите такъ скоро. Я хотѣлъ спросить, какъ васъ...

Корзинщикъ (подхватилъ).

Зовутъ? Корзинщикъ зовутъ.

Штекеръ.

Въ чемъ же ваше горе, господинъ Корзинщикъ?

Корзинщикъ.

Какъ въ чемъ? Спросите, въ чемъ не? Во всемъ. Во мнѣ и кругомъ. На улицѣ и въ домахъ.

Женщина.

Это-таки святая правда.

Мендельсонъ (кричитъ).

Ты свое получила и молчи.

Голоса.

Дайте ей говорить. Что это такое? Надо, чтобы господинъ все зналъ. (Ропотъ).

Штекеръ (поднялся).

Что это за крикъ? Гдѣ вы находитесь? Корзинщикъ, получайте свое и уходите. (Вышелъ изъ-за стола). Слѣдующій и поскорѣе. Кто будетъ кричать, того выведутъ. (Къ женщинѣ). Какъ васъ зовутъ? Скорѣе...

Мендельсонъ.

Скорѣе, скорѣе.

Женщина (испуганно и быстро).

Коганъ, Роза Коганъ.

Штекеръ.

Что у васъ? Скорѣе...

Мендельсонъ (наступаетъ на женщину).

Скорѣе, скорѣе.

*

Женщина.

Что скорѣе? О себѣ, или о дѣтяхъ, или о мужѣ?

Мендельсонъ (сердито).

Говори обо всѣхъ скорѣе. Что? Голодаютъ? Знаемъ... Плохо? Тоже знаемъ. Господинъ Рафаилъ, она новаго ничего не скажетъ. Уже расплакалась. Сколько ей дать?

Штекеръ.

Дай ей сколько-нибудь. А тебѣ что? Скорѣе. (Толпа все увеличивается). Еще новые пришли? Этакъ мы никогда не кончимъ. Возьми мѣшечекъ въ руки и скажи имъ, чтобы стали въ рядъ.

Мендельсонъ (кричитъ).

Станьте въ рядъ, станьте въ рядъ. Господинъ Штекеръ обойдетъ всѣхъ.

(Толпа исполняетъ приказаніе и образовываетъ полукругъ).

Штекеръ (къ первому).

Что у тебя, ты кто?

Первый.

Такъ себѣ. Портной. Остался безъ работы.

Штекеръ.

Очень хорошо. Дай ему немножко, Мендельсонъ. (Къ женщинѣ). Тебѣ что?

Вторая женщина.

Сыночка изъ школы послали домой. Надо заплатить, а у меня нѣтъ денегъ. Пусть плохо, а ученіе намъ дороже всего.

Штекеръ.

Вотъ это хорошо. Учитесь, дѣти, учитесь. Дай ей, Мендельсонъ. А тебѣ что нужно? Не галдите. Ты за чѣмъ?

Мужчина.

Позвольте вамъ разсказать...

Штекеръ.

Знаю, знаю. Мендельсонъ, дай. (Къ женщинѣ). А ты?

Женщина (не отвѣчаетъ. Плачетъ).

Штекеръ.

Что такое? Плакать здѣсь нельзя.

(Женщина еще сильнѣе плачетъ. Другія женщины не выдержали, плачутъ то здѣсь то тамъ).

Мендельсонъ.

Молчать. Что это за концертъ?

Штекеръ (съ досадой).

Языкъ у тебя отсохъ, что ли? (Женщина пытается говорить, но не можетъ и плачетъ). Мендельсонъ, дай ей что-нибудь. (Кричитъ). Кто будетъ плакать, тотъ ничего не получитъ. Весело подходите ко мнѣ, весело. Со смѣхомъ, со смѣхомъ. У тебя что?

Мужчина (съ искусственнымъ смѣхомъ).

Остался безъ работы.

Штекеръ (удовлетворенный).

Вотъ такъ, вотъ такъ. Причемъ тутъ слезы, не понимаю. Дай ему, Мендельсонъ. А ты, а ты, а ты?

Голосъ (смѣется).

Что вы спрашиваете, господинъ? Хотимъ кушать... (смѣется). Кто мы? Купцы? Милліонщики? Вы же видите, кто тутъ? Ай, нехорошо смѣяться надъ нами. Дѣти, даютъ деньги, берите.

Штекеръ.

Ну, дай имъ, дай имъ, Мендельсонъ. Раздавай всѣмъ. А ты? Что, довольны?

Голосъ.

Конечно, довольны. Дай Богъ, чтобы вы всегда могли раздавать, и чтобы мы не нуждались.

Другой.

Вы же знаете, какъ мы живемъ (съ крикомъ). Спасибо и спасибо.

(Мендельсонъ быстро раздаетъ деньги. Толпа окружаетъ его).

Штекеръ (къ Мендельсону).

Кончились мѣшочки? Подай-ка мнѣ тотъ, что съ мѣдью (Мендельсонъ даетъ). А это вамъ всѣмъ на дорогу.

(Начинаетъ бросать деньги въ полпу. Свалка, крикъ. Ползаютъ по полу).

Голоса (троекратно, на разные лады).

Деньги!.. Деньги!.. Деньги!..

Мендельсонъ.

Благодарите же господина Штекера. Положимъ, хорошую благодарность можно получить отъ бѣдняковъ.

Голоса.

Долго жить господину Штекеру...

Штекеръ.

Скажи имъ, пожалуйста, что я люблю, когда кричатъ вивать.

Мендельсонъ.

Стойте... Господинъ Штекеръ любитъ, когда кричатъ вивать.

Толпа (съ крикомъ).

Вивать... Вивать...

Голосъ.

Качать господина Штекера. Дѣти, поднимемъ его.

Голоса.

Ого, онъ не хочетъ... Беритесь за него... Женщины, въ сторону...

Штекеръ (убѣгаетъ отъ нихъ).

Ахъ, оставьте меня.

Голоса.

Качать, качать. Спасибо. Вивать.

(Гонятся за нимъ. Входятъ Короликъ, Гейне, Абрамсонъ, Мейеръ. Проталкиваются сквозь толпу).

Штекеръ (увидѣвъ пришедшихъ).

Отчего такъ поздно? Здравствуйте. Видите, какъ меня любятъ?

Толпа.

Вивать. Вивать. Спасибо.

Четвертое дѣйствіе.

Гостинная ярко освѣщена. Молодежь въ бальныхъ платьяхъ отдыхаетъ отъ танцевъ. Веселый шумъ, громкіе разговоры. Въ открытыя двери видны гуляющія по залу пары. Распорядитель мечется во всѣ стороны и что-то кричитъ по-французски. Доносится ритурнель кадрили. Кавалеры предлагаютъ дамамъ руки и бѣгутъ съ ними въ залъ. Снова ритурнель кадрили. Начинаются танцы. Кто-то закрылъ двери въ гостинную. Музыка доносится слабо. Зиночка показывается слѣва, заглядываетъ въ гостинную.

Зиночка.

Здѣсь, Саша, никого нѣтъ. Сядемъ въ томъ углу. (входятъ). Всегда и вездѣ намъ мѣшаютъ цѣловаться. Боже мой, когда уже кончится эта пытка?

Саша.

Скоро, скоро, дорогая. (Беретъ ее за руку). Ты очаровательна въ этомъ бальномъ нарядѣ (цѣлуетъ ее). Ты моя кроткая, ты моя нѣжная!..

Зиночка.

Знаешь, Сашенька, мнѣ показалось, что ты глазами ухаживалъ за Линой Абрамсонъ.

Саша.

Ты всегда меня ревнуешь къ кому-нибудь. Развѣ я могу интересоваться Линой, когда ты сама красота, сама венера... (цѣлуются). Положи головку ко мнѣ на плечо... Дорогая моя, и такъ твой папа вступаетъ въ компанію съ Брамомъ? Для меня, Зиночка, это большая радость...

Зиночка.

Меня совершенно не интересуютъ дѣла. Будемъ лучше цѣловаться... (цѣлуются).

Саша.

Твой папа очень и очень ловкій. Настоящій дѣлецъ. Не забудь, что и я очень заинтересованъ въ этомъ дѣлѣ, и ты...

Зиночка.

Какъ, опять о дѣлахъ? Несносный...

Саша.

Но я, Зиночка, инженеръ или не инженеръ? Я былъ бы очень благодаренъ твоему папѣ, если бы онъ меня назначилъ главнымъ инженеромъ на Брамовскихъ заводахъ.

Зиночка.

Конечно, онъ назначитъ... Папа исполняетъ всѣ мои желанія...

Саша.

Меня только безпокоитъ, какъ все это разрѣшится, разъ папа перевелъ свои деньги на мамино имя. А вдругъ она въ послѣднюю минуту не дастъ денегъ...

Зиночка.

Я уже устала отъ этого разговора... Сашенька закрой... глаза (Капризно). Я хочу, чтобы ты закрылъ глаза. Ни у одного мущины я не видѣла такихъ красивыхъ усовъ, какъ у тебя. И губы у тебя, какъ двѣ вишеньки.

Саша (улыбается).

Ну, дай же мнѣ тебѣ сказать...

Зиночка.

Нѣтъ, нѣтъ... Я васъ буду теперь цѣловать. Боже, какъ я тебя люблю.

Саша.

Дай же мнѣ сказать, что для молодого инженера...

Зиночка (вскочила).

Кто-то идетъ сюда. Опять мѣшаютъ. Никогда, никогда намъ не дадутъ посидѣть вдвоемъ. Пойдемъ въ кабинетъ Марка. (Беретъ его подъ руку, быстро уходятъ).

Маркъ (входитъ, преслѣдуемый Мендельсономъ).

Оставь ты меня въ покоѣ. Я сказалъ, что не выйду къ гостямъ. Мнѣ не до того.

Мендельсонъ.

Господинъ Маркъ. Ради папаши переломите себя. Всѣ спрашиваютъ о васъ...

Маркъ.

Не пойду. Пусть заплатитъ мой карточный долгъ. Посылаетъ меня къ мамашѣ, а мамаша не хочетъ. Что это такое, въ самомъ дѣлѣ? Стрѣляться что-ли мнѣ изъ за этого? Хорошо, застрѣлюсь...

Мендельсонъ (со страхомъ).

Господинъ Маркъ, вы уже опять засунули руку въ карманъ. Вѣдь я человѣкъ съ нервами. Со мной сейчасъ судороги могутъ сдѣлаться.

Маркъ.

Мамаша совсѣмъ не желаетъ признавать, что у меня есть собственная жизнь и что я не обязанъ участвовать въ накопленіи. Ты вѣдь разумный человѣкъ, Мендельсонъ, скажи, могу ли я отказаться отъ любовницы, если мои пріятели: Володя Гейне, Митя Гиршъ и другіе имѣютъ ихъ. Долженъ ли я заплатить Володѣ Гейне четыро тысячи, если я ему ихъ проигралъ?

Мендельсонъ.

Господинъ Маркъ, что вы меня дѣлаете судьей въ своихъ дѣлахъ? Послѣ бала поговорите еще разъ съ мамашей,—можетъ быть, она все-таки дастъ.

Маркъ (съ гнѣвомъ).

Нѣтъ, я теперь съ ней хочу поговорить. Именно теперь. Они празднуютъ согласіе Брама, всѣ веселы, и только я одинъ несчастенъ. Хамы. Я имъ не прощу этого. Мамаша выманила у папы деньги и хоть бы что-

нибудь дала мнѣ. Она знаетъ, что я умираю со стыда, что если я сегодня не заплачу, завтра узнаютъ о моемъ позорѣ и... ничего.

Мендельсонъ.

Какъ же вы, господинъ Маркъ, рѣшились проиграть четыре тысячи?

Маркъ.

Вотъ такъ и проигралъ. А на прошлой недѣлѣ Митя Гиршъ проигралъ пять тысячъ, и папаша его сейчасъ же заплатилъ. Почему тому можно, а мнѣ нельзя? Папаша не бѣднѣе Гирша. И не раздражай меня вопросами. Я долженъ получить эти четыре тысячи отъ мамаши или ворвусь въ залъ и устрою скандалъ.

Менделсонъ.

Ахъ, Боже мой... Папаша же повѣсится.

Маркъ.

Не повѣсится. Позови ее сюда. И вотъ что ее заставитъ... (показываетъ револьверъ).

Мендельсонъ (помертвѣлъ отъ ужаса).

Я такъ и зналъ, что вы выхватите револьверъ и непремѣнно наставите его на меня.

Маркъ.

Не разсуждай. Позови ее.

(Мендельсонъ бѣгомъ выходитъ. Маркъ стоя ждетъ. Доносится музыка. Входитъ Полина. Мендельсонъ держится сзади).

Полина.

Зачѣмъ ты опять меня позвалъ? Мнѣ уже это надоѣло.

Маркъ.

Вамъ надоѣло. Скажите, пожалуйста. А мнѣ, думаете, очень интересно разговаривать съ вами: Мендельсонъ, выходи. (Мендельсонъ выходитъ). Заплатите четыре тысячи?

Полина.

Я? Я не играла—я и не заплачу.

Маркъ.

Эти отвѣты оставьте. Играли, или не играли, а деньги заплатите.

Полина.

Я сказала и повторяю, что никому я не выдамъ ни одной копейки. Все равно, Богу, папѣ, тебѣ, или мнѣ—никому. Деньги теперь въ вѣрныхъ рукахъ.

Маркъ.

А ограбить папашу вамъ можно было? Проиграть нельзя, а грабить можно... И вы думаете, что это вамъ такъ сойдетъ. Ошибаетесь, мамаша. Вы или заплатите, или я папѣ глаза открою.

Полина.

У него самаго откроются глаза. Подожди. Еще не долго ждать. Десять лѣтъ борьбы нужно было, чтобы получить деньги въ свои руки,—и теперь все пойдетъ по моему. Я распродамъ все: вотъ этотъ особнякъ, заводъ, эти глупые автомобили, картины и поѣдемъ назадъ...

Маркъ.

А я говорю, что вы заплатите мой долгъ. И сегодня же. Я вамъ не папаша. Ага, уже не плачете больше, за сердце не хватаетесь. Комедія кончилась. Вы думаете, законовъ не найдется противъ васъ. Ого, вы еще вернете деньги.

Полина (гордо).

Какой ты дуракъ. Вѣдь деньги же у меня въ рукахъ. На хлѣбъ и на воду сяду, умру подлѣ богатства, а денегъ изъ рукъ не выпущу. Изъ-за чего я борюсь? Ты думаешь, что мнѣ дороги только отецъ, семья, ты? Нѣтъ!.. Весь родъ мой я несу на своихъ плечахъ. Кто посмѣетъ сказать мнѣ: «нѣтъ»? Пусти меня...

Маркъ (сталъ на дорогѣ).

Не пущу... Вы же маніакъ... Васъ за деньги нужно показывать... Заплатите Володѣ.

Полина.

Ни за что. Я еще не сошла съ ума. Пусти меня.

Маркъ.

Нѣтъ? Такъ я застрѣлюсь на вашихъ глазахъ. Сейчасъ же здѣсь... (Выхватываетъ револьверъ).

Полина (бросилась къ нему).

Что ты дѣлаешь? (Вскрикнула) Маркъ... Проклятый... (съ воплемъ). Заплачу, заплачу...

Маркъ (отпустилъ револьверъ, тяжело дышитъ).

Уйдите отъ меня.

Полина (внѣ себя).

Отдай револьверъ, отдай револьверъ (услышавъ голосъ Штекера, внезапно замолчала).

Штекеръ (вбѣгаетъ).

О, она здѣсь... а я вездѣ ищу ее. Полиночка, Брамъ пріѣхалъ. Идемъ, идемъ... Маркъ, Брамъ пріѣхалъ. Ради Бога, выйди къ нему. (Маркъ быстро уходитъ). Что съ нимъ? Что тутъ произошло? Полиночка?

Полина.

Ничего не произошло. Дай мнѣ собраться съ мыслями...

Штекеръ.

Ахъ, Боже мой, опять съ мыслями, опять исторіи. Когда, наконецъ, вы меня оставите въ покоѣ съ вашими исторіями. Идемъ же скорѣе. (Наскоро). Какъ ты мила сегодня. Всѣ называютъ тебя царицей бала (беретъ ее подъ руку).

Полина (угрожающе).

Идемъ, идемъ...

(Уходятъ въ залъ. Съ правой стороны входятъ Короликъ и Мендельсонъ).

Мендельсонъ.

Ну, господинъ Короликъ, довольны вы мной? Все слышали?

Короликъ.

Уй, уй, уй... Что тутъ происходитъ (хватается за голову). Теперь я уже все понимаю.

Мендельсонъ.

Да, господинъ Короликъ, и не забудьте, что то же самое я слышу здѣсь пятнадцать лѣтъ. Хорошая семья, нечего сказать...

Короликъ (жестикулируетъ).

Отсюда, Мендельсонъ, я заключаю, что мнѣ надо убираться изъ этого дома, и что больше той тысячи, которую я получилъ отъ Штекера, я не получу ни одной копейки. Впрочемъ, тебѣ тоже придется убраться отсюда. Вотъ такъ женщина!

Мендельсонъ.

Конечно, придется. Она вѣдь всѣхъ выгонитъ и сдѣлаетъ такъ, какъ сказала: «сядетъ на хлѣбъ и на воду и будетъ сторожить деньги». Я ее, господинъ Короликъ, хорошо знаю. Сама будетъ швейцаромъ, лакеемъ, Мендельсономъ, мужемъ. Устроитъ она Рафаилу хорошую жизнь.

Короликъ (развалился въ креслѣ).

Такъ ему и слѣдуетъ. Этакій дуракъ, этакій быкъ, нашелъ кому довѣриться.

Мендельсонъ.

Ахъ, что вы говорите, господинъ Короликъ. А какъ она первую половину денегъ выманила у него? Вы шу-

тите съ ней? Хотѣлъ бы я видѣть того человѣка, который бы устоялъ противъ нея... (Пауза). Господинъ Короликъ, если бы вы захотѣли быть мнѣ другомъ... Вѣдь мнѣ цѣны нѣтъ...

Короликъ.

Что? службу?

Мендельсонъ.

Да. У Брама. Вѣдь тамъ всѣ васъ любятъ. А я бы для васъ ничего не пожалѣлъ, даже двѣсти, даже триста, даже пятьсотъ рублей.

Короликъ (вскочилъ).

Что-о! Пятьсотъ? Значитъ у тебя... у васъ есть деньги? Нѣтъ, вы мнѣ правду скажите.

Мендельсонъ.

Другому, господинъ Короликъ, я бы ни за что не сказалъ, а вамъ, такъ и быть, скажу... Да, имѣю деньги.. такъ тысячъ пятнадцать. Собралъ тутъ...

Короликъ (даже согнулся отъ почтенія).

Пятнадцать тысячъ. Ты... вы не шутите? Такъ вы же богачъ, господинъ Мендельсонъ. Зачѣмъ же вамъ еще служить? Вы же богачъ...

Мендельсонъ (весело смѣется).

Конечно, богачъ, а вы что думали, такъ себѣ кто-нибудь. Но по моему соображенію, господинъ Короликъ, надо еще послужить. Надо. Не попаду къ Браму, попробую къ Гейне или къ Абрамсону. А если не удастся, то знаете, что я сдѣлаю? Открою маленькую банкирскую контору, и можетъ быть, еще догоню... ихъ...

Короликъ.

Кого ихъ? О комъ вы говорите?

Мендельсонъ (выразительно).

Ну ихъ... тѣхъ...

Короликъ (нечаянно).

Ахъ, ты... то-есть, вѣрно, вѣрно. Конечно, догоните, конечно (дружески). Господинъ Мендельсонъ, у меня какъ разъ имѣется для васъ маленькое дѣло. Идите-ка сюда. (Отводитъ его въ сторону). Тутъ можно купить немножко пшеницы. Нѣтъ? Ну, я вамъ найду другое дѣло. Есть, есть.

Мендельсонъ.

Ахъ, оставьте меня, пожалуйста, господинъ Короликъ, съ этими дѣлами. Что мнѣ тамъ пшеница...

Короликъ.

А женщинъ вы любите, господинъ Мендельсонъ? У меня какъ разъ есть для васъ... что? Вы предо мной не скрывайте... Понимаю, все понимаю. Вотъ такая маленькая...

Мендельсонъ (нетерпѣливо).

Вы же совсѣмъ не серьезный человѣкъ, господинъ Короликъ. Пшеница, женщины... Можетъ быть черезъ какіе-нибудь десять лѣтъ вотъ такой Гейне или Абрамсонъ или даже Штекеръ будутъ подавать мнѣ пальто, а вы—женщина. Мы видѣли примѣры, господинъ Короликъ. (Доносятся аплодисменты). Что это? Развѣ уже начались рѣчи? Пойду послушать. Идете, господинъ Короликъ?

Короликъ.

Я съ вами, господинъ Мендельсонъ, уже куда угодно пойду.

(Выходятъ въ среднюю дверь и скрываются въ залѣ. Танцы кончились. Гости гуляютъ. Изъ толпы выдѣляются Абрамсонъ и Мейеръ, входятъ въ гостинную).

Абрамсонъ (взволнованно).

Всюду шушукаются о Штекерѣ. Что тутъ случилось? Говорятъ о ссорѣ сына съ матерью. Не вѣрю. Всѣ чего-то

ждутъ. Понюхайте, Мейеръ, воздухъ. Что вамъ вашъ носъ говоритъ?

Мейеръ (тянетъ носомъ воздухъ).

Пахнетъ скандаломъ. Охъ, тутъ чѣмъ-то скернымъ пахнетъ. Вы видѣли ея лицо, когда она вошла? Просто камень, а не лицо. Говорятъ, что онъ все ей отдалъ.

Абрамсонъ.

Я только на нее и еще на Бога надѣюсь. Понюхайте еще разъ, Мейеръ. Что вамъ вашъ носъ говоритъ? Успокойте меня.

Мейеръ (раздраженно).

Оставьте, наконецъ, мой носъ въ покоѣ. Что это за фамильярность? Нюхайте сами. (Снова доносятся аплодисменты).

Абрамсонъ.

Но сердитесь на меня. Я какъ на угольяхъ, у меня сердце готово разорваться. Вѣдь, если съ Божьей помощью я все-таки сойдусь съ Брамомъ, то я же спасенъ. Вы, Мейеръ, тоже останетесь довольны. Брамъ долженъ быть вашимъ.

Мейеръ.

Да не кричите же такъ.

Абрамсонъ (шепотомъ).

Я три года гонюсь за этимъ дѣломъ. Я уже на краю, понимаете? Съ Мендельсономъ вы пробовали говорить? Нѣтъ? Зачѣмъ же вы мнѣ нужны? Зачѣмъ я плачу вамъ? Идите въ залъ и ради Бога узнайте точно, о чемъ шушукаются.

(Снова аплодисменты).

Мейеръ.

Ого. Опять... Тамъ какъ-будто налаживается.

Абрамсонъ.

У меня уже нѣтъ силъ. У меня всѣ жилы готовы лопнуть.

(Идутъ въ залъ). (Сталкиваются съ Гейне, котораго ведетъ какой-то господинъ подъ руку. Мендельсонъ, граболѣпно согнувшись, слѣдуетъ за ними сзади).

Мендельсонъ (подобострастно улыбается).

Осматриваете гостинную, господинъ Гейне?

Гейне.

Да, какъ будто. Нѣтъ, я просто усталъ отъ шума. (Оставляетъ руку господина и отходитъ въ сторону).

Ты слышалъ, какими аплодисментами встрѣтили мое поздравленіе?

Мендельсонъ (смѣется).

Конечно, слышалъ, господинъ Гейне. Но за-то я и поздравленіе выслушалъ. Это было не поздравленіе, а одни перлы. Госполинъ Гейне, у меня къ вамъ маленькая просьбочка. Извините, вамъ сейчасъ не до меня. Однимъ словомъ, прошу васъ наскоро.

Гейне (останавливается).

А? Что такое? Подожди, я о чемъ-то думаю (думаетъ).

Мендельсонъ (обождалъ).

Уже подумали? теперь можно? Прошу васъ наскоро (смѣется). Хотѣлъ бы получить мѣстечко въ вашей конторѣ.

Гейне (тоже смѣется).

А кто этого не хочетъ? Перестань, не будь дуракомъ.

Мендельсонъ.

Я очень полезный человѣкъ, господинъ Гейне. Прошу васъ, уважьте мою просьбочку.

Гейне (беретъ господина подъ руку и идетъ съ нимъ въ залъ. Говоритъ на ходу).

Ты просто съ ума сошелъ. Развѣ тебѣ плохо у Штекера?

(Скрываются въ залѣ. Новые аплодисменты. Вбѣгаетъ Мейеръ. Онъ очень взволнованъ).

Мейеръ.

Гдѣ Абрамсонъ? Мендельсонъ, вы не видѣли Абрамсона? Сама госпожа Штекеръ встала. Просто страшно сдѣлалось.

Мендельсонъ (засуетился).

Что вы говорите? Ну? Надо пойти послушать. (Бѣжитъ въ залъ и вдругъ останавливается. Съ крикомъ). Что? Что она сказала? Мейеръ, вы слышали? Ага,—я это предвидѣлъ. Ага, ага...

(Въ залѣ вдругъ начинается смятеніе. Гости бѣгутъ во всѣ стороны. Шумъ, хохотъ, крикъ. Гейне, Мейеръ и Короликъ влетаютъ, окруженные дамами и кавалерами. Дамы негодуютъ, мущины говорятъ громко и жестикулируютъ).

Гейне.

Вотъ такъ скандалъ. Въ первый разъ въ моей жизни вижу такую женщину.

Мейеръ.

Дьяволъ, а не женщина. Какъ онъ съ ней прожилъ столько лѣтъ?

(Его заглушаютъ голоса. Вбѣгаетъ Абрамсонъ. Волоса у него взъерошены. Взглядъ блуждающій. Отъ волненія потъ ручьемъ течетъ съ его лица).

Абрамсонъ (съ крикомъ).

Господа, она не даетъ денегъ! (съ дикой радостью). Объявила всѣмъ ясно и твердо, что не даетъ денегъ. Открыла, что все ей принадлежитъ. Неслыханный скан-

далъ. Гдѣ Брамъ? Гейне, вы видѣли лицо Брама? (Зашатался отъ волненія. Его подхватили. Озпрается и снова кричитъ). Кто увелъ Брама? Пойду, отыщу его (собирается бѣжать).

Короликъ.

И я съ вами. (Бѣгутъ вмѣстѣ).

Мендельсонъ. (Преграждаетъ путь Абрамсону. Раболѣпно).

Господинъ Абрамсонъ, у меня къ вамъ маленькая просьбочка. Прошу васъ наскоро. Возьмите меня въ свою контору.

Абрамсонъ (оторопѣлъ).

Что? Какое наскоро? Убирайся отъ меня. (Съ радостью). Она не даетъ денегъ. Понимаешь? Боже мой... Она же отказала. Кто видѣлъ Брама, господа? (Мечется и убѣгаетъ съ Короликомъ и Мендельсономъ).

(Гости бѣгутъ изъ правыхъ и лѣвыхъ дверей. Нѣкоторые уходятъ. Вбѣгаютъ новыя группы. Смѣхъ, говоръ. Ищутъ выхода, но не находятъ и возвращаются. Отдѣльныя восклицанія: „скандалъ, позоръ“! Вбѣгаетъ Штекеръ. Галстукъ на боку. На минуту останавливается, дико оглядывается и убѣгаетъ въ дверь налѣво. За нимъ несутся Маркъ, Матильдочка, Мендельсонъ и Короликъ).

Короликъ (впереди).

Господинъ Штекеръ, господинъ Штекеръ.

Маркъ.

Папа, куда вы бѣжите? Удержите его!

Матильдочка.

Папочка, папочка!...

Мендельсонъ.

Господинъ Рафаплъ, господинъ Рафаплъ, что за бѣда? Деньги дома останутся. (Всѣ скрываются).

(Гости смѣются, толпятся у дверей, дѣлаютъ видъ, что не находятъ выхода и уже нарочно не выходятъ. Говоръ, злорадныя восклицанія. Штекеръ, обѣжавъ комнаты, вбѣгаетъ изъ зала и вдругъ останавливается. Тяжело дышетъ. Говоритъ отрывочно).

Штекеръ.

Посмѣялась... Двѣ недѣли ѣла, пила, спала со мной и не выдала своего плана... Волчицу я вскормилъ у себя... А я такъ любилъ ее, такъ вѣрилъ... Деньги отняли ее у меня... Деньги выкрали у нея сердце. (Съ бѣшенствомъ). Деньги пожрали ее... (Гости внимательно слушаютъ, тихіе смѣшки, хихиканія). Кто это сказалъ: Штекеръ? Какой Штекеръ? Ея нѣтъ, и нѣтъ больше Штекера.

(Гости пугаются и пятятся).

Матильдочка.

Папа, папочка. Умоляю тебя.

Маркъ (взялъ Штекера за руку).

Папа, приди же въ себя. Ты дѣлаешь насъ всѣхъ посмѣшищемъ.

(Въ залѣ, гдѣ танцовали, появляется Полина дѣловито и серьезно гаситъ электричество).

Штекеръ (вырвался изъ рукъ Марка).

Она меня никогда не любила... Никогда... (Мечется по комнатѣ). Она же никого не любила... Деньги съѣли ее. (Злорадостный смѣхъ гостей. Остановился). Что, смѣетесь? Уже смѣетесь! А только-что вы всѣ льстили мнѣ, съ почтеніемъ вставали, когда я проходилъ

мимо васъ. Танцовали подъ мою музыку... Ну, смѣйтесь: у Штекера несчастье. Кричите, попался Штекеръ. Топчите его ногами. Бейте его по сердцу. Ага, такъ его Штекера, такъ его. (Съ гнѣвомъ). И уйдите всѣ отъ меня... всѣ, всѣ, жена, дѣти, люди...

(Отворачивается отъ всѣхъ).

(Полина уже вошла въ гостинную, посмотрѣла на Штекера, на гостей... хочетъ что-то сказать, но удерживается. Дѣловито и серьезно начинаетъ тушить огни)...

Семенъ Юшкевичъ.

Дм. Крачковскій.

УТѢШИТЕЛЬНИЦА.

Разсказъ.

Вчера въ восемь часовъ вечера онъ женился.

Въ пять часовъ вечера онъ снялъ свою блузу художника—всю въ масляныхъ пятнахъ-синихъ, красныхъ, зеленыхъ, желтыхъ, подставилъ голову подъ кранъ умывальника, вода ударила блестящей струею и освѣжила его лицо. Онъ вытеръ лицо полотенцемъ, подошелъ къ старому комоду, вынулъ сорочку, надѣлъ ее, повязалъ бѣлый галстукъ, надѣлъ жилетъ съ широкимъ вырѣзомъ и сюртукъ—черный, парадный. Потомъ спрыснулъ голову о-де-колономъ, потомъ оглянулся кругомъ, поправилъ холсты на стѣнахъ, которые отъ жары покоробились и опустились одною стороною. Потомъ свиснулъ, а потомъ вышелъ изъ комнаты, заперъ дверь и крикнулъ хозяйкѣ:

— Эй, хозяйка, идите сюда.

Пришла хозяйка—толстая, краснощекая и держала въ одной рукѣ кастрюльку, а въ другой тряпку.

Художникъ сказалъ:

— Я, хозяйка, ухожу изъ дому.

Она отвѣтила:

— Ну, что же, идите туда, куда вамъ нужно итти.

— Я долженъ васъ кое-о чемъ предупредить, замѣтилъ художникъ.

Хозяйка сказала:

— Говорите, а я послушаю.

Художникъ свиснулъ и сказалъ:

— Вотъ въ чемъ дѣло: я женюсь и завтра переѣзжаю въ домъ невѣсты. Простите меня.

Хозяйка засверкала глазами и сказала:

— Всѣ вы такіе: то женитесь, то въ Архангельскъ уѣзжаете. Ахъ, вы, художники, художники.

— Не ругайтесь,—замѣтилъ художникъ,—я здѣсь не при чемъ. Я женюсь, понимаете ли?

Художникъ опять свиснулъ, началъ спускаться по лѣстницѣ и думалъ, что его хозяйка дѣйствительно сварливая женщина.

На улицѣ было душно, и раскаленные камни мостовой пылали жаромъ. Собаки бѣжали съ раскрытыми пастями, высунувъ красные языки, кони тяжело дышали, сопѣли, а въ канавахъ валялись оборванцы и въ пьяномъ бреду ругались мерзкими словами.

— Неужели женюсь?—спросилъ себя художникъ.

— Женюсь, — отвѣтилъ онъ, — да женюсь,—взялъ извозчика и поѣхалъ къ пріятелю, который долженъ былъ быть у него шаферомъ.

Художникъ постучалъ къ пріятелю въ дверь и спросилъ:

— Ты, лѣнтяй, что дѣлаешь?

— Кормлю своихъ дѣтей,—входи,—отвѣтилъ пріятель.

Художникъ вошелъ и увидалъ, что его пріятель сидѣлъ, поджавъ ноги на постели, и кормилъ бѣлыхъ мышей.

Звѣрьки подвижные, чистенькіе, копошились на его колѣняхъ, пищали и проглатывали хлѣбныя крошки.

Художникъ сказалъ:

— Одѣвайся, ѣдемъ.

— Развѣ пора?—спросилъ пріятель.

— Пора,—отвѣтилъ художникъ.

Пріятель всталъ и бережно отнесъ въ уголъ всѣхъ

своихъ мышей. Потомъ прошелъ за ситцевый пологъ, который скрывалъ его постель, снялъ пиджакъ и перемѣнилъ сорочку.

Перемѣняя сорочку, онъ спросилъ:

— И что это тебя угораздило жениться?

— Эхъ, другъ мой!—отвѣтилъ художникъ, приподнялъ полы сюртука, сѣлъ на постель, посмотрѣлъ на манжеты бѣлыя, блестящія и глубоко вздохнулъ.

Его вздохъ задрожалъ въ пустой комнатѣ пріятеля, съ холстами на стѣнахъ, на стульяхъ, на полу, задрожалъ—и вылетѣлъ въ открытое окно, гдѣ въ синемъ небѣ купались бѣлыя облака.

— Вздыхаешь? А?—спросилъ пріятель.

И опять въ пустой комнатѣ съ холстами, а на холстахъ—мазки-зеленые, фіолетовые, пунцовые, желтые, коричневые—задрожалъ второй вздохъ и вылетѣлъ въ открытое окно.

Пріятель вышелъ изъ-за ситцеваго полога, ударилъ художника по плечу и сказалъ:

— Другъ мой, возьми себя въ руки.

Художникъ поднялся и отвѣтилъ:

— О, я взялъ себя въ руки,—и вздохнулъ въ третій разъ.

Они вышли изъ комнаты, пріятель заперъ дверь на ключъ и спряталъ ключъ въ карманъ.

На улицѣ камни и дома раскалились еще жарче, собаки и кони совсѣмъ пріуныли, а пьяницы попадались на каждомъ шагу и сбивали съ ногъ трезвыхъ.

Извозчикъ сворачивалъ то вправо, то влѣво, то вправо, то влѣво, лошаденка извозчика спотыкалась на заднія ноги, хромала на переднія, поводила ушами; пролетка дребезжала, звенѣла, и колеса ея, какъ тяжелые жернова, вертѣлись на своихъ осяхъ.

Когда же на углу кривого переулка показалась пивная,

гдѣ пріятели много разъ коротали свои вечера—глаза пріятеля увлажнились, въ горлѣ запершило и они сказали:

Одинъ:

— Пивная.

Другой:

— Наша пивная.

И два кулака опустились на спину извозчика.

Извозчикъ обернулся, лошаденка остановилась, пріятели пожали другъ другу руки и сказали:

— Въ послѣдній разъ!—и вошли въ пивную.

Въ пивной было жарко, грязно и людно.

Здѣсь сидѣли толстяки съ огромными животами, красными шеями, рыжими волосами, торчащими бобрикомъ, въ рукахъ держали газеты, читали, сопѣли, и пили пиво. Здѣсь сидѣли молодые люди, остроносые, тонконосые, съ рябинками на лицахъ, въ полосатыхъ манжетахъ, съ булавками въ зеленыхъ галстукахъ. Здѣсь были женщины въ красныхъ шляпахъ—онѣ сидѣли, заложивъ ногу на ногу, курили, а иногда обнимали за шею тонконосыхъ молодыхъ людей, визжали, а потомъ отталкивали ихъ отъ себя и хохотали.

Пріятели опять пожали другъ другу руку, сѣли за круглый столикъ и сказали:

— Въ послѣдній разъ.

Они выпили по одной кружкѣ, потомъ по другой,—и оба глубоко вздохнули.

— Итакъ, ты женишься? спросилъ пріятель.

— Женюсь, отвѣтилъ художникъ, и въ горлѣ у него что-то защекотало.

— Черезъ два часа женишься?

— Черезъ два часа женюсь,—и глаза его затуманились слезами.

Потомъ они выпили еще по одной кружкѣ, потомъ

они выпили еще по одной, а потомъ, когда въ клѣткѣ, которая висѣла надъ ихъ головою, запѣла птичка, запѣла такъ грустно, такъ нѣжно и начала перепрыгивать съ ножки на ножку,—они выпили еще по одной, пріятель положилъ обѣ руки художника и сказалъ:

— Другъ мой, будь откровененъ,—скажи, что заставило тебя предпринять этотъ шагъ—жениться?

Тогда художникъ вытеръ глаза и отвѣтилъ:

— Я буду откровененъ и разскажу тебѣ все отъ начала до конца. Быть можетъ, мой разсказъ послужитъ для тебя нѣкоторымъ предостереженіемъ.

И, выпивъ залпомъ кружку пива, онъ началъ разсказывать.

— Другъ мой, у каждаго изъ насъ есть такой домъ, куда мы скрываемся, когда наше сердце гложетъ тоска, или, когда намъ хочется смѣяться, гдѣ насъ понимаютъ, знаютъ наши привычки, наши недостатки, гдѣ съ нами сживаются и гдѣ, въ концѣ концовъ, нами начинаютъ пренебрегать. Въ этихъ домахъ есть слуги — они улыбаются, когда открываютъ дверь, есть собаченки, которыя лижутъ наши руки, есть мягкіе диваны, гдѣ такъ пріятно полулежать, вытянувъ ноги,—есть блестящіе самовары, лампы съ шелковыми абажурами, книги, свѣжіе журналы, въ безпорядкѣ разбросанные на столикѣ, есть наконецъ, хозяйка, дочь ея, дочери ея, и эти милыя созданія спрашиваютъ:

— У васъ сегодня грустное лицо, что съ вами?

А ты отвѣчаешь:

— Хочу повѣситься. Спасите меня.

И онѣ тебя спасаютъ.

Онѣ сыграютъ на роялѣ одну изъ Lieder ohne Worte— Мендельсона, онѣ очень мило споютъ простенькую вещицу, игривую—не трудную, потомъ разскажутъ что-нибудь очень забавное, потомъ пойдутъ съ тобою въ садъ и скажутъ:

— Смотрите: какое облако.

Или:

— Смотрите: какая звѣзда.

Онѣ начнутъ тормошить тебя, взъерошатъ волосы, онѣ улыбнутся, откроютъ рядъ острыхъ, какъ у бѣлки, зубовъ—въ глазахъ заблеститъ яркій огонекъ, и скажутъ:

— Вы—бука.

Ты смотришь на ямочки ихъ щекъ, ты смотришь на высокія груди, на ажурныя платья, на волосы, какъ спѣлая рожь, золотящіеся на солнцѣ, ты смотришь на сильныя руки, крѣпкія ноги въ шелковыхъ чулкахъ, ты смотришь на этихъ дѣвчонокъ, отъ которыхъ такъ и пышитъ здоровьемъ, долго сдерживаемой и скрываемой страстью,—смотришь, глупѣешь, и уже забываешь о веревкѣ или дулѣ револьвера.

И вотъ, другъ мой,—я часто брюзжалъ, хандрилъ, когда хандрилъ—становился омерзительнымъ человѣкомъ,—и я, мой другъ, конечно, нашелъ домикъ, маленькій, незамѣтный среди другихъ домовъ, куда я скрывался отъ преслѣдующей меня по пятамъ тоски.

Прелестный домикъ: внизу столовая, гостиная, кабинетъ мужа, кабинетъ жены, маленькая библіотечка, качалка, столикъ, электрическая лампа съ зеленымъ абажуромъ, мягкій диванъ, пушистый коверъ, а на коврѣ, свернувшись колечкомъ, лежитъ пресмѣшной таксъ. Наверху спальня мужа и жены и комната единственной дочери, милая комната, оклеенная голубыми обоями, съ голубымъ фонаремъ, съ кисейными занавѣсками, съ мраморнымъ умывальникомъ, съ бѣлоснѣжными подушками, съ прелестнымъ видомъ изъ окна, гдѣ всегда сіяютъ купола, гдѣ облака отливаютъ серебромъ, а въ небѣ летаютъ птицы и чирикаютъ.

Эта комната славной дѣвочки всегда привлекала меня къ себѣ своей непорочной чистотою, и я говорилъ ея матери:

— Какая свѣтлая комната.

А мать дѣвочки, Утѣшительница, какъ я ее шутя называлъ, отвѣчала съ улыбкой:

— Дѣвочкѣ нужно побольше воздуха, свѣта и простора.

Мой другъ, я тогда еще только начиналъ мазать, я до самозабвенія любилъ искусство, страдалъ искусствомъ, болѣлъ и, другъ мой, я, конечно, очень мало смыслилъ въ искусствѣ, но думалъ, что смыслю только я одинъ, всѣ же остальные—ослы. Кто не грѣшенъ въ этомъ? Кто не грѣшенъ въ этомъ часто до сѣдыхъ волосъ?

Другъ мой! Я входилъ въ одну комнату, въ другую, я опускался на диванъ, заламывалъ руки за голову и голосомъ, въ которомъ дрожало отчаяніе, говорилъ Утѣшительницѣ:

— Дорогая Утѣшительница, я умираю.

Утѣшительница,—полная привѣтливая дама, съ полнымъ лицомъ, блестящими глазами, съ немножко самоувѣренной улыбкой и маленькой ироніей, но всегда съ истинной привѣтливостью и прекрасной чуткостью, оправляла кружева на своихъ платьяхъ и спрашивала:

— Что съ вами, мой добрый юноша?

Я отвѣчалъ:

— Утѣшительница, дорогая Утѣшительница,—я страдаю.

Она улыбалась.

— Все тѣ же страданія? спрашивала она.

— Тѣ же, тѣ же, отвѣчалъ я.—Я одинокъ, какъ и вчера, какъ и мѣсяцъ тому назадъ, какъ и годъ. Я пишу, моихъ картинъ не хотятъ знать, меня давитъ равнодушіе, на которое я постоянно наталкиваюсь, и завтра я выброшу кисти и палитры въ окно.

Утѣшительница говорила:

— Голубчикъ, нельзя такъ. Вы не знаете жизни, хо-

рошій мой,—вы ее не знаете. Пускай смѣются, а вы идите гордо и прямо, идите и идите.

— Куда же я дойду? восклицалъ я.

Утѣшительница спокойно говорила:

— Къ славѣ.

Другъ мой, ты понимаешь ли, что значили для меня тогда эти два, тихо и увѣренно произнесенныя, слова? Понимаешь ли?

Я, какъ безумный, вскакивалъ съ дивана, сжималъ въ своихъ рукахъ полныя, бѣлыя, душистыя руки Утѣшительницы, я цѣловалъ каждый палецъ и говорилъ:

— Утѣшительница, вы очаровательная женщина. Вы для меня—все!

Но Утѣшительница скромно отвѣчала:

— Милый мой,—вы увлекаетесь. Я самая обыкновенная женщина,—и въ глазахъ Утѣшительницы вспыхивалъ глубоко-глубоко тотъ яркій огонекъ—искренній и лукавый, тотъ огонекъ, другъ мой, страшный, какъ чума, передъ которымъ мы трепещемъ, и который мы—экзальтированные юноши, пожилые, старики,—не разгадываемъ и, не разгадавъ, сходимъ въ могилу. О, этотъ огонекъ, это отраженіе какой то всегда скрытой отъ насъ грани женской души, той грани которая въ своей лживости правдива и въ правдѣ лжетъ!

Но въ тѣ дни я пренебрегалъ имъ. Въ комнатѣ былъ полумракъ, въ столовой звенѣли посудой, наверху раздавался звонкій смѣхъ дочери Утѣшительницы, дѣвочки-подростка—она шалила съ котятами, за окномъ визжала стужа, снѣгъ падалъ большими хлопьями, а Утѣшительница держала въ своихъ рукахъ мою руку и спокойно говорила:

— Голубчикъ, вы молоды, вы сильны, вы отважны, вы любите искусство. Вамъ ли робѣть?

Я вскакивалъ съ дивана, потрясалъ кулаками и восклицалъ:

— Утѣшительница, вы правы. Долой робость! Я молодъ, я страшно молодъ!

И я снова припадалъ къ ея выхоленнымъ рукамъ и часто, не скрою отъ тебя, изъ моихъ глазъ на эти душистыя руки капали соленыя крупныя слезы, накопившіяся съ самаго утра, сѣраго, страшнаго столичнаго утра.

Она вынимала платочекъ съ кружевомъ, смахивала слезы и говорила:

— Вотъ и слезы. Къ чему онѣ? Милый юноша, успокойтесь.

И она улыбалась.

Вѣтеръ за окномъ шумѣлъ и шумѣлъ, дѣвочка смѣялась, возилась съ котятами, а я успокаивался.

Потомъ Утѣшительница звала дочь.

Слышно было, какъ дѣвочка сбѣгала по деревянной лѣстницѣ, стучала каблучками, хлопала въ ладоши и болтала сама съ собою. А потомъ пріоткрывала портьеру, просовывала головку съ голубой ленточкой и спрашивала:

— Ты звала меня, мама?

Утѣшительница говорила:

— Сыграй съ художникомъ въ четыре руки.

Другъ мой, ты, конечно, много разъ слыхалъ эти славныя вещицы въ четыре руки—Мендельсона, Вебера, Шуберта, гдѣ въ басахъ безконечныя тремоло, и аккорды—бухъ, бухъ! а въ violino трели, пассажи, гдѣ каждая часть заканчивается патріархальнымъ аккордомъ и гдѣ, послѣ каждой части, немножко отдыхаютъ, немножко улыбаются, вытираютъ потъ со лба и говорятъ:

— Слава Богу, пополамъ съ грѣхомъ доѣхали до конца.

Ты знаешь эти вещи въ четыре руки, которыя тянутся по цѣлымъ часамъ, которыя написаны на десят-

кахъ и сотняхъ страницъ и которыя такъ успокаиваютъ тебя. Свѣчи мигаютъ, бѣлыя страницы съ черными знаками мелькаютъ одна за другой, гдѣ-то въ третьей комнатѣ пьютъ чай и разговариваютъ шопотомъ, а тамъ въ ненастномъ вечерѣ сочатся слезы дождя и въ темнотѣ шмыгаютъ злобныя тѣни.

Дѣвочка говорила:

— Мы, конечно, начнемъ съ «Фингаловой пещеры?»

Я отвѣчалъ:

— О, конечно, мой милый цыпленокъ,—мы начнемъ съ «Фингаловой пещеры».

Открывалась клавіатура черной рояли, раскладывались толстыя ноты въ коричневомъ переплетѣ съ двумя иниціалами—«С. К.», заключенными въ наивную виньетку, лицо дѣвочки дѣлалось очень умненькимъ, очень серьезнымъ, и она говорила:

— Прошу васъ, художникъ, не дурачиться. Вы знаете—я не люблю, когда вы дурачитесь.

О, мой другъ, если бы только я зналъ, какъ дорого впослѣдствіи мнѣ обойдутся эти шутки—я былъ бы нѣмъ, какъ рыба. Но я, мой другъ, не зналъ. Я позволялъ себѣ раздувать щеки и хлопать языкомъ въ скучныхъ и длительныхъ мѣстахъ, я позволялъ лѣвой рукѣ, когда ей нечего было дѣлать, щекотать за ушкомъ славнаго подростка и я шепталъ ей:

— Милый цыпленочекъ, улыбнитесь, цыпленочекъ! Нельзя быть такой сердитой.

Но дѣвочка говорила:

— Если вы, художникъ, не будете серьезно играть,— я закрою ноты.

И, другъ мой, я уже и тогда, чортъ возьми, робѣлъ передъ дѣвчонкой, которая сегодня будетъ моею женой, уже тогда, оглянувшись въ полуоборотъ, я видѣлъ въ дѣтскихъ чертахъ ея лица тѣ черты, которыя теперь

застыли въ странной и невозмутимой холодности, а въ глазахъ подростка видалъ тотъ загадочный блескъ, который пугалъ меня въ глазахъ ея матери, Утѣшительницы. И я не убѣжалъ? Почему? О, почему?

Послѣ Фингаловой пещеры мы играли безконечныя семейныя пасторали, потомъ раскрывали старика Моцарта и выстукивали тактъ, а потомъ, другъ мой, кончали какимъ-нибудь венгерскимъ вальсомъ, шутили, хохотали, я свистѣлъ и дѣлалъ страшныя рожи.

Входила Утѣшительница, гладила дочь по волосамъ и говорила:

— Я люблю, когда ты съ художникомъ играешь въ четыре руки.

Дѣвочка отвѣчала:

— Онъ шалитъ,—а потомъ вскакивала со стула и просила:

— Покажите мнѣ ваши мускулы.

И, другъ мой, я показывалъ ей мускулы.

Мои мускулы! Я краснѣлъ, весь раздувался, чтобы не ударить передъ дѣвчонкой въ грязь лицомъ и говорилъ:

— Цыпленокъ, ощупывайте.

Дѣвочка ощупывала, заливалась хохотомъ и говорила матери-Утѣшительницѣ:

— Ахъ, мама, какіе у него мускулы. Вотъ если бы у меня были такіе. И она сгибала свои дѣтскія руки и ощупывала ихъ.

Другъ мой, ты конечно, знаешь мои мускулы. Ты ихъ великолѣпно знаешь.

А Утѣшительница замѣчала:

— Онъ мужчина, у него должны быть крѣпкія руки,—и улыбалась.

О, женщины, женщины.

За чаемъ въ своей записной книжкѣ я рисовалъ пресмѣшныхъ лошадей,—онѣ скалили зубы,—рисовалъ

собакъ съ глупыми мордами, рисовалъ людей, похожихъ на звѣрей, и звѣрей, похожихъ на людей, а потомъ, подъ портретомъ толстой дамы съ тремя черными бородавками на правой щекѣ, подписывалъ:—«С. К. въ сорокъ шесть лѣтъ».

Клянусь тебѣ, мой другъ, что, кромѣ этихъ невинныхъ шутокъ, я не грѣшенъ больше ни въ чемъ.

Нѣсколько разъ въ недѣлю я приходилъ въ маленькій домикъ, затерявшійся среди огромныхъ домовъ, звонилъ, входилъ, опускался на диванъ, иногда плакалъ, цѣловалъ руки Утѣшительницы, ощущалъ на своей головѣ ея душистыя, мягкія ладони, успокаивался, игралъ «Фингалову пещеру» показывалъ мускулы, рисовалъ журавлей и собакъ, а въ полночь уходилъ къ себѣ домой и засыпалъ подъ байковымъ одѣяломъ.

Другъ мой, изъ года въ годъ я крѣпче и крѣпче привязывался къ этому дому, все больше и больше вѣрилъ лицу Утѣшительницы, которая умѣла внушить вѣру въ мою молодость, въ мою силу, въ мой талантъ, которая такъ тепло привлекла меня къ себѣ, изстрадавшагося, часто слишкомъ экзальтированнаго, а еще чаще мрачнаго, какъ могила.

И шли годы.

Въ лѣсахъ и садахъ подростали деревья, изъ маленькихъ становились больше, кудрявились и шумѣли своей листвой. Въ лицахъ друзей появились складки опыта жизни, въ рѣчахъ ихъ слышались новыя нотки—иронiи и раздраженія, на вѣкахъ глазъ высохли слезы молодости, а въ грудь вошло огромное міровое страданіе.

Я, мой другъ, какъ ты знаешь, уже началъ писать большія полотна, и эти полотна были живыми трепетными кусками, вырѣзанными изъ кроваваго сердца. Ты знаешь, что въ мою убогую комнату входила нарядная, пышная, лучезарная фантазія, и я плакалъ, плакалъ счастливыми

слезами, надѣленный ея дарами. Ты знаешь, какъ я писалъ: часами, днями, недѣлями, мѣсяцами, не отрываясь отъ холста, ты знаешь, какъ я худѣлъ, блѣднѣлъ и желтѣлъ, и знаешь тѣ страшные, божественные сны, которые опускались на мое ложе, восхищали мою душу и изнуряли ее.

Въ своей сѣрой лачугѣ, подъ сѣрымъ небомъ я зажигалъ полотна огнемъ—золотымъ каскадомъ солнечныхъ искръ, я вдыхалъ въ зелень деревъ ароматъ весны, мои рѣки и фонтаны звучали серебрянымъ звономъ, и я—часто больной, часто голодный—хотѣлъ выбросить людямъ столько блеска, ударить въ нихъ такимъ солнцемъ, такимъ аромáтомъ, такой лазурью неба, такой бѣлоснѣжной парчею облаковъ, чтобы, какъ живительнымъ дождемъ, вспрыснуть ихъ сухія, почернѣвшія души. Въ свою лачугу за руку я вводилъ длинныя вереницы закованныхъ въ цѣпи людей, я поворачивалъ ихъ лица къ свѣту, съ упорствомъ анатома, разглядывалъ рубцы застывшаго страданія, какъ рѣзцомъ проводилъ эти черты землистой краской по бѣлому холсту и подписывалъ:—ваши братія.

И ты, мой другъ, конечно, знаешь, что о нѣкоторыхъ изъ моихъ работъ дали самые лестные отзывы. Ты знаешь, что говорили о полотнѣ «Земля», что говорили о «Полевомъ богатырѣ», что говорили о «Караванѣ облаковъ», и ты, конечно, помнишь, моихъ «Рабовъ», ту мою вещь, которую я вынашивалъ съ мукой и которую такъ любилъ. Меня уже понимали, и я, мой другъ, наконецъ, узналъ счастье творчества—мучительнаго, но свободнаго, сознательнаго и неустаннаго.

Я уже не склонялся къ рукамъ Утѣшительницы, и она не видала моихъ слезъ. Слезы изсякли, глаза высохли и зажглись лихорадочнымъ огнемъ.

Утѣшительница говорила:

— Вы, мой милый, то худѣете, то полнѣете, и глаза ваши воспалены. Что съ вами?

Я отвѣчалъ:

— О, нѣтъ, я совершенно здоровъ.

Мой другъ, дѣйствительно, я то неожиданно худѣлъ, то неожиданно полнѣлъ, и, разглядывая себя въ зеркало, удивлялся блеску глазъ и желтизнѣ кожи. Но я зналъ, что тотъ, кто переживалъ эти величайшія напряженія духа, кто съ такой мучительной постепенностью слѣдилъ за развитіемъ своихъ фантастическихъ замысловъ, кто, проснувшись ночью, лежалъ по часамъ съ открытыми глазами и зажигалъ тьму яркимъ, словно бенгальскимъ, огнемъ, видалъ полки людей и тысячи лицъ,—тотъ, конечно, не похожъ на тѣхъ краснощекихъ, которые въ своей веселой жизни безъ труда наживаютъ эту краску. И теперь, мой дургъ, я наталкивался часто на всевозможные курьезы. Моя хозяйка думала, что я худѣю потому, что сижу безъ денегъ, пріятели думали, что я проигрался и хочу повѣситься, дѣвушки думали, что я влюбленъ въ одну изъ нихъ, а Утѣшительница...

Утѣшительница за послѣдніе годы немножко пополнѣла, немножко постарѣла, но не утеряла своей прежней привѣтливости. Мужъ ея, о которомъ я тебѣ ничего не разсказывалъ, такъ какъ это безличный человѣкъ—маленькій, съ маленькой лысиной, всегда занятой и рѣдко проводящій вечера дома, сталъ еще болѣе безличнымъ, а дѣвочка-дочь превратилась въ стройную дѣвушку съ прекраснымъ чистымъ лицомъ, съ глубокими серьезными глазами, всегда немножко грустную, всегда немножко веселую, немножко застѣнчивую, но, какъ и мать, всегда привѣтливую и ласковую.

Мой другъ, развѣ мы можемъ услѣдить, какъ происходятъ эти загадочныя измѣненія въ человѣкѣ, какъ годы преображаютъ лицо, удлиняютъ ростъ и совершенно

преображаютъ его душу? Въ одинъ прекрасный день мы входимъ въ ту комнату, гдѣ бывали тысячу разъ, мы хотимъ обнять ту дѣвочку, или того мальчика, котораго часто подбрасывали къ потолку, и вдругъ видимъ новое лицо, подмѣчаемъ незнакомую намъ улыбку, вдругъ слышимъ странное замѣчаніе и думаемъ:—совершилось,—дѣвочка стала дѣвушкой, мальчикъ—юношей.

Дочь Утѣшительницы по-прежнему возилась съ котятами на верху и визжала, но еще чаще она затворялась въ своей комнатѣ, и Утѣшительницѣ приходилось нѣсколько разъ звать ее, прежде чѣмъ она сходила внизъ, чтобы сыграть со мною въ четыре руки «Фингалову пещеру», или одинъ изъ венгерскихъ вальсовъ.

И, другъ мой, она уже не просила меня показать ей мои мускулы, и я уже не напрягалъ подъ пиджакомъ жалкую шишку худыхъ рукъ.

Въ отношеніяхъ матери-Утѣшительницы къ ея дочери бросалась въ глаза теперь новая черта. Мать была очень внимательна къ дочери, мать цѣловала, прижимала къ себѣ дочь, но мать теперь каждымъ своимъ маленькимъ замѣчаніемъ, словомъ, взглядомъ, даже движеніемъ старалась дать понять, что ея дочь выросла, что ея дочь красивая дѣвушка, что ея дочь прекрасно воспитана, и что она—мать, чортъ возьми, дорожитъ своей дочерью.

Утѣшительница оправляла волосы дочери и говорила:

— Дорогая моя.

Она оправляла складочки ея платья и говорила:

— Дорогая моя.

Она трепала ее по щекѣ, цѣловала и говорила:

— Дорогая моя.

Дочь молчала, отвѣчала на поцѣлуи матери, и серьезная, грустная, уходила къ себѣ наверхъ.

Мы съ Утѣшительницей болтали, какъ и въ прежъ-

ніе годы но цѣлымъ часамъ, она, какъ и въ прежніе годы, давала мнѣ свои полезные совѣты, она любила меня любовью покровительствующей женщины, но, другъ мой, теперь мы что-то замалчивали, что-то тщательно обходили, чего-то не договаривали.

Что? Что?—думалъ я, и мысль моя, какъ пойманная птица, билась и не могла найти выхода.

Ахъ! Утѣшительница теперь всегда такъ спокойно улыбалась, она такъ удобно устраивалась на глубокихъ диванахъ, такъ иногда странно смотрѣла на меня, словно что-то взвѣшивала, что-то соображала, думала о чемъ-то забавномъ, о томъ, о чемъ думаютъ всегда женщины и что не разгадать намъ во всей полнотѣ до самой смерти.

Она улыбалась, она говорила—мой, милый она—это ужасно—всегда соглашалась со мною, она противорѣчила очень осторожно и, другъ мой, былъ тихій вечеръ, когда мы, какъ всегда, сидѣли съ Утѣшительницей рядомъ на диванѣ и болтали. Вдругъ Утѣшительница взяла мою руку и сказала:

— Дорогой художникъ, вы скрываете что-то отъ меня.

Я отвѣтилъ:

— Утѣшительница, я ничего не скрываю.

Она сказала:

— Вы не откровенны теперь со мною. Помните наши прежніе вечера, помните ваши слезы, ваши прекрасныя слезы?

Я сказалъ:

— Дорогая Утѣшительница, слезы изсякли: мои теперешнія страданія не знаютъ слезъ.

Утѣшительница улыбнулась:

— А, вотъ вы и попались. Вы страдаете, но не говорите о своихъ страданіяхъ.

Я сказалъ:

— Если бы я хотѣлъ выразить свои страданія словами, я бы уже не могъ сдѣлать этого.

— Но почему, почему? спросила Утѣшительница.— Что случилось? Вѣдь я такъ близка вамъ, такъ любила и люблю васъ.

О, эта женская заботливость, которая такъ часто бываетъ неумѣстна и такъ узка!

Какъ растолковать ей, что я выросъ для утѣшеній и не хочу ихъ знать? Какъ?

Утѣшительница положила руку на мое колѣно, потомъ подняла руку, погрозила пальцемъ, улыбнулась и сказала:

— Здѣсь что-то не то. Признайтесь?

Я покраснѣлъ и сказалъ:

— Утѣшительница. Вѣрьте мнѣ! Я всегда откровенъ съ вами.

Она холодно отвѣтила:

— Насильно милъ не будешь. Но я догадываюсь.

Другъ мой, краска залила все мое лицо, волоса зашевелились на головѣ, мысль, какъ птица въ клѣткѣ, заметалась и забилась, я сжалъ ея руку и воскликнулъ:

— Утѣшительница! Вѣрьте мнѣ—вы ошибаетесь. Вѣрьте!

Но она улыбнулась и тихо сказала:

— Я догадываюсь...

Другъ, я хотѣлъ выбѣжать изъ комнаты, схватить пальто, броситься изъ подъѣзда на улицу, скрыться во мракѣ ночи, но, наоборотъ, я словно уличенный въ чемъ-то преступномъ, началъ оправдываться, говорить всякій вздоръ, запкался, краснѣлъ, а она, мой другъ, улыбалась полной спокойной улыбкой и думала...

О, ты уже догадываешься, о чемъ она думала. Конечно, ты догадываешься.

И, дѣйствительно, словно влюбленный, я началъ блѣднѣть, блѣднѣть, желтѣть, я то запирался по недѣлямъ въ своей комнатѣ и не показывался въ домѣ Утѣшительницы, то, наоборотъ шатался туда утромъ вечеромъ, завтракалъ, обѣдалъ, ужиналъ, пилъ по десяти стакановъ чаю, смотрѣлъ, краснѣлъ, глупѣлъ, пошлѣлъ, говорилъ, говорилъ, а Утѣшительница улыбалась, улыбалась и улыбалась.

Она оправляла платье дочери и говорила:

— Дорогая моя.

Цѣловала дочь и говорила:

— Дорогая моя.

И однажды поставила меня рядомъ съ дочерью и спросила:

— А кто изъ васъ выше?

Я плоско захохоталъ и сказалъ:

— Мы одного роста, о, да, мы одного роста!

Дѣвушка вспыхнула, покраснѣла, поднялась по лѣстницѣ наверхъ, хлопнула дверью и заперлась въ своей комнатѣ. А вечеромъ сказала, что у нея болитъ голова и не вышла къ чаю.

Другъ мой, я заболѣлъ, какъ женихъ, неудовлетворенный и томимый страстью.

Дома я лежалъ по часамъ съ закрытыми глазами, по улицѣ шелъ, озираясь по сторонамъ, и мнѣ казалось, что кони скалятъ зубы, собаки насмѣхаются надо мною, мясники въ мое лицо бросаютъ кости, а мальчишки указываютъ на меня пальцами и кричатъ:

— Дуракъ, дуракъ!

О, мука!

Я не работалъ по недѣлямъ, а если работалъ,—работалъ лихорадочно, словно въ бреду, и создавалъ страшныя вещи.

Ты помнишь, мои послѣднія полотна—моихъ «Вампировъ»?

Ты помнишь этихъ дѣвушекъ съ застывшимъ лицомъ, съ огромными грудями самокъ, съ роскошными смольными волосами и эти волоси, какъ змѣи, обвились вокругъ ихъ шеи? Онѣ «вампиры» склонились къ широкой, огромной груди гигантовъ-силачей и пьютъ ихъ алую кровь. Ты помнишь искаженныя лица гигантовъ, искаженныя въ нечеловѣческихъ мукахъ? О, блѣдность ихъ лицъ — моя блѣдность! Моя, моя!

А Утѣшительница дѣлалась все величественнѣе, ея лицо, какъ небо, то хмурилось, если я не появлялся въ маленькомъ домикѣ по недѣлямъ, то прояснялось, какъ лазурь. Она обнимала дочь, она ласкала ее, она даже цѣловала руки дочери, и такъ просто она это дѣлала, такъ ласково, шутливо, какъ добрая, славная мать. А потомъ обращалась ко мнѣ и говорила:

— Нельзя забывать насъ, вашихъ друзей, и по недѣлямъ скрываться.

Прислуга низко кланялась и предупредительно снимала съ моихъ плечъ ветхое пальто, таксъ лизалъ мои руки своимъ безконечнымъ отвратительнымъ, краснымъ языкомъ, для меня, мой другъ, спеціально для меня заваривали свѣжій чай, и два первыхъ стакана наливала Утѣшительница, а третій—ея дочь.

Утѣшительница говорила:

— Дѣвочка, пріучайся къ хозяйству.

И, другъ мой, дѣвочка пріучалась къ хозяйству, наливая мнѣ третій стаканъ чая.

О, моя Утѣшительница, какъ она была всегда умна, какъ тактична, какъ внимательна,—добрая Утѣшительница, которая когда то своимъ кружевнымъ платкомъ смахивала слезы моей юности—холодной, голодной, осмѣянной, и душистыми руками проводила по воспаленной головѣ.

А критика теперь забарабанила о моихъ работахъ въ свой турецкій барабанъ, приписывала мнѣ то, о чемъ я

никогда не думалъ, и отнимала то, что я такъ горячо любилъ.

Я приходилъ въ домъ Утѣшительницы, она протягивала мнѣ номеръ журнала или газеты, и говорила:

— Мой милый, васъ хвалятъ и вамъ пророчатъ большую славу. Это я—ваша Утѣшительница—привела васъ къ славѣ.

И она спрашивала дочь:

— Ты читала отзывы о его «Вампирахъ»?

Дѣвочка отрицательно качала головой, читала отзывы отъ первой строчки до послѣдней, а потомъ поднималась къ себѣ на верхъ и закрывала дверь на ключъ.

Съ какимъ чувствомъ, мой другъ, я долженъ былъ прислушиваться къ этому сухому, металлическому лязгу звонка?

Утѣшительница говорила:

— Она еще ребенокъ, совершенный ребенокъ.

Но ребенокъ развивался, развивался и выросъ въ красивую, сильную, серьезную дѣвушку. А мать цѣловала, гордилась своимъ ребенкомъ и одѣвала ее, какъ куколку.

Боже мой, сколько у нея было платьевъ: розовыя, бѣлыя, голубыя, черныя, темно-коричневыя, свѣтло-коричневыя, простенькія, роскошныя, воздушныя, прозрачныя, дѣвственныя, какъ первый снѣгъ, алыя, какъ зарево заката, нѣжныя, какъ лазурь, синія, какъ васильки. Боже мой,—огромное богатство!

Стройная, высокая, она надѣвала бѣлое платье, и мы ѣхали въ Большой Театръ, гдѣ сіяли люстры, камни и туалеты женщинъ.

Утѣшительница садилась съ дочерью впереди-рядомъ, а сзади мы съ отцомъ, маленькимъ, лысымъ. Отецъ все время улыбался, хлопалъ меня по плечу и часто бѣгалъ въ буфетъ.

Оркестръ рыдалъ, рыдали скрипки, рыдали віолончели,

рыдали арфы, пѣвцы потрясали руками и выкрикивали проклятья, а мнѣ казалось, что оркестръ рыдаетъ надъ моей разбитой душой, пѣвцы проклинаютъ меня за мое безсиліе, казалось, что изъ перваго ряда ложъ, второго, третьяго, изъ балкона, галлереи, партера,—всѣ указываютъ пальцами и кричатъ:

— Дуракъ! Дуракъ!

Мнѣ казалось, что всѣ смотрятъ на дочь Утѣшительницы въ бѣломъ платьѣ, грустную, красивую и думаютъ:

— Бѣдняжка.

А Утѣшительница оборачивалась и говорила:

— Мой милый, нельзя быть такимъ скучнымъ.

О, она опять утѣшала меня!

Мы гуляли по Кузнецкому, на яркомъ солнцѣ горѣлъ пунцовый зонтикъ дѣвушки, а сѣрый Утѣшительницы отливалъ сталью.

Встрѣчные пріятели жали мою руку, улыбались, и мнѣ чудилось въ ихъ улыбкахъ.

— Недурно малый пристроился.

Мы катались по аллеямъ парка, мы ѣздили за городъ, и на плечахъ дочери Утѣшительницы было прелестное золотистое манто, золотистое, какъ ея волосы.

Мы останавливались возлѣ кондитерскихъ, покупали огромныя коробки конфектъ, и ея ручки въ бѣлыхъ лайковыхъ перчаткахъ прикасались къ шоколаднымъ бомбошкамъ, пробовали ихъ,—а мнѣ вездѣ слышались шопоты, насмѣшки, всюду меня преслѣдовали глаза Утѣшительницы то серьезныя, то насмѣшливые, то злые, то сострадательные.

Прислуга кланялась все ниже и ниже, даже дворникъ кланялся, даже его помощникъ. Меня знали собаки всей улицы, извозчики меня знали, и я, какъ загипнотизированный, шатался въ этотъ домъ и утромъ, и въ пол-

день, и вечеромъ, ѣлъ, пилъ, потѣлъ, краснѣлъ, заикался и говорилъ всякую чушь

О чемъ я говорилъ? Я хвалилъ своихъ враговъ, я проклиналъ друзей, другъ мой, я даже тебя проклиналъ, прости меня, другъ мой!

Словно черная тѣнь я уходилъ изъ маленькаго дома и бродилъ по безлюднымъ улицамъ. Я видѣлъ алые разсвѣты, я стоялъ на мостахъ и смотрѣлъ на волны рѣки, я заходилъ въ чайную, гдѣ ругались извозчики, я заходилъ въ трактиры, гдѣ шипѣли органы, я шелъ, шелъ. Небо темнѣло, изъ голубого становилось чернымъ, сочился дождь, лилъ ливень, громыхалъ громъ, сверкала молнія. Опять небо прояснялось, опять тянулись облака, спускался вечеръ, спускалась ночь,—усталый, голодный, я поднимался къ себѣ на пятый этажъ, валился на постель и съ открытыми глазами лежалъ опять до утра.

И вотъ я заперся, и какъ волкъ, оскалившій зубы, сидѣлъ въ своей лачугѣ три недѣли. Да, мой другъ, три недѣли.

И въ теченіе этого времени я получилъ четыре записки.

Первая:

— Мой другъ, мы скучаемъ безъ васъ. Утѣшительница.

Вторая:

— Мой другъ, что съ вами? Утѣшительница.

Третья:

— Мой другъ, не больны ли вы? Утѣшительница.

Четвертая:

— Художникъ, вы злой. Цыпленокъ.

Четвертую записку я разорвалъ на мелкіе клочки и, пожелтѣвшій, съ ввалившимися щеками, съ чернотой подъ глазами, пришелъ въ маленькій домикъ.

Утѣшительница была очень серьезна, ея мужъ былъ

очень серьезенъ, дочь была очень серьезна, а таксъ такъ посмотрѣлъ на меня, словно подумалъ:

— Эхъ, ты, размазня!

Боже мой!—Весь домъ словно обледенѣлъ. Я съежился, забился въ уголъ и промолчалъ весь вечеръ.

Дочь съ девяти часовъ до одиннадцати играла экзерсисы, отецъ почему-то сидѣлъ дома и зѣвалъ весь вечеръ, а Утѣшительница шуршала юбками, казалась очень оффиціальной и говорила:

— Другъ мой, вы заработались, изнервничались, вамъ надо отдохнуть—уѣхать куда-нибудь.

О, она опять утѣшала меня.

Но въ ея глазахъ игралъ тотъ огонекъ, сверкало то отраженіе скрытой отъ насъ грани женской души, которую мы, юноши, поумнѣе, старики, не разгадываемъ и, не разгадавъ, сходимъ въ могилу. Той грани, которая въ своей лживости правдива, и въ правдѣ лжетъ.

А изъ гостиной все неслись и неслись звуки экзерсисовъ. Тамъ на клавіатурѣ бѣгали руки цыпленка съ бриллiантовыми перстнями, и лицо ея было серьезное, строгое, холодное—холодное, какъ весь домъ въ этотъ день, а глаза смотрѣли въ ноты и ничего, конечно, кромѣ этихъ бѣлыхъ нотъ не видѣли.

Утѣшительница опять повторила:

— Вы устали, вамъ надо отдохнуть, уѣхать куда-нибудь.

Но я, мой другъ, не уѣхалъ.

Я пришелъ въ маленькій домъ на слѣдующій день, я пришелъ черезъ два дня, черезъ три дня, черезъ четыре дня, я все рвался и рвался туда, гдѣ было такъ мучительно и больно.

Воздухъ въ маленькомъ домѣ былъ наэлектризованъ, словно передъ бурей и, казалось, вотъ-вотъ разразится гроза.

*

Ты знаешь, какъ въ природѣ: небо чернѣетъ, скопляются громады тучъ, въ безднахъ ихъ проваловъ таятся молніи, небо дышетъ холодомъ,—а нѣжныя цвѣты на землѣ закрываютъ свои лепестки. И вдругъ вся земля въ страхѣ застываетъ, все живое прячется, а тамъ вверху скопляется ужасъ, который вотъ-вотъ низринется на землю. И небо раскалывается надвое,—низвергаются хляби воды и заливаютъ черную, растерзанную землю.

Мой другъ, я жаждалъ этого грома. Я хотѣлъ, чтобы меня прогнали, оскорбили, унизили. Но нѣтъ: всѣ молчали томительно, безконечно, изъ гостиной неслись звуки экзерсисовъ—та-та-та-, та-та-та, а у рояли сидѣла стройная дѣвушка въ прозрачномъ платьѣ и руки ея бѣгали, бѣгали.

О, мука!

Забившись въ уголъ, я слушалъ эти рѣзкіе звуки, эти удары замшевыхъ молоточковъ о струны и мнѣ казалось, что чья-то женская рука вколачиваетъ серебряные гвозди въ мою голову.

Я закрывалъ глаза, и предо мной въ кровавомъ цвѣтѣ вставали всѣ вампиры—хищные, страшные, жадные, и взглядъ ихъ немигающихъ глазъ проникалъ въ мое сердце.

Я вѣроятно тихо стоналъ, такъ какъ Утѣшительница спрашивала:

— Вы поете? Да?

О, нѣтъ,—я не пѣлъ. Я скрежеталъ зубами.

И наступило воскресенье,—яркое, лѣтнее воскресенье.

Наканунѣ я легъ въ постель близкій къ сумасшествію, а поднялся въ это воскресное утро странно бодрый, странно спокойный, открылъ окно и вдругъ отшатнулся отъ окна въ болѣзненномъ восторгѣ. Мнѣ показалось, что я впервые вижу это небо, впервые вижу эти крыши,

купола, этихъ птицъ, мнѣ захотѣлось хохотать и прыгать по комнатѣ.

Я пѣлъ, я свистѣлъ, я хлопалъ въ ладоши и, выглянувъ въ окно, погрозилъ какому-то мальчишкѣ пальцемъ.

Я пытался писать, но не могъ. Я пытался читать—тоже не могъ. Тогда я надѣлъ шляпу, накинулъ пальто и вышелъ изъ дому.

Боже мой! Сколько блеску, сколько солнца, сколько движенія! Какой ароматъ! Какой звонъ тяжелыхъ колоколовъ! Какъ рельефно золотятся шапки этихъ церквей, какъ сверкаютъ стекла магазиновъ, какъ строго очерчены предметы, какъ красивы дѣвушки, какъ красивы ребята въ чистыхъ рубашенкахъ и желтыхъ башмачкахъ.

Я словно воскресъ. Я обошелъ всѣ сады, я побывалъ въ кофейняхъ, я шутилъ съ продавцами, я болталъ съ газетчиками,—я готовъ былъ взлетѣть на воздушномъ шарѣ къ самому небу.

Я навѣстилъ всѣхъ пріятелей, говорилъ, спорилъ, волновался, но вдругъ часамъ къ шести сразу умолкъ, сразу усталъ, потухъ тотъ свѣтъ, который освѣтилъ для меня на нѣсколько часовъ все окружающее, и, сгорбившійся, безвольный, я пошелъ по направленію къ маленькому дому.

Ледъ растаялъ.

Сколько привѣтливости! Какое вниманіе, какая очаровательная улыбка у Утѣшительницы! Какая заботливость!

На чайномъ столѣ яркій букетъ цвѣтовъ, печенье, пирожныя, фрукты,—вишни, сливы, груши, виноградъ,—все, что я такъ люблю и что истребляю въ такомъ огромномъ количествѣ.

— Мы васъ ждали съ утра, хотѣли поѣхать за городъ,—сказала Утѣшительница.

Потомъ:

— Ахъ, какъ вы похудѣли, какъ похудѣли.

Потомъ:

— Мой милый,—вы, конечно, никуда не уѣзжаете—остаетесь съ нами?

А недѣлю тому назадъ она настаивала, чтобы я уѣхалъ.

Потомъ:

— Вы что теперь пишете?

Вѣдь вчера я сказалъ, что ничего не пишу.

Потомъ:

— Кто купилъ вашихъ «Вампировъ»?

Вѣдь три дня тому назадъ я сказалъ, кто купилъ.

А потомъ:

— Моя дѣвочка скучаетъ,—не знаю, что мнѣ съ нею дѣлать.

Это было выше моихъ силъ. Я прошелъ въ кабинетъ и забился тамъ на диванѣ.

Вошла дочь и сказала:

— Сыграемъ «Фингалову пещеру».

Я отвѣтилъ:

— Нѣтъ, нѣтъ. Сегодня я не могу играть. Я боленъ,—да, я боленъ.

Она спросила:

— Что съ вами?

Я заскрежеталъ зубами и отвѣтилъ:

— У меня болитъ голова.

Дѣвушка ушла, но скоро вернулась и принесла два порошка фенацетина по четыре грана и сказала:

— Проглотите сейчасъ одинъ порошокъ, а черезъ полчаса другой.

И она ушла.

Я положилъ порошки на языкъ, улыбнулся дьявольской улыбкой и проглотилъ сразу оба.

А въ гостиной начали разсыпаться экзерсисы: та-та-та, та-та-та.

О, ужасъ!

Я закрылъ глаза, потомъ открылъ и посмотрѣлъ въ окно.

Спускался вечеръ.

Въ небѣ громоздились фіолетовыя облака, по краямъ пунцовыя, а потомъ уплывали и оставляли за собой золотыя стрѣлки.

И вдругъ мнѣ сдѣлалось душно, жарко, мою грудь сжали тиски, я хотѣлъ кричать, мнѣ было больно, мнѣ было страшно, и вдругъ я показался самъ себѣ омерзительнымъ авантюристомъ, и вдругъ изъ моихъ глазъ выступили двѣ крупныя слезы, скатились по щекамъ и упали на руки.

О, мой другъ, я очень усталъ за эти послѣдніе мѣсяцы.

Вошли Утѣшительница.

Она увидала мои слезы, какъ добрая мать, подсѣла ко мнѣ, она привлекла къ себѣ мою голову и голосомъ, въ которомъ дрожало неподдѣльное сочувствіе, спросила:

— Вы плачете?

Я прильнулъ къ ея рукамъ.

— Мой милый, будьте откровенны,—и она опустила свои мягкія руки на мою голову.—Скажите, въ чемъ дѣло, и я облегчу ваши страданія.

И я, мой другъ, прошепталъ:

— Вы знаете все, вы все знаете.

— О, мой милый!—воскликнула Утѣшительница и поцѣловала мои волосы.

Экзерсисы пересыпались своей дробью, а по клавіатурѣ бѣгали нѣжныя руки съ брилліантовыми перстнями.

Сгущались сумерки, и тѣни прятались въ углахъ комнаты.

Все погрузилось въ полумракъ, — только блестѣли зеркала, блестѣли бронзовые часы, а шелковыя занавѣски колыхались и дрожали.

Моя голова лежала на колѣняхъ Утѣшительницы, ея руки перебирали мои волосы, и она разсказывала, какую-то необыкновенную исторію о какой-то необыкновенной любви. Можетъ быть это она такъ страдала, и рвалась къ кому то, рвалась и не могла прижаться къ какому-то сердцу, а можетъ быть и не она. Можетъ быть эти безсонныя ночи, полныя жгучихъ желаній были ея ночи, а можетъ быть и не ея. Она ли говорила кому-то прекрасныя, вѣчныя слова, или не она,—я не знаю, не знаю, мой другъ, ничего не знаю.

Но она, какъ добрая мать, утѣшала меня и вытирала мои слезы.

Я поднялъ голову, она взяла меня подъ руку больного, сгорбившагося, подвела къ окну и сказала:

— Сынъ мой, посмотрите, какой закатъ. Что — въ сравненіи съ этимъ величіемъ наши страданія и радости? Смотрите, мой сынъ!

И я посмотрѣлъ. Небо зажглось пожаромъ. Пурпурное зарево вихрями обложило весь западъ. Тамъ вставали огненныя дворцы, башни, зубчатыя стѣны, словно обрызганныя кровью. Тамъ сидѣли цари кровавыхъ царствъ, небесные великаны. И пали дворцы, разрушились башни, потухла кровь, засверкали на синемъ небѣ звѣзды, выглянулъ мѣсяцъ, узкій,—серебряный.

И въ сумеркахъ комнаты Утѣшительница сказала:

— Вы, сынъ мой, огромный талантъ. Развивайте его и васъ ждетъ слава. О, я давно оцѣнила васъ, давно.

И она поцѣловала мой лобъ...

— Ну, и что же?—спросилъ пріятель.

Художникъ замолчалъ, выпилъ бокалъ пива, вытеръ слезы на глазахъ и сказалъ:

— Въ этотъ же вечеръ меня объявили женихомъ дочери Утѣшительницы. Да, мой другъ, объявили.

Пріятель промычалъ:

— Чортъ возьми. Забавная исторія, — и выпилъ залпомъ свой бокалъ пива.

Но художникъ вытеръ потъ на лбу и сказалъ:

— Не забавная исторія, а—трагическая. Я женюсь, мой другъ, да, мой другъ, женюсь.

И, дѣйствительно, вчера въ восемь часовъ вечера онъ женился.

Дим. Крачковскій.

В. Муйжель.

СТАРУХИНА ЗЕМЛЯ.

Разсказъ.

I.

Шелъ Петра изъ волостного, а ночь спускалась и было уже сумрачнымъ небо, и земля засыпала, стала темной и старой, сѣдой подымавшимся съ низинъ паромъ. И мѣсяцъ всходилъ—узкій и тонкій, какъ кованный изъ блестящаго серебра божій серпъ—взошелъ и остановился и смотритъ на старую землю печальный и одинокій и слушаетъ молчаливо таинственные, ночные шумы ея.

Шелъ Петра знакомой тропкой, тяжело шмургая огромными сапогами по твердой землѣ, говорилъ самъ съ собою и разводилъ руками, а слабая, мало примѣтная тѣнь ломалась на неподвижно вытянувшейся травѣ и тоже двигала скрюченными и измѣненными очертаніями рукъ. Словно живая была она и насмѣшливо дразнила мужика, что идетъ одинъ въ полѣ и бубнитъ что-то себѣ подъ носъ, какъ пьяный.

Прошелъ Петра рутняковскую заброшенную паренину и въ выселокъ зашелъ.

Былъ онъ брошенъ давно, и пять домовъ стояли мертвыми и пустыми, съ заколоченными досками дверями и окнами, растрепавшимися уже крышами. Два года тому назадъ всего пять хозяевъ—братья да дядья, лѣтъ десять отдѣлившіеся отъ Большихъ Рутняковъ, снялись, какъ птицы по осени, продали худобишку, забили избы и

потянули на переселеніе въ Сибирь. Мало выбили имъ земли—голодалъ мужикъ—и ушелъ, а землю Большіе Рутняки опять разбили подъ себя, словно и не было ея. И остались отъ сложной и живой жизни выселка только черныя избы, нѣмыя и сумрачныя, затаившія въ гулкой пустотѣ своей темную память ушедшей жизни человѣческой.

Такъ странно было видѣть эту пустую деревню, придвинувшуюся полукругомъ къ черному пруду и жутко было слушать мертвую тишину ея.

Не запоетъ пѣтухъ, не тявкнетъ собака, не шелохнетъ скотина въ разваливающихся посѣвшихъ углами хлѣвахъ и все молчитъ и прудъ тоже...

Ночью молчитъ глубокій прудъ, мѣсяцъ глядитъ въ студеную глубину его и, какъ черное, бездомное зеркало, точно и ясно повторяетъ водяная гладь холодный блескъ его. И глядятся два мѣсяца, два одинокихъ потонувшихъ въ темномъ просторѣ сироты другъ на дружку и ведутъ нѣмой разговоръ Господь вѣдаетъ о чемъ.

Худая, до страшнаго ободранная, пестрая кошка неслышно пробралась къ водѣ и, аккуратно поджавъ лапки, стала лакать, далеко вытянувъ длинную шею и вздрагивая за каждымъ глоткомъ. Вдругъ замѣтила человѣка и, вся подобравшись, готовая прыснуть въ сторону, уставилась на него злыми и недовѣрчивыми круглыми глазами.

И когда, попрежнему сжавшись, осторожно подалась назадъ—сверкнула зелеными искрами глазь, какъ бѣсъ.

Петра топнулъ ногой и гикнулъ и въ то же мгновенье пестрый мелькающій шарикъ взлетѣлъ на берегъ и юркнулъ подъ осѣвшую воротину.

— Ой, худо, ой, не къ добру тварь подлая дорогу

перебѣжала,—снова заговорилъ мужикъ и двинулся дальше,—да и какому добру быть нынче? Помретъ, помретъ старая, чуетъ мое сердце, въ одночасье помретъ и отберутъ землю...

Онъ шелъ и говорилъ и разводилъ руками, а живая насмѣшливая тѣнь ломалась возлѣ, прыгала и корчилась, какъ отъ затаеннаго хихиканья.

И казалось, будто все было противъ него и таило грядущія бѣды. Молчала ночь,—а если прислушаться, стоя неподвижно—странные звуки стлались по землѣ осторожной волной и трудно было понять—были ли они на самомъ дѣлѣ или чудились утомленному тишиной уху. Какъ будто вздыхалъ кто-то—тяжко и медленно, какъ умирающій, и шепталъ рѣчи, которыхъ понять было нельзя.

Это дышала земля—старая и усталая, и собирала новыя силы, чтобъ родить, а ихъ не было.

— Охъ горе горькое, оскудѣла мать, а все надо, все требуется и не можетъ человѣкъ жить безъ нее...

Отымутъ послѣднія полторы души—копай могилу да ложись лучше! Ходу нѣтъ,—а отымутъ, помретъ старая, какъ пить дать, отымутъ...

Шелъ и ворчалъ, безсильно шевеля пальцами, и весь міръ былъ, какъ могила. Некуда податься—вездѣ стѣна и нѣтъ ходу. Тоненькой робкой ниточкой вилась изнемогающая подъ бременемъ жизни темная мысль и, какъ прикованная невидимой цѣпью, вертѣлась все около того же.

— Помрешь старая,—отымутъ землю!..

Шелъ Петра къ своему дому, тяжело шмургалъ по сухой землѣ огромными сапогами, вдыхалъ смѣшанный запахъ дегтя, которымъ были смазаны они, и терпкій, горьковатый ароматъ подсыхающей полыни, что несся съ остывающихъ отъ сухого солнечнаго жара полей,

подымалъ плечи и, плотно прижавъ костлявые локти къ поясу, разводилъ черными, загрубѣвшими руками:

— Такъ что, главное дѣло, кормиться не при чемъ...

II.

Было уже поздно, когда дошелъ Петра до дому, а изба его свѣтилась окнами и видно было, что тамъ не спятъ. У калитки Петра остановился въ смутной нерѣшительности.

— А можетъ уже померла? И уже сдѣлалось все, и кончено?

Но вошелъ, потому что услышалъ чужіе голоса, тихо переговаривавшіеся возлѣ крыльца.

Стоявшіе замолчали, когда онъ проходилъ, и посторонились къ стѣнѣ въ глубокую, черную тѣнь возлѣ нея, и трудно было распознать, кто это былъ. Кажется, старикъ Матюшенковъ съ братомъ, а можетъ и не они.

Петра молча прошелъ въ сѣни.

Въ избѣ возлѣ поблескивавшихъ потемнѣвшей фольгой образовъ съ пыльными, засиженными мухами бумажными розами у вѣнчиковъ, горѣло три лампадки и такъ какъ свѣту было все же мало, кто-то прилѣпилъ къ кіотной дощечкѣ еще три восковыхъ церковныхъ свѣчки.

Онѣ теплились ровнымъ, безтрепетнымъ свѣтомъ и отъ духоты и жары натопленной избы прямые язычки ихъ пламени были окружены золотымъ лучистымъ сіяніемъ, а воскъ таялъ, сбѣгая на кіотъ медленными прозрачными капельками.

Стояла подъ образами выдвинутая концомъ на середину избы широкая лавка, покрытая чистой съ залежавшимися прямыми складками холстиной, и на ней, распластавшись въ безсильной и уже не живой непо-

движности, со связанными на груди бѣлымъ платкомъ руками, въ которыя всунута была желтая свѣчка, обвитая золотой бумагой—умирала старуха.

Такъ умирала она уже третій день, старая, девяностолѣтняя старуха, пережившая всѣхъ сверстниковъ, живое преданіе всей деревни.

Такъ крѣпко сидѣла жизнь въ ея дородномъ, оплывшемъ тяжелой полнотой тѣлѣ—такъ надобна была ей жизнь, что третьи сутки вела безпощадную борьбу смерть и не могла побѣдить.

Но уже видно было по желтой блѣдности опавшей, заложившейся складками кожи, по безвольно уставленнымъ носками врозь ногамъ, по хриплому затрудненному дыханію, что пѣсня старухи спѣта.

Уже близко наклонилась смерть, смотрѣла внимательно и ждала минуты.

Уже три раза перемѣняли воду въ чашкѣ у порога, и три раза сжигали подлѣ нея сметенный со всей избы соръ.

Широкими любопытными глазами глядѣли дѣти на бабку-знакомую и чуждую теперь, и съ тайнымъ, похожимъ на восторгъ, ужасомъ вслушивались въ хриплые вздохи ея. И порою шептались между собою отрывисто и пугливо, боясь слѣзть съ полатей и вытягивая шеи, чтобы лучше видѣть.

Три старухи, какъ три сторожа смерти, всѣ въ черномъ, съ низко надвинутыми на лицо платками, закрывавшими лицо до острыхъ сухихъ подбородковъ, сидѣли на лавкѣ у стѣны, разложивъ на колѣняхъ желтыя съ бугроватыми, напруженными жилами руки.

Всѣ ждали, когда помретъ старуха, чтобы обмыть ее и убрать.

Петра сталъ возлѣ порога, чуть не опрокинувъ чашку съ водой, въ которой должна была омыться ста-

рухина душа, вылетѣвъ изъ тѣла, и оглянулъ избу, какъ будто она была не его, къ которой онъ давно привыкъ, а чужая.

Чисто прибранная, подметенная и вымытая она была новой и незнакомой послѣ обычной грязи, сора и безпорядка. И то, что должно было случиться въ ней, пугало необычнымъ порядкомъ. И тишина новая была.

Та тишина, что была въ полѣ, къ которой шелъ онъ подъ мѣсяцемъ, подошла къ двери и стала терпѣливымъ сторожемъ и ждала. И уже готовила слезы и, стоны, и голосящіе выкрики, и тоску, и жалость.

— Храпитъ...—прошептала старшая дѣвочка, сверкнувъ на мгновеніе возбужденными, горящими глазами, въ которыхъ огоньки лампадъ и свѣчей свѣтились мерцающими искрами.

— Помираетъ, за то...—также шопотомъ отвѣчалъ мальчикъ.

Младшая дѣвочка оглянула ихъ молча, потянулась кулакомъ въ ротъ и сморщилась, чтобъ заплакать, но раздумала.

Петра шумно вздохнулъ, далеко вытянувъ шею, заглянулъ старухѣ въ лицо—оно было какъ вылѣпленное изъ обтаявшаго воска, морщины обрюзгли и опустились мѣшками, губы почернѣли, а глаза закатились подъ набухшія вѣки и видны были только желтоватые мокрые бѣлки, придававшіе лицу странное и страшное выраженіе—крякнулъ такъ, что одна изъ неподвижныхъ старухъ вздрогнула и покосилась въ его сторону, и вышелъ вонъ.

Жена сидѣла въ сѣняхъ на кровати въ углу, отдѣленномъ старой, мѣстами разорванной занавѣской и зажавъ руками голову, опершись локтями въ колѣни, безостановочно качалась изъ стороны въ сторону, словно у нея болѣли зубы.

Петра не замѣтилъ бы ее, если бы не тихій скрипъ старой кровати, на которой она сидѣла.

Онъ подошелъ, громыхая подбитыми вершковыми гвоздями, и сѣлъ возлѣ.

И опять развелъ руками слабымъ и безпомощнымъ движеніемъ, какъ когда шелъ росистыми полями изъ волостного.

— Такъ что я и не знаю, что мы будемъ дѣлать,— обстоятелько заговорилъ онъ, чувствуя по молчанію жены, что она ждетъ отъ него подробнаго разсказа,— выходитъ такъ, что кормиться намъ совсѣмъ не при чемъ... Я писаренку и говорю:—не можетъ быть такого закону, чтобъ людямъ послѣдней кормушки рѣшиться, а онъ говоритъ, что нѣтъ...

— Что нѣтъ-то?—чуть слышно простонала баба.

— Что—все одно—захочутъ и могутъ отнять, ежели старуха помретъ.

— Кончается...—также тихо отозвалась жена.

— Кончается...—какъ эхо повторилъ Петра и пошевелилъ пальцами.

— Матюшенковы были... Прохоръ съ Андреяномъ, навѣдывались, — бросила она, все попрежнему качаясь изъ стороны въ сторону и не подымая головы.

— Быдто ихъ возлѣ крыльца видалъ какъ входилъ,— замѣтилъ онъ,—что вороньё на падаль... И писаренокъ говоритъ, ежели деревней всей, то-есть какъ по закону болѣе двухъ третей домохозяевъ значитъ, могутъ... И даже до сдворины отобрать могутъ, какъ я не притсталъ къ здѣшней волости... Худо, баба! — закончилъ онъ и поежился, прижавъ локти къ поясу и втянувъ голову въ плечи.

Она промолчала.

— Даве иду я домой, пошелъ черезъ Кутняковскій выселокъ, ближе будто оказываетъ тропками-то... Жуть.

Избы брошены, позаколочены, духу живого нѣтъ... И кошка... Драная, пѣгая, шерсть всклочена съ пралыршами, чистый шкелетъ. Глазами какъ мигнетъ—верть и побѣгла... Не иначе, какъ ейная смерть это побѣгла!

Она все молчала, качаясь какъ чудной маятникъ, и только, когда онъ поежился опять, процѣдила сквозь зубы:

— Пустое болтаешь ты...

— Пустое!—обидѣлся онъ,—а можетъ и не пустое...

Ночь стояла кругомъ чудная и глухая и казалось конца ей не будетъ. Въ чистой избѣ забормотало громко и невнятно, скрипнула раза два доска сухая и стихло. Тамъ спалъ жилецъ-токарь, котораго пустила старуха еще зимой за семь гривенъ въ мѣсяцъ на своихъ дровахъ. Онъ былъ одинокій, угрюмый человѣкъ, цѣлый день занимавшійся тѣмъ, что точилъ на длинномъ прилаженномъ подъ окно станкѣ части для самопрялокъ и веретена. Деньги платилъ аккуратно, а случалось и выручалъ въ бѣдѣ и былъ какъ свой: ни о чемъ никогда не разспрашивалъ, а когда нужно, бросалъ свой станокъ и помогалъ въ полѣ и на огородѣ, дѣломъ и совѣтомъ.

А изъ черной избы, гдѣ жила вся семья, а теперь умирала старуха, попрежнему доносилось хриплое и трудное дыханіе.

Поздно было уже — вторымъ пѣтухамъ время пѣть скоро было. Петра прислонился къ спинкѣ кровати, отвалившись на подушки, и задремалъ.

Онъ не могъ бы сказать—долго ли онъ спалъ, ему казалось, что по меньшей мѣрѣ часа два, какъ необычайный грохотъ разбудилъ его.

Встрепенулся, вскочилъ на ноги и понялъ, что грохота никакого не было, а просто въ сѣни вошли два человѣка и застучали сапогами по полу.

— Кто это, кто это, что такое?—забормоталъ Петра,

задыхаясь и одергивая рубаху, лѣзшую изъ-подъ пояса—заснулъ я, долго спалъ...

Баба подняла голову и не сразу отвѣтила. Она вся была полна тѣмъ, что надвигалось на нее, и всякое слово доходило до сознанія туго и медленно, пробиваясь сквозь толщу темной скорби ея.

— Есть ли пять-то минутъ какъ задремалъ,—проговорила она и, кивнувъ въ сторону прошедшихъ въ избу, добавила,—опять Матюшенковы заявились...

Петра оправилъ рубаху, плотно обтянувъ ею животъ и собравъ складки на спинѣ, и тоже пошелъ туда.

Такъ же какъ и прежде горѣли лампады и свѣчки у образовъ, только было еще жарче и душнѣе въ избѣ и ровный свѣтъ ихъ струился длинными золотыми лучами. Дѣти уже спали, а старухи беззвучно, какъ черныя тѣни, сновали по избѣ, что-то прибирали, что-то дѣлали и перешептывались сухимъ шелестящимъ шепотомъ.

У двери, подавшись ближе къ печкѣ, стояли Матюшенковы, оба уже съ просѣдью, съ упрямыми и нахмуренными лицами. Они время отъ времени вскидывали глазами на одну изъ старухъ, что была главной между ними и какъ будто хотѣли спросить о чемъ-то, но не рѣшались. Старуха была очень сурова по виду и когда они вошли—даже не взглянула въ ихъ сторону. И все дѣлала очень сурово: шмыгала по избѣ, обтирала потъ на лбу умиравшей, поправляла выпадавшую изъ связанныхъ рукъ свѣчу и строго заглядывала въ желтое, мертвѣющее лицо.

Дѣло подходило къ концу, это ясно было. Уже началась икота—предсмертная икота—дергавшая плечи и грудь судорожными толчками, отъ которыхъ обклеенная золотой полоской свѣча наклонялась и капала мутными восковыми слезами на холодныя съ посинѣлыми ногтями руки.

При входѣ Петры Матюшенковы оглянули его и старшій Василій, чуть наклонясь къ нему, прошепталъ:

— Бауньку Анфису Егоровну спровѣдать зашли... Трудно ейной душенькѣ нынче приходится...

Петра поглядѣлъ на него и подумалъ:

— Знаю я, зачѣмъ вы спровѣдать притащились,—и вышелъ. Вышли и Матюшенковы.

Петра направился было опять къ кровати, но старшій Матюшенковъ остановилъ его:

— Выдь-ка на часъ, слова два сказать надо...

И всѣ пошли на дворъ, стараясь ступать легче и все же громыхая сапогами.

III.

Вышли къ огороду, одинъ конецъ котораго былъ раздѣланъ подъ садъ лѣтъ сорокъ тому назадъ и съ того времени на немъ стояли три яблони и груша—всѣ одичавшія, разросшіяся и уже не приносившія плодовъ.

Каждый годъ Петра собирался обрѣзать усохшія вершины ихъ, привести въ порядокъ и спилить распространявшіяся въ стороны корявые сучья, но все некогда было.

Матюшенковы присѣли на изгородь, а Петра сталъ противъ нихъ, длинный и какъ-то по особенному тощій отъ старой съ короткими рукавами рубашки и доматканныхъ портовъ, вплотную облегавшихъ сухія, жилистыя ноги, высовывавшихся изъ непомѣрно широкихъ, свалившихся грубыми складками голенищъ огромныхъ сапогъ.

Младшій Матюшенокъ, Абрамъ, досталъ кисетъ и сталъ свертывать покурить. Огонекъ вспыхнулъ слабый и трепетный и потухъ, замѣнившись краснымъ уголькомъ закурившейся цыгарки.

Когда Абрамъ затягивался — уголекъ загорался и тогда изъ сумрака выступало блѣдное и незнакомое отъ непривычнаго краснаго свѣта лицо съ прищуренными, затаившимися глазами.

Старшій Никита Матюшенокъ откашлялся, погладилъ бороду и не спѣша заговорилъ.

— На волостное ходилъ?—спросилъ онъ, мелькомъ взглядывая на понурую и нескладную фигуру Петры.

— Былъ нынче...—отозвался тотъ.

Матюшенокъ помолчалъ и крякнулъ.

— Ты это брось!—сказалъ онъ твердо, очевидно высказывая вслухъ то, о чемъ думалъ раньше, — брось и не ходи никуда... Только время зря потеряешь и на гостинецъ изведешься. Поди писарю полштофа снесъ?

— Снесъ!

— Ну вотъ, видишь... А пользы никакой не будетъ. Такъ сказать надобно—никакой пользы не можетъ быть, потому что нѣтъ на твоей сторонѣ закона. Ты самъ посуди,—вдругъ оживился онъ, чуть приподымаясь и взмахивая черной и страшно длинной рукой передъ лицомъ Петры,—вѣдь ежели общество, стало быть міръ, послѣ смерти дорогой памяти Дементія Ларіоныча оставило по общему, такъ сказать надобно, соглашенію за баунькой Анфисой Егоровной полторы души надѣлу — такъ вѣдь это—первое дѣло: міръ соглашеніе добровольное значитъ, а второе—кормиться ей надобно старой... Такъ сказать надобно—будто какъ на нее надѣлъ былъ, хоть и женская незачетная душа ея...

Абрамъ крякнулъ, сплюнулъ махорочный перегаръ, что щипалъ языкъ, и замѣтилъ:

— Баунька Анфиса Егоровна хоть онѣ и женщины, конечно, но по дѣламъ своимъ на вродѣ какъ бы мужчины...

— Такъ вотъ...—снова продолжалъ старшій Матюшенокъ.

Онъ зналъ, хоть и не давалъ себѣ воли думать объ этомъ, что дѣло, о которомъ приходится говорить, дѣло не хорошее. По закону оно было дѣло правое, но по внутреннему, душевному закону оно было дѣломъ не хорошимъ, потому что ясно было, что Петру вмѣстѣ съ женой и тремя ребятами надо ложиться и помирать послѣ того, какъ у него отнимутъ землю.

— Такъ вотъ, — говорилъ онъ съ тѣмъ чувствомъ окостѣнѣвшей, упрямой жестокости, съ которымъ приходится иногда бить голодную, безсильную лошадь, ежели она не везетъ,—такъ вотъ ты самъ разсуди, ты, такъ сказать надобно, мужикъ не глупый, понять можешь: ты, такъ сказать надобно, примака въ домъ къ баунькѣ Анфисѣ Егоровнѣ, человѣкъ ты чужой, но вродѣ какъ просельникъ въ нашей деревнѣ... Анфиса Егоровна баунька то-есть — наша была, нашего племени и рода, намъ всѣмъ, гляди не всей ли деревнѣ... И ежели бы женка твоя дочь ей была—туда сюда. а то вѣдь, такъ сказать надобно, пріемышъ! Прямо чужая, ни такъ, ни сякъ намъ не приходящая... Ей то, баунькѣ, землю на полторы души оставили, чтобы кормились онѣ, значитъ, а какъ онѣ теперь, такъ сказать надобно, умираютъ, то...

Онъ замолчалъ.

Петра все отлично понималъ, что говорилъ ему черный, сливающійся съ изгородью силуэтъ, но онъ понималъ также и то, что выхода нѣтъ и что наступаетъ конецъ. Невидимой, но огромной стѣной отдѣлилась его жизнь отъ жизни всѣхъ людей и за ней было какъ въ тюрьмѣ: можно было кричать, биться объ нее головой, выть отъ голода и видѣть, какъ умираютъ дѣти — ни одинъ звукъ не долетитъ до людей, а тѣ, что услышатъ крикъ его—посмотрятъ и пройдутъ...

Онъ втянулъ голову въ плечи, поежился и протянулъ впередъ вытянутую досчечкой ладонь—странное и жалкое движеніе не то просьбы, не то убѣжденія.

— Господа сельчане! — проговорилъ онъ хриплымъ и проникновеннымъ голосомъ, — конечно, я понимаю... Я все понимаю, но что же... Какже намъ-то? Это насчетъ того, чтобы кормиться то-есть?.. Вѣдь намъ теперь, я такъ вамъ скажу: грянуться грудью объ земь и лежать такъ...

— А намъ-то какъ?—перебилъ его Матюшенковъ,— намъ то тоже какъ? Вѣдь мы съ Абрамомъ, такъ говорить надобно, внучатными племянниками баунькѣ Анфисѣ Егоровнѣ доводимся, нашей роды она... А у насъ—у Абрама туда сюда, Абрамъ челокѣкъ холостой, а у меня то, у меня такъ говорить надобно, семья... Сынъ вѣдь въ совершенныхъ лѣтахъ уже...

— Сынъ твой...—угрюмо вставилъ Петра.

Никитина сына, Миньку Матюшенка, знали всѣ какъ озорника и вора. Онъ былъ тупой, толстый парень, бѣлобрысый и красный; лицо у него было оплывшее, какъ-то странно равнодушное, съ низкимъ мясистымъ лбомъ, на которомъ надъ бровями кожа собралась жирными подушками. Самымъ примѣчательнымъ на этомъ лицѣ были глаза—зеленоватые, какъ у всѣхъ Матюшенконыхъ, равнодушно-злобные и малоподвижные.

Сидѣлъ онъ раза два уже въ тюрьмѣ и били его часто, грозились убить даже, потому что шелъ по народу слухъ, будто онъ въ стачкѣ съ чухной конокрадомъ и помогаетъ ему.

— Сынъ твой!—повторилъ Петра, но Никита не далъ ему докончить.

— Сынъ, сынъ!—визгливо закричалъ онъ, и по этому крику можно было понять, что онъ давно уже болѣлъ своимъ сыномъ и каждый намекъ на Миньку больно

язвилъ его, — кому какъ, а мнѣ сынъ... И кончено, и молчи, и слушать ничего не хочу, молчи, молчи, молчи!.. —кричалъ онъ, несмотря на то, что Петра и самъ молчалъ.

— Да ты что кричишь-то!—попробовалъ было возразить тотъ, но Матюшенковъ уже разошелся и оралъ, нелѣпо и быстро суя въ воздухъ руками.

— Самъ бы за собой глядѣлъ, прихвостель анафемскій, а то: сынъ, сынъ!.. Обдѣлалъ баульку, обтяпалъ, да еще куражится—сы-нынъ, говоритъ!.. Тебѣ ли говорить то, дубина, когда самого въ три шеи погонятъ скоро, сволочь драная...

— Да ты что лаешься то, самъ сволочь!—взъѣлся вдругъ Петра, чувствуя какъ все, что долго и больно копилось въ душѣ, готово вспыхнуть дикой, безудержной злобой,—чего ты-то раскудахтался—подумаешь, нивѣсть кто?—чтожъ—и скажу—воръ твой сынъ, вотъ что, да! Воръ, воръ, а можетъ и хуже того—конокрадъ!

— Ко-но-крадъ?! — раздѣльно и угрожающе тихо повторилъ старшій Матюшенковъ, подымаясь съ изгороди—за нимъ поднялся и Абрамъ, торопливо заплевывая докуренную цыгарку—конокра-а-адъ?..

— Воръ, воръ и конокрадъ—острожникъ, въ острогѣ сидѣлъ!—безсмысленно кричалъ Петра, переступая своими громоздкими, неуклюжими сапогами, изъ которыхъ торчали странно тонкія, обтянутыя ноги, на одномъ мѣстѣ, — и скажу, и скажу — острожникъ, въ острогѣ сидѣлъ, да!

Они ругались въ темнотѣ, топчась другъ передъ другомъ, словно танцовали странный танецъ и похоже было, что задерутся. И въ тишинѣ неподвижной ночи злые, отчаянные выкрики ихъ звучали пугающе-дико.

— Конокра-а-адъ?!—опять повторилъ Манюшенковъ, и уже развернулся, чтобы ударить, какъ на крыльцѣ

показалась черная фигура одной изъ старухъ и строгій дребезжащій голосъ остановилъ его.

— Еще что затѣяли, галганы! кричала старуха, баунька при послѣднемъ издыханіи, души рѣшается, а они драку затѣяли, обормоты!.. Шишь вонъ сичасъ, я васъ ужо!..

— Ладно, погоди ты! сдержанно, задыхаясь отъ обиды, проговорилъ Матюшенковъ и пошелъ къ воротамъ—попадешься ты мнѣ...

— Будетъ тебѣ, дождешься! также злобно и прерываясь отвѣчалъ Петра,—будешь у праздничка!..

Матюшенковы вышли на улицу и тамъ еще долго грозились, а Петра стоялъ посреди двора со сжатыми кулаками.

— Тоже мужикъ называешься,—ворчала на крыльцѣ старуха,—гдѣ бы Богу молиться о честномъ успеніи и легкой кончинѣ, онъ драку затѣялъ!.. Баунька Анфиса Егоровна благодѣтельствовала, въ домъ приняла, кусокъ хлѣба дала, а онъ въ послѣднюю минуту сохранить себя не можетъ, народъ тоже.

— Чтожь, я ничего, это они...—бормоталъ Петра, прижимая локти къ поясу и разводя руками,—они вотъ тутъ...

Дѣйствительно, не хорошо было, что чуть драки не вышло въ такой часъ, но очень обидно и горько было, что не хотятъ понять его положенія, не хотятъ увидѣть, что пришелъ конецъ.

Сухой и терпкій комокъ этой обиды стоялъ въ горлѣ и мѣшалъ дышать и подымалъ съ темнаго дна постылой жизни глухую, жестокую злобу...

IV.

Жизнь въ тѣлѣ старухи замѣтно гасла и оно уже не было тучнымъ: все обрюзгло, опустилось и страшная худоба проступила въ лицѣ. Кожа на немъ собралась складками и морщинами и эти морщины обвисли какъ мѣшокъ, изъ котораго высыпали зерно, а его оставили въ томъ же положеніи. Пугающимъ страшнымъ призракомъ намѣчался надъ этой, ставшей слишкомъ большой и широкой, кожей прикрытый ею черепъ съ тускло поблескивавшими бѣлками во впадинахъ гдазъ.

Похоже было, будто на голый черепъ наскоро накинули кусокъ желтой провощенной и мягкой матеріи. И еще было одно, чего не было раньше: въ душномъ тепломъ воздухѣ избы, наполненномъ запахомъ таящаго воска, чуть примѣшиваясь къ нему, тонкой струйкой вливался новый запахъ — знакомый и страшный — запахъ тлѣнія.

Это было страшно, также страшно, какъ тусклые бѣлки глазъ и черный провалъ беззубаго рта, и не хотѣлось думать, что идетъ этотъ чуждый всему живому запахъ отъ такой знакомой, извѣстной всѣмъ старухи.

Петрова баба стояла возлѣ скамьи, на которой лежала бабка, а старшая изъ черныхъ старухъ поправляла у умирающей руки и шептала, пристально и внимательно вглядываясь въ лицо ей уже знакомыми со смертью глазами.

— Къ утру безпремѣнно кончится—видать совсѣмъ къ концу идетъ, холстину готовь чистую, да рубаху крещенскую доставай...

— Можетъ обождать? нерѣшительно замѣтила Марфа.

— Чего ждать—послѣ некогда будетъ... Мы скоро обмоемъ, кончится—и готово, сразу и обряжать!

Марфа отошла, покопалась у пояса и, развязавъ передникъ, сняла съ него круглый сдѣланный винтомъ ключъ.

— На, сходи въ клѣть-отъ, проговорила она, передавая ключъ мужу,—въ баунькиномъ сундучкѣ, отопрешь ключемъ-то сверху такъ и лежитъ: рубашка крещенская и холстинка чистая... Охъ Господи, Господи!.. простонала она и заплакала, шмургая носомъ и всхлипывая.

Петра отыскалъ шапку, взялъ со стѣны огромный, похожій на маленькій топорикъ, ключъ отъ клѣти и вышелъ.

Клѣть стояла возлѣ овина за огородомъ, на самыхъ задахъ ободворка. Уже послѣ смерти бабкинаго мужа Дементія въ деревнѣ случился пожаръ и бабьина клѣть сгорѣла. Новую бабкѣ не позволили ставить на томъ же мѣстѣ—уже тогда мужички начинали прижимать старую—и клѣть пришлось вынести далеко отъ дому, за огородъ и подъ одну связь съ овиномъ.

Это было неудобно и опасно—мало-ли отъ чего могъ загорѣться овинъ, а зимою ходить въ клѣть, а бывало что это надо сдѣлать туда разъ двадцать, было чистое мученье. И воровъ еще страшно—отъ дома далеко, станутъ ломать—ничего не услышишь, а въ клѣти все добро схоронено: тамъ и сбруя, тамъ и окруты, и ленъ трепаный складенъ, и шубы, и овчины выдѣланныя...

Петра шелъ и думалъ объ этомъ и старой заботой хозяина безпокоился:

Неловко, далеко отъ дому горазъ...

Но потомъ вспомнилъ, что теперь все ни къ чему, такъ какъ ужъ ясно было, что даже изъ избы выгонятъ теперь его съ семьей, какъ чужого примаку, неприписаннаго къ обществу и горько махнулъ рукой.

— Такъ что кормиться нечѣмъ, совершенно то-есть нечѣмъ,—бормоталъ онъ, перелѣзая черезъ загородь,—то-есть вотъ грянуться объ земь и лежать такъ...

Онъ посмотрѣлъ на небо—темное, но уже таящее въ себѣ предчувствіе грядущаго утра, поискалъ мѣсяца—но его не было. Онъ уже ушелъ и только звѣзды, осмѣлившіяся безъ него, какъ ребята безъ хозяина, трепыхались въ темной глубинѣ, живыя и молчаливыя въ чудесной, переливающейся игрѣ...

Смотритъ на длинный, черный силуэтъ овина подъ широкой крышей котораю пріютилась клѣть, и съ тѣмъ же горькимъ обиднымъ чувствомъ вспомнилъ, какъ по осени перекрылъ эту крышу новой соломой. Своей не хватило, пришлось прикупить и перекрылъ такъ, что опять пятнадцать лѣтъ стоять будетъ и капли не пропуститъ, хоть ты съ пожарной кишки въ одно мѣсто—три дня лей.

Ахъ и кому только, кому достан...—началъ было онъ, но вдругъ вздохнулъ и остановился, инстинктивно присѣвъ у загороди.

Въ квадратъ двери, тамъ, гдѣ внизу ровнымъ четырехъ-угольникомъ была подрѣзана одна доска, чтобы выходить ночевавшему по ночамъ въ клѣти коту, свѣтился огонь.

Онъ былъ тусклый и мало замѣтный, должно-быть фонарь или огарокъ, отъ котораго исходилъ онъ, былъ заставленъ чѣмъ-нибудь, и издали его совсѣмъ нельзя было бы разглядѣть, но теперь, когда Петра стоялъ въ трехъ саженяхъ—ясно было, что въ клѣти кто-то есть.

— Воръ! ясно и точно понялъ Петра,—ахъ ты подлецъ, подлецъ...

Надо бы сбѣгать назадъ, разбудить токаря, но страшно было—вдругъ уйдетъ? А поймать, поймать безпремѣнно надо, такой подлецъ онъ когда, рѣшился-то! Думалъ, вѣрно, заняты всѣ въ избѣ смертью старухи, до того ли, чтобы клѣть глядѣть... Ахъ, подлецъ, подлецъ!..

Петра подошелъ вплотную къ двери и когда взялся за сломанный, вывороченный запоръ ея, сухой, злобный

комокъ сжалъ горло и въ глазахъ пошли красныя пятна.

— Убью! коротко подумалъ онъ и рванулъ дверь.

Въ клѣти горѣлъ фонарь, тотъ самый, съ которымъ осенью и зимою Петра ходилъ молотить. Онъ стоялъ на полу, заставленный отъ двери разбитымъ совсѣмъ старухинымъ сундукомъ, а кругомъ валялись разбросанные платье, бѣлье, мотки шерсти, холстъ, какія-то коробки и банки.

А надъ другимъ сундукомъ, тоже съ оторванной крышкой и вышибленнымъ дномъ, сидѣло на корточкахъ два человѣка.

Они разбирали что-то мелкое и позвякивавшее и при входѣ Петры разомъ обернулись къ нему.

На мгновенье надъ свѣтомъ фонаря мелькнуло толстое одутловатое лицо и два маленькихъ свирѣпыхъ и испуганныхъ глаза.

— Минька! успѣлъ вскрикнуть Петра, но въ ту же минуту одинъ изъ сидѣвшихъ выпрямился, какъ на пружинѣ и однимъ прыжкомъ сбилъ его съ ногъ.

Другой кинулся за нимъ. Но Петра успѣлъ ухватить его за штанину и онъ съ грохотомъ повалился на разбитый бабкинъ сундукъ.

Тогда началась борьба—жестокая, отчаянная и молчаливая; оба пыхтѣли, скрипѣли зубами и цѣплялись чѣмъ могли: руками и зубами, давили колѣнями и, свившись въ одинъ плотный хрипящій комокъ, катались по полу, съ грохотомъ наталкиваясь на сундуки, ящики, кадушки.

— Врешь, не уйдешь! хрипѣлъ Петра, чувствуя какъ тотъ уже слабѣетъ и насѣдая на него,—не уйдешь...

— Пусти! отрывисто бросилъ тотъ и не сталъ сопротивляться.

— Такъ вотъ сразу и пустилъ! отозвался Петра,

сидя у него на груди и прижимая своимъ огромнымъ кованнымъ сапогомъ его руку выше кисти.

Держа правой рукой другую руку того, дотянулся лѣвой до выброшеннаго изъ токарева ящика чистаго, еще не смятаго полотенца и быстро и цѣпко связалъ лежавшаго подъ нимъ.

Тогда всталъ и однимъ движеніемъ повернулъ его лицомъ къ огню.

— А тотъ ушелъ!—съ сожалѣніемъ выговорилъ онъ, видя что это не Минька,—ахъ, гады проклятые... что вздумали, а?

Этотъ былъ молодой, почти мальчишка. Лѣтъ пятнадцать—семнадцать было ему, не больше. Онъ сидѣлъ потупившись, такъ что черные густые волоса падали на лобъ и закрывали своей тѣнью лицо. Трудно было разсмотрѣть его еще оттого, что тягучая черная полоса крови ползла изъ-подъ волосъ, затекала подъ бровь и расплывалась на щекѣ пятномъ.

— Что, братъ, попался?—угрюмо усмѣхнулся Петра, оправляя выбившуюся въ борьбѣ изъ-подъ пояса рубаху и дыша порывисто и нервно,—теперь, братъ, конецъ тебѣ...

Тотъ повелъ на него глазами, но тотчасъ же опустилъ голову.

За дверью послышались шаги и недовольный, плачущій голосъ Марфы.

— Что жъ ты пропалъ-то, Петра! —говорила она,—пошелъ и нѣту, ровно въ воду... За смертью бы посылать те...

Она не договорила и остановилась въ дверяхъ.

— Ахъ-ти, ахъ-ти, ахъ-ти,—что же это такое?—забормотала она, — Господи Ісусе Христе, что же это, а?..

— А вотъ, гляди, какого накрылъ!—по-прежнему

сумрачно и зло ухмыльнулся Петра,—ушелъ другой-то, два было...

— Ты вотъ что,—заговорилъ онъ, подымаясь,—я здѣсь посижу, а ты... или нѣтъ, постой... Я его еще подкрѣплю, а ты...

Онъ снялъ со стѣны длинный, сыромятный ремень, приготовленный на тяжи къ тарантасу, и сталъ стягивать имъ сидящаго парня, такъ что тотъ застоналъ.

— Ничего, ничего, погоди, то ли еще будетъ!—бормоталъ онъ, зацѣпляя конецъ ремня,—ты сторожи его тутъ, а я пойду токаря побужу... Евоный сундукъ тоже разбить и, гляди, деньги вытрясены...

Онъ побѣжалъ домой, а Марфа осталась. Парень по прежнему сидѣлъ, потупившись и не глядя на нее.

Вдругъ онъ поднялъ голову и встряхнулъ лѣзущими на лобъ волосами.

— Марфа Кузьминична, ужли жъ не узнаете меня?—проговорилъ онъ тихо.

Марфа приглядѣлась къ нему.

— Будто не признаю...

— Каморы, Федора Каморы сынъ,—залепеталъ парень съ Верхоустья,—Федора Каморы сынъ...

Марфа молча глядѣла на него. Она узнала теперь его—Ваньку Комаренка. Она знала его давно, потому-что дѣвушкой часто бывала въ Верхоустьѣ, гдѣ были родные. И часто на гуляньяхъ играла съ Каморинными ребятами. Далекимъ и радостнымъ свѣтомъ было обвито то время—минувшее дѣвичество—и казалось такъ давно это было, такъ непохожа была теперешняя жизнь на ту, что минутами думалось, будто ничего этого и не было никогда.

Съ страшной и сладостной жалостью—не то къ себѣ, къ тому безвозвратному прошлому, не то къ этому сбившемуся съ пути мальчишкѣ глядѣла она на него.

А онъ ерзалъ по полу, перевернулся на брюхо и, какъ змѣя, ползъ къ ней, извиваясь стянутымъ тѣломъ. И бормоталъ что-то, всхлипывая и стукаясь головой объ доски пола и тянулся цѣловать ноги ей.

— Марфа Кузьминична, родненькая, добренькая моя,—лепеталъ онъ, все порываясь дотянуться до ея сапога,—голубушка... Пожалѣйте, ясненькая голубушка моя... Убьютъ—видитъ Богъ убьютъ, родненькая... Никогда, Господи — землю ѣсть буду—никогда во всю жизнь не рѣшусь больше, родненькая... Матушка, добренькая, пожалѣйте—землю ѣсть буду, Господомъ Богомъ клянусь...

Она стояла, сжимая руки и глядѣла какъ бился въ безсильномъ ужасѣ связанный человѣкъ у ея ногъ и можетъ быть сдѣлала бы то о чемъ молилъ въ смертной тоскѣ онъ, но вдали по огороду уже бѣжали люди, звучно топая сапогами по твердой землѣ.

— А-а попался!—въ необыкновенномъ возбужденіи, съ какимъ-то какъ будто восторгомъ бормоталъ издали Петра,—попался голубчикъ...

Онъ добѣжалъ до клѣти и не вошелъ, а вскочилъ въ нее, и тотчасъ засуетился.

— Ну, ты иди, иди, нечего тебѣ тутъ,—началъ онъ гнать жену,—и совершенно нечего тебѣ тутъ дѣлать...

Добѣжалъ и токарь, и вошелъ въ клѣть—блѣдный и нахмуренный. Онъ былъ босикомъ въ портахъ и распоясанной рубахѣ, очевидно прибѣжалъ какъ спалъ.

И молчалъ, потому что ему было стыдно и злоба душила его: никто не зналъ, что у него спрятаны деньги въ сундукѣ, а воры теперь разбили сундукъ и всѣмъ теперь будетъ извѣстно это.

— Петра Димитричъ...—начала было Марфа, но поглядѣла на возбужденное, дергающееся судорогой лицо мужа и замолчала.

— Иди, иди, нечего тебѣ тутъ,—выпроваживалъ онъ ее,—иди себѣ съ Богомъ...

Онъ вытолкнулъ ее вонъ, плотно приперъ двери, для крѣпости придвинулъ къ ней тяжелый мѣшокъ съ овсомъ.

И тутъ пойманный сразу увидѣлъ, что ему дѣйствительно конецъ.

— Такъ ты та-а-акъ!—тихо заговорилъ Петра, подходя къ нему и по-прежнему весь дергаясь—то оправляя рубаху, собравъ на спинѣ складки и плотно обтягивая животъ, то странно взмахивая руками,—ну, говори прямо: подослали?

Пойманный поблѣднѣлъ и нижняя челюсть его дрогнула и запрыгала, звонко лязгнувъ зубами.

— Говори: Матюшенковы подослали?

— Я... не... не... з-з-з... заю-у-у!.. — прошипѣлъ Ванька.

— Не зна-а-аешь?—улыбаясь и подмигивая и все дергаясь всѣмъ тѣломъ и лицомъ, словно его била лихорадка повторилъ Петра,—зато я знаю... Они все отобрать хотѣли... мало, что землю послѣ баунькиной смерти, они всю худобу отобрать хотѣли... Такъ что по міру меня пустить, чтобы въ кусочки значитъ, имъ желательно... но только стой, погоди!..

Онъ засмѣялся хитро и задорно и не могъ остановиться. Смѣхъ дергалъ его лицо и сжималъ въ гримасу, а глаза блестѣли и подмигивали. И оттого, что открытые этимъ судорожнымъ длительнымъ смѣхомъ зубы блестѣли подъ фонаремъ жадно и жестоко—Ванька затрясся знобкой порывистой дрожью.

— Ав-в-в-в-в...—хотѣлъ что-то сказать онъ, но челюсть щелкала дробно и часто и похолодѣвшія сразу губы не слушались.

— Не знаешь? Ну, такъ я сичасъ тебѣ объясню...—говорилъ Петра, двигаясь всѣмъ тѣломъ.

*

Онъ весь былъ въ необыкновенномъ волненіи, даже радости какъ будто, точно то, что онъ поймалъ вора—было знакомъ перемѣны его судьбы. Словно то жестокое и тяжелое сплетеніе жизни, которое вело его къ голоду и нищетѣ—давало ему реваншъ: могли обобрать послѣднее и совсѣмъ пустить въ нищенки, а онъ поймалъ вора.

— Надо развязать, что жъ такъ-то его связаннаго...— нехотя какъ будто замѣтилъ токарь.

Петра распуталъ ремень, отвязалъ полотенце и пойманный, разминаясь, пошевелилъ плечами.

Онъ всталъ на ноги, оглянулся и попятился въ уголъ. И тамъ остановился, уныло мерцая черными, глубоко ушедшими подъ брови, глазами. Время отъ времени онъ утиралъ рукавомъ кровь, что текла изъ-подъ волосъ, потомъ опять становился неподвижнымъ. Только челюсть дрожала попрежнему и зубы нѣтъ-нѣтъ да и лязгнутъ—звонко и часто...

— Я тебѣ сичасъ объясню,—повторилъ опять Петра, согнулся, вобралъ голову вѣ плечи и сталъ подходить медленно, какъ бы крадучись.

И когда подошелъ—крѣпко и безъ размаху ударилъ того подъ подбородокъ, такъ что зубы опять стукнули и голова болтнулась, ударившись объ бревна стѣны.

Токарь прыгнулъ къ нимъ и поднявъ кулакъ, въ которомъ былъ крѣпко зажатъ огромный ключъ отъ клѣти, изо всей силы опустилъ его на запрокинутое еще блѣдное и обезумѣвшее лицо.

Марфа стояла возлѣ двери, въ страстномъ отчаяніи охвативъ грудь руками.

Сначала слышно было только сопѣніе и чавкающіе, отрывистые удары, потомъ тамъ застонали—жалобно и тихо и стонъ этотъ шелъ мурашками по спинѣ.

— А-о-о-о... протяжно и глухо донеслось изъ клѣти, но тотчасъ же оборвалось и вслѣдъ за тѣмъ

слышно было, какъ кто-то упалъ, мягко стукнувшись объ полъ.

Потомъ начался ужасъ. Дробный и громкій грохотъ подкованныхъ огромными гвоздями сапогъ слился съ шлепаньемъ босыхъ ногъ и было такое впечатлѣніе, будто тамъ въ клѣти танцуютъ веселый, увлекательный танецъ.

— Господи Боже мой...—зашептала Марфа и, качаясь какъ хмѣльная пошла къ огороду,—убьютъ, видитъ Богъ, убьютъ...

Сзади несся этотъ пьяный, веселый топотъ... Сначала будто по доскамъ, потомъ по мягкому и опять по доскамъ.

Ярко и неожиданно, какъ будто раздернулась черная завѣса, она вдругъ увидѣла блѣдное окровавленное лицо Ваньки Комаренка и рядомъ тяжелые сапоги мужа...

Пробѣгутъ по всему тѣлу и, быстро и часто перемѣняясь, запрыгаютъ по лицу, вытанцовывая страшный танецъ, и опять по всему тѣлу, и опять по лицу...

И съ отчаяніемъ, подымавшимся густой противной тошнотой, она поплелась въ избу...

А тамъ все били — пьяные отъ злобы и крови, сжавъ зубы, изгибаясь и прыгая и трепетныя черныя тѣни также прыгали и пригибались на желтыхъ отъ свѣта догорающаго фонаря стѣнахъ.

V.

Ужъ было совсѣмъ свѣтло и солнце готовилось подняться, когда Марфа прибѣжала къ клѣти и забарабанила кулаками въ дверь. Отворилъ токарь—а Петра—блѣдный, въ разорванной рубахѣ, въ конецъ обезсилѣвшій сидѣлъ на разбитомъ сундукѣ и глядѣлъ на безформенную кровавую массу, что была возлѣ его ногъ.

— Ой горюшко, ой бѣда, ой несчастненькіе мы! съ порога заголосила Марфа, всхлипывая и не вытирая слезъ, катившихся по лицу,—ой бѣдненькіе, ой горькіе!.. Баунька-то, баунька наша добренькая, баунька родненькая—преставилась, чистая...

Она плакала и старалась не глядѣть на то, что было въ ногахъ мужа.

Петра сумрачно глянулъ на нее и поднялся.

— Одинъ конецъ!—съ усталымъ равнодушіемъ проговорилъ онъ,—пойти деревенному сказать...

Онъ вышелъ и, оправляя по привычкѣ рубаху, такъ чтобы складки были на спинѣ, а животъ гладко обтянутъ, зашагалъ своими огромными сапогами, на которыхъ кровь запеклась мелкими, рубиновыми каплями.

В. Муйжель.

Ив. Бунинъ.

1) СТАЛЬ. 2) ЛЕНЪ.

Сталь.

Бью звонкой сталью по кремню,
Сухія искры разсыпая.
Грозитъ, мигаетъ ночь слѣпая,
Но я себѣ не измѣню.
Онъ гаснетъ, слишкомъ сгнившій трутъ,
Но ты сѣки, сѣки огнивомъ:
Будь въ заблужденіи счастливомъ,
Что эти искры не умрутъ.
Придетъ, настанетъ-ли мой день?
Но блещетъ свѣтъ надъ мертвой гнилью,
Сталь золотою сыплетъ пылью
И крѣпокъ звонкій мой кремень.

Ив. Бунинъ.

Ленъ.

Зацвѣла на волѣ
Въ полѣ бирюза.
Смотрятъ, смотрятъ въ душу
Синіе глаза.
Помню, помню нѣжный,
Безмятежный ленъ;
Да далеко въ полѣ
Зацвѣтаетъ онъ.
Свѣтитъ, свѣтитъ чистый
И лучистый взглядъ;
Да поднять рѣсницы
Люди не велятъ.

Ив. Бунинъ.

А. Гликбергъ.

1) ТЕПЛАЯ НОЧЬ.

2) ИДИЛЛІЯ.

Теплая ночь.

Грохочетъ вода о пороги,
И мысли въ лѣнивомъ мозгу
За гулкой волной убѣгаютъ.
На томъ берегу
Сигналы желѣзной дороги
Спокойно и кротко мигаютъ.
Высоты одѣлись туманомъ.
На темной скамьѣ подъ каштаномъ
Сегодня особенно любо сидѣть и молчать.

Стучатъ по шоссе экипажи,
И фыркаютъ кони.
Дрожатъ силуэты изъ сажи,
И тѣни, какъ духи погони,
За ними запрыгали въ тьму.
Да. Такъ хорошо одному
Молчать и слѣдить, какъ колеса вдали затихаютъ.

Разнѣженно-теплыя струи.
Рѣка монотонно поетъ.
А рядомъ слышны поцѣлуи,
И кто-то минуты крадетъ
У жизни, у счастья, у ночи...
Тоска заглянула мнѣ въ очи:
Да? Такъ хорошо одному? Сидѣть и молчать?

А. Гликбергъ.

Идиллія.

(Оденвальдъ).

Гигантскія спички,
Стволы безъ коры
Легли къ перекличкѣ
На склонѣ горы.

Визжатъ лѣсопилки
И ночью и днемъ,
И брызжутъ опилки
Янтарнымъ дождемъ.

Колеса кружатся.
Подъ запахъ смолы
Покорно ложатся
Сухіе стволы.

Пахучи и плоски,
Не мало ужъ лѣтъ
Веселыя доски
Родятся на свѣтъ.

Изжарились крыши,
Сверкаетъ ручей,
А солнце все выше
И все горячѣй.

У стараго моста,
Въ одеждѣ простой,
Огромнаго роста
Кирпичный святой

Сжимаетъ распятье
Въ сладчайшей тоскѣ.
Вонъ пестрыя платья
Мелькнули въ лѣскѣ—

То пастора дочки
Ушли отъ жары
И вяжутъ вѣночки
Подъ склономъ горы.

По пыльной дорогѣ,
Согнувшись, какъ хлыстъ,
И скорчивши ноги,
Несется циклистъ.

Полощатся утки,
Теленокъ мычитъ.
Сквозятъ незабудки,
И солнце паритъ.

А. Гликбергъ.

А. Ѳедоровъ.

ВЕСЕННЕЕ.

Весеннее.

Такъ вотъ и бродитъ, такъ и бродитъ
Въ моей крови весенній хмель
И пѣсни прежнія заводитъ.
Такъ вотъ и бродитъ, такъ и бродитъ,
Такъ и поетъ его свирѣль.

Сосна роняетъ зелень иголъ.
Въ вѣтвяхъ кораллъ и янтари.
Защебеталъ скворецъ, запрыгалъ,
Сосна роняетъ зелень иголъ.
Весна, куда ни посмотри.

Такъ и мерещится повсюду:
Мнѣ кто-то... я кому-то радъ.
Трава подобна изумруду,
Такъ и мерещится повсюду
Улыбка милая и взглядъ.

Во всемъ—весенніе намеки
И здѣсь и въ небѣ—тьма примѣтъ.
У насъ одни съ землею соки.
Во всемъ—весенніе намеки...
А я... безумный я поэтъ!

А. Ѳедоровъ.

II.

КРИТИКА.

Вл. Кранихфельдъ.

Ѳедоръ Сологубъ.

Критическій этюдъ.

Но почему, однако, о Сологубѣ?—спроситъ иной любознательный читатель.

Потому, во-первыхъ, что самъ же ты, многоликій читатель, возлюбилъ его и сдѣлалъ его властителемъ твоихъ неразгаданныхъ думъ. Неравнодушный къ твоимъ думамъ, я утроилъ, удесятерилъ свой интересъ къ писателю, тобою вознесенному на вершины извѣстности и славы, и здѣсь предлагаю тебѣ же итоги моихъ размышленій и труда.

Потому, во-вторыхъ, что писатель, тобою вознесенный на вершины извѣстности и славы, «зазнался»,—сталъ притязателенъ и дерзокъ въ своихъ отношеніяхъ къ тебѣ.

Его уже не удовлетворяетъ почтительное вниманіе читателя къ каждой новой имъ написанной книгѣ, роману, повѣсти. Нынѣ онъ требуетъ, чтобы читатель, собираясь причаститься его новому произведенію, предварительно подготовлялъ себя къ этому таинству,—чтобы онъ тщательно изучилъ и запомнилъ всѣ, непремѣнно всѣ, предшествующія его работы. По крайней мѣрѣ, только такими чрезмѣрными притязаніями и можно объяснить появленіе въ печати второй части «Навьихъ чаръ»—«Капель крови»,—переполненныхъ намеками на длинный рядъ прежнихъ, стихотворныхъ и прозаическихъ, произведеній автора.

Я лично знаю читателя, который, наткнувшись въ «Капляхъ крови» на имя королевы Ортруды, пріостановилъ чтеніе и началъ рыться въ энциклопедическомъ словарѣ. Онъ вообразилъ, что рѣчь идетъ о какой-нибудь знаменитой, но случайно позабытой имъ королевѣ нидерландской или испанской, огненными буквами вписавшей свое имя въ исторію. Конечно, словарь не разсѣялъ недоумѣній этого почтительнаго и добросовѣстнаго чи-

тателя Сологуба. Ибо имя этой «знаменитой» королевы надо было искать не въ словарѣ, а въ прежнихъ произведеніяхъ того же Сологуба, прославившаго королеву Ортруду въ «Побѣдѣ смерти»—за то, что она присвоила себѣ совсѣмъ непринадлежащее ей званіе.

А «прекрасная земля» Ойле, на которую такъ неожиданно для читателя «Капель крови» попалъ съ Елисаветой Триродовъ? Знаетъ ли читатель, что въ этой удивительной странѣ протекаетъ рѣка Лигой, отражающая въ своихъ синихъ волнахъ ясный ликъ Маира? Да и вообще, можетъ ли читатель «Капель крови», не знакомый съ третьей книгой стихотвореній Сологуба, гдѣ напечатанъ циклъ стихотвореній подъ названіемъ «Звѣзда Маиръ»,—можетъ ли онъ хоть сколько-нибудь оріентироваться въ этой новой географической терминологіи автора?

А туманныя разсужденія автора «Капель крови» о Дульцинеѣ и Альдонсѣ, о богинѣ Лирикѣ и царицѣ Ироніи,—развѣ это не тѣ же іероглифы, которые абсолютно недоступны для пониманія безъ предварительнаго изученія всего Сологуба?

И если самъ Сологубъ, возвеличенный читателемъ, требуетъ комментарія къ своимъ произведеніямъ, то я, въ скромной роли критика, обязанъ дать его.

I.

Иногда онъ представлялся мнѣ смертерадостнымъ покойничкомъ, тѣмъ, что

у гроба веселъ
И мраченъ на пиру («Мудрецы»).

«Былъ такой смертерадостный покойничекъ,—ходитъ себѣ по злачному мѣсту, зубы скалитъ и очень весело радуется» («Политическія Сказочки»).

Сологубу «смерть улыбается блестящими лучами», она манитъ его «блаженствомъ безгрѣшнаго забытья», и онъ давно уже далъ себѣ обѣтъ «прославить» ее, свою владычицу. Съ монотоннымъ однообразіемъ осуществляетъ онъ этотъ обѣтъ свой и въ стихахъ и въ прозѣ, безконечно повторяя одни и тѣ же мотивы, одни и тѣ же образы.

О, владычица смерть, я ропталъ на тебя,
Что ты, злая, царишь, все земное губя,
И пришла ты ко мнѣ, и въ сіяніи дня
На людскіе пути повела ты меня.
Увидалъ я людей въ озареньѣ твоемъ,
Отраженныхъ тоской, и безсильемъ, и зломъ.
И я понялъ, что зло подъ дыханьемъ твоимъ
Вмѣстѣ съ жизнью людей исчезаетъ, какъ дымъ.

Смерть сулитъ поэту сладостный покой, въ ней одной нѣтъ обмана, въ ней свобода, въ ней красота, въ ней «послѣднее, неложное утѣшеніе». Черезъ смерть мечтаетъ онъ «осуществить» свою туманную «утопію», черезъ смерть намѣревается онъ «убѣнчать красоту и низвергнуть безобразіе». И все, что говоритъ во славу смерти самъ Сологубъ, слово въ слово повторяютъ за нимъ герои его повѣстей и разсказовъ, мужчины и женщины, взрослые и дѣти. Дѣтямъ особенно любитъ усваивать Сологубъ свои смертерадостныя сентенціи.

Таковъ, напримѣръ, мальчикъ Ваня, злостно подговаривающій своего товарища Колю къ самоубійству («Жало смерти»). Дико звучитъ въ его устахъ извѣстная уже намъ сологубовская аргументація о желанной и милой смерти, утѣшительной, спокойной, смиряющей всякую земную печаль и тревогу. «Она освобождаетъ, и обѣщанія ея навѣки неизмѣнны. Нѣтъ на землѣ подруги болѣе вѣрной и нѣжной, чѣмъ смерть... Ужъ она то не обманетъ»... И автору эти нашептыванья, вложенныя имъ въ уста Вани, представляются теперь настолько убѣдительными и неотразимыми, что самъ же Ваня, вопреки своимъ намѣреніямъ и волѣ, подчиняется имъ. «Соблазняя, соблазнилъ онъ и себя самого смертнымъ соблазномъ,—своимъ ядомъ отравленный отравитель»...

«Какъ хорошо, что есть она, смерть освободительница!»—говоритъ другой мальчикъ въ другомъ разсказѣ того же сборника («Землѣ земное»). «Прекрасная смерть!»—восклицаетъ мальчикъ Митя въ разсказѣ «Утѣшеніе». — «Хорошо, что есть смерть!»—вторитъ Митѣ его случайная собесѣдница дѣвочка Дуня.

И въ догонку своимъ многочисленнымъ покойникамъ, Сологубъ посылаетъ уже отъ себя нѣжныя и ласковыя слова, провожаетъ ихъ привѣтливой, смертерадостной улыбкой.

Въ только что названномъ разсказѣ («Утѣшеніе») Митя видѣлъ, какъ упала изъ окна и расшиблась на смерть маленькая

дѣвочка Рая. Съ тѣхъ поръ Рая всегда припоминалась ему прекрасной и свѣтлой. Раечкино дыханіе иногда проносилось близко къ Митѣ, какъ легкій утренній вѣтеръ. Себя онъ чувствовалъ какъ бы заключеннымъ въ трупѣ, а Раечка была вся живая, вся переливалась огнями и цвѣтами, вся сіяла красотой несказанной. И когда Митя самъ рѣшилъ выброситься изъ окна, «Рая взяла Митю за руку и черезъ тѣсную дверь вывела его на свѣтлую дорогу, гдѣ пламенѣли дивныя розы»... Вотъ Митя взобрался на подоконникъ, бросился внизъ, и «сладкая жуткость подъ сердцемъ, быстро возрастая, погасила сознаніе прежде, чѣмъ онъ коснулся камней»...

«Сладостно», «кротко», «легко», «пріятно» и «радостно» встрѣчаетъ смерть другихъ покойниковъ Сологуба. Даже несчастный Егорка изъ «Капель крови», скончавшійся подъ розгами своей одичавшей матери, даже онъ пріялъ сладость «во блаженномъ успеніи». Благодаря необычайной любезности тихихъ мальчиковъ Триродова, ему удалось какъ разъ наканунѣ страшной экзекуціи «отпасть отъ яраго буйства злой, но все-таки сѣрой и плоской жизни» и перейти за таинственную грань ея. И «длилось, убѣгая и сгорая, время, въ сладостное свитое круженіе милыхъ мгновеній,—и казалось Егоркѣ, что забрелъ онъ въ невѣдомыя страны».

Наконецъ, не довольствуясь всѣми этими соблазнительными картинами «сладостной» и «пріятной» смерти, Сологубъ нерѣдко обращается къ читателю съ прямымъ учительскимъ словомъ:

Вся жизнь, весь міръ—игра безъ цѣли;
Не надо жить!

И какъ же—скажите,—послѣ всѣхъ этихъ цитатъ и ссылокъ не назвать этого милаго поэта смертерадостнымъ покойничкомъ?

Но вѣдь онъ (къ общему нашему счастью, конечно) живъ, этотъ покойничекъ! Соблазняя читателя Колю, онъ не соблазнилъ себя. Въ этомъ его единственное отличіе отъ Вани, но въ этомъ же и вся суть.

Къ тому же не мѣшаетъ припомнить, что не одинъ Сологубъ, но и всѣ его бывшіе товарищи по декадансу—Мережковскій, Гиппіусъ, Брюсовъ, Бальмонтъ—точно также провоцировали русскаго читателя къ добровольному пріятію кончины живота своего.

И зло, и благо,—тайны гроба
И тайны жизни—два пути—
Ведутъ къ единой цѣли оба
И все равно, куда идти.

Такъ въ свое время проповѣдывалъ Мережковскій,—и кто же виноватъ въ томъ, что, направляясь въ могилу, онъ, по какому-то роковому стеченію обстоятельствъ, попалъ вмѣсто этого «въ народъ»?—Произошло очевидное недоразумѣніе, въ которомъ меньше всего повиненъ Сологубъ.

Сологубъ отъ своихъ товарищей отличается именно постоянствомъ своихъ переживаній и настроеній, и хвалу смерти онъ поетъ сегодня съ такимъ же «безстрастнымъ» паѳосомъ, съ какимъ пѣлъ ее въ своихъ первыхъ наброскахъ. И если, при всемъ томъ, оставаясь такъ много лѣтъ смертерадостнымъ, онъ не соблазнился самъ и не превратился въ покойничка, то для объясненія этого (отраднаго для всѣхъ насъ, конечно) факта существуютъ особыя причины.

Само собою разумѣется, что смертерадостный Сологубъ въ высокой степени презираетъ жизнь.

Въ старые годы—разсказываетъ онъ—жилъ храбрый и непобѣдимый рыцарь, которому удалось побѣдить смерть. Посадилъ рыцарь ее въ темницу и учинилъ надъ ней судъ. Смерть не оправдывалась, предоставивъ жизни говорить за нее. «И увидѣлъ рыцарь,—стоитъ возлѣ него жизнь, бабища дебелая и румяная, но безобразная. И стала она говорить такія скверныя и нечестивыя слова, что затрепеталъ рыцарь и поспѣшилъ отворить темницу». Смерть воспользовалась свободой и въ свое время овладѣла и рыцаремъ, но никому на землѣ не разсказалъ онъ того, что слышалъ отъ жизни, «бабищи безобразной и нечестивой».

Потому ли, что Сологубъ въ рыцари пока еще не посвященъ, или по какой-нибудь иной причинѣ, но самъ онъ про эту бабищу разсказываетъ поистинѣ неслыханныя доселѣ вещи. Если прочитать всѣ разсказы, романы и стихи Сологуба и если наслово повѣрить ему, то окажется, что все:

Люди, стѣны, мостовыя,
Колесницы,—
Все докучныя, да злыя
Небылицы.

«Только дѣти—увѣряетъ онъ насъ въ «Мелкомъ Бѣсѣ» — только дѣти, вѣчные, неустанные сосуды Божьей радости надъ землею, были живы, и бѣжали, и играли, но уже и на нихъ налегала косность, и какое-то безликое и незримое чудище, угнѣздясь за ихъ плечьми, заглядывало порою глазами, полными угрозъ, на ихъ внезапно тупѣющія лица».

И подумать только, какъ можетъ мириться съ этакой «бабищей» нашъ смертерадостный и жизнепечальный поэтъ?

А у него, между тѣмъ, примиреніе складывается какъ нельзя проще.

II.

Онъ страшно близорукъ, этотъ властитель думъ нашей растерянной современности, и жизнь, въ ея огромномъ цѣломъ, сокрыта для него. На протяженіи временъ, гдѣ умѣщается прошедшее и будущее, онъ можетъ разглядѣть одинъ лишь сегодняшній день, да и въ немъ собственно одно лишь преходящее мгновеніе. Для собственнаго удобства, онъ раздробилъ жизнь на «фрагменты», а время на «миги», и связь между отдѣльными фрагментами и отдѣльными мигами совершенно не постигается имъ. При этомъ онъ искренне убѣжденъ, что этотъ его личный недостатокъ одинаково присущъ всему человѣчеству. И онъ учитъ:

Живи и знай, что ты живешь мгновеньемъ,
Всегда иной,
Грядущимъ тайнамъ, прежнимъ откровеньямъ
Равно чужой.

Не всякому человѣку удается наполнить содержаніемъ свою жизнь такъ, чтобы оно освѣтило его прошедшее, согрѣло настоящее и осмыслило будущее. Трудная это задача! И все-таки наполнить всю жизнь цѣликомъ—неизмѣримо легче, чѣмъ наполнять содержаніемъ мгновенія, когда они, ничѣмъ другъ съ другомъ не объединенныя и не связанныя, вдругъ, съ необъяснимою случайностью, выдвигаются изъ тьмы временъ и тамъ же исчезаютъ въ бездонной пустотѣ. Разорванная на отдѣльныя мгновенія жизнь неизбѣжно превращается въ «качели», даже въ «чортовы качели», образъ которыхъ преслѣдуетъ Сологуба въ теченіе всей его литературной дѣятельности. «Со скрипомъ» движутся качели въ первомъ сборникѣ стиховъ Сологуба, перенося

его «попеременно отъ безнадежности къ желаньямъ». Скрипитъ и гнется подъ нимъ доска на «чортовыхъ качеляхъ», въ его послѣднемъ, восьмомъ, сборникѣ.

Снуетъ съ протяжнымъ скрипомъ
Шатучая доска,
И чортъ хохочетъ съ хрипомъ,
Хватаясь за бока.
Держусь, томлюсь, качаюсь,
Впередъ, назадъ,
Впередъ, назадъ,
Хватаюсь и мотаюсь,
И отвести стараюсь
Отъ чорта томный взглядъ.

Разорванная на фрагменты и мгновенія жизнь сама собою предполагаетъ и человѣка, раздробленныя переживанія котораго не объединены какой-нибудь охватывающей ихъ системой. И дѣйствительно, въ Сологубѣ, пользуясь его же терминологіей, мы почти не видимъ единаго цѣлостнаго «лика». Передъ нами—не ликъ, а непрерывно возникающія и тутъ же «истлѣвающія личины». Какъ актеръ на сценѣ перевоплощается по режиссерской указкѣ сегодня въ Хлестакова, а завтра въ Гамлета, такъ Сологубъ въ жизни, мѣняясь въ зависимости отъ капризовъ своего настроенія, долженъ чувствовать себя «всегда инымъ». Въ предисловіи къ «Пламенному кругу» поэтъ самымъ серьезнымъ образомъ докладываетъ читателю, что онъ, Сологубъ, «рожденъ не въ первый разъ и уже не первый завершаетъ кругъ внѣшнихъ преображеній». И я вѣрю, что эти слова подсказаны Сологубу его дѣйствительнымъ самочувствіемъ. Я вѣрю, что этимъ самочувствіемъ внушены ему и «Личины переживаній»—циклъ стихотвореній, въ которыхъ поэтъ какъ бы вновь перевоплощается въ свои прежнія, давно забытыя личины.

Вотъ онъ въ образѣ перваго человѣка на землѣ:

Я былъ одинъ въ моемъ раю,
И кто-то звалъ меня Адамомъ...

Проходили вѣка. Истлѣвали одни личины, создавались другія. Онъ помнитъ себя Фриною въ Аѳинахъ, мученикомъ въ нероновскомъ Римѣ, палачемъ въ Нюренбергѣ:

Меня прельстила алость
Казнящаго меча

И томная усталость
Сѣдого палача.

Въ собачьей личинѣ поэту привелось почему-то щеголять даже два раза. Первый разъ, когда онъ былъ «собакой сѣдого короля», это было еще забавно. Но во второй разъ, въ личинѣ простой дворняжки, поэтъ почувствовалъ себя по-сологубовски тоскливо:

Землю нюхая въ тревогѣ,
Жду я бѣдъ.
Слабо пахнетъ по дорогѣ
Чей-то слѣдъ.

Было жутко на пустынной улицѣ, такъ жутко, что поэтъ, единственный разъ изъ всѣхъ своихъ перевоплощеній, рѣшился воззвать къ бунту,—къ собачьему бунту, конечно:

Просыпайтесь, нарушайте
Тишину.
Сестры, сестры! войте, лайте
На луну!

Оставляя, за недоказанностью, въ сторонѣ признанія Сологуба о всѣхъ его прежнихъ личинахъ, отъ Адама до собаки включительно, я могу судить только о тѣхъ, которыя онъ носилъ и носитъ въ этомъ бренномъ мірѣ,—въ своемъ послѣднемъ «внѣшнемъ преображеніи».

Попробуйте листъ за листомъ просмотрѣть всѣ сочиненія Сологуба, и вы съ изумленіемъ остановитесь передъ одной общей всѣмъ имъ чертой. При отвращеніи отъ жизни въ ея органическомъ цѣломъ, онъ съ какой-то нечеловѣческой, а скорѣе паучьей цѣпкостью хватается за ея отдѣльныя мгновенія. Подъ перомъ Сологуба всѣ эти мгновенія неизмѣнно превращаются въ у т ѣ х и, которыя онъ сладострастно обсахариваетъ при помощи одному ему извѣстныхъ пріемовъ.

Когда въ достаточной мѣрѣ начитаешься всѣхъ этихъ манящихъ прелестей о «сладостныхъ благоуханіяхъ», о «благоуханной наготѣ», о «сладостныхъ мечтаніяхъ», объ «утѣхахъ одинокихъ и странныхъ», о «сладостныхъ и страстныхъ веселіяхъ» и т. д., и т. д., то невольно вспоминается характерная сценка изъ «Мелкаго Бѣса», когда Володинъ, хихикая, дразнилъ Передонова:

— И булочки, и пирожковъ не будетъ, и водочки не на что купить будетъ, и наливочки сдѣлать будетъ не изъ чего...

Володинъ, тоже живущій мгновеніями, молодъ и глупъ. Дальше булочки и сладенькой наливочки его представленія о сладостныхъ утѣхахъ не заходятъ. У Сологуба же практика сладостныхъ утѣхъ и веселій разработана съ такою тщательностью и полнотою, что въ этой области онъ не имѣетъ соперниковъ ни въ нашей, ни въ европейской литературѣ.

Сологубъ знаетъ, что человѣкъ, живущій мгновеніями, долженъ «къ низшимъ склониться кругамъ бытія». И онъ склонился, и всѣ тѣ «сладкіе и горькіе восторги», какіе только способна изобрѣсти «истончающаяся» чувственность человѣка, нашли въ немъ достойнаго пѣвца. Отъ сладенькой наливочки и вплоть до сладостныхъ утѣхъ, подлежащихъ въ дѣйствительной жизни клиническому и судебному воздѣйствію,—такова гамма его лиры. Сатиріазисъ, фетишизмъ, садизмъ, уранизмъ, кровосмѣсительство, некрофилія,—ничто не забыто Сологубомъ, все воспѣто и не единажды, по требованію почтеннѣйшей публики, съ нѣкоторыми варіантами повторено имъ.

Всѣ эти мотивы намѣчаются у Сологуба съ первыхъ же шаговъ его литературныхъ выступленій. Эволюція, пройденная имъ, почти не коснулась содержанія его творчества. Она отразилась лишь на формѣ его творчества, которая въ отдѣльныхъ фрагментахъ достигаетъ по-истинѣ классическаго совершенства, и на вызывающей смѣлости его дерзаній.

Когда-то онъ мечталъ:

Я лицо укрылъ бы въ маскѣ,
Нахлобучилъ бы колпакъ,
И въ безстыдно дикой пляскѣ
Позабылъ бы кое-какъ
Роковыхъ сомнѣній стаю
И укоры безъ конца,—
Все, предъ чѣмъ не поднимаю
Незакрытаго лица.

Какія «знойныя желанія», и какъ стыдливо авторъ прикрываетъ ихъ маской, укрѣпленной къ тому же цѣлымъ рядомъ сослагательныхъ формъ! Что значитъ быть безвѣстнымъ и не знать настоящихъ требованій и вкусовъ своего читателя! О, если бы молодость знала! Она и тогда могла бы преподнести читателю что-нибудь въ родѣ того шедевра, которымъ недавно одарилъ Сологубъ «Золотое Руно»:

Разстегни свои застежки, и завязки развяжи,
Тѣло, жаждущее боли, нестыдливо обнажи;

Опусти къ узорамъ темнымъ отуманенный твой взоръ.
Закраснѣйся и засмѣйся, и ложися на коверъ.

Чтобы тѣло безъ помѣхи долго, долго истязать,
Надо руки, надо ноги крѣпко къ кольцамъ привязать.

Чтобы глупые сосѣди не пришли на насъ смотрѣть,
Надо окна занавѣсить, надо двери запереть.

Чтобы воплей не услышалъ ни добрякъ, ни лицемѣръ,
Надо плотно оградиться глухотой нѣмыхъ портьеръ.

Приставьте ко всѣмъ этимъ «сладостнымъ мгновеніямъ» субъектовъ, въ мечтѣ или на практикѣ цѣпляющихся за нихъ, и вы получите личины Сологуба. Смертерадостный покойничекъ—тоже одна изъ личинъ его. Правда, въ фантазіи Сологуба даже покойнички оказываются способными къ воспріятію «восторговъ». Мертвая Мафольда («Царица поцѣлуевъ») отвѣчаетъ на ласки убившаго ее солдата. Когда онъ легъ рядомъ съ покойницей, она разомкнула для него свои холодныя руки и до утра отвѣчала его поцѣлуямъ «поцѣлуями холодными и отрадными, какъ утѣшающая смерть». Но такъ какъ и она, бывшая царица поцѣлуевъ, не могла предложить своему поклоннику ничего «знойнаго», то ясно, что даже, по Сологубу, покойнички не вмѣщаютъ той мѣры сладкихъ и горькихъ восторговъ, какою легко и свободно распоряжается самъ поэтъ.

Все—личины, все—мгновенія. И «только хочешь схватиться за прекрасную минуту—говоритъ Логинъ въ «Тяжелыхъ снахъ»,—и нѣтъ ея, умерла». И снова «качель» несется въ противоположную сторону. За мигъ утѣхи часъ тоски. «Снуетъ съ протяжнымъ скрипомъ шатучая доска,

Пока не перетрется,
Крутяся, конопля,
Пока не подвернется
Ко мнѣ моя земля».

Гдѣ же подлинный ликъ Сологуба? Въ какого бога онъ вѣруетъ? Кого или что любитъ?

III.

Начало сознательной жизни Сологуба совпадаетъ съ періодомъ мрачной общественной реакціи 80-хъ годовъ. Объ этомъ періодѣ такъ много говорилось и писалось уже, что характеризовать его здѣсь нѣтъ надобности. Скажу только, что русскій интеллигентъ, съ такой неутомимой энергіей устремлявшійся къ участію въ политической и общественной жизни, вдругъ почувствовалъ себя совершенно не у дѣлъ. Сразу и, во всякомъ случаѣ, въ очень короткій промежутокъ времени измѣнилась вся перспектива жизни. Какъ будто на глаза отброшеннаго въ сторону интеллигента надѣты были кѣмъ-то очки изъ тѣхъ двухъ стеколъ, о которыхъ разсказываетъ Сологубъ въ одной изъ своихъ сказочекъ.

Одно стекло увеличивало, другое—уменьшало. И первое стояло надъ каплей воды, и черезъ него видны были страшныя, большія существа, которыя носились и пожирали другъ друга. Когда же черезъ другое стекло взглянули на улицу, то тамъ оказались маленькіе человѣчки,—они мирно бесѣдовали и проходили, все проходили. И страшно было за участь этихъ маленькихъ людей, до которыхъ вотъ-вотъ могли добраться ужасныя чудовища водяной капли.

Подъ постоянной угрозой этихъ страшилищъ жалкіе, безпомощные люди стали казаться тѣнями. Это открытіе сдѣлалъ мальчикъ Володя въ одномъ изъ первыхъ разсказовъ Сологуба — «Тѣни». Володя случайно, при помощи сложенныхъ пальцевъ, воспроизвелъ на стѣнѣ своей комнаты нѣсколько тѣней. Пѣшеходъ съ котомкой, деревья, нищія старухи выростали на стѣнѣ и были ничуть не хуже тѣхъ, которыхъ онъ видѣлъ на улицѣ, въ лѣсу. Мальчикъ весь ушелъ въ эту зловѣщую забаву и даже увлекъ въ нее свою маму. Видѣнія стали дразнить и восхищать ея тоскующую душу, и таинственная игра разнообразныхъ тѣней замѣнила ей дѣйствительную жизнь.

«Вечеръ. Въ Володиной комнатѣ на полу горитъ лампа. За нею у стѣны сидятъ мама и Володя. Они смотрятъ на стѣны и дѣлаютъ руками странныя движенія. По стѣнѣ бѣгутъ и зыблются тѣни. Володя и мама понимаютъ ихъ. Они улыбаются грустно и говорятъ другъ другу что-то томительное и невозможное. Лица ихъ мирны и грезы ясны, ихъ радость безнадежно

печальна и дико радостна ихъ печаль. Въ глазахъ ихъ свѣтится безуміе, блаженное безуміе. Надъ ними спускается ночь».

Таковъ былъ первый опытъ «творимой легенды». Онъ принадлежитъ Володѣ. Но, соблазняя маму, Володя соблазнилъ и художника. Надъ Сологубомъ тоже спустилась ночь, и во тьмѣ ея, въ полной отрѣшенности отъ людей и отъ жизни, онъ сталъ творить свои легенды.

Люди—зыбкія тѣни, и Сологубъ, единый и неизмѣнный,—творецъ ихъ.

Я—Богъ таинственнаго міра,
Весь міръ въ однѣхъ моихъ мечтахъ.

Наивный чародѣй подполья вообразилъ себя Богомъ живого міра:

Забыли вы, что все случайно,
Что неизмѣненъ только Я...
Здѣсь съ вами, и въ иномъ предѣлѣ
Во всѣхъ просторахъ бытія,
И въ каждомъ духѣ, въ каждомъ тѣлѣ
Все—Я. И все лишь только Я.

«Все и во всемъ—Я, и только Я, и нѣтъ иного, и не было и не будетъ»—читаемъ мы въ его «Книгѣ совершеннаго самоутвержденія», и эта гордая мысль переносится Сологубомъ изъ книги въ книгу, варьируясь на разные лады и въ прозѣ и въ стихахъ.

Такъ, вотъ, значитъ, гдѣ подлинный ликъ Сологуба, его религія, его любовь:—solus ipse sum?

И въ самомъ дѣлѣ, поклонники Сологуба любятъ указывать на солипсизмъ, какъ на точку зрѣнія, объединяющую и объясняющую его творчество. При этомъ они не преминутъ подчеркнуть, что послѣдовательный солипсизмъ нѣкоторыми даже не сочувствующими ему философами (у насъ, напримѣръ, проф. Введенскимъ) признается теоретически неуязвимымъ. И Сологубъ, слѣдовательно, вправѣ—утверждаютъ они—исповѣдывать солипсизмъ, если не какъ философію, то какъ религіозный догматъ.

Конечно, вправѣ. Всякій человѣкъ вправѣ усвоить себѣ любую мысль и систематически проводить и защищать ее. Мы можемъ съ нимъ спорить, можемъ соглашаться или не соглашаться съ нимъ,—это вопросъ другой. Но во всякомъ случаѣ прежде, чѣмъ ѣсть зайца, надо поймать его. Сологубъ зайца не

поймалъ, и напрасно было бы навязывать ему предпочтительную любовь къ жаркому изъ зайца.

Въ солипсизмѣ Сологуба есть такія огромныя прорѣхи, заштопать которыя не сумѣлъ бы ни одинъ портной въ мірѣ.

Къ своей статьѣ о театрѣ («Театръ одной воли») Сологубъ избралъ эпиграфомъ замѣчаніе Достоевскаго: «ты философствуешь, какъ поэтъ». Не помню, при какихъ обстоятельствахъ и по какому поводу сдѣлано это замѣчаніе Достоевскимъ, но для меня оно звучитъ также, какъ, если бы Достоевскій сказалъ: «ты философствуешь, какъ сапожникъ». И поэтъ и сапожникъ могутъ быть, каждый въ своемъ дѣлѣ, тонкими искусниками, но для того, чтобы столь же искусно философствовать, прежде всего надо быть философомъ. Понимаемый въ этомъ смыслѣ эпиграфъ избранъ Сологубомъ, какъ нельзя болѣе удачно: онъ опредѣляетъ цѣнность не только статьи о театрѣ, переполненной явными несообразностями и другъ друга исключающими противорѣчіями, но и всей вообще философіи автора.

Сологубъ философствуетъ, какъ... кто угодно, но только не какъ философъ.

Упорно настаивая на своемъ самообожествленіи, слагая самому себѣ акафисты и творя литургіи, Сологубъ—Богъ въ послѣднемъ стихотвореніи послѣдняго своего сборника («Пламенный кругъ») возвѣщаетъ даже о своемъ намѣреніи возобновить дни творенія и возставить «иное племя»:

Настало время чудесамъ.
Великій трудъ опять подъемлю.
Я создалъ небеса и землю,
И снова ясный міръ создамъ.

— Дѣлайте громъ! громъ дѣлайте!—кричу я за кулисы машинисту, выслушавъ эти новыя синайскія реченія. Но машинистъ не слушается меня. Въ его рукахъ «Золотое Руно» (№ 1, 1907 г.), и онъ показываетъ мнѣ статью Сологуба: «Человѣкъ человѣку—дьяволъ».

Не надо грома. Даже бутафорскій громъ не долженъ сопровождать крикливыя завѣренія этого жалкаго шутника, выдающаго себя за Бога и въ то же время трепещущаго отъ страха передъ простымъ чортомъ, передъ сѣрою марокою.

«Дьяволъ смѣется надо Мною,—жалуется Сологубъ-Богъ,—лѣпить злыя, искаженныя хари, и отводить Мои глаза»... И такъ

«предо мною раскрывается противоположность: необходимое единство Мое и злобное, случайное Мое разъединеніе... Дьяволъ прячется подъ уродливыми, слѣпленными имъ харями, и визжитъ, и хохочетъ, и гнусныя придумываетъ слова, издѣваясь надъ Моею вѣрою, надъ Моимъ откровеніемъ, надъ Моимъ страстнымъ зовомъ. Тысячеголосый вой подъемлетъ онъ вокругъ Меня, и дразнитъ Меня милліонами красныхъ языковъ, покрытыхъ бѣшеною слюною»...

— Господи!—еще пытаюсь я отстоять божескую позицію Сологуба:—да изжени Ты и дьявола и слѣпленныя имъ хари въ преисподнюю ада, и пусть они не тревожатъ Тебя.

— Охъ, братцы вы мои, не могу, никакъ не могу,—отвѣчаетъ на этотъ разъ совсѣмъ ужъ не-синайскимъ голосомъ Сологубъ:—нѣтъ у меня власти ни надъ дьяволомъ, ни надъ вами, чортовыми харями, ибо вы—не Я.

Философствуя, какъ поэтъ, Сологубъ опрокинулъ здѣсь «теоретически неуязвимую» систему солипсизма, а самого себя низвергъ съ великолѣпнаго престола Вседержителя и Творца. Богъ оказался такою же истлѣвающею личиною поэта, какъ смертерадостный покойничекъ и всѣ другія.

Для тѣхъ, кто знаетъ всего Сологуба и въ этомъ его какъ будто неожиданномъ признаніи не было въ сущности ничего новаго.

Интимная поэзія Сологуба давнымъ давно раскрыла читателю сокровенныя тайны его одинокихъ переживаній,—его минутные подъемы и томительно долгіе, безрадостные дни подпольнаго существованія.

Только что еще, казалось, мы видѣли его на высотахъ Олимпа, въ сонмѣ иныхъ боговъ, творящихъ жизнь и красоту.. А онъ уже жалуется намъ:

Въ моей пещерѣ тѣсно и сыро
И нечѣмъ ее согрѣть.
Далекій отъ земного міра,
Я долженъ здѣсь умереть.

Только что еще онъ увѣрялъ насъ:

Околдовалъ я всю природу,
И оковалъ я каждый мигъ.
Какую страшную свободу
Я, чародѣйствуя, постигъ!

И тутъ же, вслѣдъ за этимъ, онъ, напуганный, трусливый кружится и плюется, спѣша зачураться отъ колдованій преслѣдующихъ его нежитей: «Чуръ-чурашки, чурки-болвашки, буки-букашки, вѣди-таракашки. Чуръ меня. Чуръ меня. Чуръ, чуръ, чуръ. Чуръ—перечуръ—расчуръ».

Много нежитей окружаетъ Сологуба. Онѣ любятъ одинокихъ людей и льнутъ къ нимъ. Русалки, лѣшіе, сѣрыя мароки домашніе живутъ въ произведеніяхъ Сологуба, какъ у себя дома, и авторъ такъ свыкся съ ними, что часто не обращаетъ на нихъ ни малѣйшаго вниманія. Случается, что среди самой реальнѣйшей обстановки вдругъ загогочетъ у Сологуба лѣшій, засмѣется русалка или запляшетъ пыльная марока; авторъ равнодушно отмѣтитъ это привходящее въ картину обстоятельство и какъ ни въ чемъ не бывало продолжаетъ свой разсказъ дальше.

«Тихо было на большой дорогѣ,—читаемъ мы, напримѣръ въ «Тяжелыхъ снахъ»: — Уже солнце касалось мглистой полосы у горизонта. По окраинамъ дороги, на высокихъ и пустыхъ стебляхъ покачивались большіе желтые цвѣты одуванчика. На лугу кой-гдѣ ярко желтѣли крупныя калужницы. Въ перелѣскѣ коротко и скучно загоготалъ одинокій лѣшій и смолкъ. Шестовъ бодро шагалъ по дорогѣ»...

Сологубъ равнодушенъ къ нежитямъ, потому что онъ твердо знаетъ и (въ разсказѣ «Рождественскій мальчикъ») смѣло утверждаетъ, что нежити «не сдѣлаютъ съ вами ничего такого возможости чего не заложены въ васъ самихъ».

И тѣмъ не менѣе среди нежитей, окружающихъ Сологуба есть одна,—недотыкомка,—злыя чары которой наполняютъ сердце автора постоянной тревогой. Неуловимая, безформенная, грязная вонючая, злая и безстыжая, недотыкомка вьется вокругъ него угрожая увлечь его «въ погибельный кругъ». Онъ чувствуетъ себя въ полной ея власти, во власти «заложенныхъ въ немъ возможностей», и борьба, непосильная борьба съ недотыкомкой становится дѣломъ его жизни.

Въ плѣну у недотыкомки и въ борьбѣ съ нею,—вотъ гдѣ раскрывается подлинный ликъ писателя.

Недотыкомка сѣрая
Истомила коварной улыбкою,
Истомила присядкою зыбкою,—

Недотыкомку сѣрую
Хоть со мной умертви ты, ехидную,
Чтобъ она хоть въ тоску панихидную
Не ругалась надъ прахомъ моимъ.

Итакъ, «демонъ поэта» — грязная, сѣрая недотыкомка — передъ нами. И теперь мы можемъ взглянуть на творчество Сологуба съ точки зрѣнія взаимодѣйствія этихъ двухъ опредѣляющихъ и формирующихъ его силъ—демона и поэта. Отправнымъ пунктомъ въ этихъ исканіяхъ намъ можетъ послужить статья: «Демоны поэтовъ» («Перевалъ», 1907 г. № 7), гдѣ авторъ излагаетъ свой взглядъ на поэтическое творчество вообще и на свое въ частности.

IV.

Всю область поэтическаго творчества Сологубъ дѣлитъ на двѣ полярныя части.

«Одинъ полюсъ—лирическое забвеніе даннаго міра, отрицаніе его скудныхъ и скучныхъ двухъ береговъ, вѣчно текущей обыденности, и вѣчно возвращающейся ежедневности, вѣчное сремленіе къ тому, чего нѣтъ».

«Вѣчнымъ выразителемъ лирическаго отношенія къ міру» является для Сологуба Донъ-Кихотъ. Онъ зналъ, что Альдонса — грубая, вульгарная и ограниченная крестьянская дѣвица. Но что ему Альдонса? — нелѣпая случайность, капризъ пьяной Айсы. Конечно, онъ скажетъ нѣтъ Альдонсѣ, и надъ ея случайною личиною воздвигнетъ иной, милый образъ вѣчно прекрасной Дульцинеи Тобозской.

Такова область Лирики,—поэзіи, отрицающей міръ. Лирикѣ авторъ противополагаетъ «многоликую и многоголосную Иронію, гдѣ вѣчное слышится да всякому высказыванію жизни».

Ироніей мы займемся особо, а теперь возвратимся къ Лирикѣ.

Итакъ, лирикъ говоритъ вульгарной Адьдонсѣ нѣтъ и возноситъ надъ нею прекрасную Дульцинею.

Но вотъ вопросъ: останется ли наше отношеніе къ міру попрежнему лирическимъ, если мы поступимъ какъ разъ наоборотъ?—если мы прекрасной Дульцинеѣ скажемъ нѣтъ и вознесемъ надъ нею вульгарную Альдонсу?

Сологубъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ утвердительно. Центръ

тяжести поставленной имъ проблемы сосредоточенъ въ отрицаніи,—въ нѣтъ,—а кому и ради кого и чего скажетъ лирикъ нѣтъ, это для него безразлично. Не даромъ же рядомъ съ Донъ-Кихотомъ, въ качествѣ равноцѣннаго ему «лирика», онъ поставилъ «буржуа съ насандаленнымъ носомъ».

Сидитъ этотъ буржуа въ накуренной и заплеванной биргалкѣ. «Передъ нимъ кружка пива и сосиски. Онъ куритъ вонючую сигару, слушаетъ пьяный гамъ и блаженствуетъ, витая въ золотомъ снѣ. Нектаръ передъ нимъ въ хрустальномъ бокалѣ, и мброзія на чеканномъ золотомъ блюдѣ, и голубой передъ нимъ вьется дымъ ароматнаго куренія. Самъ онъ молодъ и прекрасенъ, и золотыя кудри обрамляютъ его дивную голову. Онъ — поэтъ. Сидитъ онъ и поетъ... Идетъ въ міръ на улицу, встрѣчаетъ дѣву... На взглядъ посторонняго и трезваго, это—просто грубая и неряшливая дѣвица... женщина... можетъ быть, небезпорочная... можетъ быть, совсѣмъ порочная. Но для лирика съ насандаленнымъ носомъ она—прелестная Дульцинея».

Для Сологуба не существуетъ вопросовъ: какимъ свѣтлымъ чертогамъ жизни и красоты предпочелъ вонючую биргалку этотъ буржуа съ насандаленнымъ носомъ? отъ какихъ снѣдей, отъ какого роскошнаго пиршества отказался онъ ради сосисокъ и пива? какой красотѣ успѣлъ онъ сказать отвергающее нѣтъ, чтобы вознести надъ нею одну изъ несчастныхъ жертвъ своего и общественнаго темперамента?

Да и въ чемъ собственно полагаетъ Сологубъ эту лирическую красоту, въ область которой онъ бѣжитъ отъ преслѣдующей его недотыкомки?

«Люблю красоту, — отвѣчаетъ за него въ «Мелкомъ бѣсѣ» Людмила:—Люблю цвѣты, яркія одежды, голое тѣло.. Я тѣло люблю — сильное, ловкое, голое, которое можетъ наслаждаться

— Да и страдать вѣдь можетъ,—тихо сказалъ Саша.

— И страдать, и это хорошо, — страстно шепнула Людмила.—Сладко и когда больно, — только бы тѣло чувствовать, только бы видѣть наготу и красоту тѣлесную... И еще люблю... Его... знаешь... Распятаго... Знаешь, приснится иногда,—Онъ на крестѣ, и на тѣлѣ кровавыя капельки...

Духи... тѣло... страдать... наслаждаться... капельки крови... Заговорили о красотѣ и уткнулись въ какую-то кошмарную эстетику, цѣликомъ поглощенную физіологіей и садизмомъ, —

эстетику, какъ будто спеціально приноровленную къ «низшимъ кругамъ бытія».

Ну, а какъ бы вы полагали, Людмилочка, — если бы къ голому тѣлу да душу приспособить? Вѣдь Гюго, напримѣръ, утверждаетъ, что никакая внѣшняя прелесть не можетъ быть совершенной, если она не оживлена внутренней красотой. Красота души разливается подобно таинственному свѣту по тѣлесной красотѣ. Такъ вотъ, что же скажете вы, Людмилочка, насчетъ души?

«Говорятъ, есть душа,—отвѣчаетъ эта милая «язычница»:— Не знаю, не видѣла. Да и на что она мнѣ»?

Людмила никогда не видѣла русалокъ, но говоритъ о нихъ съ такою же увѣренностью, съ какою Сологубъ разсказываетъ о всѣхъ прочихъ нежитяхъ. Души же, какъ принципа жизни, какъ синтеза, объединяющаго ощущенія, чувства, мышленія и волю человѣка, она не знаетъ, — да и на что она ей? — И невѣдѣніе это характерно не столько для Людмилы, конечно, сколько для создавшаго ее художника.

Холодомъ какого-то безплоднаго очарованія поражаютъ васъ лучшія строфы его чеканныхъ стиховъ. Бездушны маріонетки, которыми онъ въ такомъ огромномъ изобиліи перегружаетъ свои романы. Даже у природы отнялъ онъ ее животворящую душу, — солнце,—умудрившись превратить и этотъ единый источникъ всякаго дыханія въ «свирѣпаго Дракона», въ «злобнаго, изсушающаго Змія», которому онъ не безъ злораднаго чувства пророчитъ грядущее уничтоженіе.

Неудивительно, что въ области такой красоты, въ этой лирической биргалкѣ, Сологубу показалось, какъ «въ пещерѣ,— тѣсно и сыро». И въ биргалку пробралась вездѣсущая недотыкомка. Плевала на сосиски и въ пиво, липкой грязью испачкала мечты поэта и въ гнусную пошлость превратила его пріятную встрѣчу съ продажной Дульцинеей.

Недотыкомку сѣрую
Отгони ты волшебными чарами,
Иль наотмашь, что ли, ударами,
Или словомъ забѣтнымъ какимъ.

Спасаясь отъ недотыкомки, Сологубъ пытался иногда перекочевывать изъ области Лирики въ страну Ойле.

Звѣзда Маиръ сіяетъ надо мною,
Звѣзда Маиръ,
И озаренъ прекрасною звѣздою
Далекій міръ.
Земля Ойле плыветъ въ волнахъ эфира,
Земля Ойле,
И ясенъ свѣтъ блистающій Маира
На той землѣ.
Рѣка Лигой въ странѣ любви и міра,
Рѣка Лигой
Колеблетъ тихо ясный ликъ Маира
Своей волной.

Изъ цикла стихотвореній, посвященныхъ описанію этой прекрасной земли, мы могли почерпнуть о ней слѣдующія свѣдѣнія.

«Вѣчный міръ блаженства и покоя, вѣчный міръ свершившейся мечты» царитъ на цвѣтущихъ и тихихъ берегахъ Лигоя. Забвеніе земного и святую любовь обѣщаетъ земля Ойле. Свѣдѣнія не достаточно опредѣленныя. Но съ этимъ надо мириться: авторъ, по собственному его признанію, не любитъ слишкомъ опредѣленныхъ, рѣзкихъ линій:

И все, что очерчено рѣзко,
Душѣ утомленной моей—
Страшилище звона и блеска,
Застѣнокъ томительныхъ дней.

Мало свѣдѣній прибавляетъ къ этому и глава XXIV-я «Капель крови», гдѣ болѣе или менѣе подробно изображено путешествіе Триродова и Елисаветы на землю Ойле.

Вотъ Триродовъ льетъ въ чашу какія-то благоухающія жидкости, отъ ароматовъ которыхъ у Елисаветы кружится голова... Вотъ они рядомъ на мягкомъ ложѣ, «и возрастаніе восторга было имъ, какъ стремительный полетъ въ безпредѣльныя дали»... А вотъ и ясная звѣзда Маиръ. И жизнь была свѣтла и полна...

А вотъ—припоминаю я аналогичную сцену изъ «Мелкаго Бѣса» — вотъ и Людмила, обливающая одежду и тѣло Сашино духами. Густой, травянистый и ломкій ароматъ смѣшанныхъ духовъ раздражаетъ и навѣваетъ дремоту и лѣнь... Вотъ они полуобнаженныя оба... Саша лежалъ и улыбался тихою, невѣрною

улыбкою. А Людмила томилась и металась у ногъ его, блѣднѣя отъ невозможныхъ желаній, то пылая, то холодѣя.

Въ чемъ разница между двумя этими сценами?—Только въ одномъ: Триродовъ съ Елисаветою ѣхали и доѣхали, а Людмила съ Сашей пока еще только въ пути къ блаженной странѣ Ойле.

Пусть нашъ чародѣй окружаетъ эту страну всяческой таинственностью, я разоблачу секретъ. Я открою читателю, что Ойле—страна давно извѣстная. Прочное, научное обслѣдованіе ея всякій желающій можетъ найти въ книгѣ Монтегацца: «Экстазы человѣка», и въ частности въ той ея главѣ, гдѣ рѣчь идетъ о половомъ экстазѣ.

Триродовъ съ Елисаветой относятся къ своему путешествію на Ойле, какъ къ мистическому опыту, расширившему предѣлы ихъ познанія и жизни. Припутавъ къ своимъ похожденіямъ мистику, они въ извѣстной степени правы: между экстазомъ половымъ и религіознымъ (мистическимъ) научное изслѣдованіе установило прочную и тѣсную связь. И все-таки Триродовъ, когда онъ былъ помоложе и назывался Логинымъ, былъ и остроумнѣе и правдивѣе во ста кратъ, опредѣляя подобные фокусы не мистическимъ, а пикантнымъ опытомъ.

Напомню обстоятельства, при которыхъ сорвалось изъ устъ Логина это правдивое слово.

Логина заподозрили въ грязныхъ отношеніяхъ къ гимназистамъ и къ Ленькѣ,—мальчику, взятому имъ къ себѣ на воспитаніе. Логинъ возмутился. Но, успокоившись, онъ находитъ, что возмущаться не стоило. Вѣдь «если это наслажденіе, то во имя чего я отвергну его законность? Во имя религіи? Но у меня нѣтъ религіи... Во имя чистоты? Но моя чистота давно потонула въ грязныхъ лужахъ, а чистота ребенка тонетъ неудержимо въ такихъ же лужахъ; раньше, позже погибнетъ она,—не все ли равно! Во имя внѣшняго закона? Но насколько онъ для меня внѣшній, настолько для меня онъ необязателенъ... Во имя гигіены? Но я сомнѣваюсь, что этотъ порокъ сократитъ количество моей жизни, да и во всякомъ случаѣ пикантнымъ опытомъ только расширятся ея предѣлы»...

Установивъ, при помощи Логина, тождество между мистическимъ и пикантнымъ опытомъ, я не стану разбираться здѣсь въ его удивительной аргументаціи. Спорить съ Логинымъ было бы безполезно... А что касается его гигіеническаго заблужденія, то оно

во всякомъ случаѣ, въ той мѣрѣ, въ какой касается путешествій на Ойле, замѣчено и исправлено Триродовымъ.

Какъ ни заманчивы эти сологубовскія поѣздки на Ойле, но онѣ точно такъ же, какъ и полеты нашихъ пра-пра-бабушекъ на Лысую Гору или Брокенъ, не могутъ быть повторяемы ежедневно. Экстатическія состоянія, требующія полнаго напряженія и концентраціи всей психики на одномъ представленіи, даромъ, въ гигіеническомъ смыслѣ, не даются. При злоупотребленіи они легко могутъ окончиться каталепсіей или параличемъ. И Триродовъ не даромъ обставляетъ свою единственную поѣздку на Ойле торжественностью, которая и сама по себѣ указываетъ на исключительность подготовляемой «утѣхи».

«Прекрасная была земля Ойле, и радостный надъ нею свѣтъ изливался отъ Маира—восхваляетъ авторъ полетъ Триродова:—и не возвращаться бы на эту землю»!

Но, конечно, они возвратились. И пришла къ нимъ царица Иронія, ради которой и я долженъ возвратиться... къ цитированной выше статьѣ Сологуба: «Демоны поэтовъ».

V.

«Я влекусь нынѣ, — говоритъ авторъ, — къ тому полюсу поэзіи, гдѣ вѣчное свѣтится *да* всякому высказыванію жизни. Не стану собирать въ одинъ плѣнительный образъ случайно-милыя черты,—не скажу:

— Нѣтъ, не козломъ пахнетъ твоя кожа, не лукомъ несетъ изъ твоего рта,—ты свѣжа и благоуханна, какъ саронская лилія, и дыханіе твое слаще духа кашмирскихъ розъ, и сама ты, Дульцинея, прекраснѣйшая изъ женщинъ.

Но покорно признаю:—Да, ты Альдонса.

Подойти покорно къ явленіямъ жизни, сказать всему *Да*, принять и утвердить до конца все являемое—дѣло великой трудности. На этомъ пути трудно пройти далеко, потому что стережетъ Драконъ Вѣчнаго Противорѣчія. Но познавшій великій законъ тождества совершенныхъ противоположностей не убоится дракона и безтрепетно вступитъ въ область вѣчной Ироніи».

Противоположеніе, которое Сологубъ дѣлаетъ въ данной статьѣ между отвергающей Лирикой и утверждающей Ироніей, отнюдь не слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, какъ-будто авторъ

указываетъ здѣсь послѣдовательно пройденныя имъ ступени творчества: сначала Лирика, потомъ Иронія. Нѣтъ, Лирика и Иронія—это упомянутыя уже наши д в а с т е к л а, черезъ которыя Сологубъ поперемѣнно глядитъ на міръ въ теченіе всей своей литературной дѣятельности.

Спускаясь въ свою пещерную биргалку, онъ беретъ съ собой стекло Лирики. Скушавъ здѣсь отпущенную ему порцію сосисекъ, онъ вынимаетъ изъ кармана стекло Иронiи и, вооруженный этимъ аппаратомъ, покорно идетъ къ явленіямъ жизни.

И въ міръ полдневной скуки
Бѣжалъ поспѣшно я
Отъ радостной науки
Ночного бытія.

И если, подъ стекломъ Лирики, подгнившія сосиски казались ему благоуханной амброзіей, то теперь, при свѣтѣ «яростнаго Дракона» и подъ стекломъ Иронiи, вся природа, весь міръ пріобрѣтаетъ отпечатокъ удивительной мизерности и пошлости.

Простерлися пустынныя поля,
Въ тоскѣ безвыходно нѣмѣя,
Подъемлются безсильно къ небесамъ
Безрадостно—нахмуренныя горы,
Подъемлются къ далекимъ небесамъ
Людей тоскующіе взоры.
Влачится жизнь по скучнымъ колеямъ.

Иногда, кажется, какъ-будто не поэтъ, а Ваня изъ «Жала смерти» водитъ васъ по цвѣтущимъ лугамъ и лѣсамъ и старательно умѣряетъ ваши эстетическіе восторги.

Вотъ лѣсъ. Какъ славно! Смолой пахнетъ.

— Шкипидаромъ,—поправляетъ Ваня.

Утромъ я бѣлку видѣлъ. Ловко она на сосну вскарабкалась.

— А я дохлую ворону подъ кустомъ видѣлъ, — объявилъ Ваня.

А вотъ лугъ... Цвѣточки растутъ, пахнутъ хорошо.

— И коровы нагадили,—прибавляетъ Ваня.

Конечно, въ городѣ Ваня разглядѣлъ только пыль, которую ему глотать приходится. О людяхъ Ваня и теперь отзывается такъ, какъ-будто онъ всего Сологуба перечиталъ: «человѣкъ человѣку

волкъ здѣсь на этой постылой землѣ». Есть у Вани и своя собственная лирическая биргалка и любитъ онъ помечтать въ ней—«самое лучшее, о чемъ-нибудь с т ы д н о м ъ».

Но это еще цвѣточки,—ягодки впереди. Ваня не утонулъ, какъ для чего-то увѣрилъ насъ Сологубъ. Онъ растетъ, а вырастетъ,—станетъ Логинымъ («Тяжелые сны»), затѣмъ Передоновымъ («Мелкій бѣсъ») и, наконецъ, Триродовымъ («Навьи чары» и «Капли крови»). И тогда онъ подавитъ васъ размѣрами своей пошлости.

Мало извѣстный, славимый лишь въ одномъ узкомъ, ограниченномъ кружкѣ с в о и х ъ, Сологубъ, съ выходомъ въ отдѣльномъ изданіи «Мелкаго бѣса», сразу вдругъ сдѣлался всероссійской знаменитостью. Разсматривая этотъ романъ изолировано отъ всего міроощущенія автора, въ немъ увидѣли литературное явленіе почти Гоголевской силы и высоты. И я думаю, что для того, чтобы поддержать въ читателѣ это преувеличенно лестное для себя впечатлѣніе, авторъ долженъ былъ бы, подражая Гоголю, уничтожившему вторую часть «Мертвыхъ душъ»,—сжечь свой первый романъ—«Тяжелые сны»,—и не писать «Навьихъ чаръ».

«Мертвыя души» были неожиданнымъ для своего времени по силѣ и яркости протестомъ противъ соціальныхъ условій, уродовавшихъ и жизнь и людей. Протестомъ противъ соціальныхъ условій показался и «Мелкій бѣсъ». Но «Тяжелые сны» и «Навьи чары» окончательно и безповоротно разрушаютъ эту иллюзію.

Въ мрачной фигурѣ Передонова ясно по крайней мѣрѣ чувствовалось желаніе Сологуба вывести «недотыкомку» на свѣжую воду, обличить ея гнусную сущность. И въ этомъ направленіи авторъ «Мелкаго бѣса» пошелъ такъ далеко, что часто, не выдерживалъ роли объективнаго наблюдателя, выступалъ даже съ болѣе или менѣе страстными обличительными замѣчаніями отъ своего собственнаго имени. Только въ концѣ романа онъ дѣлаетъ попытку п р и м и р и т ь читателя съ Передоновымъ, для чего и приписываетъ этому безнадежному пошляку черты чуть что не трагическаго героя.

Совсѣмъ иное отношеніе автора къ прототипу Передонова, къ герою «Тяжелыхъ сновъ» Логину. Сологубъ какъ будто совсѣмъ не замѣчаетъ передоновской пошлости этого своего героя и настойчиво, но безнадежно рекомендуетъ намъ Логина то соціальнымъ реформаторомъ, то какимъ-то сверхъ-человѣкомъ. Въ

послѣднемъ отпрыскѣ все того же передоновскаго дома—въ Триродовѣ—мы должны уже видѣть даже не сверхъ-человѣка, а самого Сатану, творящаго чудеса и воскрешающаго мертвыхъ. Соціальное реформаторство, которымъ Логинъ занимался лишь мимоходомъ, составляетъ, повидимому, спеціальную задачу Триродова, хотя я не скажу, чтобы глубиною своихъ творческихъ замысловъ онъ опередилъ своего предшественника.

Сологубъ—не протестантъ. Онъ просто «прозорливецъ», такой «прозорливецъ», какимъ самъ онъ наивно считаетъ Логина за то только, что тотъ въ лучшихъ и безкорыстнѣйшихъ движеніяхъ человѣческой души видѣлъ лишь отраженіе своей собственной непроходимой пошлости. Въ глазахъ «прозорливца» Логина даже гнѣвъ на мучителей объясняется «завистью»: «обидно, что другіе мучатъ, а не они. Пріятно мучить».

Логиновы, Передоновы, Триродовы, всѣ эти Кульчицкіе, Рутиловы, эсдеки, эсэры, весь этотъ какъ-будто бы разнообразный міръ людей, населяющій романы Сологуба—только куклы, въ которыхъ творецъ ихъ вдохнулъ, вмѣсто души, грязную, липкую недотыкомку.

«Люди—черти,—увѣряетъ насъ Сологубъ въ статьѣ: «Человѣкъ человѣку дьяволъ:—Развѣ вы не видите, какіе они плоскіе и сѣрые?.. Кривляются, орутъ. Ну, васъ къ чорту»!

Что это—отвергающая Лирика?—Нѣтъ, это сологубовская Иронія, покорно утверждающая всему—да.

Вглядитесь внимательнѣе въ этотъ плоскій и сѣрый сологубовскій міръ персонифицированной недотыкомки,—и вы увидите распростертую надъ нимъ благословляющую десницу автора, вы услышите его благословляющій голосъ:

«Благословенно все и во всемъ, въ неизмѣримости пространствъ и въ безпредѣльности временъ,—ибо все и во всемъ—Я, и только Я, и нѣтъ иного, и не было и не будетъ» («Книга совершеннаго самоутвержденія»)...

Двумъ стекламъ Сологуба—его Лирикѣ и Ироніи—соотвѣтствуютъ и два стиля. Самъ онъ, повидимому, не сознаетъ этого. Въ предисловіи къ «Побѣдѣ смерти», говоря о себѣ въ третьемъ лицѣ, онъ спрашиваетъ:—«Развѣ стихи его не прекрасны? Развѣ проза его не благоуханна? Развѣ не обладаетъ онъ чарами послушнаго ему слова»?

На всѣ эти вопросы приходится дать утвердительный, но условный отвѣтъ.

Съ полнымъ правомъ воздавшій самъ себѣ столь высокую хвалу Сологубъ, быть можетъ, неизмѣримо больше, чѣмъ кто либо другой, повиненъ въ порчѣ русскаго литературнаго слова. Поднимающійся до виртоузности въ чеканной отдѣлкѣ послушныхъ ему стиха и прозы, онъ для цѣлаго ряда начинающихъ писателей является образцомъ и учителемъ слова. Къ нему прислушиваются, ему подражаютъ, его копируютъ. И какъ часто даже у сложившихся и не молодыхъ поэтовъ можно подслушать чисто-сологубовскій стихъ! О молодыхъ и начинающихъ можно и умолчать здѣсь.

Высоки подъемы сологубовской рѣчи. Но зато и бездонно-глубоки ея провалы.

Я не буду говорить о надоѣдливыхъ, но неизбѣжныхъ повтореніяхъ, обусловленныхъ скудостью содержанія поэзіи Сологуба. Не буду говорить о слишкомъ часто встрѣчающейся у него мертвенно-холодной риторикѣ. Объ этомъ своемъ недостаткѣ знаетъ, повидимому, и самъ поэтъ, вспоминающій о такомъ обращенномъ къ нему пророчествѣ вѣдьмы:

Будешь м е р т в ы м и у с т а м и
Ты метать потоки стрѣлъ.

Не буду я, наконецъ, говорить о той массѣ незаконченныхъ и неотдѣланныхъ обрывковъ, которыми Сологубъ для чего-то наполняетъ свои сборники, заслоняя ими истинныя жемчужины своей поэзіи.

Я хочу обратить здѣсь вниманіе на вульгаризацію, грубую вульгаризацію языка, въ которой повиненъ онъ, этотъ учитель слова.

Стоитъ лишь ему покинуть свою лирическую биргалку и вступить въ благословляемый имъ міръ, какъ онъ точно преображается. Его герои, да и самъ онъ вдругъ усваиваютъ себѣ жаргонъ, который едва ли не изгнанъ теперь даже изъ казармъ. У меня нѣтъ ни малѣйшаго желанія выписывать здѣсь даже для образца излюбленныя выраженія автора, изъ которыхъ нѣкоторыя («шкура барабанная» и др.) проходятъ буквально черезъ всѣ его беллетристическіе сборники, начиная съ перваго и кончая послѣднимъ. Въ этой области авторъ разрѣшаетъ себѣ, по его же выраженію, «оголтѣлый просторъ», и поэтому

отъ «благоуханной прозы» Сологуба часто очень и очень скверно пахнетъ.

Для того, чтобы написать эту статью, я прочиталъ всѣ произведенія Сологуба кряду. И—скажу откровенно—это занятіе показалось мнѣ черезчуръ утомительнымъ.

Правда, я глубоко благодаренъ Сологубу за наслажденіе, которое доставили мнѣ нѣкоторыя его произведенія, особенно тѣ, гдѣ фигурируютъ дѣти. Онъ любитъ дѣтей и чувствуетъ себя хозяиномъ въ элементарномъ мірѣ ихъ наивныхъ переживаній. И зато, что онъ любитъ и понимаетъ дѣтей, я чувствую сейчасъ не только жалость, но отвращеніе и злобу къ художнику, который и въ этомъ любимомъ имъ мірѣ не могъ воздержаться отъ производства своихъ «пикантно-мистическихъ опытовъ».

Впрочемъ, невмѣстно критику говорить объ отвращеніи и злобѣ къ художнику. И я поспѣшу здѣсь поставить точку, надѣясь въ нѣсколькихъ словахъ пояснить читателю причины своего утомленія.

Малъ и тѣсенъ міръ Сологуба, и давно уже сказалъ онъ свое послѣднее слово о немъ. И теперь, совершенствуя форму,—по существу онъ не можетъ ничего прибавить къ сказанному. Въ стихахъ и въ прозѣ онъ безконечно повторяетъ себя и кончилъ тѣмъ, что въ «Капляхъ крови» своими же словами себя же и пересказалъ.

Вл. Кранихфельдъ.

.....

А. Луначарскій.

Еще о театрѣ и соціализмѣ.

I.

Наши разногласія.

Прославляя «добрый хаосъ», т. е. чрезвычайную растерянность и безпринципность, царящія въ русскомъ обществѣ, одна небезызвѣстная литературная дама непріятно натолкнулась на что-то твердое, на какой-то островъ среди туманнаго моря всеобщей расплывчивости, которая такъ нравится ей и ей подобнымъ. Такимъ островомъ является пролетарская идеологія, т. е. марксизмъ. Литературная дама утѣшилась тѣмъ соображеніемъ, что твердость эта только кажущаяся. По ея мнѣнію, стоитъ захватить любого марксиста врасплохъ, и онъ окажется такимъ же растеряннымъ обывателемъ, какъ она сама и всѣ ея добрые знакомые. Конечно, это только дамское самоутѣшеніе. Марксистское направленіе богато людьми, принципіально выдержанными, создавшими себѣ міросозерцаніе, если не законченное (вполнѣ законченное міросозерцаніе—удѣлъ ограниченныхъ педантовъ), то во всякомъ случаѣ опредѣленное, ставящее ихъ высоко надъ воцарившимся повсюду измѣнчивымъ и шаткимъ импрессіонизмомъ.

Однако, марксизмъ — это единое и цѣлостное по существу направленіе, преломляясь въ различныхъ средахъ и головахъ, пріобрѣтаетъ различный характеръ, выражается разно, такъ что неизмѣнными остаются лишь самые общіе, такъ сказать, родовые признаки, въ то время, какъ въ деталяхъ, да и не только въ деталяхъ, отдѣльные виды далеко разошлись между собою.

Было бы, конечно, желательно избѣгнуть подобныхъ разногласій, или, по крайней мѣрѣ, устранить ихъ тамъ, гдѣ они возникаютъ вслѣдствіе недостаточнаго обмѣна идеями между отдѣль-

ными индивидуальными представителями или отдѣльными группами марксистскаго направленія. Поскольку, однако, разногласія такія проявились, необходимо выяснить ихъ до конца, устранить недоразумѣніе и отклонить отъ себя отвѣтственность за тѣ идеи товарищей по направленію, которыя данному лицу и данной группѣ кажутся ошибками, такъ сказать, компрометирующаго характера.

Можно негодовать по поводу претензій нѣкоторыхъ марксистовъ объявлять еретиками, стоящими внѣ партіи, всѣхъ мыслящихъ иначе, чѣмъ они, но нельзя отрицать за ними права отклонять отъ себя и своего марксизма отвѣтственность за идеи, глубоко противорѣчащія ихъ собственной концепціи.

То направленіе въ марксизмѣ, къ которому пишущій эти строки имѣетъ честь принадлежать, смотритъ не назадъ, а впередъ, мы не считаемъ истину готовой, а только формирующейся; мы не отлучаемъ тѣхъ, кто идетъ къ ней иными путями: наши разногласія, нашу полемику мы считаемъ формой сотрудничества. Въ своей критикѣ мы можемъ быть рѣзки, позволяя такую же рѣзкость и въ критикѣ нашихъ собственныхъ взглядовъ, ибо молотъ критики, дробя стекло, куетъ булатъ. Но всякое направленіе, на нашъ взглядъ, имѣетъ право доказывать свою логичность и силу, окончательный судія—будущее.

Однако, замалчивать наши разногласія съ тѣмъ или другимъ представителемъ марксизма мы не хотимъ и не можемъ. Мнѣ лично пришлось довольно много работать въ области эстетики и теоріи искусства, стараясь примѣнить и здѣсь великіе принципы марксизма, какъ я его понимаю. Если рядомъ съ идеями, развиваемыми мною, появляются другія, претендующія лечь въ основу марксистской эстетики и самымъ рѣзкимъ образомъ противорѣчащія моимъ убѣжденіямъ,—молчать мнѣ абсолютно невозможно. Я не могу брать на себя отвѣтственность за такую марксистскую эстетику, которая даетъ, по моему мнѣнію, возможность нашимъ противникамъ праздновать легкія побѣды надъ марксизмомъ. Я не хочу, чтобы въ головахъ читателей-друзей возникла тяжелая путаница, противоестественная смѣсь моихъ эстетическихъ принциповъ съ совершенно противоположными, но покрытыми одними и тѣми же названіями: марксистская эстетика.

Такъ смотрю я на полемику между марксистами. Такъ смотрю и на тѣ возраженія, которыя считаю совершенно необходимыми сдѣлать товарищамъ Шулятикову, Фриче и Стеклову, выступившимъ съ нѣкоторыми весьма спорными, на мой взглядъ, положеніями въ сборникѣ «Кризисъ Театра».

2.

Идеологія и экономика въ эволюціи театра.

Я рѣшительно не нахожу возможнымъ согласиться съ тѣмъ, что методъ, примѣняемый Шулятиковымъ въ изслѣдованіи идеологіи, есть методъ Маркса и Энгельса, Каутскаго и Меринга.

Въ сущности, Шулятиковъ примѣняетъ три разные метода, общимъ признакомъ которыхъ служитъ съ одной стороны нѣкоторое сходство съ методомъ марксистовъ, а съ другой стороны—поразительная упрощенность, приводящая къ весьма дурнымъ результатамъ:

1) Первый методъ Шулятикова можетъ быть названъ *методомъ разоблаченія завѣдомой лжи*. Идеологія съ этой точки зрѣнія представляетъ изъ себя завѣдомую ложь, за которой всегда скрывается самый грубый экономическій интересъ предпринимателей. Нужно предпринимателю сократить издержки на декораціи—онъ манитъ пальцемъ услужающаго человѣка изъ интеллигентовъ, объясняетъ ему въ двухъ словахъ, въ чемъ дѣло, и прибавляетъ: «Ты, братъ, придумай какую-нибудь теорію пофорсистѣй, чтобы публика думала, дура наивная, что я не издержки сокращаю, а обновляю святое искусство». Тотъ старается. Такъ и надули бы публику, если бы не «марксистъ». Но «марксистъ» знаетъ, что подъ всякой идеологіей кроется экономическій интересъ, и безъ большого труда разоблачаетъ истинную подоплеку всѣхъ этихъ теорій.

Оцѣнивая этотъ взглядъ на вещи, приходится отмѣтить, что здѣсь какъ будто есть сходство съ серьезнымъ марксизмомъ, такъ какъ экономическій классовый интересъ полагается и симъ послѣднимъ въ основу идеологіи. Но завѣдомая ложь для прикрытія самыхъ непосредственныхъ интересовъ производства есть случай въ высокой степени частный, рѣдко встрѣчающійся и культурно незначительный. Притомъ же для Шулятикова опредѣлителемъ идеологіи даннаго времени является исключительно господствующій классъ, всѣ другіе классы онъ игнорируетъ. Существуютъ только обманщики-капиталисты и ихъ приспѣшники, и одураченная публика, принимающая за чистую монету ихъ идеологію. Разница у Шулятикова съ Марксомъ получается такая, какъ между аналитическимъ химикомъ и фельдфебелемъ, пробующимъ солдатскія щи, «въ аккуратѣ» ли онѣ, или «больно шибко смердятъ».

2) Второй методъ можно обозначить, какъ *методъ разоблаченія скрытой апологіи господствующихъ классовъ*. Здѣсь уже нѣтъ рѣчи о непосредственной связи данной идеологіи съ денежнымъ барышомъ. Капиталъ указываетъ на опредѣленный путь прогресса, какъ на желательный для него и неизбѣжный для остальныхъ классовъ. И вотъ идеологи приспособляются и другихъ приспособляютъ къ этой формулѣ прогресса. Крутенько приходится идеологамъ; въ трудной задачѣ апологіи всѣхъ ужасовъ капиталистическаго развитія они часто настолько психически заболѣваютъ, что творчество ихъ начинаетъ носить явно патологическій характеръ. У Шулятикова большое пристрастіе къ методамъ грубымъ, поэтому и съ психо-патологическимъ методомъ, пускающимъ въ ходъ больничную классификацію для уясненія культурной жизни человѣчества, Шулятиковъ разстается не безъ сожалѣнія. Но онъ остается вѣренъ своему «марксизму» и въ «нелѣпостяхъ» модернизма усматриваетъ только скрытую апологію капитала.

И здѣсь есть пункты соприкосновенія съ серьезнымъ марксизмомъ. Идеологія всѣхъ классовъ, господствующаго, конечно, въ томъ числѣ, имѣетъ дѣйствительно прямую связь съ формулой прогресса, какая желательна данному классу. Но, стремясь видѣть во всякой идеологіи нашего времени (за исключеніемъ, вѣроятно, пролетарской) апологію *именно крупно капиталистической* формулы прогресса, Шулятиковъ приходитъ къ чудовищнымъ натяжкамъ и совершенно искажаетъ весь духъ и смыслъ современной культуры, подмѣняя въ то же время знакомыя лица отдѣльныхъ писателей какими-то нечеловѣческими карикатурами.

Характерна для обоихъ упомянутыхъ методовъ Шулятикова одна черта. Разбираясь въ идеологіи, онъ до тѣхъ поръ не успокаивается, пока не найдетъ для нея самаго прозаическаго, возможно болѣе низменнаго мотива. Матеріалистическій методъ превращается у него въ форменную мизантропію.

3) Третій методъ, *методъ непосредственнаго вліянія техники на идеологію*. Мысль о такомъ вліяніи присуща марксизму. Правда, косвенное и опосредствованное вліяніе (черезъ организацію труда) занимаетъ безконечно большее мѣсто въ марксизмѣ, чѣмъ констатированіе того факта, что искусство зависитъ въ извѣстной мѣрѣ отъ самыхъ техническихъ средствъ и пріемовъ данной эпохи, но и такое констатированіе можетъ быть полезнымъ, если оно не раздувается безобразно, что имѣетъ мѣсто у Шулятикова.

Разсмотримъ нѣкоторые образцы примѣненія Шулятиковымъ его методовъ, противопоставляя его объясненіямъ различныхъ идеологій, имѣющихъ болѣе или менѣе прямое отношеніе къ театру, наши собственныя.

Что такое модернизмъ? Сущностью модернизма Шулятиковъ считаетъ *стремленіе къ простотѣ* формъ во всѣхъ областяхъ искусства. Модернисты увѣряютъ, что эта благородная простота направлена ими противъ пошлой тяжеловѣсности и варварской сложности современнаго искусства, современной манеры жить. Они указываютъ также на то, что массовое фабричное производство обезличиваетъ всѣ вещи, среди которыхъ приходится жить, подымаютъ бунтъ противъ машины за ручной трудъ, противъ принципа количества за качество.

Шулятиковъ считаетъ антимѣщанство и антикапитализмъ модернистовъ либо плутовствомъ, либо самообманомъ. Модернизмъ есть дитя современной желѣзной индустріи. «Новая индустрія приноситъ съ собой легкій, тонкій желѣзный столбъ», говоритъ Шулятиковъ. На этомъ столбѣ и основываетъ онъ всю свою странную теорію.

Прежде всего, *простота вовсе не есть принципъ модернизма.* Было бы очень хорошо, если бы это было такъ: тогда мы имѣли бы передъ собой просто шагъ впередъ. Но модернизмъ почти весь зараженъ декадансомъ, къ числу основныхъ признаковъ котораго относятся крикливая вычурность, преднамѣренная нелогичность, нарочитая темнота, всѣ недуги взвинченной нервной артистической личности, стремящейся обратить на себя вниманіе, гримасничая оригинальнѣе своихъ конкуррентовъ. Символизмъ какого-нибудь Рембо или Маллярмэ, рисунки Бердсли, музыка Рихарда Штрауса и... простота!

Стремленіе къ простотѣ лишь кое-гдѣ просвѣчиваетъ въ модернизмѣ, и если модернизмъ никакъ нельзя свести къ нему, то и его невозможно посадить всецѣло на «тонкій желѣзный столбъ». Чтобъ убѣдиться въ этомъ, достаточно вспомнить хоть нѣкоторыя явленія культурной исторіи за послѣднія столѣтія, всѣ эти повороты и смѣны стилей, школъ, направленій.

Чѣмъ мы объяснимъ это явленіе?

Во-первыхъ, смѣной гегемоніи отдѣльныхъ соціальныхъ группъ въ искусствѣ. Новый классъ, выдвинутый историческими событіями на первый планъ, приноситъ и новый, еще свѣжій, еще сохраняющій простоту бутона художественный принципъ, от-

метая всю перезрѣлую и сложную премудрость господствующихъ ко времени его возвышенія старыхъ школъ. *Во-вторыхъ*, имманентнымъ закономъ развитія искусства. Шулятиковъ ненавидитъ всѣ эти имманентные законы. Онъ хочетъ убѣдить «читателя въ отсутствіи таинственныхъ «внутреннихъ» законовъ для «высшихъ» твореній «человѣческаго генія» — плодовъ драматическаго искусства».

Слова: внутренній, высшій и человѣческій геній поставлены Шулятиковымъ въ ироническія ковычки. Мы думаемъ, что экономическій матеріализмъ отнюдь не отрицаетъ ни одной изъ этихъ категорій, но въ данномъ случаѣ подъ имманентнымъ закономъ искусства мы не разумѣемъ ничего внутренняго, высшаго или геніальнаго, а тѣмъ болѣе ничего таинственнаго и не поддающагося соціальному учету.

Всѣ формы идеологіи, какъ и самое производство благъ, имѣютъ своей цѣлью усилить и организовать общество. При этомъ онѣ воздѣйствуютъ другъ на друга, стремясь устранить изъ всей системы жизни всякія ослабляющія ее противорѣчія и гармонизировать ее. Въ этомъ смыслѣ идетъ идейная борьба разныхъ культурныхъ формацій между собой. Рѣшающимъ моментомъ является экономика. Она опредѣляетъ собою положеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ идеалы отдѣльныхъ классовъ, она обусловливаетъ ростъ или упадокъ ихъ силъ. Но мало того, въ процессѣ взаимоприспособленія отдѣльныхъ культурныхъ началъ религія, философія, искусство, научныя теоріи право и обычай, въ конечномъ счетѣ уступаютъ и подчиняются неумолимымъ требованіямъ экономики, т. е. организаціи производства, ибо послѣднее опредѣляется развитіемъ орудій и пріемовъ въ трудовой борьбѣ съ природой.

Изъ всего вышеизложеннаго отнюдь не слѣдуетъ, чтобы мышленіе, чувствованіе и свободныя формы творчества не могли имѣть своихъ имманентныхъ, психофизіологическихъ законовъ; они ихъ имѣютъ и опредѣляются ими цѣликомъ въ своей специфической *формѣ*, въ то время, какъ *содержаніе* свое получаютъ изъ соціальной среды, въ конечномъ счетѣ опредѣляемой *экономикой*, переплетающей потоки культуръ отдѣльныхъ классовъ и націй въ причудливую ткань, называемую исторіей.

Имманентный психологическій законъ развитія искусства, о которомъ мы говорили въ данномъ случаѣ, есть законъ усложненія. Равныя по силѣ и сложности впечатлѣнія, повторенныя многократно, начинаютъ производить на психику дѣйствіе мень-

шей силы и меньшей сложности, получается ощущеніе монотонности, скуки—«надоѣдаетъ». Отсюда естественное стремленіе всякой художественной школы усложнять и усиливать эффектъ своихъ произведеній. Это приводитъ сперва къ полному и исчерпывающему развитію даннаго художественнаго принципа, положеннаго въ основу даннаго направленія въ искусствѣ. Затѣмъ наступаетъ моментъ роскошной перезрѣлости; излишнія подробности, чрезмѣрность выраженій, граничащая съ запутанностью сложность замысла, внѣшнія украшенія, не связанныя прямо съ основной формой произведенія и служащія къ искусственному подъему впечатлѣнія,—все это можетъ еще, пожалуй, оцѣниваться положительно безпристрастнымъ судомъ потомства, но уже знаменуетъ собою для него начало конца данной школы. Искусство погружается затѣмъ въ тотъ или другой родъ бароко, декаданса. Если данный классъ не изжилъ еще себя, онъ ищетъ художественнаго обновленія, онъ черпаетъ большею частью изъ сокровищницы народнаго творчества новые мотивы, со смѣхомъ и негодованіемъ смываетъ старую школу и зачинаетъ новый циклъ развитія. Если изжито не только *искусство* даннаго класса, но и его соціальное *значеніе*, на смѣну ему является другой классъ, несущій съ собой обновленіе и художество. Наконецъ, если исчерпана жизнь цѣлаго общества, то аккомпаниментомъ къ его соціальному разложенію является затяжной художественный декадансъ, ведущій черезъ вычурность къ окончательному вырожденію искусства и варварству.

Этотъ имманентный законъ, выдвинутый Авенаріусомъ, проливаетъ не мало свѣта на культурную исторію человѣчества. Но законъ этотъ чисто формальный, онъ не даетъ намъ ни малѣйшаго представленія ни о содержаніи искусства, ни о срокѣ и характерѣ происходящихъ въ немъ смѣнъ. Живое представленіе о развитіи искусства мы можемъ получить только, изслѣдуя его конкретную исторію и пользуясь при этомъ методомъ Маркса.

Перейдемъ къ характерному примѣру примѣненія Шулятиковымъ его метода, названнаго нами методомъ разоблаченія завѣдомой лжи. Дѣло идетъ о соображеніяхъ нѣкого Савица, режиссера Мюнхенскаго Шекспировскаго театра, пытающагося доказать необходимость замѣны сложныхъ декорацій и сценическихъ эффектовъ болѣе простыми. Шулятиковъ изобличаетъ нашего эстета во лжи. Согласно Шулятикову, всѣ «апелляціи къ «генію поэзіи», во

имя котораго якобы предпринятъ весь модернистскій походъ, оказываются не имѣющими реальной цѣнности: за ними остается лишь значеніе маски, прикрывающей извѣстное экономическое значеніе».

Въ дѣйствительности реформаторскія попытки въ области театра опредѣляются болѣе сложнымъ комплексомъ условій, чѣмъ это думаетъ нашъ авторъ.

Постепенное удорожаніе театральнаго предпріятія, какъ такового, вызванное стремленіемъ театральныхъ капиталистовъ перещеголять конкурента блескомъ постановки, имѣетъ своимъ естественнымъ послѣдствіемъ все болѣе полное подчиненіе драматурга и артиста денежному мѣшку. Центръ тяжести переносится на постоянный капиталъ, и театръ легко можетъ обходиться безъ талантливаго артиста или драматурга, въ то время, какъ послѣдніе лишены всякой возможности проявиться внѣ современнаго роскошнаго и сложнаго театральнаго аппарата. Такова была тенденція развитія театра до послѣдняго времени. Совершенно понятно, что протестъ художниковъ театральнаго дѣла окрѣпъ, наконецъ, и вылился въ форму категорическаго требованія перенести центръ тяжести съ мертваго инвентаря на живое лицедѣйство. Такова первая причина театральной реформы: это эмансипаціонное стремленіе артиста.

Между тѣмъ, дифференцируется также и публика. Существуетъ, конечно, большая мѣщанская публика, жадная до зрѣлища, какъ такового, и составляющая въ своей массѣ неизбывную паству разныхъ фокусниковъ-антрепренеровъ. Но важнымъ элементомъ среди театральной публики является интеллигенція. Надо поэтому изслѣдовать новые запросы этой интеллигенціи, чтобы отдать себѣ отчетъ въ занимающемъ насъ вопросѣ. Мы не можемъ сейчасъ производить подобное изслѣдованіе и замѣтимъ только, что импрессіонизмъ, символизмъ, культъ личности и тому подобныя явленія роднятъ современный театръ со всею литературой.

Наконецъ, третьей причиной явился своеобразный распадъ многихъ крупно-буржуазныхъ семей и появленіе отвратительнаго типа буржуазнаго эпигона-декадента. Театръ фокусовъ, яркихъ эффектовъ, реалистической или феерической роскоши не по нервамъ этимъ выродкамъ: они и въ театрѣ ищутъ нюансовъ, еле слышной колыбельной пѣсни для своей гніющей преждевременной дряхлости.

Конечно, финансовыя соображенія предпринимателей объ

уменьшеніи издержекъ производства пошли навстрѣчу этимъ тенденціямъ, которыя столь легкомысленно отвергъ Шулятиковъ.

Въ самой тенденціи упрощенія постановокъ мы не видимъ рѣшительно ничего вреднаго. Весь вопросъ въ томъ, удачно ли такое упрощеніе производится. Лично мы предполагаемъ, что оно можетъ быть произведено удачно. Чрезвычайно выгоднымъ и демократичнымъ является при этомъ возможность удешевить мѣста и сдѣлать театръ общедоступнымъ. Савицъ говоритъ по этому поводу: «При большемъ числѣ мѣстъ цѣна за входъ, этотъ важный пунктъ въ организаціи народныхъ театровъ, могла бы быть значительно уменьшена».

Шулятиковъ и здѣсь видитъ простой подвохъ: «Искусство должно быть народнымъ—это положеніе въ устахъ реорганизаторовъ театра является просто-на-просто указаніемъ на извѣстный источникъ новыхъ доходовъ для театральной кассы».

Ахъ, какой же мизантропъ этотъ Шулятиковъ! Почему бы не повѣрить въ искренность Савица? Почему бы не повѣрить, что художнику хочется соприкоснуться съ массами? Но вѣдь эта причина «высшаго» характера, а марксизмъ Шулятикова допускаетъ лишь низменные мотивы.

Въ послѣдней части своей статьи Шулятиковъ нѣсколько расширяетъ свои методологическіе пріемы съ большимъ ущербомъ для ясности и безъ всякаго выигрыша въ смыслѣ конечнаго результата.

Относительно модернистовъ (Андреева, и пр.) Шулятиковъ приходитъ къ такому выводу: «Ихъ славословія въ честь смерти знаменуютъ собой не болѣе и не менѣе, какъ побѣдный гимнъ, написанный по порученію тѣхъ, кому, въ рукахъ капиталистическаго общества, принадлежитъ экономическое будущее».

Андреевъ, Сологубъ поютъ, оказывается, *побѣдный гимнъ* капиталу! Хорошенькій побѣдный гимнъ, отъ котораго собаки воютъ и молоко киснетъ. Какимъ парадоксомъ могъ притти Шулятиковъ къ такой кричащей нелѣпости, чтобы отъявленнѣйшихъ пессимистовъ и враговъ всякой энергіи превратить въ выразителей крупно-буржуазнаго имперіализма, типа Киплинга или Аннунціо послѣдней формаціи?

Андреевъ становится все болѣе опредѣленнымъ противникомъ соціализма и философскаго реализма. Но сказать о немъ, что онъ защищаетъ интересы капитала по порученію послѣдняго—значитъ ставить себя въ смѣшное положеніе и суздальской грубо-

стью сужденій набрасывать тѣнь не на врага, а на это направленіе, которому столь «рѣшительно» и столь неуклюже служишь. Шулятиковъ, стремясь опереть свое сужденіе объ Андреевѣ на фактахъ, пишетъ слѣдующее: «Андреевская героиня, въ лицѣ которой драматургъ пытался нарисовать типъ убѣжденной революціонерки и защитницы интересовъ «четвертаго сословія», вдругъ начинаетъ говорить на такомъ языкѣ: «Да. Я нашла, я знаю теперь, что я буду дѣлать. Я построю городъ и поселю въ немъ всѣхъ старыхъ, какъ прелестная Элленъ, всѣхъ убогихъ, калѣкъ, сумасшедшихъ, слѣпыхъ. Тамъ будутъ глухонѣмые отъ рожденія и идіоты, тамъ будутъ изъѣденные язвами, разбитые параличемъ. Тамъ будутъ убійцы... Тамъ будутъ предатели и лжецы, и существа, подобныя людямъ, но болѣе ужасныя, чѣмъ звѣри. И дома будутъ такіе же, какъ жители, кривые, горбатые, слѣпые, изъязвленные, дома—убійцы, предатели... И у насъ будутъ постоянныя убійства, голодъ и плачъ; и царемъ города я поставлю Іуду и назову городъ «Къ звѣздамъ!»

«Къ звѣздамъ—черезъ трупы, цѣною вырожденія!»—замѣчаетъ Шулятиковъ: «Изумительная «формула прогресса»... но очень понятная въ устахъ модерниста. Костюмъ борца за эмансипацію пролетаріата, оказывается, Л. Андреевъ бралъ для своей героини на прокатъ. Теперь этотъ костюмъ сброшенъ, и героиня выступаетъ со своимъ настоящимъ credo—которое одновременно есть credo и самого драматурга—съ проповѣдью, указывающей на ея мѣсто въ рядахъ иного класса».

Съ прискорбіемъ я долженъ признаться, что даже у плохихъ буржуазныхъ критиковъ я не встрѣчалъ такого непониманія читаемаго, непониманія преднамѣреннаго или вытекающаго изъ эристическаго ослѣпленія. Какъ! Шулятиковъ не понимаетъ, что это крикъ боли и возмущенія, что это кровавая сатира на ту формулу прогресса, которую онъ хочетъ навязать Андрееву, что это истерическое признаніе своей слабости исправить жизнь, что это голосъ скорби, состраданія и отчаянія. Да, Маруся не представительница четвертаго сословія, не Трейчъ, она интеллигентка съ хрупкимъ сердцемъ, жизнерадостность и мужество которой не могли сопротивляться личному удару судьбы, пробившему въ ея сердцѣ брешь, черезъ которую черными волнами хлынулъ ужасъ жизни.

Марксистской критикѣ нечего щадить Андреева, ибо въ своей роли пессимиста-разрушителя онъ замахнулся на революціонныя

цѣнности; намъ легко раскрыть передъ другомъ-читателемъ всѣ язвы этой больной души, но тѣмъ болѣе нелѣпо возводить на него обвиненія дикія, которыя могутъ быть поняты только какъ признакъ слабости и наклонности къ клеветѣ.

Да простятъ мнѣ товарищи суровость этихъ словъ, но можно ли допустить, чтобы намъ въ такой степени портили нашу музыку явно фальшивыми нотами?

Всю мизантропію Шулятикова я лично считаю вредной. Классовые идеалы опредѣляются экономикой, но не дѣлаются отъ этого обязательно ложью, а остаются идеалами. Отрицать идеализмъ въ исторіи вовсе не значитъ быть «матеріалистомъ», ибо сущность матеріалистическаго метода въ *объясненіи* происхожденія идеаловъ, а не въ голомъ отрицаніи ихъ.

Шулятиковъ восклицаетъ: «Великолѣпный культъ «человѣческой личности» оказывается, на провѣрку, поклоненіемъ «золотому тельцу». Романтическія настроенія предполагаютъ самый плоскій, торгашескій «реализмъ».

Если съ подобными оцѣнками можно еще подходить къ торгашеской буржуазіи, то трактовать такимъ образомъ всю буржуазную интеллигенцію, дѣлать Карлейля, Стэндаля и Ницше, Байрона, Ибсена и Стриндберга представителями плоскаго торгашества, прикрывающими свое «summa ratio» напыщенной ложью—чудовищно, чудовищно тѣмъ болѣе, что марксизмъ борется съ индивидуализмомъ, не какъ съ преднамѣренной ложью, а какъ съ враждебнымъ идеаломъ, и вовсе не нуждается въ наивной мизантропіи, теоріи подкупа и корысти для того, чтобы дать соціально-экономическое объясненіе индивидуализму.

3.

Смерть театра.

Европейскій театръ живетъ несомнѣнно нездоровой жизнью. Можно сказать, пожалуй, что онъ переживаетъ кризисъ. Но выраженіе это совершенно невѣрно толкуется, какъ Стекловымъ, такъ и Фриче. Стеклову всѣ исканія представляются безсмысленными и вредными, все это—грѣхопаденіе, золотой вѣкъ театра позади—это натуралистическій періодъ его исторіи. Стекловъ не отчаивается, подобно Фриче, въ самомъ театрѣ, онъ не полагаетъ, какъ авторъ «Театра въ современномъ и будущемъ

обществѣ», что рабочій классъ пойдетъ по стопамъ пуританъ и совершенно отвергнетъ сцену, но надежды свои Стекловъ возлагаетъ на сближеніе народныхъ массъ и стараго натуралистическаго театра.

Ни теорія грѣхопаденія, ни теорія смерти театра не найдутъ въ насъ сторонниковъ: театръ развивается, разложеніе буржуазіи создаетъ новые мотивы и пріемы въ области драматическаго искусства, пролетаріатъ можетъ заимствовать кое что какъ у буржуазіи болѣе цѣльной и здоровой, буржуазіи эпохи позитивизма, такъ и у безпокойной, мечущейся въ своемъ осеннемъ умираніи буржуазіи нашихъ дней. Но онъ создаетъ свою философію, основы которой уже геніально положены, и свое искусство, свой театръ, при свѣтломъ рожденіи котораго мы присутствуемъ.

О смерти театра въ настоящемъ и его полномъ отсутствіи въ будущемъ, въ которое вѣритъ Фриче, мы еще поговоримъ. А сейчасъ выскажемъ нѣсколько соображеній по поводу буржуазнаго реализма и грядущаго пролетарскаго искусства въ дополненіе къ тому, что было уже сказано нами въ другихъ статьяхъ, посвященныхъ тому же вопросу.

Но для этого намъ надо выяснить, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ, что такое символизмъ и каково его отношеніе къ драмѣ. Правда, и объ этомъ мы говорили неоднократно, но намъ придется сейчасъ подойти къ этому вопросу съ новой точки зрѣнія. Базаровъ въ своей статьѣ «Мистерія или бытъ» дѣлаетъ прекрасное противопоставленіе двухъ въ корнѣ различныхъ понятій, кроющихся подъ однимъ и тѣмъ же терминомъ—символизмомъ. Осуждая символизмъ уже выходящихъ изъ моды «символистовъ» въ ковычкахъ, Базаровъ пишетъ:

«Слово «символизмъ» я употребилъ здѣсь, конечно, не въ томъ смыслѣ, въ какомъ говорятъ о «символическомъ» искусствѣ въ противоположность реалистическому. Символизмъ, какъ особый пріемъ художественнаго обобщенія, строго говоря, даже не противоположенъ реализму; онъ представляетъ лишь дальнѣйшій шагъ въ развитіи послѣдняго, болѣе глубокое пониманіе, болѣе смѣлое и послѣдовательное осуществленіе той самой задачи, которую преслѣдовали и художники-реалисты, стремясь къ типичности своихъ образовъ. «Символизмъ», о которомъ шла рѣчь выше, не способъ художественнаго творчества, а конкретный фактъ конкретной психики. Это характерная бытовая

особенность современной утонченной души, эмпирическая невозможность для нея сознавать, какъ цѣнное, все ясное, опредѣленное, отчетливо очерченное, и вытекающее отсюда сознательное стремленіе возможно болѣе увеличить хаотичность, причудливость, тусклую призрачность своихъ переживаній».

Все это совершенно вѣрно. Подлинный символизмъ не противоположенъ реализму, это его высшая стадія. Между типомъ и символомъ разница только въ объемѣ захвата. Сравнительно небольшой и спеціальный кругъ опыта, будучи подвергнутъ художественной обработкѣ, какъ квинтэссенцію, создаетъ типъ: типъ мужика, чиновника, нѣмца и т. д. Гораздо большій кругъ наблюденій, сжатый въ одинъ образъ, даетъ уже символъ. Это словно конусы, высота которыхъ при равномъ уклонѣ зависитъ отъ площади ихъ основанія. Логика учитъ: чѣмъ шире объемъ даннаго понятія, тѣмъ бѣднѣе его содержаніе, но искусство разбиваетъ законы логики: символическія фигуры (Бальдеръ, Прометей, Иванушка-дурачекъ, Гамлетъ, Великій Инквизиторъ) уносятся, конечно, въ высь, живутъ внѣ реальной среды, ихъ обстановка фантастична и ненормальна съ точки зрѣнія натурализма, но она раціональна и въ высшей степени нормальна съ точки зрѣнія художественной. Ибо поэтъ, не стѣсняясь рамками дѣйствительности, черпая въ фантазіи, старается создать такую среду и такія событія, при которыхъ съ величайшей, неземной яркостью и силой проявляются тѣ или иныя глубокія начала, искаженное, умаленное и затертое лицо которыхъ поэтъ усмотрѣлъ подъ слоемъ праха случайности и освободилъ на поученіе братьямъ-людямъ.

То единственно вѣрное пониманіе символизма, которое изложено выше, совершенно разрушаетъ всѣ соображенія о неосуществимости символической драмы, какъ разрушаютъ его и факты, такъ какъ большинство великихъ трагедій и многія великія комедіи суть произведенія строго символическія. Конечно, если вмѣстѣ съ Эллисомъ изъ «Вѣсовъ» думать, что символъ можетъ заключаться только въ «confuses paroles», а основаніемъ ему могутъ являться только «никогда не совпадающія съ міромъ явленій correspondances»—то символическій театръ немыслимъ. Но развѣ Первый Фаустъ или Каинъ—confuses paroles? Развѣ основаніемъ Макбета являются неуловимые correspondances? Развѣ великій символизмъ античнаго міра и христіанства не стремился постоянно къ сценическому воплощенію? Да какъ же могло быть

иначе? Вѣдь жизнь, схваченная въ символахъ, есть ея просвѣтленное отраженіе, ея истолкованіе путемъ художественнаго преображенія? Развѣ сцена не есть другая жизнь, въ которой человѣческая жизнь и воля планомѣрно сочетаютъ и разъединяютъ то, что неразумно спутано въ далеко еще неочеловѣченной дѣйствительности? Также точно, если вмѣстѣ съ Бѣлымъ—разумѣется безконечно болѣе остроумнымъ и глубокимъ, чѣмъ Эллисъ—считать символическое творчество простымъ стремленіемъ одѣть въ конкретныя одежды процессъ абстрактнаго метафизическаго или этическаго мышленія,—то и тутъ символическая драма окажется невыполнимой, ибо столкнутся и будутъ мѣшать другъ другу логика страсти и дѣйствія, присущая драмѣ, съ логикой чистой мысли, положенной въ основу символовъ. Но и это невѣрно: символъ не есть точка соприкосновенія абстрактнаго мышленія, спускающагося съ неба, и конкретнаго образа, взлетающаго отъ земли; тогда дѣйствительно возможенъ былъ бы только краткій поцѣлуй духа горняго и духа земного, какой мы имѣемъ въ яркомъ образѣ, блеснувшемъ вдругъ у Канта, или философской идеѣ нежданно поразившей насъ у Пушкина; тогда сама лирика, за исключеніемъ такого ложнаго вида поэзіи, какъ дидактическая, была бы разсиропливаніемъ такого счастливаго пункта пересѣченія двухъ линій, двухъ прямыхъ струнъ человѣческой души. Но живой поэтическій символизмъ черпаетъ изъ самой жизни, образы для него не простыя аллегоріи, не одежды философскихъ, этическихъ концепцій, а подлиннѣйшая сущность самой конкретной дѣйствительности, и не таинственная, никѣмъ не зримая, «внутренняя» сущность, а художественно-обобщенныя краски, крики, движенія, художественно уясненныя черты единаго въ одно и тоже время внѣшняго и внутренняго универсума.

Символическій театръ возможенъ. Онъ неоднократно бывалъ осуществленъ, конечно, не тѣми символистами, которые способны только на «confuses paroles». Но этого мало. Пролетаріатъ потребуетъ, по нашему мнѣнію, *именно* символическаго театра.

Генріетта Роландъ-Гольстъ совершенно правильно указала на основной недостатокъ натурализма—отсутствіе въ немъ идеала. Не освѣщенные звѣздой идеала, не умѣющіе связать себя и свое настоящее со всемірной исторіей, съ грандіознымъ наслѣдіемъ прошлаго и перспективами грядущаго, натуралисты цѣликомъ

углубились въ настоящее, которое рисовали во всѣхъ деталяхъ. Но детали настоящаго, внѣшняя бытовая оболочка сегодняшняго дня не интересны пролетарію, носителю великаго всемірно-историческаго идеала. Возьмите изображеніе жизни самого рабочаго. Если вы постоянно станете скорбно изображать рабочаго, его лишенія, обиды, всю его горькую долю, вы быстро набьете ему оскомину, въ доказательство чего я приводилъ уже въ статьѣ «Театръ и соціализмъ» пренія Бреславскаго Parteitag'a. Но даже изображеніе борьбы рабочаго, скопированной съ его нынѣшняго состоянія—даетъ не много. Надо развернуть ее, показать ея титаническій размахъ, сдѣлать очевидной ея побѣду. Но для этого придется выйти за предѣлы данной дѣйствительности, какъ уже сдѣлалъ Верхарнъ въ своихъ «Зоряхъ», несовершенной драмѣ, но очень важной, какъ этапъ развитія новаго искусства.

Равнымъ образомъ и въ сатирическомъ или, вообще, въ такъ или иначе враждебномъ изображеніи другихъ классовъ, прежде всего главнаго врага—капиталистовъ, а затѣмъ всѣхъ разновидностей мѣщанства,—пролетаріату неважны и неинтересны подробности ихъ быта, а важна самая душа ихъ, важно пониманіе основныхъ типовъ въ ихъ развитіи и неминуемомъ упадкѣ. Буржуазный реализмъ далъ огромную серію прекрасныхъ портретовъ представителей капитала и мѣщанскаго міра вообще, но даже Бальзакъ, титанъ реализма, ощущавшій при томъ же въ душѣ своей столько почти романтическаго паѳоса, даже Бальзакъ, обладавшій исполинской силой фантазіи и обобщенія, далъ только типы, далъ только интересныя разновидности, не создалъ вѣчной и общей фигуры, которая характеризовала бы какую-либо большую, всемірно-исторически-значительную группу мѣщанства. Но онъ все же далъ наиболѣе обработанный матеріалъ для послѣдующаго символическаго творчества, наиболѣе, пожалуй, приблизился къ нему. Другіе зарывались въ песокъ мелочей, и были еще менѣе способны отойти на разстояніе и помѣстить фигуры великой драмы на фонѣ всемірно-историческаго пейзажа.

Великій символизмъ развертывался всегда, когда у того или иного народа, или класса, просыпалось яркое сознаніе своей всемірно-исторической миссіи.

Угнетаемая своей аристократіей и раздавленная, наконецъ, національнымъ бѣдствіемъ, еврейская чернь создаетъ великую символику Библіи, Агады и Каббалы. Стенающій въ нѣдрахъ великой, но пошатнувшейся Имперіи господъ, античный проле-

таріатъ развертываетъ неслыханную по трагизму символику искупленія и страшнаго суда, также твердо вѣря въ всемірную миссію бѣдныхъ вообще, какъ евреи вѣрили въ судьбу своего народа. Пришедшее на смѣну католическое духовенство развернуло темную и глубокую символику своихъ Августиновъ, Аквинатовъ и, косвенно Дантовъ. Вообще, высшими моментами развитія глубокофилософской, символической поэзіи въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова были, повторяемъ, моменты всемірно-историческаго сознанія тѣхъ или иныхъ частей человѣчества. Чтобы закончить серію примѣромъ, взятымъ мною наудачу изъ сокровищницы культурной исторіи, напомню еще тотъ несравненный расцвѣтъ польскаго романтизма, польской символической поэзіи, который неразрывно связанъ съ именами: Мицкевича, Словацкаго, Красинскаго и съ именемъ несчастнаго и трогательнаго Товянскаго, въ годины горя и униженія, указывавшаго польской націи путь служенія человѣчеству.

И неужели пролетаріатъ, идеологія и практика котораго, покончивъ разъ навсегда съ миѳомъ о провидѣніи, пронизала еще болѣе радостнымъ и героическимъ свѣтомъ высшаго смысла всю исторію человѣчества, неужели этотъ классъ-мессія, какого не видывала еще земля, не сумѣетъ воплотить свои широчайшія концепціи, свое пониманіе, любовь и ненависть, борьбу и надежду въ гигантскіе образы, живущіе интенсивной художественной жизнью? Нѣтъ, онъ будетъ имѣть своихъ Эсхиловъ, своихъ Дантовъ, которые возьмутъ у него могучіе, но неясные призраки и аккорды, населяющіе его коллективную душу и, превративъ ихъ въ монументальныя фигуры-символы, заставятъ ихъ танцовать великій танецъ жизни подъ еще неслыханную музыку.

Всѣмъ вышесказаннымъ, отнюдь, не отвергается натуралистическое искусство, — оно можетъ имѣть свое почетное мѣсто. Вѣдь никто не отвергаетъ ради героическаго эпоса или симфоніи—простой пѣсенки. Царство искусства обширно, и въ немъ найдется мѣсто самымъ разнообразнымъ видамъ красоты и методамъ творчества. Но все же въ немъ царитъ іерархія, и символическое искусство стоитъ на вершинѣ.

Доводы Фриче, приводимые имъ въ доказательство умиранія театра въ наши дни, меня не убѣдили. Констатируя огромный успѣхъ синематографа, Фриче совершенно голословно видитъ въ этомъ пораженіе театра. Мы беремъ для примѣра, хотя бы

послѣдніе отчеты Парижскихъ театровъ. Оказывается, что ихъ посѣщаемость и доходность нисколько не уменьшились, скорѣе замѣчается обратная тенденція. Въ большихъ городахъ постоянно строятся и открываются новые театры, самые маленькіе города во что бы то ни стало стремятся имѣть свой. Повсюду замѣтна тенденція открывать особые дешевые театры для народа и ростъ интереса низшихъ слоевъ населенія къ театру. Словомъ, фактически въ количественномъ и экономическомъ отношеніи театръ процвѣтаетъ. Ламентаціи предпринимателей театральнаго дѣла совершенно подобны другимъ капиталистическимъ ламентаціямъ: капиталъ любитъ прикидываться обиженнымъ. Синематографъ выросъ рядомъ съ театромъ, но, повидимому, совершенно ему не повредилъ.

Перейдемъ къ внутреннему состоянію театра. У Фриче выходитъ какъ то такъ, что классическій, натуралистическій и просто средній мѣщанскій репертуаръ, всякіе Ландау, Бернштейны, Капюсы сданы въ архивъ за негодностью, что постановочныя пьесы не окупились и сняты со сцены, что декадентскій театръ заморозилъ всякое дѣйствіе и пришелъ къ самоотрицанію... На дѣлѣ ничего подобнаго: Шекспиръ, Шиллеръ, Гюго, Мольеръ и другіе равно какъ и гг. Сарду и Доннэ преблагополучно даются съ такимъ же успѣхомъ, какъ 10, 20, 30 лѣтъ тому назадъ. Жалобы на дороговизну постановокъ не помѣшали Станиславскому поставить «Синюю птицу», не помѣшали Одеону Антуана и нѣмецкому театру Рейнгарта въ каждой новой постановкѣ превосходить самихъ себя. Декадентскій театръ тоже не умеръ, напротивъ, только теперь, можно сказать, начинается массовая постановка старыхъ драмъ Метерлинка и горячечная передѣлка ихъ въ оперы; не умираетъ, а напротивъ, растетъ вширь и вглубь успѣхъ Ибсена, что бы ни говорилъ Бѣлый. Фриче утверждаетъ, что соціальную, иными словами, рабочую драму пришлось повсюду снять со сцены, но, если бы это было даже *вполнѣ* вѣрно, это не мѣшаетъ тому, что соціальная драма есть порожденіе послѣднихъ десятилѣтій и что, не смогши завоевать театра буржуазнаго, она найдетъ себѣ пріютъ въ театрахъ рабочихъ. О послѣднихъ Фриче пишетъ слѣдующее: «Быть можетъ, наиболѣе непосредственной и отзывчивой публикой являются въ настоящее время рабочіе. По крайней мѣрѣ, бывшій директоръ Burg-театра признается, что нигдѣ ему не приходилось видѣть «болѣе воспріимчивыхъ слушателей, обладавшихъ къ тому же удивительно вѣр-

нымъ чутьемъ», какъ рабочіе—соціалъ-демократы. И въ самомъ дѣлѣ: пролетаріатъ неоднократно обнаруживалъ большой и искренній интересъ къ драматическому искусству. Достаточно указать на возникшую въ 80 г. въ Берлинѣ «Свободную Народную Сцену»—истинно-пролетарскій театръ, содержавшійся на средства рабочихъ. Однако, при существующихъ соціальныхъ условіяхъ, при низкой заработной платѣ и чрезмѣрно длинномъ рабочемъ днѣ, пролетарій лишенъ возможности посѣщать театръ и оказывать вліяніе на репертуаръ. Къ тому же рядовой рабочій въ настоящее время не настолько развитъ, чтобы служить надежной опорой для антрепренера и драматурга. Вандервельде сообщаетъ (Соціализмъ и искусство), что на спектакляхъ, организованныхъ секціей искусствъ при Брюссельскомъ Народномъ Домѣ, гдѣ ставились пьесы новѣйшаго репертуара, обыкновенно съ соціальной тенденціей, всегда, правда, имѣлась группа рабочихъ, преимущественно квалифицированныхъ, но она «далеко не составляла большинства»; рабочая масса охотнѣе слушала по воскреснымъ вечерамъ разныя старыя мелодрамы».

Броженіе, исканія, болѣзненные порывы современнаго театра—отнюдь не симптомы умиранія. Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что 50 лѣтъ тому назадъ репертуаръ и постановки были однообразнѣе и хуже, и вліяніе театра меньше, чѣмъ теперь. И это потому, что растетъ и напрягается драма соціальная. Крупная буржуазія хватается за имперіализмъ, чреватый драмами, любящій энергію и дѣйствіе, стремящійся найти примиреніе трагическихъ противорѣчій борьбы въ «высокихъ идеяхъ» воинствующаго патріотизма или личной жажды мощи. Ницшеанецъ и имперіалистъ Аннунціо уже далъ въ послѣднихъ двухъ драмахъ недюжинные образцы такого театра [1]). Правда, свинцовая тупость головъ, украшенныхъ дипломатическими треуголками, и слишкомъ явственное щелканіе волчьихъ зубовъ, котораго не можетъ заглушить никакой Заратустра,—не дадутъ вѣроятно имперіалистской драматургіи и «колоніальному театру» пріобрѣсти широкое вліяніе. Но тутъ ужъ сказывается не частный кризисъ театра, а общій кризисъ буржуазіи. И намъ остается лишь радоваться этому.

Средніе классы, пожалуй, никогда еще не проявляли такой болѣзненной идеологической дѣятельности: это какое-то пред-

[1]) „Корабль“, „Больше, чѣмъ любовь“.

смертное метаніе отъ безкровнаго мистицизма къ взрывамъ сумасшедшей страсти, отъ Бернъ-Джонса къ Штукку, отъ Верлена-уранiста къ Верлену-католику, отъ неокантіанской трезвости свѣтскихъ пасторовъ къ истерической фантастикѣ Вейнингеровъ и Шюре и т. д., и т. д.. Крайняя степень отчаянія начинаетъ прорываться и въ театрѣ, гдѣ рядомъ съ Ибсеномъ и Гофмансталемъ, съ Чеховымъ и Метерлинкомъ, начинаетъ завоевывать свое мѣсто театръ безысходнаго ужаса, театръ Андреева и Выспянскаго. Кладбищенскій и лазаретный характеръ, лежащій на всѣхъ почти сколько-нибудь талантливыхъ произведеніяхъ представителей среднихъ классовъ, опять-таки не вина театра, какъ такового,—это тоже показатель культурнаго кризиса буржуазіи вообще. Если нельзя сказать, чтобы въ буржуазіи изсякли всѣ творческія способности, то способности къ творчеству здоровому изсякли, повидимому, окончательно. Поэты съ сильнымъ темпераментомъ,—Горькіе, Верхарны, Демени,—переходятъ къ пролетаріату. Но въ томъ-то опасность и скорбь не театральнаго только, а всеобщаго культурнаго кризиса, что пролетаріатъ не преодолѣлъ еще страшныхъ трудностей, лежащихъ между его реальнымъ положеніемъ и его культурными возможностями. Но пролетаріатъ растетъ. Еще раньше, чѣмъ культурный скипетръ выпадетъ изъ мертвѣющей руки буржуазіи, онъ вырветъ его у нея, и скипетръ этотъ, какъ жезлъ Аарона, расцвѣтетъ огромными и ароматными цвѣтами. Уже теперь приближеніе къ пролетарскимъ массамъ, словно погруженіе въ купель Силоамскую, дѣлаетъ разслабленныхъ здоровыми. Поэтъ и философъ культурнаго рахитизма, Морисъ Метерлинкъ на нашихъ глазахъ взялъ одръ свой и пошелъ, и хорошо пошелъ.

Культура больна, театръ боленъ. Но ни культура, ни театръ не умираютъ.

Т. Фриче непремѣнно хочется идейно убить театръ. Мы приводили уже его сужденія о рабочемъ театрѣ. Тамъ относительно малый успѣхъ этого театра объясняется недостаточно высокимъ образованіемъ пролетарскихъ массъ, но констатируется, что передовые рабочіе любятъ театръ. Позднѣе Фриче обо всемъ этомъ забываетъ. Оказывается, что рабочіе органически не переносятъ театра: «Каждый разъ, когда новый классъ вступалъ въ борьбу съ недавними господами изъ-за власти, онъ направлялъ свои аттаки не только противъ міра загробныхъ духовъ, но и противъ міра театральныхъ тѣней, отрицая первый и упразд-

ня второй. Такъ, англійская буржуазія XVII вѣка была настолько послѣдовательна, что не признавала ни самостоятельнаго существованія духа, ни театральнаго искусства».

Итакъ, пролетаріату приходится учиться у послѣдовательныхъ мѣщанъ пуританскихъ войнъ, отвергнувшихъ всякое искусство и сдѣлавшихъ изъ жизни скучнѣйшія ханжескія будни.

Неужели Фриче серьезно ставитъ въ примѣръ пролетаріату этихъ гнусящихъ псалмы Зоровавелей, этихъ людей, которые при всемъ своемъ военномъ, политическомъ и моральномъ мужествѣ въ культурно-эстетическомъ отношеніи являются символомъ тупой пошлости и непроходимаго филистерства?

Между тѣмъ это не lapsus; свою вражду къ театру Фриче старается опереть на цѣлый рядъ теоретическихъ соображеній. Такихъ соображеній три: 1) трагедія въ будущемъ обществѣ невозможна за полнымъ отсутствіемъ трагизма въ жизни; 2) театръ уничтожится, такъ какъ онъ неразрывно связанъ съ дуализмомъ тѣла и духа, каковой будетъ устраненъ въ будущемъ; 3) театръ подлежитъ уничтоженію, какъ орудіе господства высшихъ классовъ. Къ этому прибавимъ еще предсказаніе Фриче, что театральные спектакли замѣнятся шествіями и празднествами.

Разберемъ всѣ эти положенія, которыя выдвинуты авторомъ противъ меня и т. Богданова и противъ которыхъ я рѣшительно протестовалъ бы, если бы они и не были бы полемически направлены противъ насъ. Я сдѣлаю это тѣмъ охотнѣе, что нашъ споръ дастъ возможность выяснить нѣкоторыя важныя стороны театра, столь кровно связаннаго, на нашъ взглядъ со всей человѣческой культурой.

Оспаривая элементъ трагизма въ жизни соціалистическаго человѣчества, Фриче замѣчаетъ: «Все позволяетъ думать, что по мѣрѣ того, какъ человѣчество переходитъ все къ болѣе высокимъ формамъ хозяйственной дѣятельности, по мѣрѣ того, какъ развивается машинная техника, по мѣрѣ того, какъ, выражаясь словами Рих. Вагнера, природа превращается изъ госпожи въ служанку, чувство безпомощности и неустойчивости все болѣе уступаетъ мѣсто чувству увѣренности и безопасности».

Онъ торжественно заключаетъ: «Вмѣстѣ съ сознаніемъ «жизненной трагедіи» исчезнетъ неизбѣжно почва и для трагическихъ зрѣлищъ. Забывъ былыя распри, человѣчество изъ хаоса разъединенія перейдетъ на путь солидарной и планомѣр-

ной борьбы всѣхъ противъ общаго врага—противъ «стихійной природы»—и изъ нѣдръ его духа, вмѣстѣ съ ощущеніемъ безпредѣльной мощи, родятся лишь ликующіе гимны, озаренные свѣтомъ радости и счастья, въ честь новой жизни, созданной объединенными силами всѣхъ»!

Наше положеніе о вѣчномъ трагизмѣ человѣческой жизни Фриче сопоставляетъ съ буржуазной теоріей «безысходнаго трагизма», выдвигавшейся между прочимъ Бердяевымъ.

Фриче совершенно упускаетъ изъ виду коренную разницу. Будничный трагизмъ, который старался освятить на вѣки Бердяевъ, есть трагизмъ оборонительный и пассивный, онъ констатируетъ приниженность и безсиліе человѣка передъ рокомъ; онъ прямо противоположенъ трагизму борьбы и энергіи. Но и самый трагизмъ борьбы можетъ быть пессимистическимъ, когда рисуется лишь величавая перспектива гибели съ мечомъ въ рукѣ и протестомъ на устахъ, когда все утѣшеніе заключается въ величіи гибнущаго; онъ можетъ быть оптимистическимъ, когда усилія жертвы и самая смерть представляются этапами на пути къ побѣдамъ.

Въ сборникѣ «Кризисъ театра» въ статьѣ т. Базарова, мы находимъ слѣдующія превосходныя строки: «Рокъ есть только сопротивленіе, испытываемое въ борьбѣ за осуществленіе или сохраненіе жизненныхъ цѣнностей. Если опытъ борьбы показываетъ, что сопротивленіе непреодолимо, что высшія цѣнности не реализуемы или обречены на гибель, то возникаетъ пессимистическое міросозерцаніе, въ противномъ случаѣ, міросозерцаніе будетъ оптимистическимъ. И при пессимистическомъ и при оптимистическомъ конечномъ выводѣ трагедія тѣмъ значительнѣе, чѣмъ ярче горятъ основныя руководящія цѣнности, чѣмъ глубже проникаетъ ихъ свѣтъ во всѣ отправленія жизни, чѣмъ интенсивнѣе, шире и сосредоточеннѣе борьба за нихъ. Всякая смерть производитъ гнетущее впечатлѣніе, всякая любовь манитъ къ себѣ, но лишь на фонѣ глубокаго паѳоса жизни, лишь на фонѣ могучей жизненной борьбы возникаетъ трагедія смерти и трагедія «сильной, какъ смерть» любви.

У Фриче выходитъ, что люди будущаго совершенно уподобятся современнымъ декадентамъ, имъ не будетъ извѣстно, что такое рокъ, ибо они не будутъ вести дѣйствительной борьбы. Гдѣ *дѣйствительная* борьба, тамъ огромныя усилія, тамъ жертвы, опасность, боль и часто гибель. Думаетъ ли Фриче, что человѣ-

чество будетъ когда-нибудь абсолютнымъ побѣдителемъ? Богомъ, по одной мысли котораго все совершится, или по крайней мѣрѣ, для котораго всякая цѣль достижима безъ напряженія? Я не думаю, чтобы Фриче вѣрилъ въ такія чудеса, которыя означали бы вырожденіе человѣка, такъ какъ уменьшеніе усилій означаетъ упадокъ энергіи и оскудѣніе самой жизни, но которыя немыслимы, потому что поле труда расширяется съ ростомъ его силъ.

Не мало катастрофъ, безмѣрно превосходящихъ силы нынѣшняго человѣчества, рисуются на дальнемъ нашемъ горизонтѣ. Заслуга «Красной Звѣзды»—конкретное описаніе нѣкоторыхъ формъ той колоссальной борьбы съ природой, которая предстоитъ нашимъ правнукамъ. Но дѣло не только въ опасности, которыми грозитъ намъ отнюдь не сливающаяся съ нами въ «предустановленной гармоніи» природа. Дѣло еще въ ростѣ человѣческой требовательности, человѣческихъ хотѣній. Почемъ мы знаемъ, съ какимъ нетерпѣніемъ будетъ испытывать геніальный нашъ потомокъ ту власть пространства надъ собою, ту власть времени, которая уже и теперь заставляетъ порою сжаться наше сердце, когда говорятъ намъ о великолѣпіяхъ міра Сиріуса или о чудесахъ культуры 3000 года?

Фриче говоритъ не объ окончательной побѣдѣ человѣка надъ міромъ, это метафизическая химера, а о какой-то эпохѣ самодовольства, когда человѣкъ комфортабельно устроится на землѣ и будетъ пѣть одни ликующіе гимны. Если бы я былъ «фричеанцемъ», мнѣ была бы страшна презрительная критика ницшеанца, который бросилъ бы мнѣ знаменитую фразу своего учителя: «Мы изобрѣли счастье, говоритъ послѣдній человѣкъ, и усиленно моргаетъ». Къ счастью, я не фричеанецъ: для меня соціализмъ есть переходъ отъ рабства къ свободѣ, а не отъ стремленія къ самодовольству. Для меня, и я думаю для всякаго соціалиста, не зараженнаго мѣщанской статикой, гармонія не есть цѣль въ себѣ, а лишь переходъ того, что было предметомъ борьбы, въ области завоеваннаго, примиреннаго, окончательно очеловѣченнаго, чтобы на расширенномъ фундаментѣ вновь расцвѣла борьба со всѣмъ напряженіемъ, со всѣми муками любви и творчества, борьба, вѣчно берущая «сверхъ нашихъ силъ», и стремящаяся, выростивъ эти силы, черезъ поколѣнія поймать таки танцующую въ небѣ звѣзду идеала и сдѣлать ее крылатымъ конемъ для скачки къ новымъ далямъ.

Культура, лишенная антагонизма, культура, въ которой

желанное не превосходитъ осуществленнаго, культура, въ которой отсутствуетъ трагизмъ напряженія, борьбы, жертвы—есть культура декаданса, осенняя культура.

Еще два слова о смерти. Научатся умирать стоически, говоритъ Фриче. Марксъ любилъ повторять слова Эпикура: «Смерть страшна не умершему, а пережившему». Я не сомнѣваюсь, что ужасъ смерти будетъ превзойденъ, но какъ? Уподобится ли человѣкъ низшему животному, не сознающему самой наличности смерти? Въ этомъ ли стоицизмъ? Или въ глубокомъ сознаніи не головой только, но и сердцемъ всеобщей связи жизни, *всежизни*, и въ самой смерти торжествующей? Неужели Фриче не понимаетъ, что «стоическое спокойствіе», съ которымъ разумное существо встрѣчаетъ свой собственный конецъ, или конецъ дорогого друга, есть самый подлинный трагизмъ? Фриче воображаетъ, повидимому, что трагедія подразумѣваетъ только ужасъ и скорбь, онъ забылъ, что она есть прежде всего примиреніе, побѣда человѣка надъ всякимъ ужасомъ и всякой скорбью; но побѣда не въ притупленіи чувствительности, а въ высшемъ созерцаніи жизни, созерцаніи трагическомъ.

Какъ бы далеко ни шелъ человѣкъ, но пока онъ будетъ итти вверхъ, вперивъ взоръ жадный и властный въ вѣчно новые горизонты, до тѣхъ поръ будетъ онъ опираться на плечо строгой и страстной, горькой и утѣшающей, спокойной и вѣчно впередъ призывающей Мельпомены. И если когда-нибудь эта величайшая изъ музъ удалится отъ человѣка, это будетъ значить, что дряхлъ онъ, впалъ въ дѣтство, присѣлъ на землю, опустилъ глаза на свои руки и ребячески играетъ золотымъ яблокомъ самодовольства, мурлыча, какъ котъ, и засыпая вѣчнымъ сномъ.

Фриче старается доказать коренной порокъ театра, а именно, связь его съ дуализмомъ. Для этого онъ ссылается на профес. Виппера, приводя слѣдующія слова изъ его труда «Психологія театра»: «Человѣкъ придумалъ театръ, исходя изъ вѣры въ двойственность міра и въ двойной характеръ собственнаго существа; онъ спѣшилъ въ яркихъ краскахъ нарисовать второй свѣтъ и, конечно, повторялъ лишь въ повышенныхъ тонахъ самого себя».

Человѣкъ не столько «придумалъ» театръ, сколько постепенно развилъ его изъ празднествъ. Можно спорить, самостоятельно ли произошли у всѣхъ народовъ символическія праздне-

ства, въ родѣ встрѣчи солнца, похоронъ лѣта, изгнанія зимы, связанныхъ съ особыми, можно сказать, сценическими обрядами и переряживаніемъ, или же Европа лишь переняла ихъ съ востока, черезъ посредство календъ, брумалій и вакханалій. Но несомнѣннымъ остается слѣдующее: 1) празднества эти народны, демократичны, 2) именно изъ нихъ возникла какъ комедія, такъ и трагедія и 3) изъ нихъ же развились орфическія, а позднѣе христіанскія, мистеріи.

Можно, не преувеличивая сказать, что центральнымъ моментомъ, какъ въ развитіи театра, такъ и въ развитіи культа явились драматическіе обряды, изображавшіе рожденіе, жизнь, смерть и воскресеніе бога. Суточный и годовой солнечный оборотъ, гибель и возрожденіе растительности были чрезвычайно важны для человѣка и сами по себѣ. Солнце-богъ и громо-богъ, а также богъ-виноградъ, богъ-хлѣбъ, глубоко интересовали земледѣльца, и реальныя перипетіи ихъ существованія при помощи самого миѳотворящаго языка были очеловѣчены и такимъ образомъ приближены къ уму и сердцу земледѣльца. Но этого мало: накинувъ одежды человѣкоподобной плоти на стихіи, очеловѣчивъ боговъ своихъ, человѣкъ обожествилъ себя, изъ натуралистическаго миѳа, изъ драмы силъ природы засіялъ мистическій смыслъ, драма жизни, драма человѣка. Деметра и Кора, Діонисъ и Адонисъ, стали символическими представителями человѣка въ его борьбѣ, скорбяхъ, утратахъ, въ его смерти и несокрушимой увѣренности въ побѣдѣ жизни надъ смертью.

Но это ничего не говоритъ противъ театра, ибо какъ анимистическій такъ и натуралистическій характеръ былъ очень скоро забытъ и отброшенъ театромъ. Зато на-вѣки остался присущъ ему другого рода дуализмъ, порожденный кореннымъ символизмомъ первобытнаго театра.

Проф. Випперъ говорилъ, какъ мы видѣли: «онъ спѣшилъ *въ яркихъ краскахъ* нарисовать второй свѣтъ и, конечно, повторялъ лишь *въ повышенныхъ тонахъ* самого себя».

Фриче обратилъ все свое вниманіе на совершенно неважный для театра вообще дуализмъ: «вѣру въ двойственность міра» и пропустилъ мимо ушей другое: «второй міръ», который создаетъ человѣкъ на сценѣ, есть тотъ же самый нашъ міръ лишь въ болѣе яркихъ краскахъ и повышенныхъ тонахъ. Вотъ это дѣйствительно коренной эстетическій дуализмъ театра: стремясь уяснить жизнь, подчеркнуть въ ней какія-либо стороны, возвеличить или

осмѣять ихъ, служа познанію жизни, или зовя на борьбу съ ней, театръ сразу началъ и всегда продолжалъ преображать ее въ своихъ цѣляхъ. Въ этомъ сущность всякаго искусства, въ томъ числѣ, конечно, и сценическаго. Въ обществѣ застывшемъ, гдѣ нечего больше уяснять въ жизни, гдѣ нѣтъ уже противоположностей между идеаломъ и дѣйствительностью, не будетъ, конечно, и дуализма между повседневной жизнью и ея художественнымъ отраженіемъ. Но не будучи фричеанцами и вѣря въ силу будущаго общества, мы полагаемъ, что коренное явленіе всякой сильной жизни—разница между даннымъ и желаннымъ, между познаваемымъ и познаннымъ—скорѣе вырастетъ, чѣмъ уменьшится, и съ тѣмъ вмѣстѣ вырастетъ роль искусства вообще и театра въ частности.

Но театръ служитъ высшимъ классамъ, онъ является орудіемъ гипноза и порабощенія. Вотъ, что говоритъ объ этомъ Фриче: «На раннихъ ступеняхъ культуры театръ преслѣдовалъ главнымъ образомъ полицейскія задачи: при помощи страшныхъ масокъ и чудовищныхъ образовъ, мстительныхъ боговъ и карающихъ дьяволовъ театральное представленіе приводило зрителей въ трепетный страхъ. Въ позднѣйшія времена, командующая группа уже не прибѣгала къ такимъ грубымъ формамъ запугиванія и все-таки она попрежнему видѣла въ сценѣ прекрасное средство загипнотизировать игрою тѣней зрительный залъ и такимъ образомъ незамѣтно навязать ему свои собственныя представленія о жизни общества и морали».

«Въ соціалистическомъ обществѣ, гдѣ не будетъ противоположности между собственниками и производителями, между организаторами и массой, между господами и подчиненными, очевидно не будетъ почвы для возникновенія и существованія дуалистическихъ концепцій жизни и вмѣстѣ съ представленіемъ о подземномъ мірѣ духовъ, властвующемъ надъ грубой матеріей, исчезнетъ и представленіе о возвышающихся надъ зрительнымъ заломъ подмосткахъ, съ высоты которыхъ призрачные двойники подчиняютъ путемъ гипноза въ извѣстныхъ цѣляхъ психику реальныхъ людей».

Прекрасно. Но съ тѣмъ вмѣстѣ не придется ли отказаться также отъ философіи? Отъ всякаго искусства вообще и даже отъ публицистики? Во-первыхъ, въ первоначальной своей формѣ они всѣ связаны съ дуализмомъ, а во-вторыхъ, они всѣ служили господствующимъ классамъ средствомъ гипноза.—Да, скажетъ Фриче, но они служили не только господствующимъ классамъ,

борющіеся возвышающіеся классы создавали свое революціонное искусство, революціонную философію и публицистику. Но развѣ не было революціоннаго театра, развѣ такой невозможенъ? Развѣ не знаетъ Фриче, съ какимъ стараніемъ душитъ театръ цензура господствующихъ классовъ? Вѣдь эта цензура осталась даже въ тѣхъ странахъ, гдѣ общая цензура давно отошла въ прошлое. Итакъ, театръ кажется господамъ положенія болѣе опаснымъ оружіемъ, чѣмъ даже ежедневная пресса. Не констатировалъ ли самъ Фриче появленія соціальной драмы, снятой по его словамъ со сцены по настоянію буржуазіи? Почему бы ей опять не взойти на сцену по настоянію пролетаріата? Или Фриче особенно не нравится то, что подмостки *возвышаются* надъ зрительнымъ заломъ? Но, во-первыхъ, раекъ возвышается надъ «подмостками», а во-вторыхъ, куда же будутъ ставить въ будущемъ ораторовъ, въ яму, что ли? чтобы имъ труднѣе было гипнотизировать толпу?

Фриче продолжаетъ: «Въ соціалистическомъ обществѣ сцена должна снова слиться съ публикой и театральныя зрѣлища съ ихъ раздѣленіемъ на зрителей и актеровъ уступятъ мѣсто коллективнымъ празднествамъ, торжественнымъ процессіямъ, массовымъ хорамъ и т. п.».

Но онъ глубоко заблуждается, полагая, что празднества и шествія не заключаютъ въ себѣ дуализма. Изъ нихъ то и возникъ, какъ мы видѣли, театръ. Празднующій человѣкъ есть преображенный человѣкъ, онъ одѣтъ въ иное, необычное, яркое платье, онъ не ходитъ, а танцуетъ, не говоритъ, а поетъ, не работаетъ, а играетъ. Это дуализмъ реальнаго и идеальнаго, дуализмъ будничнаго и исключительнаго, и нашему безпощадному «монисту» надо очевидно сдѣлать празднества возможно болѣе сѣренькими и обыкновенными, чтобы въ нихъ не закралась театральность. Долой эмблематическія колесницы, долой символическія одежды, нельзя ставить живыхъ картинъ, боже сохрани, если кто-нибудь станетъ на тумбу и начнетъ пѣть какіе-нибудь куплеты...

Фриче своеобразный пуританинъ. Но вѣдь пуританизмъ нѣчто прямо противоположное тенденціямъ пролетаріата. Пуританизмъ есть ненависть къ культурѣ экономически отсталыхъ элементовъ. Толстой типичный пуританинъ: не овладѣть культурой, не возвысить, не расширить, не исцѣлить ее хочетъ онъ, а убить, вернувъ насъ къ прелестямъ натуральнаго хозяйства. Пуританизмъ—тенденція антикапиталистическихъ классовъ, разрушаемыхъ капиталовъ, мѣщанскихъ,—пролетаріату, классу, созданному капиталомъ, въ нѣдрахъ его развившемуся, идущему на смѣну

ему, свойственны совсѣмъ другія настроенія. Онъ жадно относится къ культурѣ, онъ хочетъ проникнуть въ нее, усвоить ее себѣ во всей ея роскоши, потому что онъ знаетъ, что сумѣетъ перевоспитать эту красавицу, сумѣетъ сбросить съ нея все безобразное, украсить ее новыми драгоцѣнностями, сумѣетъ исцѣлить ее отъ язвы порока, сдѣлать ее своей милой подругой.

Какъ геніальный и любознательный скиѳъ Анахарсисъ, является рабочій-интеллигентъ въ богатыя Аѳины человѣческой культуры, уже тронутыя осенью декаданса. И наша роль, роль интеллигенціи, пошедшей ему навстрѣчу, въ данномъ случаѣ заключается въ томъ, чтобы служить ему гидомъ, чтобы помочь его свѣтлой любознательности, его здоровому и сильному духу все увидѣть и все взвѣсить, открыть всѣ сундуки и ларчики, гдѣ хранятся самыя филигранныя драгоцѣнности, дать ему проникнуть за видимость вещей въ ихъ внутреннюю всемірно-историческую значительность; и помочь вмѣстѣ съ тѣмъ его нетронутому инстинкту обезопасить себя отъ зараженія тлѣніемъ. Но прискорбно, если гидомъ окажется своеобразный пуританинъ, чье отвращеніе къ культурѣ вызвано, быть можетъ, интеллигентскимъ покаяніемъ и похмельемъ отъ эстетической невоздержанности прежнихъ лѣтъ. Такой аѳинянинъ-культуроненавистникъ быстрымъ шагомъ поведетъ геніальнаго варвара, бормоча: «все это ни къ чорту не годится, я надѣюсь, ты все истребишь и предашь пламени». И, когда могучій Анахарсисъ свѣтло улыбнется при видѣ какой-либо красоты—печальный могильщикъ культуры потащитъ его поскорѣе дальше,—все, молъ, грѣхъ, все тлѣнъ.

Развѣ не это произошло съ Фриче, когда онъ, самъ констатируя интересъ рабочихъ къ театру, въ то же время учитъ ихъ подражать пуританамъ и, оставивъ «Капиталъ» и прочую относящуюся сюда литературу, «собрать всѣ книги да и сжечь», ибо вся истина заключена въ Коранѣ.

Если прибавить къ пуританизму Фриче, этому порожденію чрезмѣрнаго покаянія культурнаго человѣка, его стремленіе истолковать грядущее, какъ спокойное ликованіе, мягкое, словно перина, и сладкое, словно сахарная помадка, то мы получимъ своеобразный букетъ и замѣтимъ, что отъ самаго «марксизма» Фриче пахнетъ прѣлыми листьями и сухими цвѣтами.

Еще нѣсколько мелкихъ замѣчаній. Стекловъ храбро защищаетъ реализмъ. Шулятиковъ храбро дѣйствуетъ своимъ методомъ

разоблаченія непривлекательной сущности подъ всякими «фразами». И вотъ, къ моему ужасу, Стекловъ оказывается защитникомъ «старой фабрики».

Прочтите въ самомъ дѣлѣ слѣдующее разоблаченіе Стеклова Шулятиковымъ: «Разрывъ со старыми формами искусства, осуществленный модернизмомъ, въ глазахъ ортодоксовъ реализма являлся настоящимъ помѣшательствомъ. И на первыхъ порахъ, въ art nouveau, въ декадансѣ не усматривали ничего, кромѣ плодовъ больного творчества. Такъ было въ эпоху, когда диктаторомъ промышленнаго міра были еще фабрики стараго типа, когда новой фабрикѣ приходилось довольствоваться ролью безвѣстнаго и безусловнаго parvenu. Старая фабрика утилизировала трудъ широкихъ, необученныхъ и малообученныхъ рабочихъ массъ, и искусство ея эпохи стояло подъ знакомъ реализма, а затѣмъ натурализма. И поклонники его естественно свысока отнеслись къ модернистскимъ выступленіямъ».

Мнѣ кажется, что оба рѣшительныхъ товарища немножко наказаны этимъ крѣпкимъ столкновеніемъ лбами. Не слѣдуетъ быть абсолютно самоувѣреннымъ, считать сумасшествіемъ все, съ чѣмъ несогласенъ.

Стекловъ—который любитъ солдатскіе анекдоты—приводитъ совѣтъ Драгомирова какому-то генералу кормить лошадей для того, чтобы онѣ пополнѣли, не рисомъ и морковью, а «овсецомъ». Стекловъ съ паѳосомъ требуетъ «овсеца» пролетарію. Я полагаю, что та рабочая интеллигенція, о которой только и можетъ итти рѣчь въ данномъ случаѣ, сильно переросла простецкую рѣшительность, свойственную нашимъ истиннымъ израильтянамъ, въ коихъ нѣтъ лукавства, и ихъ непорочную ненависть къ филистимлянамъ. Я думаю, что, сервируя пролетаріату тотъ «овсяный» марксизмъ, который преобладаетъ на мой взглядъ въ разобранныхъ статьяхъ трехъ товарищей, мы рискуемъ, что читатель потянется даже къ подмоченному «рису» буржуазной науки и червивой «моркови» эстетическаго модернизма. Но если настоящей статьѣ и не удастся быть въ чемъ-либо полезной тремъ уважаемымъ товарищамъ, то она по крайней мѣрѣ освободитъ насъ отъ необходимости въ предстоящей идейной борьбѣ со всѣми разновидностями мѣщанства отвѣчать за мысли, раздѣлять которыя мы не можемъ.

А. Луначарскій.

М. Морозовъ.

Ужасъ безцѣльности.

(„Мои записки“ и „Черныя маски“ Леонида Андреева).

I.

Въ современной изящной литературѣ имя Леонида Андреева одно изъ самыхъ популярныхъ. Отъ этого художника слова чего-то ждутъ, въ его произведеніяхъ чего-то ищутъ. Разнообразный по формѣ, парадоксальный по мысли, мрачный и тяжелый по жизнечувствію Леонидъ Андреевъ волнуетъ умы безкорыстно, ибо не даетъ отвѣта на ихъ запросы. Онъ зажигаетъ ослѣпительные фейерверки изъ чужихъ мыслей, бередитъ ваши собственныя раны, но не ранитъ васъ самъ, не даетъ откровенія, озаряющаго дали грядущаго, не даетъ примиренія съ кошмарами дѣйствительности, но не подвигаетъ и на борьбу за прекрасное въ ней. Унылое безволіе наложило тяжкую печать заклятія на этотъ мощный талантъ, опустошая его и превращая творчество въ безцѣльный маскарадъ кошмарныхъ образовъ. Нѣтъ вѣры, нѣтъ убѣжденія, нѣтъ цѣли! И подлинное вдохновеніе порывающееся къ небесамъ падаетъ безъ нихъ безсильно у ногъ безвольнаго творца, не знающаго ни того, что онъ творитъ, ни цѣли, ни смысла своего творчества. Творчество стихійно, но это не значитъ, что перомъ поэта правитъ сомнамбулическая прихоть, мудрое безуміе пифіи. Наоборотъ, сознательная, стремящаяся къ завѣтной цѣли, воля только шире распахиваетъ дорогу тѣмъ стихійнымъ силамъ, что дремлютъ въ насъ подъ порогомъ сознанія. Но никто не знаетъ, какъ и самъ творящій художникъ, что онъ создастъ, что вызоветъ изъ небытія къ бытію, вдохнувъ намѣренно и сознательно дыханіе свое въ символическую плоть слова, звука, холоднаго мрамора или краски.

Подобно тварямъ библейскаго бога, творенія художника,

разъ созданныя имъ, являютъ нѣчто новое и отличное отъ воли ихъ творца, оттого-то истинно-художественное произведеніе выходитъ за предѣлы намѣреній автора и даже ложь генія является слугой неосознанной имъ правды. Творчество всегда неожиданно, вѣчно юно. Парадоксальность, вымученная оригинальность декаданса—это напрасная попытка, сознательно овладѣвъ техникой творчества, овладѣть тайной его вѣчной молодости, неповторяемости. Искусствомъ техники, гдѣ каждая деталь осознана и мысленно заранѣе изучена, стараются замѣнить непокорныя сознательной волѣ силы стихійнаго творчества. Но есть иныя переживанія, и иное интимнѣйшее общеніе съ міромъ и постиженіе его, чѣмъ то, которое даетъ намъ благоразумное прилежаніе.

Творческая интуиція, конечно, не исключаетъ ни труда, ни вдумчиваго замысла, ни кропотливой техники, а даже предполагаетъ ихъ, какъ средства и способы своего выявленія. Но она не можетъ быть замѣнена ими.

Леонидъ Андреевъ платитъ тяжелую дань декадентству.

Благоразумное прилежаніе лежитъ въ основѣ его трагическаго міросозерцанія. Въ современной русской литературѣ онъ какъ бы создалъ амплуа трагика-резонера. Трагизмъ его не имѣетъ стихійнаго нутра. Кошмарная окраска видѣній поэта принадлежитъ не жизни, она только въ отравленномъ сознаніи художника и даже не всегда въ его переживаніяхъ. Ибо въ творчествѣ Леонида Андреева не жизнь сама по себѣ трагична, а трагично отношеніе къ ней поэта; трагично отсутствіе убѣжденности для души, ищущей смысла и цѣли въ жизни, но не находящей ихъ, трагична безрелигіозность въ человѣкѣ, жаждущемъ имѣть Бога, думающемъ, что въ Богѣ спасеніе, и все же не имѣющаго его. Мы знаемъ, что это болѣзнь иныхъ интеллигентовъ нашего времени. Люди жаждутъ мистическаго опыта, тоскуютъ по немъ, но не имѣютъ его, алчутъ божественнаго откровенія, но лишены его, стремятся къ абсолютной свободѣ, къ попранію законовъ природы, объявляютъ войну всякой нормѣ и въ то же время безвольны и растерянно безпомощны предъ стихійнымъ ходомъ жизни. Это трагично, конечно, но это трагизмъ не міровой, онъ неустойчивъ, лишенъ сердцевины и безсмысленъ въ глазахъ дѣйственнаго человѣка, любящаго жизнь, чувствующаго ея красоту.

Кошмарныя видѣнія отступаютъ при первыхъ же проблескахъ пробужденія воли къ жизни, предъ ея самоутвержденіемъ,

какъ это было въ «Елеазарѣ». Но для нашего времени общественной растерянности и упадка творческаго дѣйствія, въ полосу которыхъ мы теперь вошли, весьма характеренъ этотъ поверхностный трагизмъ. Онъ питается не пониманіемъ жизни въ ея цѣломъ,—а только уродствами ея. Нуженъ безпримѣрный наборъ ужасовъ, какъ въ «Василіи Ѳивейскомъ», чтобы почувствовать трагическое начало въ человѣческой юдоли. Нужно устроить сплошной маскарадъ, чтобы убить вѣру въ сознательное творчество человѣка, и надо придумать гнуснѣйшее преступленіе, чтобы заставить увѣровать въ торжество хаоса, во власть темныхъ стихій бездны.

II.

Все глубокое любитъ носить маску... всякій глубокій умъ носитъ маску—сказалъ нѣкогда Ницше. Но не все однако, что носитъ маску,—глубоко, и не подъ всякою маскою скрывается глубокій умъ. Это въ достаточной степени засвидѣтельствовано «Моими записками» Леонида Андреева. Въ нихъ авторъ обнаружилъ большую любовь къ ношенію маски, но отнюдь не проявилъ глубины, а сохраняющій и въ кошмарномъ снѣ ясную улыбочку герой записокъ глупъ даже для помѣшаннаго. Надо все же отдать справедливость находчивости и искусству, съ какими и тотъ и другой носятъ свои маски. Никто не можетъ разобрать, да въ чемъ тутъ сила. Ищутъ сокровеннаго смысла, глубоко задуманной цѣли и не могутъ найти.

Одни говорили, что Леонидъ Андреевъ здѣсь нырнулъ въ глубины реалистическаго творчества и увязъ въ тинѣ цѣпкихъ мелочей, другіе доказывали, что въ «Моихъ запискахъ» символически осмѣяны, посрамлены ложь человѣка современной культуры, а третьи подозрѣвали Леонида Андреева въ намѣреніи дискредитировать систему одиночнаго заключенія. Но глубокая тайна и понынѣ виситъ надъ «Моими записками», что хотѣлъ и чего не хотѣлъ сказать ими авторъ.

Какъ и всегда у Леонида Андреева, замыселъ въ «Моихъ запискахъ» огромный и мощный. Пока еще художникъ не выполнилъ его, а только намѣчаетъ, вы въ его чарующей власти, полны трепетнаго ожиданія, предвкушеній красоты мощной, суровой и безпощадной. Но по мѣрѣ того, какъ контуры предугадываемыхъ

образовъ тщательно обрисовываются, а блѣдные, слѣпые силуэты заполняются краской,—наступаетъ разочарованіе. Предъ вами грубый рисунокъ дерзкихъ извращеній, неожиданныхъ крикливыхъ сочетаній. Все ясно до плоскости и не осталось ничего, надъ чѣмъ бы трепетала душа, какъ предъ нераскрытой и важной тайной. Испытываешь то же, что переживаешь, когда въ твоемъ присутствіи возникаетъ рисунокъ декоративнаго полотна, на которомъ колоссальные, далекіе, полные волнующихъ намековъ блѣдные силуэты пейзажа вдругъ подъ ударомъ кисти художника превращаются въ убогую, близкую и аляповатую мазню.

Но за то удивительно выдержанъ колоритъ сюжета, удачно схвачено созвучіе фальшиво-смиренной мысли съ приторностью языка души стихійно-преступной и больной. Стиль слитъ съ человѣкомъ здѣсь, онъ краснорѣчивѣе словъ.

Трудно, очень трудно различить, гдѣ въ этихъ запискахъ безумнаго начинается безуміе убійцы, а гдѣ кончаются философскія глубины автора, запрятавшагося за спиной убійцы. Мы все же слышимъ явственно голосъ самого Леонида Андреева и скажемъ откровенно—это портитъ мелодію задуманной имъ музыки. За пугающей маской застывшей улыбки, долженствующей, по замыслу убійцы, изображать непорочную, ясную въ своей невинности совѣсть, — таится хитро подмигивающій, умный авторъ. Скептически улыбаясь, онъ подсказываетъ угрюмому и скрытному убійцѣ свои собственныя философскія догадки, заставляетъ его развивать свое мрачное міроощущеніе. Умный авторъ не ограничивается этимъ. На-ряду съ разумными мыслями, ярко вспыхивающими на фонѣ безумія, несчастный узникъ развиваетъ и свои бредовыя идеи о желѣзной рѣшеткѣ, которыя отраженнымъ образомъ оттѣняютъ значеніе философскихъ догадокъ автора.

Надъ жизнью и бытіемъ, надъ небытіемъ и смертью одинаково царитъ всесильный законъ,—философствуетъ узникъ, и, обращаясь къ своимъ безгласнымъ сожителямъ,—распятію и собственному портрету, что «неподвижно прилипли къ бѣлой стѣнѣ»,—онъ говоритъ: «Вѣрую и исповѣдую, что тюрьма наша безсмертна. Что скажете вы на это, друзья мои?» Но они молчали.

Вся жизнь представляется ему тюрьмой и даже міръ загробный рисуется ему въ видѣ тюрьмы, «откуда едва ли придется ужъ бѣжать». Тюрьма безсмертна, мудра и цѣлесообразна. Законъ желѣзной рѣшетки, улавливающій въ свои клѣтки непокорную

безконечность, царитъ нерушимо во всемъ мірѣ, какъ вѣчная побѣда надъ вѣчнымъ бунтомъ изначальнаго буйнаго и темнаго хаоса.

Даже выйдя на волю, онъ воображаетъ, что его привѣтствуютъ, какъ представителя тюрьмы, закаленнаго опытомъ вождя, учителя, явившагося къ людямъ лишь для того, чтобы открыть имъ великую тайну цѣлесообразности. Жизнь всѣхъ людей внѣ тюрьмы движется по замкнутому, «строго опредѣленному кругу, столь же прочному, какъ корридоры тюрьмы». Смыслъ, какой вкладываютъ люди въ слово—свобода, онъ называетъ идіотскимъ, и саркастически замѣчаетъ: «подобно глупой птицѣ, которая бьется до полнаго истощенія силъ о прозрачную стеклянную преграду, не понимая, что ее удерживаетъ, эти люди безпомощно бьются о стѣны своей стеклянной тюрьмы».

— О, если бы они поняли, что свободы нѣтъ, что свободы не нужно,—восклицаетъ онъ,—какъ были бы они счастливы, въ сознаніи своей мудрой подчиненности цѣлесообразнымъ и строгимъ велѣніямъ рока [1]).

И у него есть свои послѣдователи.

Въ тюрьмѣ къ узнику приходили съ воли на поклоненіе молодые люди и въ особенности дѣвицы, исповѣдывались ему въ своихъ грѣхахъ; онъ же поучалъ покорности, внутренней побѣдѣ разумной воли надъ внѣшнимъ міромъ, развивалъ «священную формулу желѣзной рѣшетки».

III.

Священная формула желѣзной рѣшотки—таковъ девизъ для новаго счастія, которое строитъ себѣ узникъ. Тяготѣющее надъ нимъ преступленіе, въ которомъ онъ не хочетъ сознаться ни людямъ, ни самому себѣ, заставляетъ искать спасенія во лжи. Только ложью спасается человѣкъ, только ложью можетъ онъ связать фактическое торжество желѣзной рѣшотки съ нравственнымъ признаніемъ ея. Ложь проникаетъ все содержаніе жизни узника. Но это ложь особенная во имя торжества правды. Когда онъ разсказываетъ начальнику тюрьмы и его женѣ страшную сцену убійства, онъ говоритъ, что «убійца временно пересталъ быть человѣкомъ и сталъ звѣремъ, сыномъ изначальнаго

[1]) Стр. 235. Альм. „Шиповника“ кн. VI.

хаоса, дѣтищемъ темныхъ и страшныхъ вожделѣній». Но поймутъ ли это люди, «которымъ доступна лишь внѣшняя оболочка фактовъ, а не внутренній ихъ смыслъ», не взведутъ ли они въ вину то, что внѣ власти человѣка, внѣ разумной его воли, внѣ сознательныхъ намѣреній и цѣлей: «Не правдой, а только ложью могъ бы я возстановить и утвердить истину о моей невиновности»,—говоритъ убійца.—«Говоря правду, я привожу людей къ ошибкѣ и тѣмъ обманываю ихъ; утверждая ложь, привожу ихъ, наоборотъ, къ истинѣ и познанію».

Таковъ другой великій законъ, законъ лжи во имя торжества правды. Этотъ законъ открылъ я,—съ гордостью говоритъ узникъ. На немъ «зиждется вся исторія человѣческой мысли, ищущей не правды, которой ей не дано знать, а правдоподобности, т. е. гармоніи между видимымъ и мыслимымъ, на основаніи строгихъзако новъ логическаго мышленія». Люди не знаютъ границы между ложью и правдой, они не поймутъ безхитростной правды.

Увязшій въ безвыходной лжи, умъ ищетъ опоры, и, читая евангеліе, узникъ съ напряженнымъ волненіемъ доискивается тайнаго смысла. Сжигаемый страстной и больной жаждой раскрыть обманчивую завѣсу словъ и нащупать подъ ними живое трепещущее тѣло, онъ пытаетъ каждое слово, онъ убѣжденъ, что и въ этой книгѣ правда осуществляется по открытому имъ закону, что путемъ лжи торжествуетъ она и здѣсь.

Художникъ, тюремный товарищъ нашего героя, говоритъ ему:

— «...А знаете вы, что нѣтъ на свѣтѣ ничего хуже человѣческаго лица? Даже говоря правду, даже крича о правдѣ, оно лжетъ, лжетъ, дѣдушка, потому что говоритъ на своемъ языкѣ. Знаете, дѣдушка, со мной былъ ужасный случай. Это было въ одной картинной галлереѣ, я разсматривалъ Христа и вдругъ... Христосъ, ну, вы понимаете, Христосъ: огромные глаза, черные, страшная мука, печаль, тоска, любовь—ну, однимъ словомъ, Христосъ. И вдругъ меня ударило: вдругъ мнѣ показалось, что это—величайшій преступникъ, томимый величайшими, неслыханными муками раскаянія... Дѣдушка, что вы такъ смотрите на меня? Дѣдушка!

Приблизивъ свои глаза къ самому лицу художника, я осторожнымъ шопотомъ, какъ того требовали обстоятельства, спросилъ его медленно, раздѣляя каждое слово:

— Не думаете ли вы, что когда діаволъ искушалъ Его въ пустынѣ, то Онъ не отрекся отъ него, какъ потомъ разска-

зывалъ, а согласился, продалъ себя—не отрекся, а продалъ, понимаете? Не кажется ли вамъ это мѣсто въ Евангеліи сомнительнымъ? [1]).

На лицѣ моего юнаго друга выразился чрезвычайный испугъ; обоими ладонями упершись въ мою грудь, какъ бы отталкивая меня, онъ произнесъ такимъ тихимъ голосомъ, что я едва могъ разобрать его невнятныя слова:

— Что такое? Что вы говорите: Іисусъ продался... зачѣмъ?

Я тихо пояснилъ:

— А чтобы люди, дитя мое, повѣрили въ него.

— Ну...

Я улыбался. Глаза К. стали круглыми, какъ будто его душила петля; и вдругъ съ тѣмъ неуваженіемъ къ старости, которое отличало его, онъ рѣзкимъ толчкомъ свалилъ меня на кровать и самъ отскочилъ въ уголъ. Когда же я съ медленностью, естественной для моего возраста, сталъ выбираться изъ неудобнаго положенія, въ какое поставила меня несдержанность этого юнца, онъ громко закричалъ:

— Не смѣй!? Не смѣй вставать, дьяволъ!»

Что всего любопытнѣе, это то, что совершенно разные два человѣка, умалишенный убійца, лицемѣрный, лживый, и искренній, правдивый художникъ думаютъ и говорятъ одно и то же. Оба увѣрены въ неизбѣжности лжи даже для выраженія правды, обоимъ приходятъ въ голову кощунственныя мысли. Одинъ ищетъ въ Евангеліи доказательства продажности Христа, другой въ глазахъ Христа прочелъ неслыханныя муки раскаянія величайшаго преступника. но почему то испугался своей же собственной мысли, когда она была выражена другимъ. Для вящаго эффекта, очевидно. Впрочемъ, по существу дѣла никакихъ двухъ разныхъ лицъ тутъ нѣтъ, одна только видимость ихъ. Это только двѣ личины одного и того же лика. Вотъ почему діалогъ похожъ на монологъ, а помѣшанный, лицемѣрный враль ничѣмъ не отличается,—ни мыслью, ни настроеніемъ, отъ искренняго и правдиваго художника. Оба, послушные авторской волѣ, покорно отражаютъ глубины авторскаго пониманія.

Трагической фигурой умалишеннаго преступника авторъ пользуется для совершенно постороннихъ цѣлей. Довольствуясь

[1]) Стр. 206.

внѣшней оболочкой безумія, онъ заполняетъ его полемическимъ содержаніемъ. При посредствѣ сумасшедшаго узника Леонидъ Андреевъ сводитъ счеты съ нелюбезнымъ его сердцу міросозерцаніемъ. Это своего рода публицистика, имѣющая то преимущество, что она не нуждается даже въ холостыхъ зарядахъ. Вмѣсто того, чтобы самому открывать огонь по врагу, авторъ отдаетъ врага подъ защиту полуумнаго и лицемѣрнаго апологета тюрьмы и лжи.

Мысль самого автора, а не только его больного героя, движется въ порочномъ кругѣ. Какъ кривое зеркало фокусника, творчество поэта красоту генія отражаетъ согласно съ дѣйствительностью, но съ дѣйствительностью, закономѣрно изуродованной. Оттого то въ кошмарныхъ фантазмахъ Леонида Андреева не чувствуется дерзкаго размаха, безоглядной смѣлости—всегда они скованы рабской приверженностью къ реальному, какой то патологической близостью къ подлиннику жизни. Оттого то даже сумасшедшій при всемъ своемъ безуміи остается разсудительнымъ человѣкомъ, такъ что чудится, что это вовсе не сумасшедшій, а хитрый притворщикъ, который вмѣстѣ съ авторомъ морочитъ публику, подобно человѣку на скалѣ въ «Любви къ ближнему». Правда, продѣлывается это довольно красиво, а временами даже блестяще, чувствуешь дыханіе подлиннаго таланта, но таланта, обреченнаго своей природной кривизной.

IV.

Такъ пишется памфлетъ на міросозерцаніе, исходящее изъ признанія закономѣрности и необходимости. Въ «священной формулѣ желѣзной рѣшетки» мы узнаемъ участника «Факеловъ», объединенныхъ въ своемъ «кто въ лѣсъ, кто по дрова» мистическимъ анархизмомъ. Міръ, представляемый какъ нерушимое господство законосообразной необходимости, цѣлесообразная общественность жизни—та же безвыходная тюрьма. Лучшимъ источникомъ, такъ сказать, питательной средой для широкой и мощной любви къ человѣчеству—опять-таки служитъ тюрьма, гдѣ жизнь свободна отъ тѣхъ потрясеній, какія приносятъ за собою измѣна, утрата близкихъ, болѣзни: «Не размѣнивая своего чувства любви на мелкія личныя привязанности, я тѣмъ самымъ одновременно освобождаю его для широкой и мощной любви къ чело-

вѣчеству, а такъ какъ человѣчество безсмертно, не подвержено болѣзнямъ и въ гармоническомъ цѣломъ своемъ несомнѣнно движется къ совершенству, то и любовь къ нему является наиболѣе важной гарантіей душевнаго и тѣлеснаго здоровья».

Любовь, взрощенная тюрьмою, въ сердцѣ убійцы! Хвала безсмертному человѣчеству, вложенная въ уста помѣшаннаго! Это ли еще не насмѣшка надъ мечтами и позитивными идеалами массъ нашего времени? Но ядовитый сарказмъ брошенъ въ лицо позитивнаго жизнечувствія не изъ глубины сердца. Это просто свободная игра мысли, ко всему равнодушной. И если неомистицизмъ далъ оружіе художнику противъ позитивнаго міросозерцанія, то это еще не значитъ, что онъ завоевалъ его сердце. У Леонида Андреева нѣтъ и мистической вѣры въ творческіе прорывы изъ міра необходимости въ царство свободы, въ нуменальные міры. Онъ равнодушенъ къ гордымъ призывамъ къ бунту противъ природы и ея законовъ, къ бунту противъ всякой нормы природной и человѣческой, ибо нѣтъ вѣры у него и въ то, будто въ вѣчномъ возстаніи и разрушеніи таится сокровенная сила творчества. Въ безднѣ человѣческой души не творчество видитъ художникъ, а земныя и страшныя вожделѣнія, безцѣльную злобу, кровожадную жажду уничтоженія. Ему безцѣльно дорога мучительная потребность летѣть въ открытое окно природы, не защищенное рѣшеткой научнаго міросозерцанія, мучительная по своей явной безплодности и нелѣпости въ свѣтѣ эмпирики. А мистики нѣтъ у поэта, въ его опустошенной душѣ безвѣріе царитъ безраздѣльно и властно, онъ не испытываетъ чувства свободы, его нѣтъ въ его кошмарномъ творчествѣ. И потому такъ ядовито и зло потѣшается онъ надъ тѣми, въ комъ закономѣрность и властная необходимость въ міропониманіи не убиваютъ чувства свободы и жажды творчества. Недаромъ старожилъ одиночки, вспомнивъ волшебное дѣтство съ его ощущеніемъ безграничной свободы, «вдругъ почувствовалъ нѣжность къ рѣшеткѣ, нѣжную благодарность, почти любовь. Скованная руками, слабыми человѣческими руками какого-нибудь невѣжественнаго кузнеца, даже не отдающаго себѣ отчета въ глубокомъ смыслѣ своего созданія, вдѣланная въ стѣну столь же невѣжественнымъ каменщикомъ, она вдругъ явила собою образецъ глубочайшей цѣлесообразности, красоты, благородства и силы. Схвативъ въ свои желѣзные квадраты безконечное, она застыла въ

холодномъ и гордомъ покоѣ, пугая людей темныхъ, давая пищу для размышленія людямъ разсудительнымъ и восхищая мудреца».

Въ «Моихъ запискахъ» мы слышимъ старые, несложные мотивы. Это все та же пѣсня о безднѣ, нынѣ именуемой изначальнымъ буйнымъ хаосомъ. Ощущеніе ужаса предъ властью этого хаоса составляетъ психологическую основу повѣсти. Это—старое откровеніе Леонида Андреева о бунтующемъ, темномъ и древнемъ началѣ, притаившемся на днѣ безумно одинокой души человѣческой. На очную ставку съ нимъ художникъ привелъ новое откровеніе о творческомъ «я», перевернувшемъ міръ, создавшемъ по своей собственной волѣ и фантазіи свое собственное царство покоя и гармоніи. Увлекаемый склонностью къ парадоксу, онъ соединилъ и то и другое въ одномъ лицѣ, спаявъ ихъ безуміемъ его. Авторъ одинаково предоставляетъ помѣшанному славословить красоту и цѣлесообразность желѣзной рѣшетки и творческую силу свободной воли. И отъ этой умалишенной какофоніи отдаетъ полемической мелочью широко и глубоко задуманная вещь. И оттого-то она кажется намъ ненужной,—оттого-то не чувствуется въ ней законченной самоцѣли и той собственной жизни, которою дѣйствительно живутъ созданія поэтовъ, переживая своихъ творцовъ.

V.

Еще до сумасшествія и преступленія герой повѣсти, работая надъ трупомъ, вдругъ «возчувствовалъ глубочайшій восторгъ предъ необыкновеннымъ зрѣлищемъ—обратнаго шествія матеріи отъ жизни къ смерти, отъ сложнѣйшей конструкціи живого организма къ простѣйшимъ элементамъ вещества».

Быть можетъ, это и очень глубокое наблюденіе. Но восхищеніе предъ разлагающимся трупомъ человѣка до того ярко характеризуетъ пріемы творчества Леонида Андреева, что, я думаю, онъ смѣло могъ бы обойтись въ данномъ случаѣ и безъ наблюденій.

Надо только усвоить хорошо правило: утверждать все наоборотъ. Человѣкъ кается въ своей низости, а ты заставь своего героя покаяться съ чрезмѣрной добродѣтели; человѣкъ боится одиночества, а ты принудь его воспѣть хвалу святости одиночества. Человѣкъ единственное животное, имѣющее совершенный даръ общенія, языкъ,—пиши, что одиночество—«преимущество,

данное человѣку предъ другими тварями, дабы оградить отъ чужого взора святыя тайны его души». Іуда продалъ Христа за 30 серебренниковъ,—скажи: возлюбилъ безмѣрно. Въ очахъ невинности и святости прочти неслыханныя муки раскаянія величайшаго преступника; мошенниковъ изобрази честнѣйшими людьми, которые играютъ роль мошенниковъ; представь, что «роль честныхъ исполняютъ преимущественно мошенники и исполняютъ скверно». И т. д. безъ конца. Шиворотъ-на-выворотъ—такова звѣзда волхвовъ, приведшая Леонида Андреева къ яслямъ славы. Вспомните «Бездну». Старая истина,—что въ человѣкѣ можетъ проснуться звѣрь и въ благородномъ, мечтательномъ юношѣ—самецъ-насильникъ. Но въ «Безднѣ» этотъ самецъ просыпается въ юношѣ, съ разбитыми до безпамятства челюстями, надъ полумертвой подругой, только что изнасилованной, истерзанной напавшими на нихъ негодяями. Это ужъ не просто бездна, а бездна, такъ сказать, опрокинутая вверхъ ногами наперекоръ стихіямъ и всяческому смыслу. Авторъ какъ бы задался цѣлью—чудовищно невѣроятныя дѣйствія осуществить въ обстановкѣ, совершенно исключающей самую возможность ихъ во всѣхъ смыслахъ. Только путемъ такого парадоксальнаго противорѣчія развертываются силы таланта, раскрывается индивидуальная личина художника. Роковой вопросъ встаетъ предъ нами: не признакъ ли это безцѣльности творчества, не имѣющаго внутренняго упора, обреченнаго безволіемъ и отсутствіемъ убѣжденности искать точку опоры въ парадоксальномъ?

Когда иные критики отмѣтили пасквиль на человѣка въ «Безднѣ», то Леонидъ Андреевъ подъ псевдонимомъ Джемса Линча выступилъ на защиту самого себя. Тутъ ясно и опредѣленно сказалось его неглубокое пониманіе культуры, противъ которой онъ возсталъ. Онъ не находилъ словъ, чтобы достаточно заклеймить «двуногое существо безъ перьевъ», сумѣвшее соединить прогрессъ, гуманность, любовь и деньги въ потокѣ безчеловѣчной злобы и гнусности, предъ которыми его «Бездна» блѣднѣетъ. Но Джемсъ Линчъ ломился въ открытую дверь. Никто вѣдь и не думалъ отрицать еще большихъ звѣрствъ, чѣмъ то, которое дано было въ «Безднѣ». Онъ не понималъ простой, повидимому, вещи, что и звѣрство имѣетъ свою логику, что безуміе одного не есть безуміе всѣхъ, что люди-звѣри проявляютъ свое звѣриное нутро, какъ и ангелы-люди—ангельское, не вопреки всѣмъ законамъ естества, а какъ разъ

наоборотъ—въ силу этого естества. Но изнасилованіе естества—вотъ та великая задача, неугасающій маякъ творчества Леонида Андреева, съ которымъ онъ неразлученъ, подымаясь за нимъ на вершины и опускаясь на низины, съ одинаковой готовностью. Докторъ Керженцевъ въ «Мысли» съ гордостью вспоминаетъ свою побѣду: «Поверни назадъ, окажись неспособнымъ къ любви—убилъ бы себя. Это было рѣшено, я помню». Что за титанъ, что за мощь любовной рѣшимости,—подумаетъ иной читатель. А межъ тѣмъ рѣчь идетъ лишь о томъ, чтобы войти въ спальню горничной Кати, любовницы сына и отца, «готовымъ къ поцѣлуямъ, какъ Ромео», и раздѣлить съ нею ложе рядомъ съ трупомъ отца. «Чувство у меня было такое, будто однимъ поступкомъ я нарушаю всѣ законы божескіе и человѣческіе». Вотъ этимъ-то нарушеніемъ законовъ божескихъ и человѣческихъ Леонидъ Андреевъ какъ бы стремится перещеголять свое собственное духовное чадо. «Да, тогда я былъ еще романтикомъ. Счастливая пора, какъ она была далека! Помню, гг. эксперты, что, возвращаясь отъ Кати, я остановился передъ трупомъ, сложилъ руки на груди, какъ Наполеонъ, и съ комической гордостью посмотрѣлъ на него». Такъ пишетъ докторъ Керженцевъ съ цѣлью доказать, что онъ совершенно здоровъ психически, и убійство совершилъ сознательно. Не съ той ли же удовлетворенной гордостью смотритъ Леонидъ Андреевъ на своего читателя, свидѣтельствуя здоровье и мощь своего таланта насилованіемъ дѣйствительности, предлагая ему трупную философію разлагающагося, обезволеннаго «я», которой, по всей видимости, не даетъ ни минуты обольстить себя самого? Да, Леонидъ Андреевъ и теперь еще, кажется, романтикъ и по-прежнему оправдывается отъ обвиненій въ пессимизмѣ, обѣщается написать апологію революціи, попрежнему съ тревожнымъ любопытсвомъ ищетъ Бога, въ котораго не вѣритъ и увѣровать не въ силахъ.

Характеренъ въ этомъ отношеніи слѣдующій отрывокъ изъ «Моихъ записокъ».

«Здѣсь не могу умолчать о тѣхъ странныхъ размышленіяхъ, къ которымъ привело меня распятіе, будучи повѣшено рядомъ съ моимъ портретомъ. Это было въ сумерки. За стѣною на невидимой церкви тягуче звонилъ колоколъ, созывая вѣрующихъ; вдалекѣ по пустынному, поросшему бурьяномъ полю черной точкой двигался невѣдомый путникъ, уходящій въ невѣдомую даль; и тихо было въ нашей тюрьмѣ, какъ въ гробницѣ. Я долго со

вниманіемъ всматривался въ черты Іисуса, столь покойныя, столь радостныя въ сравненіи съ тѣмъ, что рядомъ съ нимъ молчаливо и глупо смотрѣло со стѣны. И съ привычкой вслухъ обращаться къ неодушевленнымъ предметамъ, создавшейся долгими годами уединенія, я шутливо сказалъ неодушевленному распятію:

— Здравствуй, Іисусъ! Радъ привѣтствовать Тебя въ нашей тюрьмѣ. Здѣсь насъ трое. Ты, я и тотъ, что смотритъ со стѣны, и, надѣюсь, мы, трое, уживемся въ мирѣ и добромъ согласіи. Тотъ молчитъ и смотритъ. Ты молчишь и глаза Твои закрыты— я буду говорить за троихъ: вѣрный знакъ того, что согласіе наше никогда не нарушится.

Тѣ оба молчали, и, продолжая шутку, я обратилъ мою рѣчь къ портрету. Укоризненно покачавъ головою, я сказалъ:

— Куда ты смотришь такъ пристально и странно, мой неизвѣстный другъ и сожитель? Въ глазахъ твоихъ тайна и укоръ— ужели ты дерзаешь укорить Того? Отвѣчай!

И, дѣлая видъ, что портретъ отвѣчаетъ, я продолжалъ измѣненнымъ голосомъ, съ выраженіемъ крайней суровости и безграничной скорби:

— Да, я укоряю Его. Іисусъ! Іисусъ! Зачѣмъ такъ чистъ, такъ благостенъ Твой ликъ? Только по краю человѣческихъ страданій, какъ по берегу пучины, прошелъ Ты, и только пѣна кровавыхъ и грязныхъ волнъ коснулась Тебя—мнѣ ли, человѣку, велишь Ты погрузиться въ черную глубину? Велика твоя Голгоѳа, Іисусъ, но слишкомъ почтенна и радостна она, и нѣтъ въ ней одного маленькаго, но очень интереснаго штришка: ужаса безцѣльности!

Здѣсь, съ выраженіемъ гнѣва, я перебилъ рѣчь портрета.

Какъ смѣютъ — воскликнулъ я — какъ смѣютъ въ нашей тюрьмѣ говорить о безцѣльности?

Тѣ оба молчали; и вдругъ Іисусъ, не открывая глазъ и даже какъ будто еще крѣпче сомкнувъ ихъ, отвѣтилъ тихо:

— Кто знаетъ тайны Іисусова сердца?

Я расхохотался, и мой уважаемый читатель легко пойметъ этотъ смѣхъ. Оказалось, что я, холодный и трезвый математикъ, обладалъ чуть ли не поэтическимъ талантомъ и могу сочинять очень интересныя комедіи. Мною же придуманный, но все же неожиданный для меня отвѣтъ Іисуса, показался мнѣ столь восхитительнымъ, что три или четыре раза я съ упоеніемъ повторилъ его:

— Кто знаетъ тайны Іисусова сердца?»

Это—одно изъ наиболѣе яркихъ и сильно написанныхъ мѣстъ въ «Моихъ запискахъ», по трагическому замыслу, по эффектности выполненія. Чего стоитъ одно сопоставленіе какъ чужихъ старика узника съ ласковой улыбочкой и портрета его со страшнымъ, полнымъ дикихъ противорѣчій, лицомъ, съ глазами о которыхъ самъ старикъ въ другомъ мѣстѣ говоритъ: «ихъ остановившійся взглядъ, мерцающее гдѣ-то въ глубинѣ безуміе, мучительное краснорѣчіе души бездонной и безпредѣльно одинокой,—все это не мое».

И, тѣмъ не менѣе, что же осталось отъ пугающаго своей дерзостью замысла? Только двѣ фразы: «ужасъ безцѣльности» и «кто знаетъ тайны Іисусова сердца».

Первая развѣнчиваетъ при помощи второй трагедію Голгоѳы, вторая чернымъ подозрѣніемъ искажаетъ свѣтлую мечту тысячелѣтій о безпредѣльно-ясной прозрачнѣйшей душѣ, не боящейся чужого взора, ибо сокровенное въ ней восхищаетъ и поднимаетъ человѣка.

Дерзкій вызовъ привычному только потому, что оно привычно—вотъ та линія наименьшаго сопротивленія, по которой движется Леонидъ Андреевъ. И безспорно, въ этой смѣлой парадоксальности, въ этомъ чтеніи книги жизни шиворотъ-на-выворотъ—проклятіе таланта Леонида Андреева и вмѣстѣ источникъ его обаянія. Но источникъ этотъ неглубокъ; онъ не можетъ быть глубокимъ. Что же можетъ быть глубокаго въ томъ, что огромный талантъ, авторъ блестящихъ и прекрасныхъ вещей, стремительно бросается внизъ головой, разсчитывая, производя эффектный переполохъ, вынырнуть веселымъ и здоровымъ снова на лоно своей популярности?

Неудержимая склонность къ противорѣчіямъ, къ неожиданнѣйшей парадоксальности, склонность, часто теряющая мѣру, говоритъ о большой бѣдѣ художника. Она говоритъ объ отсутствіи твердаго устоя, той пылкой убѣжденности и вѣры въ свое призваніе, въ свое взростающее въ глубинахъ души міроощущеніе, безъ которыхъ нѣтъ и не можетъ быть устремленія въ дали будущаго. Маленькій «штришокъ» ужаса безцѣльности, о которомъ бросаетъ вскользь ядовитую мысль сумасшедшій узникъ, является какъ бы роковымъ намекомъ. Сквозь черты искусственной маски проглянуло подлинное лицо автора. О, какъ понятенъ становится для тѣхъ, кто признаетъ это,—языкъ кошмарнаго бреда, это пуганіе, которое не страшитъ, но по-истинѣ

страшно, ибо свидѣтельствуетъ о жуткой опустошенности души. Не потому ли такъ жадно и быстро улавливаетъ Леонидъ Андреевъ всякую новую, случайно брошенную мысль, такъ трепетно спѣшитъ отозваться на каждую смѣну настроенія, какъ бы живя по чужой скалѣ душевныхъ колебаній и не обнаруживая своей? Не значитъ ли это, что въ ничѣмъ незанятую душу свободно вливаются быстрой струей злобы дня, отражаясь въ ней, какъ въ кривомъ зеркалѣ, кошмарными образами гнѣва, печали или смѣха?

Во всякомъ случаѣ не ищите цѣльнаго пониманія жизни, глубинъ философскаго міросозерцанія у Леонида Андреева. Онъ не можетъ этого дать.

Парадоксъ и насилованіе смысла — какъ внѣшнее выраженіе, какъ символъ безцѣльнаго творчества, — вотъ къ чему сводятся напряженныя усилія этого выдающагося и красиваго таланта.

VI.

«Моя душа—заколдованный замокъ.—Свѣтитъ ли солнце въ высокія окна—изъ лучей золотыхъ оно ткетъ золотистые сны.—Глядитъ ли печально луна въ туманныя окна—въ серебристыхъ лучахъ серебристые сны. Кто смѣется? Кто смѣется такъ нѣжно надъ печальною жизнью...

«И освѣтился мой замокъ огнями.—Что случилось съ моею душою?—Черныя тѣни побѣжали къ горамъ и вернулись чернѣе.—Кто рыдаетъ?—Кто стонетъ такъ тяжко въ черной тѣни кипарисовъ? Кто пришелъ на мой зовъ?

«И страхи вошли въ мой сіяющій замокъ. Что случилось съ моею душою?—Гаснутъ огни подъ дыханіемъ мрака?—Кто смѣется? Кто смѣется такъ страшно надъ безумнымъ Лоренцо? Пожалѣй меня, о властитель, страшно душѣ моей, о властитель, о владыка міра—Сатана».

Это—пѣсня изъ «Черныхъ масокъ» Леонида Андреева. Роковая печать безсильнаго унынія покоится на этомъ, трепещущемъ порывами гѣнія, произведеніи. Но не суждено художнику слова развернуть свою душу ни въ блескѣ солнечнаго дня, ни въ угрожающихъ тѣняхъ ночи. Безсильно бьется въ поискахъ формы тревожная мысль, ощупью ищетъ путей къ душѣ читателя и срывается какъ разъ тамъ, гдѣ, казалось бы, достигла вершинъ мірового трагизма. Прихотливое сочетаніе реализма и симво-

лизма не въ силахъ преодолѣть привычной условности формъ даже привнесеніемъ легендарнаго элемента. Дыханіемъ сказки обвѣянъ сюжетъ. Но не спокойная, величавая мудрость быта свѣтится въ ней, а безуміе одинокой въ своемъ жизнечувствіи души. Отражена лишь одна безвольная, маловѣрная, отравленная сомнѣніями темной вѣры и темнаго безвѣрія абстрактная душа культурнаго человѣка. Это—та же критическая личность безпочвеннаго разночинца 70-хъ годовъ, но опустошенная сомнѣніями, подвергшая скептической критикѣ свои идеалы не въ свѣтѣ долга предъ народомъ, а въ поискахъ утвержденія себя въ вѣчности. И въ итогѣ—безумный бредъ, навѣянный тяжелыми противорѣчіями жизни, залитой солнцемъ европейской культуры.

Убивъ послѣднія грезы старой романтики, вытравивъ родовые инстинкты стараго, отжившаго быта, ветхій абстрактный человѣкъ почувствовалъ вдругъ безумный ужасъ одиночества. Для гордаго противопоставленія себя всему міру не хватило силъ, для утвержденія своей личности предъ лицомъ вѣковъ мірозданія не оказалось базы. Проклятіе созрѣло тамъ, гдѣ искалъ человѣкъ опоры для себя. Его собственное оружіе—разумъ—обратилось противъ него же. Въ сердцѣ у него шевелятся жалящія душу змѣи, а его надежда, мысли, измѣнивъ, трусливо притаились въ углу чудовищемъ, лишеннымъ образа и формы, многорукимъ, многоногимъ и говорящимъ многими голосами. Душа навѣки замкнута, нѣтъ силы ни земной, ни небесной, способной ее разомкнуть, и безумный герцогъ Лоренцо, «идущій, въбезвѣстную даль», не узнаетъ никого изъ близкихъ. Всюду и во всемъ—однѣ только маски.

Ограниченное бытіе довольствуется маскарадомъ, равнодушное къ дѣйствительнымъ лицамъ, оно, не мудрствуя лукаво, легкомысленно отдается обману. Но человѣкъ, идущій въ безвѣстную даль, хочетъ сорвать маску, онъ пытливо вглядывается въ глаза своей возлюбленной и ошибается, не узнаетъ ея.

Несчастный герцогъ Лоренцо въ одинъ мигъ въ разгарѣ шумнаго бала потерялъ все. Потерялъ любимую жену Франческу, потерялъ вѣрныхъ слугъ, друзей: множество масокъ отзывается на одно и то же имя и вмѣсто одной Франчески оказывается нѣсколько. И неизвѣстно, маски ли это только, или ожившія подъ личиною маски множественныя «я» разлагающейся души человѣка. Въ злую шутку маскарада врывается неожиданно что-то легендарное, страшное. Трудно различить живыхъ отъ умер-

шихъ. Появляются новыя, никому неизвѣстныя маски, и съ тревогой спрашиваютъ гости другъ друга—сколько насъ было? Привлеченныя ослѣпительнымъ заревомъ башни, пламеннымъ вызовомъ вздымающейся къ небу въ борьбѣ съ мракомъ ночи, въ залъ проникаютъ никому невѣдомыя, никѣмъ не званныя мохнатыя, черныя чудовища, «ожившія частицы мрака». Назойливыя и робкія, съ любопытствомъ прикасаются они ко всему, безпомощно роняя драгоцѣнныя вещи, украшающія замокъ. Никто не знаетъ, кто они и кто пригласилъ ихъ. Они летятъ на свѣтъ, вызванныя въ жизнь свѣтомъ же.

Весь міръ замаскированъ, замаскированы даже звуки и адская какафонія, «трагическая безсвязность» чувствъ выростаетъ какъ бы волшебствомъ опьяненія изъ тихой, нѣжной мелодіи Тихая пѣсня любви превращается въ мольбу къ сатанѣ о пощадѣ. Душа человѣка двоится, онъ встрѣчается съ самимъ собою и убиваетъ самого себя, принявъ за дерзкую маску своего двойника. И трудно разобрать, было ли это, какъ сказочная легенда, или предъ нами развертывается бредъ сумасшедшаго. Съ одинаковой силой и яркостью написаны и аллегорическія фигуры, и полные жизни типы, вродѣ хранителя герцогскихъ винъ Христофоро. Сказочные образы, фантастическія существа и бредъ помѣшаннаго переплетаются, и не знаешь, гдѣ кончаются видѣнія больного ума, а гдѣ начинается дѣйствительность, хотя бы и легендарная.

Леонидъ Андреевъ прибѣгаетъ къ смѣлому пріему. Онъ стираетъ грань, отдѣляющую сознаніе одного отъ сознанія всѣхъ. Онъ развертываетъ жизнь, какъ она была или бываетъ, но на отдѣльныя мѣста ея картины направляетъ лучи больного ума, вы видите ихъ, не какъ они есть, а какъ они представляются герою пьесы. Въ реальный міръ отношеній неожиданно вплетаются чудовищные, фантастическіе эпизоды, появляются созданія больного воображенія, мертвецы, двойники, черныя маски, принимая участіе въ общей жизни.

— На немъ нѣтъ маски, сеньоры!—кричитъ кто-то, пытавшійся сорвать маску съ чернаго чудовища. Смятеніе охватываетъ всѣхъ, «все покрывается тьмою, но дикая музыка все еще звучитъ, удаляясь». Но и все покрывающая тьма и затихающая музыка — это только въ воспріятіи сходящаго съ ума героя, и въ дѣйствительности балъ продолжается по прежнему. И въ переходѣ отъ одного поля сознанія къ другому, въ соприкосновеніи

и въ разобщеніи двухъ плоскостей, коллективнаго и индивидуальнаго воображенія — творчество Леонида Андреева пролагаетъ новые пути, раздвигаетъ горизонты, обогащаетъ эмоцію и пониманіе. Но роковой вопросъ встаетъ предъ нами, воплощенный въ образахъ: не въ томъ ли весь ужасъ, что и въ подлинной жизни нельзя отличить безумнаго бреда отъ дѣйствительности, наивной и страшной сказки отъ безумія?

Бредовыми образами и видѣніями авторъ пользуется, какъ символами. Это не просто безумный бредъ, но бредъ философскій. Такъ, черныя чудовища—это символъ встающихъ предъ лицомъ знанія неразрѣшимыхъ загадокъ и тайнъ мірозданія. Они льнутъ къ свѣту и теплу, и свѣтъ гаснетъ отъ нихъ и тепло изсякаетъ. Мысль жуткая, но красивая.

Такъ же символически разумна и сцена убійства герцогомъ Лоренцо своего двойника, котораго онъ принялъ за замаскированнаго самозванца. Тутъ образно выражена двойственность, противорѣчивость человѣческой души, въ которой таятся силы не только противорѣчивыя, но какъ бы и не вѣдающія другъ о другѣ.

Это своеобразное отраженіе дѣйствія сквозь незамѣтную для зрителя призму помѣшательства центральной фигуры пьесы достигаетъ удивительной силы и красоты, какъ будто дѣйствительно распахнута чужая душа въ своемъ наростающемъ безуміи и сложной противорѣчивости своихъ устремленій. Смѣна настроеній и картинъ—волнообразная линія то разгорающагося, то потухающаго сознанія, одолѣваемаго кошмарными галлюцинаціями, ждетъ оцѣнки психіатра. Насъ интересуетъ не эта сторона, а склонность Леонида Андреева изъ безумія дѣлать орудіе своей проповѣди, выявленія своего міросозерцанія.

VII.

Таковъ роковой итогъ безвѣрнаго міросозерцанія, которое не знаетъ въ мірѣ никакой реальности, никакого подлиннаго бытія, а только его символы и отраженія. Безуміе—вотъ единственный путь у Леонида Андреева выявить глубины своего философскаго мышленія. «Борьба изначальнаго хаоса съ жаднымъ стремленіемъ къ гармоніи и порядку» [1]),—такова канва Черныхъ Масокъ. «Всѣ

[1]) Альманахъ „Шиповникъ",—„Мои Записки" кн, VI, стр. 214.

силы, какія есть въ мірѣ, нашелъ я въ душѣ человѣка и не дремала ни одна изъ нихъ, и въ буйномъ водоворотѣ своемъ каждая душа становилась подобной водяному смерчу, основаніемъ которому служитъ морская пучина, а вершиною небо»,—могъ бы сказать Леонидъ Андреевъ о себѣ самомъ словами своего героя изъ «Моихъ записокъ» [1]). Основная идея «Черныхъ Масокъ» уже была брошена въ «Моихъ Запискахъ».

Человѣкъ сравнивался тамъ съ господиномъ Замка (души), «который устроилъ пышный маскарадъ въ замкѣ своемъ и освѣтилъ свой замокъ огнями»: и сошлись отовсюду странныя маски, и не могъ узнать онъ своихъ странныхъ и страшныхъ гостей, нашептывающихъ, смѣясь, объ извѣчномъ хаосѣ, откуда пришли они. Гости эти символически изображаютъ силы, дѣйствующія въ душѣ человѣка, въ «таинственное существо которыхъ онъ не можетъ проникнуть никогда».

Еще ранѣе, чѣмъ въ «Моихъ Запискахъ» мы встрѣчаемъ у Леонида Андреева зародышевую идею «Черныхъ Масокъ» въ «Мысли». Докторъ Керженцевъ, вѣрившій во всепобѣждающую мощь мысли, именно въ тотъ моментъ, когда, казалось, она достигла напряженнѣйшаго выраженія своей силы, вдругъ былъ раздавленъ сознаніемъ, что есть нѣчто въ его «я», надъ чѣмъ ни онъ, ни его мысль не властны. «Представьте,—говоритъ онъ,—что вы жили въ домѣ, гдѣ много комнатъ, занимали одну только комнату и думали, что владѣете домомъ. И вдругъ вы узнали, что тамъ, въ другихъ комнатахъ, живутъ. Да, живутъ. Живутъ какія-то загадочныя существа, быть можетъ, люди, быть можетъ, что другое; и домъ принадлежитъ имъ. Вы хотите узнать, кто они, но дверь заперта, и не слышно за ней ни звука, ни голоса. И въ то же время вы знаете, что за этой молчаливой дверью рѣшается ваша судьба» [2]).

Бездна человѣческой души, ея стихійная многоликость неотступно преслѣдуютъ художника.

Почти въ тѣхъ же выраженіяхъ и образахъ онъ повторяетъ, варьируя слегка, одну и ту же мысль, совпадая съ самимъ собою даже въ мелочахъ.

И тамъ, и здѣсь притворство и безумное торжество помѣшаннаго, обморочившаго людей,—пронизываетъ весь ходъ повѣ-

---

[1]) Тамъ же.

[2]) Разсказы, т. II, стр. 39.

ствованія. И тамъ, и здѣсь безумная жажда быть господиномъ своего Я, а не рабомъ неясныхъ и темныхъ силъ хаоса—является своего рода пунктомъ помѣшательства. И тамъ, и здѣсь—безнадежное одиночество человѣческой души.

«Какъ я чуждъ всѣмъ этимъ людямъ и одинокъ въ мірѣ,—я, навѣки заключенный въ эту голову, въ эту тюрьму» [1]),—восклицаетъ докторъ Керженцевъ. «Великое и грозное одиночество, когда и сзади, и впереди, и кругомъ зіяющая пустота, когда я, тотъ, который живетъ, чувствуетъ, мыслитъ, который такъ дорогъ, и есть единственный, когда я такъ малъ, безконечно ничтоженъ и слабъ и каждую секунду готовъ потухнуть. Зловѣщее одиночество, когда самого себя я составляю лишь ничтожную частицу, когда въ самомъ себѣ я окруженъ и задушенъ угрюмо молчащими таинственными врагами. Куда ни иду я—я всюду несу ихъ съ собою; одинокій въ пустотѣ вселенной, и въ самомъ себѣ не имѣю я друга. Безумное одиночество, когда я не знаю, кто я, одинокій, когда моими устами, моей мыслью, моимъ голосомъ говорятъ невѣдомые они. Такъ жить нельзя. А міръ спокойно спитъ: и мужья цѣлуютъ своихъ женъ, и ученые читаютъ лекціи, и нищій радуется брошенной копейкѣ. Безумный, счастливый въ своемъ безуміи міръ, ужасно будетъ, твое пробужденіе!

Кто сильный дастъ мнѣ руку помощи? Никто. Никто. Гдѣ найду я то вѣчное, къ чему я могъ бы прилѣпиться съ своимъ жалкимъ, безсильнымъ, до ужаса одинокимъ «я»? Нигдѣ. Нигдѣ» [2]).

Докторъ Керженцевъ сравниваетъ себя съ средневѣковымъ барономъ, засѣвшимъ въ своемъ замкѣ неприступномъ. «Такъ непобѣдимъ и гордъ былъ я въ своемъ замкѣ, за этими черепными костями. Царь надъ самимъ собою, я былъ царемъ и надъ міромъ. И мнѣ измѣнили. Подло, коварно, какъ измѣняютъ женщины, холопы и мысли. Мой замокъ сталъ моей тюрьмой. Въ моемъ замкѣ напали на меня враги—гдѣ же спасенье? Въ неприступности замка, въ толщинѣ его стѣнъ—моя гибель. Голосъ не проходитъ наружу—и кто сильный спасетъ меня? Никто. Ибо никого нѣтъ сильнѣе меня, а я—я и есть единственный врагъ моего «я» [3]).

---

[1]) „Мысль“ стр. 24. Разсказы т. II.
[2]) Стр. 51, тамъ же. Курсивъ нашъ.
[3]) Тамъ же.

Такъ почти девять лѣтъ назадъ уже былъ поставленъ вопросъ, волнующій Леонида Андреева въ «Черныхъ маскахъ». Но символъ «Черныхъ Масокъ» бьетъ дальше. Это ужъ не только борьба хаоса со свѣтомъ и гармоніей внутри человѣческой души, но и борьба человѣческой культуры съ вѣчнымъ хаосомъ и безцѣльностью бытія.

Угрюмое и кошмарное очертаніе приняло здѣсь одиночество опустошенной безуміемъ души. Подобно тому, какъ патологическія уклоненія въ организмѣ даютъ матеріалъ для изученія организма здороваго, такъ и здѣсь въ анализѣ и кошмарныхъ фантазмахъ больной, обезволенной души авторъ ищетъ ключа къ разрѣшенію роковыхъ загадокъ бытія. И оттого-то его помѣшанные бываютъ слишкомъ мудры, и въ философскихъ глубинахъ не уступаютъ самому автору, и оттого-то таютъ границы объективнаго, сливая его съ кошмарами горячечнаго бреда. Но если трагическое начало этимъ ослабляется, мельчаетъ, то зато начинаешь нетолько понимать, но и непосредственно ощущать темный смыслъ загадочнаго одиночества, той болѣзненной, стонущей тревоги, съ которой художникъ на протяженіи столькихъ лѣтъ буквально вопитъ о страшной опасности, угрожающей человѣку.

— Какъ же я могу узнать васъ, дорогой синьоръ, если на васъ такая страшная маска? Снимите маску, дорогой синьоръ, я умоляю васъ,—говоритъ безумный Лоренцо, не узнавая лица стараго слуги своего отца.—Снимите маску, синьора, я умоляю васъ,—говоритъ онъ своей женѣ.

Живое человѣческое лицо—это только маска. Бредъ безумнаго—это только философія одиночества души и власти хаоса. А быть можетъ, наоборотъ, не является ли подобная философія безуміемъ?

Это все равно для того, для кого потеряна граница между дѣйствительностью и кошмарными фантазмами.

Но странно, какъ такой крупный художникъ не понимаетъ, что связывать вопросы міровой трагедіи съ недоумѣніями обезумѣвшей души значитъ, ради внѣшняго эффекта, пожертвовать самимъ смысломъ трагедіи. Ибо какая же трагедія тамъ, гдѣ къ ней приводитъ только случайное безуміе?

Мысль Леонида Андреева, подобно камертону, сочувственно звучитъ лишь той скептической философіи, которая, обезкрыливъ умъ, устремленный къ постиганію вещей, лишила его всякой реальной опоры, ибо ничего не даетъ взамѣнъ. Пусть мы не

знаемъ подлинныхъ вещей, какъ онѣ есть, ни въ себѣ, ни въ другихъ. Пусть намъ доступенъ только міръ явленій. Развѣ этимъ нарушается непосредственность, цѣнность переживаній? Развѣ можно убить силлогизмомъ радоеть воистину радующагося, любовь любящаго? Переживанія въ своей непосредственности и есть то довлѣющее себѣ въ вещахъ, что сохраняетъ обязательный свой смыслъ для всѣхъ здоровыхъ людей, независимо отъ какихъ бы то ни было теорій познанія. Звѣздное небо одинаково привлекательно своей загадочной и вѣчной глубиной и для того, кто развѣнчиваетъ реальность пространства и времени, сводя ихъ къ формамъ воспріятія, и для того, кто не можетъ усомниться въ ихъ непосредственномъ существованіи и именно въ томъ видѣ, какъ они представляются человѣку. Всѣхъ одинаково обвѣваютъ застывшимъ величіемъ небесный сводъ и мертвыя громады горныхъ вершинъ, равнодушно предстающихъ оку смертнаго, чья жизнь въ ихъ вѣкахъ мгновеніе. Дѣло не въ природѣ мгновенія. Дѣло не въ томъ, что пространство и звукъ—только маска,—а въ томъ, что человѣкъ теряется песчинкой въ міровой безконечности пространствъ и вѣковъ, а крикъ его едва слышенъ сосѣду.

Это понимаетъ Леонидъ Андреевъ и его сумасшедшій герой «Записокъ» спѣшитъ по волѣ автора, выразить ненависть даже къ красотѣ неба «Я не могу,—пишетъ онъ,—безъ негодованія говорить объ ихнемъ небѣ, глубиной и безконечностью котораго они такъ восхищаются. Наглое-оно обманываетъ своею мнимою доступностью, своею живой красотой».

VIII.

Куда же ведетъ безумный страхъ, предъ вѣчностью, страхъ предъ темнымъ хаосомъ одинокой души и космоса, погребающимъ творческое сознательное «я» человѣка. Есть ли выходъ; оставлена ли надежда или крикъ отчаянія — послѣднее слово мудрости?

Три выхода намѣчаетъ Леонидъ Андреевъ въ трехъ произведеніяхъ, и всѣ три подсказаны безуміемъ.

Въ «Моихъ запискахъ» все сводится къ примиренію. Ужасъ одиночества завершается благословеніемъ одиночеству, ограждающему «святыя тайны души»; жажда свободы безнадежно пора-

бощеннаго «я» — апологіей желѣзной необходимости. Вѣчный узникъ, авторъ «Моихъ записокъ», радуется «гармоничному звону извѣчныхъ кандаловъ».

Освобожденный, онъ самъ на свой счетъ строитъ себѣ тюрьму съ тѣмъ же строгимъ режимомъ, подчинивъ своей мысли, своему рѣшенію всѣ силы своей души, извративъ смыслъ жизни— онъ думаетъ, что побѣждаетъ этимъ буйный хаосъ.

Докторъ Керженцевъ въ «Мысли» освобожденія отъ власти хаоса ищетъ въ волѣ, способной идти наперекоръ всѣмъ естествамъ: онъ утверждаетъ произволъ и случай.

«Вы можете представить себѣ міръ, въ которомъ нѣтъ законовъ притяженія, въ которомъ нѣтъ верха, низа, въ которомъ все повинуется только прихоти и случаю? Я, докторъ Керженцевъ, этотъ новый міръ. Все можно... И я, докторъ Керженцевъ, докажу вамъ это. Я притворюсь здоровымъ. Я добьюсь свободы»...

Безумный Керженцевъ собирается изобрѣсти ультра-взрывчатое вещество: «я талантливъ, я настойчивъ, и я найду его. И когда я найду его, я взорву на воздухъ вашу проклятую землю, и у которой такъ много боговъ и нѣтъ единаго вѣчнаго Бога».

Итакъ здѣсь дается выходъ къ Богу чрезъ Свободную волю и чрезъ взорванный по ея злобной прихоти міръ. Но на что этому сознательному аморалисту, вырожденцу съ атрофировавшимся нравственнымъ чувствомъ, вѣчный и единый, именно Единый Богъ? Понять довольно трудно.

Явное безуміе—и тамъ и здѣсь. Нѣтъ, значитъ, никакого выхода. Хаосъ безраздѣльно царитъ въ душѣ и въ мірѣ.

Не лучше и не глубже разрѣшаютъ тотъ же роковой вопросъ и «Черныя маски».

На этотъ разъ чувствуется замѣтное вліяніе мистическихъ идей, брошенныхъ въ оборотъ общественной мысли за послѣдніе годы. Мистицизмъ есть своеобразная попытка приподнять таинственную маску, такъ волнующую Леонида Андреева и заглянуть міру не только въ открытыя очи, но и въ самое лицо его.

Тоскующіе по сущностямъ мистики увѣряютъ, что мистически постигается непознаваемая научно сущность вещей, подлинное наиреальнѣйшее бытіе. Это постиженіе, не укладывающееся въ рамки закономѣрности и причинности, даетъ величайшее откровеніе, предѣльную истину, слитую съ экстазомъ вос-

торга. Это ужъ не та спокойная, холодная, величавая истина науки, которая въ мудромъ безкорыстіи, безстрастіи и безпристрастности видитъ залогъ объективности, какъ бы внѣшнюю гарантію достовѣрности и общей обязательности. Нѣтъ, истина мистиковъ—сжигающій жертвенный огонь, выходящій за предѣлы нормальнаго, но порочнаго въ своей нормальности бытія. Она разрушаетъ нормы, она срываетъ обманчивыя личины, снимаетъ путы необходимости, ограниченности и тлѣна земного бытія. Усвоеніе ея болѣзненно и патологично, ибо дается только въ прорывѣ въ иные міры изъ этого міра, гдѣ быть здоровымъ означаетъ порчу и плѣнъ въ путахъ тлѣнія и смерти.

Огонь сжигающій дворецъ Лоренцо, гдѣ дворецъ—символъ души, освобождаетъ его отъ бреннаго міра. Онъ видитъ Господина. И здоровая жена герцога свидѣтельствуетъ о немъ:

— Во имя вашего сына, котораго я ношу во чревѣ моемъ, я покидаю васъ и отказываюсь отъ счастія умереть съ вами. Но я разскажу вашему сыну, какъ призвалъ васъ къ себѣ Всевышній, и онъ благословитъ ваше имя» [1]).

Очевидно, Лоренцо избралъ истинный путь, разъ такъ говорятъ о немъ здоровые, путь, ведущій къ Богу, но не всякому въ силахъ вмѣстить его. Одинъ только шутъ Экко внялъ мольбамъ Лоренцо и, снявъ маску огнемъ и пожаромъ, падаетъ у его ногъ ослѣпленный и опаленный. И не даромъ черныя маски здѣсь уже безсильны. По ремаркѣ: «Огонь заливаетъ все, и въ разбитыя окна, въ разрушенныя двери среди черныхъ клубовъ дыма показываются черныя маски; видны ихъ безуспѣшныя старанія проникнуть внутрь, ихъ молчаливая, глухая борьба съ огнемъ, легко и свободно отбрасывающимъ ихъ. Вновь и вновь наступаютъ они и, корчась отъ боли, прядаютъ назадъ». Когда же Лоренцо, услышавъ приближеніе Господина, говоритъ, прикоснувшись къ шуту: «встань, Экко, Господинъ идетъ»,—пламя со всѣхъ сторонъ окружаетъ ихъ и черныя маски исчезаютъ вовсе въ ревѣ и грохотѣ торжествующаго огня.

Пусть это символъ, полный предчувствія перерожденія и апокалипсическаго конца, возвѣщаемаго проповѣдниками изъ литературныхъ кафе. Но почему же тогда нѣтъ чуда, почему шутъ Экко, такъ страстно жаждавшій стать младшимъ братомъ, такъ мужественно посвятившій себя въ рыцари Господа огнемъ—не

[1]) Стр. 69, Альм. Шипов., кн. 7.

встаетъ встрѣчать Господина, а отъ прикосновенія Лоренцо отваливается мертвымъ отъ него? Почему самъ Лоренцо, на колѣняхъ просящій Господина прикоснуться къ нему, если онъ достоинъ, какъ нѣкогда прикоснулся къ нему, посвящая его въ рыцари Св. Духа, отецъ, заканчиваетъ свой подвигъ прорыва словами умалишеннаго: «но увѣряю васъ, синьоръ, это вѣдомо всѣмъ живущимъ въ мірѣ, у Лоренцо, герцога Спадары, нѣтъ въ сердцѣ змѣй»?

Послѣ этихъ словъ весьма кстати поспѣваетъ ремарка: «Огонь охватываетъ его. Все рушится». Именно все рушится, и остается одна хитрая усмѣшка автора «Моихъ записокъ», который не то написалъ трагедію, не то сатиру на современныхъ рыцарей Св. Духа, чающихъ третьяго откровенія. Судьба несчастнаго Экко какъ бы предостерегаетъ ихъ наивныхъ прозелитовъ У Леонида Андреева, возжаждавшаго чуда возрожденія чрезъ огонь, не хватило смѣлости воскресить Экко, когда Лоренцо звалъ его встрѣтить Господина. Недождавшись Его желаннаго прихода, шутъ умеръ отъ ожоговъ. Умеръ безсмысленно и безцѣльно. Въ чемъ же тутъ сила? Кто разгадаетъ?

Грандіозный замыселъ, не успѣвъ достигнуть своей высоты, падаетъ у ногъ автора, сраженный лукавствомъ стихійнаго реализма и робкой половинчатостью художника. И остается достовѣрнымъ только одно старое перепѣваніе на всѣ лады обезпложеннаго ненавистничества къ жизни, подсказаннаго безволіемъ и безсиліемъ, какъ бы мстящимъ за себя властнымъ силамъ стихійнаго бытія, изображая ихъ въ дикой пляскѣ трагикомическаго маскарада.

IX.

Въ «Черныхъ маскахъ» діаволъ чередуется съ Богомъ. Смятенная душа, двоясь, призываетъ то одного, то другого, забывая о предыдущемъ. Адская музыка сбивается на ангельскую и ангельская на дьявольскую, колыбельная пѣсня подмѣняется вальсомъ маскарадной свадьбы Сатаны въ аду, и нѣтъ силъ размежевать ихъ. Кто-то зло и безпощадно смѣется надъ человѣкомъ, надъ его вѣрой въ добро и зло, надъ культурой тысячелѣтій. Да, это символъ гуманистической культуры, это гордая, пламенѣющая башня дворца, посылающая гордый вызовъ ночному мраку и небу. Пылающіе факелы, огонь, заливающій дворецъ и дороги къ нему,

далеко за предѣлы замка пронизывающій глухую тьму—это свѣтъ знанія, это символъ человѣческаго генія, вооруженнаго наукой и техникой, влекомаго неустанной жаждой проникновенія въ глубины безвѣстнаго. Безумно веселый балъ-маскарадъ, гдѣ всѣ гости—хозяева,—это грядущее радостное торжество побѣдителя-человѣка. Но не подозрѣваетъ онъ, что надъ нимъ тяготѣетъ проклятіе порочной наслѣдственности и что ложе отца-крестоносца, рыцаря святого духа, сражавшагося въ святой землѣ, занималъ воръ, развратный и пьяный конюхъ, какъ это злые гости герцога раскрыли въ коварной шуткѣ маскарада, и что подъ личиной нѣжной святости таился грязный порокъ,—не подозрѣваетъ онъ ужаса, который гнѣздится въ самомъ сердцѣ культуры.

— Ты разбудилъ всю ночь. Тамъ все зашевелилось. Ночь идетъ сюда,—говоритъ черная маска герцогу Лоренцо.

— Весь мракъ ночи превратился въ живыя существа и отовсюду идутъ они, — говоритъ голосъ, и отчаяніе объемлетъ всѣхъ, ибо нѣтъ средствъ остановить шествіе загадочныхъ чудовищъ, предъ которыми меркнетъ свѣтъ и гаснетъ огонь. «Ихъ никто не звалъ, они пришли сами» — темныя, чудовищныя, ожившія предъ лицомъ свѣта, частицы мрака. Такъ въ глазахъ художника на вершинахъ могущества культурнаго человѣка невѣдомое обращается противъ него, меркнетъ его жизнерадостная бодрая увѣренность въ своихъ силахъ, его веселье обращается въ предсмертную тоску, забава—въ адскую муку коварной насмѣшки, а побѣдительница стихій, гордая богиня ума—мысль—въ трусливое, разноголосое, многоногое, многорукое чудовище, лишенное образа и формы; его сердце—въ отвратительнаго паука на зыблющихся ногахъ и съ животно-свирѣпыми глазами. Въ смятеньѣ и ужасѣ бѣжитъ онъ и изнемогаетъ въ борьбѣ съ самимъ собою. Паукъ, — давно подбиравшійся къ черной маскѣ, спрашиваетъ ее:—«Вы отъ Сатаны?» Въ отвѣтъ жуткій вопросъ: «а кто такой Сатана?»

Они не знаютъ ни имени Бога, ни имени Сатаны. Нѣтъ ничего, кромѣ вѣчнаго мрака и его все убивающихъ исчадій, и ничего нельзя ожидать впереди. Каждый шагъ впередъ приближаетъ къ послѣдней и страшной очной ставкѣ съ непобѣжденнымъ мракомъ, къ предѣльной грани бытія, за которой встаетъ во весь ростъ ужасъ безцѣльности. Пожаръ, все сметающій, несущій смерть земному обличію, катастрофа перерожденія, все уничтожающая и отметающая всѣ старыя привязанности, цѣн-

ности, человѣкъ, идущій радостно навстрѣчу катастрофѣ, отрекаясь отъ призрачной, мнимой жизни,—таковъ послѣдній этапъ, таковъ выходъ, отравленный однако не святымъ безумiемъ, а простымъ помѣшательствомъ героя.

Но кошмарные страхи жизни тонутъ въ утвержденiи ея. И какъ ни мрачно рисуетъ жизнь Леонидъ Андреевъ, при всемъ огромномъ блескѣ своего таланта, онъ не можетъ смутить здоровыхъ душъ, бодрыхъ умовъ. Отрицанiе жизни, разсматриваемой сквозь призму безумiя,—неубѣдительно и не можетъ быть убѣдительнымъ для нихъ. Говорящему объ ужасѣ безцѣльности они вправѣ напомнить о безцѣльности его ужаса.

Михаилъ Морозовъ.

III.

ПУБЛИЦИСТИКА.

П. Берлинъ.

Къ кризису парламентаризма на Западѣ.

Одно за другимъ поднимаются старыя государства ближняго и дальняго Востока на борьбу за конституціонный строй, за національный парламентъ. Конституціонное движеніе на Востокѣ распространяется съ быстротою и мощью степного пожара. Персія, Турція, Индія, Египетъ... И дряхлыя стѣны «недвижнаго Китая» разступились передъ новымъ движеніемъ, скоро и въ Китаѣ будетъ свой парламентъ. Ожили, проснулись къ самостоятельной жизни колоссальныя глыбы населенія, вѣками недвижно лежавшія на одномъ и томъ же историческомъ мѣстѣ. Востокъ поднялъ знамя борьбы за конституціонный строй; и эта борьба поглощаетъ все вниманіе, весь интересъ націи, она стягиваетъ всѣ живыя и боевыя силы страны.

Европейскій парламентаризмъ празднуетъ блестящую побѣду—онъ завербовалъ новую многомилліонную армію ярыхъ приверженцевъ.

Но въ то самое время, когда въ Персіи широкою струею проливается кровь въ борьбѣ за парламентъ, въ это самое время въ классическихъ странахъ парламентаризма, въ Англіи и во Франціи щедро льются чернила для доказательства кризиса, безсилія, упадка парламентаризма и шустрые французскіе репортеры устраиваютъ анкету о причинахъ «упадка» парламентаризма!

Востокъ, переживая медовый мѣсяцъ конституціоннаго движенія, знакомится теперь съ парламентаризмомъ, какъ съ могучей и благодѣтельной силой, еще совершенно неиспользованной и призванной совершить работу Геркулеса—очистить авгіевы конюшни стараго порядка.

А Западъ, въ лицѣ классическихъ странъ парламентаризма, какъ бы подошелъ къ границѣ власти парламентаризма, какъ бы наткнулся на предѣлы силы парламентаризма и отъ этого сознанія все ширящимися концентрическими кругами стала расплываться политическая апатія и усталость, разочарованность въ парламентской дѣятельности. Въ Англіи и въ особенности во Франціи только лѣнивые не толкуютъ теперь о кризисѣ парламентаризма, а такъ какъ журналисты и публицисты къ числу лѣнивыхъ не принадлежатъ, то за короткое время успѣлъ вырости цѣлый потокъ

статей, книгъ и брошюръ о парламентаризмѣ. Въ этомъ потокѣ много пустячнаго пестраго сора, который такъ же неожиданно и такъ же быстро куда-то схлынетъ, какъ неожиданно и быстро онъ откуда-то появился. Но успѣла появиться и очень серьезная литература, характерная, какъ симптомъ новаго политическаго настроенія, проникающаго въ различные слои населенія.

Поражаетъ прежде всего, что о кризисѣ парламентаризма одновременно и съ одинаковою рѣшительностью заговорили писатели самыхъ различныхъ общественныхъ круговъ, отмѣтивъ при этомъ, что разочарованіе въ силѣ парламентаризма растетъ въ самыхъ различныхъ общественныхъ слояхъ.

Французскій проф. Бенуа, человѣкъ очень умѣренныхъ взглядовъ, подвергаетъ нынѣшній парламентаризмъ жесточайшей критикѣ.

Въ политической жизни Франціи, по словамъ проф. Бенуа, замѣчается повсюду «усталость, недовольство, озлобленность, меланхолія, скука, точно вся нація заболѣла гипохондріей» [1]).

И въ Италіи, и во Франціи — пишетъ далѣе французскій профессоръ — «парламентъ становится постепенно все болѣе и болѣе чуждымъ націи, а нація все болѣе и болѣе индиферентной или враждебной по отношенію къ парламенту» [2]).

Въ европейскихъ парламентахъ—раздраженно жалуется французскій профессоръ—«преобладаетъ два соціальныхъ типа—или экзальтированный субъектъ («l'exalté») или же милліонеръ... Самъ Соломонъ-Премудрый не попалъ бы въ парламентъ, если бы у него не было денегъ, а если бы у него оказались деньги, то онъ могъ бы проникнуть въ парламентъ на спинѣ какого-нибудь недоросля». «Теперь не найти политическаго писателя или оратора—пишетъ извѣстный бельгійскій соціалистъ Дестре—который бы вѣрилъ въ абсолютное совершенство парламентскаго режима. Несмотря на все различіе во взглядахъ различныхъ авторовъ на причины паденія парламентаризма и средства борьбы, всѣ согласны въ томъ, что парламентаризмъ не принесъ ожидавшихся отъ него результатовъ и его престижъ падаетъ съ каждымъ днемъ. Въ этомъ отношеніи обнаруживается солидарность взглядовъ у людей самыхъ различныхъ убѣжденій:—консерваторовъ, либераловъ, соціалистовъ, анархистовъ и т. д.» [3]).

Трудно подыскать такое рѣзкое выраженіе, передъ которымъ остановились бы нынѣшніе французскіе публицисты, характеризуя французскій парламентъ. Правда, въ анкетѣ, устроенной журналомъ «La Revue», большинство дало по вопросу о будущемъ парламента утѣшительные отвѣты, общій смыслъ которыхъ можетъ быть резюмированъ въ фразѣ:—парламентъ боленъ и серьезно боленъ, но онъ оправится. Но при этомъ каждая изъ знаменитостей, опрошенная журналомъ «La Revue» строго требовала,

---

[1]) Ср. Charles Benoist. La Reforme parlementaire. Paris 1902 стр. 145.
[2]) Ibid. стр. 153.
[3]) Ср. Jules Destrée. La Fin du Parlamentarisme. Bruxelles. 1901, стр. 10.

чтобы парламентъ придерживался того режима, который ему предписываютъ свѣтила буржуазной науки. По рецепту этихъ свѣтилъ, старый грѣховодникъ-французскій парламентъ-долженъ вести очень умѣренный образъ жизни, а для этого въ свою очередь необходимо ни болѣе ни менѣе какъ устраненіе «отжившаго свой вѣкъ» всеобщаго избирательнаго права. Резюмируя общій смыслъ большинства полученныхъ отвѣтовъ, редакція «La Revue» писала: «чѣмъ дальше мы идемъ, тѣмъ яснѣе видимъ, что грубая и неизмѣнная формула всеобщаго голосованія не отвѣчаетъ больше потребностямъ современнаго общества».

Знаменитости различнаго колибра, галантно оставившія въ редакціи «La Revue» свои визитныя карточки съ мнѣніями о кризисѣ парламентаризма, въ сущности на разные лады варьируютъ все ту же мысль о необходимости покончить со всеобщимъ избирательнымъ правомъ, какъ съ источникомъ упадка парламента. Но покончить со всеобщимъ избирательнымъ правомъ—объ этомъ легко разсуждать, но какъ осуществить это въ такой странѣ, какъ Франція, которая какъ порохъ вспыхнетъ при первой практической попыткѣ упразднить всеобщее избирательное право? Съ совершенно аналогичными мнѣніями встрѣчаемся мы въ текущей литературѣ и по адресу англійской политической жизни. Одинъ изъ ея новѣйшихъ знатоковъ и лучшихъ изслѣдователей пишетъ:

«Въ англійскомъ обществѣ все болѣе распространяется политическая апатія. Politics is no longer popular (политика не пользуется больше популярностью)—таково самое непосредственное впечатлѣніе людей, профессіонально занимающихся политикой... Средніе классы сторонятся отъ политической арены, толкаемые частью эгоизмомъ, а частью самолюбіемъ, оскорбляемымъ фактомъ, что въ политику втягиваются низшіе соціальные слои населенія. Говорятъ, что буржуазія уже исчерпала свой пылъ въ великихъ битвахъ, происходившихъ одна за другою въ первой половинѣ девятнадцатаго вѣка. У нея теперь уже нѣтъ никакихъ неудовлетворенныхъ пожеланій и стремленій, которыя она бы хотѣла осуществить въ соціально-политической области. Пламя, пылавшее въ сердцахъ предшествовавшихъ поколѣній, отражается лишь слабымъ отблескомъ въ сердцахъ нынѣшняго поколѣнія. Соціалистическая опасность еще не настолько велика и непосредственна, чтобы мобилизировать средніе классы, но она уже достаточно даетъ себя знать, чтобы наполнить многихъ трепетомъ и чтобы заставить ихъ еще глубже погрузиться въ свой эгоизмъ. Нѣтъ сомнѣнія, что и нынѣ буржуазія занимаетъ достаточно почтенное мѣсто въ политическомъ кортежѣ, но она участвуетъ въ немъ скорѣе въ силу инерціи, чѣмъ руководимая самостоятельнымъ стремленіемъ, но и это автоматическое участіе постепенно ослабѣваетъ: во все ростущемъ воздержаніи отъ подачи голосовъ при выборахъ наибольшій процентъ приходится, по всей вѣроятности, на буржуазію» [1]).

[1]) Ср. M. Ostrogorsky. „La démocratie et l'organisation des parties politiques. Paris 1903. T. I, стр. 585.

Не будемъ плодить цитатъ—приведенныя достаточно характерны, типичны. Въ частности же, въ только-что приведенныхъ словахъ М. Острогорскаго ясно и хорошо указанъ одинъ изъ двухъ источниковъ нынѣшняго кризиса парламентаризма на Западѣ — разочарованіе буржуазіи въ положительной роли парламента. Какъ мы увидимъ ниже, нынѣшній кризисъ парламентаризма на Западѣ питается двумя источниками — быстрымъ ростомъ и проясненіемъ силъ и сознанія народной массы и ростущею увѣренностью буржуазіи, что парламентъ не можетъ послужить надежною плотиною, которая остановитъ бурный разливъ соціалистическихъ волнъ по всему лицу земли капиталистической.

Когда буржуазія въ борьбѣ со старымъ порядкомъ отвоевывала свои политическія вольности и закладывала величественное зданіе парламенстанита, она была твердо убѣждена, что сознаніе парламента, установленіе политическаго равенства откроетъ на вѣки вѣковъ эру широкаго сотрудничества различныхъ группъ и классовъ подъ ея, буржуазіей, руководствомъ. На парламентъ она возлагала при этомъ больше отрицательную, чѣмъ положительную работу; парламентъ долженъ былъ прежде и раньше всего очистить атмосферу и обстановку соціально-политической жизни отъ многочисленныхъ остатковъ и пережитковъ феодальнаго строя. Парламентъ долженъ былъ разсчистить широкую дорогу для безпрепятственнаго развитія капиталистическаго строя. И онъ эту роль блестяще выполнилъ. Молодая буржіазія эпохи историческаго періода бури и натиска, когда ей еще были новы всѣ впечатлѣнія капиталистическаго бытія и она не видѣла за собою мрачной, растущей и надвигающейся тѣни—пролетаріата, эта буржуазія въ первомъ періодѣ своей политической дѣятельности смотрѣла на парламентъ въ сущности глазами, столь ей ненавистныхъ анархистовъ. Она была твердо убѣждена, что надо только хорошо, до-чиста вымести съ лица земли капиталистической весь феодальный соръ и мусоръ, и новая жизнь, богатая и сбодная, сразу радостно распустится и зацвѣтетъ роскошнымъ цвѣтомъ. Жестоко и долго страдая отъ оковъ устарѣлаго феодальнаго законодательства, отъ безчисленныхъ путъ на каждомъ шагу регламентированной жизни, чувствуя буйный приливъ могучихъ производительныхъ силъ, молодая буржуазія жаждала ольтко бы поскорѣе сбросить оковы законодательства, тяжелые кандалы регламентаціи, а тамъ «естественный ходъ вщей» самъ собою осчастливитъ человѣчество, конечно, въ предѣлахъ, допускаемыхъ «природою вещей». Надо «лько не мѣшать природѣ. надо только возможно скорѣе сбросить законодательные оковы,

Съ такимъ «натуралистическимъ» настроеніемъ буржуазія вошла въ парламентъ. Много съ тѣхъ поръ воды утекло, многое было безвозвратно унесено въ историческую Лету. И въ числѣ этого многаго оказался и натуралистическій оптимизмъ буржуазіи. Еще въ сороковыхъ годахъ у передовыхъ слоевъ буржуазіи еще не совсѣмъ потухла надежда, что съ помощью парламента и политическихъ реформъ можно добиться того, что классовая рознь между пролетаріатомъ и буржуазіей такъ сказать разсо-

сется капиталистическимъ организмомъ. Для этого только надо было отъ чисто-отрицательной дѣятельности въ парламентѣ перейти къ положительной, дать политическое равенство и развернуть программу соціальныхъ реформъ.

Всеобщее избирательное право казалось тогда многимъ вѣрнымъ средствомъ для уничтоженія классовой борьбы.

Послѣ революціоннаго переворота 1848 г. французское правительство выпустило 16 марта 1848 г. декретъ, въ которомъ заявило: «L'élection appartient à tous, sans exception. A dater de cette loi, il n'y a plus de proletaires en France. Il n'y a pas un citoyen qui puisse dire à l'autre: tu es plus Souverain, que moi». (Избирательное право отнынѣ принадлежитъ всѣмъ безъ исключенія. Со дня изданія этого закона нѣтъ больше пролетаріевъ во Франціи. Нѣтъ больше ни одного гражданина, который бы могъ сказать другому—у тебя больше власти, чѣмъ у меня!»)

Увы! Хотя англійская поговорка и говоритъ, что парламентъ все можетъ, онъ только не можетъ превратить мужчину въ женщину, но на самомъ дѣлѣ, парламентъ не только мужчину въ женщину, но и пролетарія въ собственника превратить не можетъ и не въ его власти покончить съ классовою борьбою.

И программа соціальныхъ реформъ, скупо процѣживаемыхъ черезъ парламентъ, вела къ поднятію общаго интеллектуальнаго и матеріальнаго уровня рабочаго класса и тѣмъ самымъ повела къ усиленію и росту соціалистической партіи, т. е. помогла проникнуть въ тотъ же парламентъ большему количеству носителей классовой борьбы пролетаріата съ буржуазіей.

Чѣмъ болѣе крѣпла власть парламента, чѣмъ прочнѣе и шире завоевывалъ онъ политическія вольности, тѣмъ быстрѣе и прочнѣе разросталось соціалистическое движеніе и каждая новая волна избирательной кампаніи выносила на своемъ гребнѣ все большее число соціалистическихъ депутатовъ.

Еще въ семидесятыхъ годахъ нѣмецкая «свободомыслящая» буржуазія была глубоко убѣждена въ томъ, что соціалъ-демократія, какъ политическая партія, можетъ существовать лишь какъ мрачная и неразлучная тѣнь полицейскаго режима, политическаго гнета. Надо уничтожить этотъ гнетъ, надо добиться «истиннаго либерализма» въ государственномъ курсѣ и тогда въ розовомъ разсвѣтѣ государственнаго либерализма безслѣдно растаетъ и зловѣщая тѣнь полицейскаго режима—соціалъ-демократія.

«Въ государствахъ—писалъ вожакъ свободомыслящихъ, Евгеній Рихтеръ,—гдѣ уже давно существуетъ политическая и экономическая свобода, не знаютъ соціалъ-демократіи. Въ Англіи, въ Америкѣ, въ Швейцаріи существуютъ лишь ея отдѣльные экземпляры, которые, въ лучшемъ случаѣ, могутъ претендовать лишь на интересъ курьеза. Нѣмецкая соціалъ-демократія есть не что иное, какъ порожденіе полицейскаго государства, которое должно быть устранено дальнѣйшимъ политическимъ и экономическимъ развитіемъ нашего государства» [1].

[1] Ср. E. Richter. Die Fortschrittspartei und die Social-Demokratie. Berlin. 1878, стр. 12.

Эта сладкая иллюзія о невозможности для соціалъ-демократіи развиваться въ тепломъ климатѣ просвѣщеннаго либерализма была разсѣяна, какъ дымъ. Соціалъ-демократическая партія росла и крѣпла въ странахъ всѣхъ политическихъ долготъ и широтъ. Самому Евгенію Рихтеру пришлось впослѣдствіи убѣдиться, что ни морозы жестокой реакціи, ни либеральная оттепель и «эра соціальнаго королевства» не остановили растущаго напора соціалъ-демократическаго движенія. Парламентъ оказался отличной трибуной и ареной для дѣятельности соціалистическихъ партій, но онъ обнаружилъ свою полную непригодность служить плотиной, отводящей волны рабочаго движенія.

Убѣдиться въ этомъ—значило похоронить значительную часть тѣхъ «мирныхъ» надеждъ, которыя буржуазныя партіи возлагали на парламентъ. Приходилось разстаться съ иллюзіей о парламентѣ, какъ о мирной аренѣ, куда входятъ люди разныхъ общественныхъ группъ «не для корысти, не для битвъ», а для мирнаго сотрудничества, замиряющаго классовую борьбу. Буржуазія, конечно, всегда пользовалась парламентомъ, какъ отличнымъ орудіемъ для отстаиванія своего круга классовыхъ интересовъ противъ феодализма и противъ рабочаго класса. Но эта классовая борьба велась не въ оголенномъ видѣ, она всегда тщательно прикрывалась пышными и пестрыми тканями, роскошно расшитыми фразами и лозунгами объ общенародномъ дѣлѣ, о національной идеѣ. Когда же въ парламентъ вошла соціалистическая партія, то она не только сама подняла знамя классовой борьбы, но и безпощадно совлекала съ буржуазныхъ партій ихъ «общечеловѣческій» нарядъ и обнажила ихъ классовую плоть. Съ появленіемъ въ парламентахъ представителей соціалистическихъ партій, обнажились классовые двигатели и пружины политической борьбы партій.

Но если энергичная защита своихъ классовыхъ интересовъ въ парламентѣ входила въ политическіе планы буржуазіи, то обнаруженіе, обнаженіе ея соціальнаго корыстолюбія больно задѣвала ее за самое уязвимое мѣсто.

Какъ бы сильна и многочисленна не была буржуазія въ той или иной странѣ, она все-таки во всѣхъ странахъ составляетъ меньшинство и если, несмотря на это, она во всѣхъ парламентахъ находится въ большинствѣ, то она обязана этимъ частью недостаткамъ избирательной системы, а въ еще большей степени—существованію въ народной массѣ, среди избирателей многочисленныхъ элементовъ, такъ сказать невмѣняемыхъ въ классовомъ отношеніи, съ еще спящимъ классовымъ сознаніемъ, обреченныхъ пока служить залогомъ политическаго торжества враждебнаго имъ класса. Соціалистическая партія въ своихъ интересахъ дѣлаетъ все возможное, чтобы разбудить въ этихъ элементахъ ихъ классовое сознаніе, чтобы внести въ хаосъ ихъ сознанія свѣтъ и твердь классовой теоріи и практики. И дѣятельность соціалистовъ въ парламентѣ, стоящемъ что городъ на горѣ и для всѣхъ видномъ, между прочимъ, выполняетъ и эту работу проясненія и укрѣпленія классоваго сознанія народной массы.

Чѣмъ шире разовьется это сознаніе, тѣмъ большая народная масса вольется въ ряды соціалистическихъ партій.

Буржуазныя партіи заинтересованы въ обратномъ: — чѣмъ медленнѣе будетъ развиваться классовое сознаніе народной массы, тѣмъ гуще будутъ ряды ихъ избирателей. И буржуазныя партіи кровно заинтересованы въ томъ, чтобы ходъ парламентской работы по возможности не раскрывалъ ихъ картъ и не портилъ всей ихъ игры. Въ парламентѣ поэтому буржуазныя партіи находятся въ очень сложномъ и ложномъ положеніи. Въ тѣхъ государствахъ, гдѣ очищеніе авгіевыхъ конюшенъ стараго порядка еще не закончено, онѣ въ этой области могутъ развернуть блестящую и плодотворную дѣятельность, выступивъ при томъ на политической аренѣ въ очень выигрышной роли. Въ тѣхъ странахъ, гдѣ соціалистическая партія представляетъ жалкую горсть, лишенную сколько-нибудь широкаго вліянія на народную массу, въ этихъ странахъ буржуазія еще можетъ спокойно отстаивать свою позицію и свою линію поведенія. Но ея положеніе становится несравненно сложнѣе тамъ, гдѣ борьба со старымъ режимомъ уже закончена, гдѣ политическій строй внѣшне уже демократизованъ и гдѣ рабочая масса на своихъ широкихъ плечахъ уже подняла въ парламентъ вліятельную и внушительную группу соціалистическихъ депутатовъ. Пойти направо по прямой дорогѣ открытаго отстаиванія классовыхъ интересовъ въ парламентѣ—значитъ рисковать утратить значительную часть своихъ демократическихъ избирателей; свернуть налѣво въ сторону соціальныхъ реформъ,—но въ большомъ количествѣ это очень недешево обходится, а опытъ показалъ, что этимъ средствомъ роста соціалистическаго движенія не остановишь.

Вотъ тотъ соціальный источникъ, который рождаетъ политическую меланхолію буржуазныхъ партій всѣхъ передовыхъ странъ. Но было бы въ высшей степени ошибочнымъ заключать изъ этой меланхоліи, что западная буржуазія страдаетъ политическимъ безсиліемъ. Это не вѣрно. Рука объ руку съ ростомъ того «разочарованія въ парламентѣ», которое отмѣчаютъ всѣ внимательные изслѣдователи западно-европейской и американской жизни, зарождается и быстро разрастаются всевозможныя внѣпарламентскія формы политической организаціи буржуазіи. Буржуазія политически организуется теперь съ такою энергіей и воплощаетъ эту организацію въ такія разнообразныя формы, какъ никогда раньше.

Возьмемъ хотя бы закончившуюся теперь избирательную компанію въ Сѣверной Америкѣ. Могущественные американскіе тресты, имѣющіе въ американской политической жизни огромный удѣльный вѣсъ, сами по себѣ, такъ сказать, на поверхности американской политической жизни, вели себя ниже травы, тише воды. Вожаки рѣшительно всѣхъ партій—и республиканской, и демократической, и независимой на перебой другъ передъ другомъ старались обнаружить наиболѣе враждебныя, ненавистническія чувства къ трестамъ. Со стороны глядя, можно было подумать, что дѣло идетъ о какомъ-то политическомъ состязаніи

въ силѣ ненависти къ трестамъ. Каждая изъ партій клятвенно увѣряла, что всѣ другія партіи находятся на золотой привязи у трестовъ, а вотъ если она, эта партія, добудетъ политическую власть, она на завтрашній же день объявитъ безпощадный крестовый походъ трестамъ и отъ ея могущественныхъ ударовъ гиганты-тресты вдребезги разлетятся на отдѣльныя «среднія» капиталистическія предпріятія.

И такъ увѣряла каждая партія!

А заправилы трестовъ, дрожали они, поджидая исхода избирательной компаніи и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшенія своей судьбы? О нѣтъ, они улыбались умною и скептическою улыбкою, глядя какъ бѣшеныя волны избирательной компаніи мчатся на нихъ, грозя смыть ихъ съ лица земли капиталистической. Они твердо знали, что, докатившись до нихъ, эти волны разольются кругомъ почтительными и ласковыми струями.

И какъ разъ въ самый разгаръ избирательной компаніи, когда нападки на тресты достигли особенно высокаго діапазона, «король желтой прессы» Хойретъ, уязвленный своими неизмѣнными провалами на политической аренѣ, за очень большія деньги выкралъ и опубликовалъ цѣлую дѣловую переписку между заправилами трестовъ и заправилами обѣихъ крупныхъ враждующихъ партій, и демократической и республиканской. При свѣтѣ этихъ писемъ передъ глазами ахнувшаго избирателя ярко блеснула толстая и прочная золотая цѣпь, на которой тресты держали и держатъ такъ яростно нападающія на нихъ партіи.

Какъ показали эти документальныя данныя, заправилы трестовъ совершенно не интересовались общею политическою платформою той или другой партіи, они предоставляли каждой партіи говорить и дѣлать въ обще-политической области все, что угодно, но при этомъ они требовали, чтобы въ заповѣдной области прямо или косвенно затрагивающей интересы трестовъ партіи ничего не предпринимали—говорить разрѣшается что угодно—не получивъ предварительно соотвѣтствующихъ директивъ отъ заправилъ трестовъ.

Это чрезвычайно характерный примѣръ той «дѣловой» внѣпарламентской политики, «политики интересовъ», какъ выражаются нѣмцы, къ которой все болѣе и болѣе склоняется организованная буржуазія. Классовая политика обращается въ политику интересовъ тогда, когда вокругъ нея облетаютъ цвѣты и догораютъ огни идеологіи. На почву этой «политики интересовъ» уже давно стали англійскіе рабочіе, которые до послѣдняго времени обходились безъ собственной политической партіи и поддерживали попеременно то либеральную, то консервативную партію въ зависимости отъ того, какая изъ этихъ партій въ данный историческій моментъ казалась болѣе пригодной для защиты даннаго круга интересовъ.

Но въ то время, какъ англійскій пролетаріатъ понемногу начинаетъ сходить съ этой извилистой дорожки «политики интересовъ» на широкую дорогу классовой борьбы, буржуазія начинаетъ сходить съ прямой дороги классовой борьбы на извилистую

дорогу политики интересовъ. И недаромъ французскій теоретикъ революціоннаго синдикализма, Жоржъ Сорель, приходитъ въ отчаяніе отъ французской буржуазіи, которая не имѣетъ ни малѣйшаго намѣренія грудь съ грудью принимать классовый бой! Сорель упрекаетъ французскую буржуазію въ политической импотенціи, въ политической разслабленности, благодаря злоупотребленію «гуманизмомъ». И всѣ надежды онъ возлагаетъ на революціонныя выступленія пролетаріата, которыя послужатъ для импотентной буржуазіи чѣмъ-то вродѣ электрическаго пояса.

Но какъ мы видѣли, дѣло совсѣмъ не въ импотентности, а въ томъ, что, организуясь за кулисами парламента, буржуазія получаетъ возможность съ такимъ же успѣхомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ келейно, безъ шума гнуть свою классовую линію.

Параллельно съ этимъ роль парламента—а всѣ парламенты находятся въ настоящее время въ рукахъ буржуазіи — видоизмѣняется и въ значительной степени умаляется.

Особенно характерно это сказывается въ наиболѣе капиталистически-развитой странѣ—въ Сѣверной Америкѣ.

Мы читаемъ о ея парламентѣ: «Множество биллей вносится въ конгрессъ, чтобы угодить избирателямъ, хотя номинальный авторъ билля заранѣе увѣренъ, что послѣдній будетъ положенъ подъ сукно. Въ каждой комиссіи большинство принадлежитъ къ той партіи, которая преобладаетъ въ палатѣ; рѣшеніе большинства комиссіи поэтому всегда выражаетъ отношеніе господствующей партіи къ законопроекту. Въ большинствѣ случаевъ билли, получавшіе одобреніе комиссіи, принимаются безъ преній палатой. Большинство депутатовъ вотируетъ въ пользу билля, не имѣя ни малѣйшаго понятія о его содержаніи, уже просто потому, что ознакомленіе съ нимъ превышаетъ человѣческія силы. Обыкновенно билли составляются даже не лично членами конгресса, а юрисконсультами заинтересованныхъ акціонерныхъ учрежденій въ Нью-Іоркѣ, Чикаго и другихъ промышленныхъ центрахъ. Каждое такое учрежденіе содержитъ въ Вашингтонѣ свою депутацію для сношеній съ нужными людьми на конгрессѣ, желательный билль вносится какимъ-нибудь членомъ конгресса отъ своего имени и принимается обычнымъ рутиннымъ порядкомъ. Эти подпольные депутаты извѣстны подъ собирательной кличкой «корридора» (the lobby) и прозваны въ насмѣшку «третьей палатой конгресса» [1]).

Но это только въ Америкѣ перерожденіе парламента приняло столь цинично откровенный характеръ «политики интересовъ». Эта сторона въ новѣйшемъ фазисѣ парламентаризма не должна заслонить другой стороны, не должна заслонить давленія, оказываемаго на парламентъ внѣ-парламентскими политическими организаціями мелкой буржуазіи и пролетаріата. Ростутъ и крѣпнутъ внѣ-парламентскія политическія организаціи не

[1]) Ср. И. Гурвичъ. „Сѣв.-Америк. Соедин. Штаты" въ сборникѣ „Государственный строй и политическія партіи". Спб. 1906, т. III-й стр. 187.

только крупной буржуазіи, но и крестьянства, но и рабочаго класса. При этомъ, въ то время, какъ внѣ-парламентскія политическія организаціи буржуазіи дѣйствуютъ за кулисами парламента и стараются по мѣрѣ возможности скрыть свою связь съ дѣйствующими въ парламентѣ политическими партіями, пролетарскія внѣ-парламентскія организаціи, какъ разъ наоборотъ стремятся установить возможно болѣе тѣсную, органическую связь съ соціалистическою партіей парламента.

Какъ мы уже отмѣтили, отчасти въ силу несовершенствъ избирательнаго права, а главное въ силу политической отсталости избирателей, рабочій классъ представленъ во всѣхъ парламентахъ далеко не въ соотвѣтствіи съ своею численностью. Ростъ же внѣ-парламентскихъ политическихъ организацій пролетаріата и ихъ растущее давленіе на парламентскую дѣятельность даетъ рабочимъ возможность до извѣстной степени исправить указанную диспропорціональность. Очень многіе реакціонные законопроекты могли съ успѣхомъ пройти и очень многіе прогрессивные законопроекты не пройти въ парламентъ, если бы при принятіи или отверженіи ихъ парламентское большинство не думало о той политически организованной силѣ, которая стоитъ за стѣнами парламента и въ зависимости отъ его дѣятельности при ближайшихъ выборахъ тяжелою массою передвигается отъ одной партіи къ другой. Ходъ и исходъ парламентскихъ преній начинаетъ все болѣе опредѣляться не только численностью депутатовъ той или другой партіи, но и численностью и организованностью тѣхъ избирателей, которые стоятъ за то, или иное направленіе политическаго курса. Особенно ярко бросается въ глаза эта сторона эволюціи парламентаризма въ дѣятельности англійскаго парламента или даже палаты лордовъ. Палата лордовъ состоитъ изъ очень богатыхъ—людей консервативныхъ и даже реакціонныхъ воззрѣній. Было высчитано, что лордамъ—членамъ палаты лордовъ—принадлежитъ одна шестая часть всей земельной площади Англіи. Но эти богатые и консервативные люди—люди умные. Они понимаютъ, что въ такой странѣ, какъ Англія, на такомъ видномъ—точно ярко освѣщенный фонарь—мѣстѣ, какъ парламентъ, нельзя съ политическою безнаказанностью обнажать свое соціальное корыстолюбіе. И вотъ каждый разъ, когда имъ приходится высказаться по поводу того или иного крупнаго соціальнаго законопроекта, они черезъ превосходно организованную консервативную партію производятъ какъ бы молчаливую политическую анкету, нащупываютъ и сосчитываютъ силу тѣхъ слоевъ организованнаго пролетаріата, которые стоятъ за этотъ законопроектъ. Такъ еще недавно палатѣ лордовъ предложенъ былъ билль о стачкахъ. Этотъ билль возвращалъ профессіональнымъ союзамъ всѣ тѣ стачечныя права, которыя раньше судебнымъ порядкомъ были у нихъ отобраны, а во многихъ весьма важныхъ пунктахъ эти права расширялись. Благородные лорды возмутились. Стачечный билль устами ихъ вожаковъ былъ названъ «невозможнымъ», «тираническимъ», «абсолютно непріемлимымъ». Провалить этотъ билль было вполнѣ въ рукахъ лор-

довъ. Но неожиданно произошло быстрое и молчаливое заворачиваніе фронта. Лорды молча и спѣшно приняли билль. Что же случилось? А случилось то, что вожди консервативной партіи сообщили лордамъ, что внѣ-парламентскія организаціи рабочихъ «какъ одинъ человѣкъ», стоятъ за этотъ билль и что если билль будетъ проваленъ лордами, по всей странѣ поднимется буря агитаціи и манифестаціи.

Съ этимъ любопытнымъ явленіемъ мы встрѣчаемся все чаще и чаще. Исходъ голосованій по вопросамъ, затрагивающимъ интересы широкой народной массы, все менѣе зависитъ отъ численности депутатовъ той или иной партіи и все болѣе становится въ зависимости отъ численности и внѣ-парламентской организованности избирателей.

Въ «Парижѣ» Эмиля Зола аббатъ Фромонъ характеризуетъ настроеніе умирающаго съ голоду бѣдняка, глядящаго на блестящій парламентскій «развратъ»: «Ахъ, что за дѣло старому бѣдняку, который околѣваетъ съ голоду на тряпкахъ, что ему за дѣло до того, свалилъ ли Мэжъ министерство Барру, или сталъ у власти кабинетъ Циньона! Если такъ дѣло будетъ идти, то понадобится сто—двѣсти лѣтъ, чтобы нашелся хлѣбъ въ жалкихъ сараяхъ, гдѣ храпятъ, умирая, инвалиды труда, эти старыя и заѣзженныя вьючныя животныя. И вся голытьба, весь бѣдный и обездоленный людъ находился въ агоніи, вопіялъ о справедливости, въ то время, какъ палата на одномъ изъ крупныхъ засѣданій волновалась вопросомъ, кому будетъ принадлежать нація и кто пожретъ ее. Грязь переливалась черезъ края; омерзительная, кровавая и разъѣдающая язва безстыдно расплеталась наружу, словно ракъ, пожирающій организмъ и захватывающій уже сердце. И что за тошнота при этомъ зрѣлищѣ и что за жажда мстительнаго ножа, который принесъ бы здоровье и радость!»

Въ этихъ словахъ аббата Фромона такъ художественно, такъ ясно и ярко отразилась психологія тѣхъ соціальныхъ низовъ, которые раньше въ періодъ соціальнаго смиренія и политической забитости протягивали къ парламенту милліоны рукъ, прося и ожидая милостыни вниманія и соціальнаго подаянія. А теперь съ этихъ низовъ къ парламенту поднимается мрачное проклятіе анархизма. Но, какъ возмущенно говоритъ аббатъ Фромонъ, парламентъ глухъ и нѣмъ къ моленіямъ и проклятіямъ соціальныхъ низовъ.

Но онъ глухъ и нѣмъ лишь до тѣхъ поръ, пока эти низы не организованы, пока они не давятъ на парламентъ извнѣ всѣмъ огромнымъ вѣсомъ своей внѣ-парламентской организаціи. Чрезвычайно любопытно сравнить приведенныя слова художника Зола со словами англійскаго государствовѣда—Сиднея Лоу.

Сидней Лоу въ своемъ извѣстномъ новѣйшемъ изслѣдованіи государственнаго строя Англіи останавливается также на вопросѣ о соціальныхъ низахъ, о бѣдности и отношеніи къ нимъ парламента. Прежде, мѣтко замѣчаетъ Лоу, когда хотѣли обра-

тить вниманіе парламента на эти умирающіе съ голоду слои населенія, то возмущенно восклицали: «Но вѣдь они тоже люди, вѣдь они тоже хотятъ жить по-человѣчески!» И это не дѣйствовало на парламентъ. Теперь же, когда эти «тоже люди» добились избирательныхъ правъ и организовались въ политическую силу, благоразумные люди спокойно предостерегаютъ парламентское большинство уже инымъ аргументомъ: «Эти люди вѣдь тоже избиратели». И этотъ аргументъ оказываетъ гораздо болѣе сильное впечатлѣніе. «Тоже избиратели»—вѣдь это значитъ, что они могутъ содѣйствовать провалу нынѣшняго большинства, а съ этимъ приходится считаться.

Въ прежнее время бѣдняки, говоритъ консервативно настроенный Лоу, конечно, тоже «были людьми, но они не были избирателями. Наше современное богатство, менѣе жестокое, болѣе скромное, не такое наглое, какъ въ старину, все-таки живетъ подъ постоянными любопытными взорами гиганта, всегда вооруженнаго и иногда голоднаго. Демократія въ Англіи еще не использовала своихъ силъ; она даже едва ли сознаетъ ихъ. Но этимъ мы обязаны обстоятельствамъ и условіямъ, которыя не вѣчны и могутъ недолго продолжаться» [1]).

Мы намѣтили тѣ основные источники, которые вызываютъ перерожденіе парламента и поднимаютъ толки о его кризисѣ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что старый типъ парламента, того парламента, который служилъ какъ бы аккумуляторомъ политической энергіи всего государства, какъ бы фокусомъ, концентрирующимъ всѣ лучи пробудившагося политическаго сознанія, безвозвратно отжилъ свой вѣкъ. Парламентъ пересталъ быть самодавлѣющею политическою силою, властно направляющею политическую жизнь страны въ ту или другую сторону.

Иллюзіи о политическомъ всесиліи парламента разсѣялись теперь у всѣхъ политическихъ направленій и партій. Имъ всѣмъ стало до очевидности ясно, что парламентъ слишкомъ узкое и тѣсное поприще для того, чтобы вмѣстить политическую дѣятельность народа.

Онъ оказался, какъ мы видѣли, тѣснымъ и такъ сказать слишкомъ ярко освѣщеннымъ поприщемъ и для буржуазіи. Но этотъ кризисъ парламентаризма не слѣдуетъ отожествлять съ разочарованіемъ въ значеніи политической дѣятельности. Какъ мы видѣли, кризисъ парламентаризма явился результатомъ не упадка, не ослабленія политической дѣятельности различныхъ классовъ и слоевъ населенія, а какъ разъ наоборотъ—результатомъ растущей и организующейся политической энергіи.

Благодаря этому быстрому росту силы и организованности, политическая энергія народа все больше переливается черезъ край парламента.

Свѣжій примѣръ тому—текущія политическія осложненія

---

1) Ср. Сидней Лоу. Государственный строй Англіи. Спб. 1908. 268 стр.

на Ближнемъ Востокѣ. Когда на политическомъ горизонтѣ Европы появились первыя грозовыя тучи, пролетарскія массы Западной Европы всколыхнулись и насторожились. Пока дипломаты въ тайникахъ канцелярій изготовляли соотвѣтствующія дипломатическія ноты и подготовлялись къ дипломатическимъ «шагамъ», пролетаріатъ Италіи съ лихорадочною быстротою и замѣчательною организованностью, не прибѣгая къ помощи парламента, предпринялъ очень энергичные шаги къ политическому воздѣйствію на правительство. И манифестаціи итальянскаго пролетаріата встрѣтили чуткій и гулкій откликъ въ пролетаріатѣ другихъ странъ. Международное соціалистическое бюро устроило своего рода международную «конференцію» для выясненія отношенія соціалистическихъ партій къ факту анексіи Босніи и Герцоговины. Соціалистическое бюро и созванная имъ конференція представляли многіе милліоны голосовъ политически организованнаго пролетаріата, и вынесенная резолюція въ глазахъ даже профессіональныхъ дипломатовъ будетъ обладать большимъ политическимъ вѣсомъ и повліяетъ на политическія судьбы балканскаго вопроса.

Чрезвычайно энергичныя и превосходно организованныя политическія выступленія итальянскаго пролетаріата по злободневнымъ, кореннымъ вопросамъ внѣшней политики отлично показали, что политически организованная масса внѣ-парламентскимъ путемъ воздѣйствуетъ даже на такую заповѣдную область профессіональныхъ дипломатовъ и политиковъ, какъ международныя отношенія. Въ области же внутреннихъ вопросовъ демонстраціи и манифестаціи общественнаго мнѣнія часто оказываютъ болѣе прочное и глубокое вліяніе на ходъ политической жизни, чѣмъ парламентскія пренія.

Сидней Лоу, котораго намъ уже неоднократно приходилось цитировать какъ наиболѣе тонкаго и глубокаго знатока новѣйшей эволюціи англійскаго парламентаризма, дѣлаетъ слѣдующее очень характерное замѣчаніе.

«Депутатъ», говоритъ Лоу, «высказываетъ, правда, свои возраженія и замѣчанія при условіяхъ, придающихъ имъ извѣстный авторитетъ и обезпечивающихъ имъ извѣстное распространеніе; но можно все-таки сомнѣваться, чтобы ораторъ, обращающійся къ утомленной палатѣ съ получасовою рѣчью, (переданной на другой день въ газетахъ пятью строчками) имѣлъ особыя преимущества передъ лицомъ, получившимъ доступъ на страницы вліятельнаго журнала или на столбцы большой газеты, а также передъ лицомъ, которое имѣетъ возможность говорить съ каѳедры или митинговой платформы. Билль о воспитаніи 1902 г., слабо и недостаточно дебатировавшійся въ палатѣ общинъ, былъ осыпаемъ непрерывнымъ градомъ враждебныхъ замѣчаній со стороны членовъ нонконформистской общины внѣ парламента; и никто не станетъ, я полагаю, добросовѣстно утверждать, что эти энергичные противники, изъ коихъ нѣкоторые могли въ любой моментъ собрать ауди-

торію въ нѣсколько тысячъ человѣкъ, оказали бы большое вліяніе, если бы ихъ рѣчи были произнесены въ палатѣ общинъ». [1]).

Въ этихъ словахъ новѣйшаго изслѣдователя англійскаго парламентаризма ясно сказалось, какъ далеко ушелъ нынѣшній англійскій парламентъ отъ своего прототипа. Не говоря уже о тридцатыхъ годахъ, когда англійскій парламентъ всецѣло находился въ рукахъ кучки знатныхъ лордовъ, но даже послѣ избирательной реформы 1832 года и вплоть до новой избирательной реформы шестидесятыхъ годовъ, англійскіе депутаты смотрѣли на себя какъ на монополистовъ всей политической энергіи страны. Съ безпощадною суровостью они преслѣдовали всякую попытку внѣпарламентскаго давленія на парламентъ, они пріостанавливали дѣйствіе конституціи для того, чтобы помѣшать народному движенію съ помощью митинговъ, манифестацій и демонстрацій организовать внѣпарламентскую политическую силу и съ ея помощью оказывать давленіе на ходъ и исходъ парламентскихъ преній. Англійскому народу цѣною неимовѣрныхъ усилій и жертвъ удалось завоевать право внѣпарламентскихъ политическихъ организацій и, опираясь на это право, подчинить своей политической волѣ и власти парламентъ.

Въ этомъ подчиненіи внѣпарламентскимъ организаціямъ и состоитъ главнымъ образомъ «кризисъ парламентаризма», о которомъ теперь такъ много говорятъ и пишутъ. Мы видѣли, что теперь стремятся подчинить парламентъ своей внѣпарламентской власти всѣ классы общества, политически организованные. Съ этой стороны нынѣшній кризисъ парламентаризма знаменуетъ вступленіе классовой борьбы въ новую фазу политическаго развитія.

П. Берлинъ.

---

[1]) Сидней Лоу, l. c. стр. 52—53.

Ст. Ивановичъ.

Новыя времена, новыя пѣсни.

(Къ ликвидаціи разночинца).

I.

ЖИЗНЬ.

1.

Надо жить.

Говорили искренно и неискренно такъ: «это такъ только пока, но это неизбѣжно должно уйти; вѣдь въ самомъ же дѣлѣ такъ дальше невозможно, такъ дольше жить нельзя».

Оказалось, что такъ дольше жить м о ж н о, что можно даже и хуже. Старая формула незамѣтно перешла въ новую: надо жить. Надо жить, жи-ить... ну, конечно, какъ-нибудь, не очень пышно, но все таки—жить. И, конечно, какъ въ Боборыкинскомъ «Переломѣ»: «Надо жить не мечтами, не фантазіями, а практической дѣйствительностью такъ, какъ позволяютъ обстоятельства, не дѣлая явныхъ подлостей, но и не стараясь куда-либо направлять чью бы то ни было жизнь, не исключая и своей собственной». Главное, чтобъ не было «явныхъ подлостей», какъ позволяютъ обстоятельства, а они же, извѣстно, не позволяютъ фантазій и мечтаній.

Конечно, нѣтъ еще правопорядка настоящаго—это въ значительной мѣрѣ неудобно, но зато нарождается б ы т о п о р я д о к ъ, нарождается б ы т ъ,—нѣкоторая, относительной устойчивости, система матеріальныхъ, общественныхъ и индивидуально-психологическихъ цѣнностей.

Недавно нѣсколько молодыхъ людей, правда, уже неподвѣдомственныхъ правиламъ о внѣшкольномъ надзорѣ за учащимися, потерявшихъ соціальныя связи своего бытія, провозгласили смерть быта и смерть быту. Но ужъ очень скоро всѣ поняли, что бытъ не у[illegible]ръ, а переродился, а одинъ изъ отрицателей быта даже

нашелъ, что живъ Чеховъ, жива изображенная имъ жизнь и что Чеховъ вновь современный для насъ писатель. Въ этомъ скрывалась уже несомнѣнная реабилитація быта. Для насъ крайне симптоматичнымъ является огромный литературный успѣхъ Куприна—яркаго, сочнаго бытовика, пѣвца не мѣстной, расовой или психологической экзотики, а быта вообще, б ы т о п о р я д к а. И характерно: именно у него мы увидѣли перевоплощеніе порнографіи мистико-анархической, долженствующей обновить міръ, въ порнографію немудрящую, бытовую. Въ «Мелюзгѣ» насилуютъ старуху не во имя торжества «ѳимелъ» и «орхестровъ», а просто въ силу велѣній бытопорядка «мелюзги». И «морская болѣзнь» Куприна тоже не «ѳимелы», а обычная, пользуясь выраженіемъ В. Розанова, «преестественная гадость». И теперь кажется уже всѣмъ ясно: изъ элемента пресловутаго «діонисовскаго возрожденія» порнографія стала элементомъ нашей «европеизаціи», обычно относимой какъ разъ къ вѣдомству Аполлона.

Европеизація нашего быта настраиваетъ иныхъ публицистовъ на удивительно мажорный ладъ.

Бодро и радостно смотритъ на жизнь Д. Д. Протопоповъ, правильно намѣчающій въ «Русской мысли» нѣкоторые элементы нашей европеизаціи. Онъ находитъ, что «въ широкихъ слояхъ царитъ бодрость». По рецепту Изгоева, онъ смотритъ на жизнь «трезвыми, безо всякой предвзятости» глазами. «Дума есть внѣшній признакъ наступившаго конституціоннаго строя». А темныя стороны его? Но, Боже мой, «какихъ только палатъ не знавали страны Запада и какихъ ужасовъ не прикрывали онѣ тамъ своей санкціей! Спросите объ этомъ окрестности Парижа, земля которыхъ въ XIX столѣтіи два раза пропитывалась кровью побѣжденнаго буржуазіей народа, и это съ благословенія палатъ»... Вы видите—взглядъ вполнѣ трезво историческій и реалистическій, «безо всякой предвзятости» То, о чемъ могутъ разсказать пропитанныя кровью окрестности Парижа, не представляетъ собою чего-нибудь особеннаго, нарушающаго цѣльность нашего европеизирующагося бытопорядка.

Упрочивается не только конституція, упрочиваются и соціально-психическія переживанія, все устраивается, осѣдаетъ, отстаивается, взбаламутившись, надолго. Богъ грѣхамъ терпитъ и все у насъ складывается какъ «вообще въ европейскихъ странахъ, гдѣ сознательные элементы среди угнетаемыхъ сжились съ мыслью о неизбѣжности въ повседневной жизни уступки силѣ, а среди сильныхъ царитъ желаніе использовать, пока можно, всѣ выгоды своего положенія». Нѣтъ больше «великихъ потрясеній», идетъ великое по терминологіи «Русск. Знам.» «утрясеніе», тѣмъ болѣе, что и великія потрясенія, какъ интерпретируетъ опытъ Парижа Протопоповъ, всего только «темныя стороны» этого самаго процесса утрясенія, вообще, мѣрнаго, ровнаго. Россія европеизируется, укрѣпляется бытъ, воцаряется «не страшное» и, бросивъ мечты и фантазіи, не дѣлая явныхъ подлостей, надо усердно приняться за дѣло, начать жить практической дѣйствительностью.

Надо жить, прежде всего надо жить!

2.

Приматъ матеріальной культуры.

Въ свое время Щедринъ писалъ о Разуваевѣ. «Въ обывательскихъ реестрахъ отмѣчено: «бывшій халуй». Занимается кабаками, а нынче сверхъ того и интеллигенціей». Теперь эта характеристика слишкомъ груба и кабаками модернизированный Разуваевъ занимается мало. Но къ интеллигенціи, несомнѣнно, интересъ его значительно увеличился. Да и самъ онъ сталъ значительно интеллигентнѣе.

Никогда въ исторіи русской общественности соціальная диффузія между капиталомъ и интеллигенціей не происходила такъ интенсивно, какъ въ настоящій моментъ. У русскаго капитала появилась своя интеллигенція, свой кадръ идеологовъ. Два крупныхъ явленія обусловили эти новыя для Россіи формы соціальнаго притяженія. Съ одной стороны среди русскихъ капиталистовъ появился спросъ на интеллигентовъ. Это было симптомомъ роста ихъ классоваго самосознанія. Крахъ бюрократіи послѣ дальневосточной войны, широкій разливъ рабочаго движенія, разрушительный промышленный кризисъ,—все это воочію показало русской буржуазіи, что дальнѣйшее существованіе промышленности, путемъ исключительнаго паразитированія на тѣлѣ россійской бюрократіи, можетъ завести ее въ безвыходный тупикъ. Рушились главные устои промышленной политики русскаго капитала: военное могущество, чреватое безпрерывными заказами, оплачиваемыми безумными преміями, и недвижность и безмолвіе русскаго рабочаго, чреватыя чрезвычайными удобствами въ дѣлѣ выжиманія максимума прибавочной стоимости. Нужно было начать думать, какъ бы просуществовать собственными силами. Начала поднимать голосъ промышленная фронда, сначала въ эпоху свободъ бурно и стремительно, а затѣмъ болѣе умѣренно, но все же настойчиво. Русскому капиталу нужно было понять условія собственнаго развитія, причины кошмарнаго застоя, появилась у него потребность стать классомъ для себя. Естественно, что онъ сталъ жадно всасывать въ себя интеллигентныя силы, которыя могли бы при помощи своихъ знаній, своихъ формирующихъ способностей, выявить, придать болѣе или менѣе законченную форму нуждамъ промышленнаго развитія.

Естественной реакціей противъ разразившагося кризиса съ одной стороны и противъ рабочаго движенія съ другой явился чрезвычайно интенсивный ростъ предпринимательскаго объединенія. Синдикаты, картели, тресты, чисто боевыя предпринимательскія организаціи покрыли всю страну. Этотъ процессъ синдицированія опять-таки не могъ обойтись безъ содѣйствія интеллигентовъ, безъ участія этихъ поставщиковъ соціально-экономическаго знанія, соціально-экономической идеологіи. Капиталъ сталъ европеизироваться; предыдущее его развитіе не могло дать ему собственныхъ, необходимыхъ для этого силъ, и онъ обратился

туда, куда обращаются всѣ классы въ поискахъ за классовыми инструкторами, классовыми формовщиками.

Европеизація русскаго капитала выразилась однако не только въ его объединеніи, въ его относительной, весьма скромной, правда, независимости отъ бюрократіи,—понадобилась еще европеизація техники эксплоатаціи рабочей силы, техники эксплоатаціи постояннаго капитала. И вотъ мы видимъ чрезвычайно быструю интенсификацію производства. Спѣшно вводятся новыя машины, новые двигатели. Выписываются иностранные мастера, сильно разрастается составъ техническихъ руководителей. Даже не европеизируется, а американизируется эксплоатація рабочей силы. Вводится почасовая плата, безчисленныя системы—т. н. «американки». Отношенія къ рабочимъ осложняются не только технически, но и психически. Простое сдираніе шкуры замѣняется тонкими, сложными, основанными въ значительной мѣрѣ на психологическихъ данныхъ, пріемами премированной оплаты труда. Стараго типа мастеръ—грубый, лѣзущій въ драку, уже не годится. Требуется интеллигентность, облеченная въ мундиръ промышленнаго либереализма, требуется соціальная прозорливость,—однимъ словомъ, вновь требуется интеллигентъ, умѣющій обильно выдѣлять соціальную смазку, столь необходимую при одновременной европеизаціи и рабочаго и эксплоатирующаго его предпріятія.

Интеллигентъ становится необходимымъ всюду и вездѣ.

Еще совсѣмъ недавно типично было то отношеніе къ интеллигенціи, которое проявлялъ пошедшій въ гору купецъ и промышленникъ Спирька въ разсказѣ того же названія Елпатьевскаго.

«Единственно, чего боялся Спирька, или, вѣрнѣе, къ чему тревожно и недоумѣвающе относился, даже не умѣя формулировать своего чувства,—это интеллигенція». «И не то его злило, что интеллигенція всегда шла въ душѣ наперекоръ ему, а то, что она говорила и думала не о своемъ дѣлѣ и путалась туда, куда, по естественной логикѣ вещей, ей не было никакого основанія путаться. И вотъ эти непонятные ему мотивы дѣятельности, эта всегдашняя неизвѣстность и неувѣренность, что она скажетъ и сдѣлаетъ,—было единственное, что мѣшало Спирькѣ, чувствовавшему себя во всѣхъ другихъ отношеніяхъ хозяиномъ положенія вещей, успокоиться».

Естественно, что Спирькина правая рука, выжига, дворянинъ и литераторъ—Рачининъ

«давно уговариваетъ Спирьку завести свою интеллигенцію. Онъ высчитываетъ Спирькѣ по конторскимъ книгамъ, во что обходятся фабрикѣ его рачининскія передовыя статьи и «сторонніе сообщенія» насчетъ тарифовъ и пошлинъ, и доказываетъ, что Спирькѣ, въ сущности, выгодно завести свою газету, такъ какъ теперь деньги въ значительной мѣрѣ идутъ зря,—нынче напишутъ на Спирькину руку, а завтра тайные планы его разоблачатъ и его же, Спирьку, мошенникомъ назовутъ».

Теперь Спирьку уговаривать долго и не приходится. Ибо видитъ онъ, что пугавшая его интеллигенція не такъ страшна, что все меньше и меньше впутывается она не въ свои

дѣла, что все болѣе и болѣе занимается она его, спирькиными, дѣлами. Спирька не боится интеллигенціи. Онъ строитъ ей глазки. Рачининъ пишетъ въ журналѣ южно-русскихъ горнопромышленниковъ передовицу, полную комплиментовъ по ея адресу. Ему страшно по душѣ мнѣніе «Столичной Почты», что

«созданіе культурныхъ цѣнностей, поднятіе самосознанія массъ и ихъ организація—это постоянная задача, стоящая передъ демократической интеллигенціей всякой страны... Призывы съ указаніемъ «малыхъ» дѣлъ не могутъ угашать духа. Наоборотъ, здѣсь заключается источникъ подъема духа». Итакъ, заключаетъ онъ, не радикализмъ политическаго и соціальнаго обновленія русской жизни, а мирное созиданіе культурныхъ цѣнностей—таковы нужды времени. Конечно, въ числѣ этихъ цѣнностей первое мѣсто занимаетъ созиданіе матеріальныхъ цѣнностей, промышленная дѣятельность націи».

Еще болѣе довольна передовица проф. Озеровымъ, который говоритъ, что

«промышленность является носительницей общечеловѣческихъ задачъ, побуждаемая, однако, къ ихъ выполненію своими собственными интересами».

И, что особенно пріятно, «при этомъ оказывается, что представители этой отрасли культурной дѣятельности промышленники, не такъ уже жадны, эксплоататорски настроены и враждебны интересамъ національнаго развитія, какъ это указывалось въ предыдущихъ статьяхъ того же проф. Озерова. Напротивъ, вся послѣдняя статья его написана въ тонѣ, чрезвычайно благожелательномъ по отношенію къ промышленникамъ.

Вы видите—тутъ ужъ нѣтъ слѣда боязни или недовѣрія къ интеллигенціи. Наоборотъ — промышленники работаютъ въ одной «отрасли культурной дѣятельности», интеллигенція—въ другой,

«вездѣ проглядываетъ точка зрѣнія о самодовлѣющемъ значеніи экономической структуры общества, о приматѣ созиданія матеріальной культуры» и, слѣдовательно, могутъ наладиться вполнѣ дружескія отношенія.

3.

Великій исходъ.

Спросъ на интеллигенцію неизбѣжно долженъ былъ вызвать и предложеніе. Но росту предложенія способствовали и свои специфическія причины. Развитіе общественныхъ отношеній, стремленіе къ классовому самоопредѣленію, сказавшееся одинаково во всѣхъ классахъ населенія, крушеніе революціи—все это выбило изъ-подъ ногъ разночинной интеллигенціи главную опору ея соціально-идеологическаго существованія, все это отняло у нея ея излюбленную роль: общедемократическаго гегемона. Покуда оппозиціонное и революціонное движеніе шло въ гору и одерживало побѣды, дѣло внѣклассовой интеллигенціи

стояло болѣе или менѣе прочно: въ большей или меньшей мѣрѣ она могла представлять обще-демократическіе интересы всей націи, въ большей или меньшей мѣрѣ, занимая позицію хотя бы и во главѣ опредѣленнаго класса, она осуществляла все же не спеціальныя задачи этого класса, а именно задачи демократіи вообще. Въ этомъ отношеніи моменты революціи, моменты ея общенародности поддерживали то шаткое уже общеразночинное единство, которому первые чувствительные удары нанесъ процессъ капитализаціи Россіи, сильно сказавшійся въ 90-хъ гг.

Реакція произвела крутой переворотъ. Лозунгомъ теперь стало: спасайся, кто можетъ. А это означало полное крушеніе общедемократическихъ иллюзій. «Спасайся, кто можетъ»—и «нація» бросилась вразсыпную по классовымъ, однако, признакамъ. Сталъ спасаться помѣщикъ, сталъ спасаться капиталистъ, мужикъ-мѣщанинъ—всѣ на особый манеръ, всѣ «своими средствіями». Общедемократическій интеллигентъ остался безъ дѣлъ: разбѣжались артисты, разбѣжалась публика, остался демократическій режиссеръ на пустомъ мѣстѣ. Исчезла почва для общедемократическаго строительства. Закатилась звѣзда общедемократическаго разночинца.

Случилось такъ,—и иначе оно и быть не могло,—что отряды интеллигенціи, «приписанные» къ пролетаріату и къ «трудовому крестьянству», стали мало-по-малу, въ силу классоваго развитія этихъ соціальныхъ группъ, отчисляться отъ должности. Въ рабочихъ массахъ подымается чувство классоваго самосознанія, вырастаетъ стремленіе къ самостоятельности, къ освобожденію отъ интеллигентской опеки. Усиливаются требованія къ работникамъ-интеллигентамъ, нарождается собственная рабочая интеллигенція. У разночинца остываетъ пылъ, гнететъ полное отсутствіе выигрышныхъ ролей, тяготитъ сугубая будничность работы, нѣтъ душевнаго равновѣсія и въ итогѣ соціально-политическая отставка, сопряженная въ отдѣльныхъ случаяхъ съ мучительнѣйшими душевными страданіями.

Даетъ отставку своему интеллигенту и «трудовое крестьянство». Намъ не зачѣмъ долго останавливаться на глубокомъ кризисѣ народническаго міросозерцанія, вызваннаго чрезвычайно быстрой эволюціей «трудового крестьянства» въ сторону типично мелкобуржуазнаго уклада. Кризисъ этотъ бросается въ глаза при первомъ даже самомъ общемъ знакомствѣ съ народнической литературой. Правый и лѣвый народникъ тоже оказались не у дѣлъ. Хозяйственный мужичекъ не хочетъ очевидно знать ни с-эровъ, ни с-дековъ, ни н-эсовъ. Онъ занятъ «отрубами» и не до соціалистическихъ ему «фанаберій».

Интеллигенція получала соціально политическую отставку по прошенію и безъ прошенія, по 3-му пункту и по всѣмъ прочимъ. Привходило тутъ и другое явленіе. Идеологическая безработица усугублялась и обострялась безработицей матеріальной. Разсвирѣпѣвшая реакція осуществила огромный, безпощадный локаутъ т. н. «третьяго элемента». Съ старательнымъ усердіемъ земства стали выгонять десятки и сотни культурныхъ работниковъ. Раз-

рушались слѣпо былые очаги земской культуры, увольнялись массами земскіе работники.

Помѣщикъ одичалъ, сталъ буйствовать, сталъ спасаться отъ разрушительнаго для него потока жизни, и, если для этого нужно было топить своихъ былыхъ помощниковъ, онъ топилъ безпощадно, неистово, отдавая все на потопъ и разграбленіе. То же дѣлало и правительство и въ подвѣдомственныхъ ему учрежденіяхъ. Начался великій исходъ третьяго элемента, сталъ накопляться огромный резервъ безработныхъ интеллигентовъ.

4.

На выучку къ капиталу.

Капиталистическому спросу жизнь приготовила огромное предложеніе. Началось хожденіе въ промышленность, сталъ наслаиваться «третій элементъ» уже не въ земствѣ, а въ промышленности.

Это является важнымъ знаменіемъ капитализирующейся Россіи. Интеллигентъ пошелъ не только на выучку къ капиталу, но и на выучку капитала. У насъ нѣтъ и не можетъ еще быть совершенно объективныхъ, статистическихъ данныхъ, рисующихъ этотъ процессъ статически и динамически. Но что этотъ процессъ совершается, что такова тенденція развитія—это не подлежитъ никакому сомнѣнію. Стоитъ немного приглядѣться къ жизни нашихъ промышленныхъ организацій, чтобы сразу бросилась въ глаза та большая роль, которую въ нихъ играетъ интеллигентъ-разночинецъ, бывшій дѣятель лѣвыхъ партій вплоть до соціалъ-демократической, а иногда даже полудѣятель ихъ въ настоящемъ. Онъ здѣсь секретарствуетъ, завѣдуетъ отдѣлами, онъ здѣсь разрабатываетъ законопроекты, пишетъ докладныя записки, составляетъ статистическія таблицы, собираетъ матеріалъ, накопляетъ про запасъ эрудицію. Онъ, конечно, при этомъ «glaubt zu schieben», онъ, конечно, проводитъ передовыя воззрѣнія, гуманныя идеи, и на первыхъ порахъ этотъ возвышающій обманъ облегчаетъ ему тяжелую новизну его соціально-психологическихъ переживаній. Но въ дальнѣйшемъ все приходитъ въ равновѣсіе. «Надо жить».

Есть болѣе объективныя данныя, говорящія о роли интеллигента въ жизни русскаго капитала. Это—торгово-промышленная пресса. Здѣсь почти безраздѣльно царитъ прежній разночинный интеллигентъ. Вы узнаете его по статьямъ, такимъ прогрессивнымъ, такимъ трезво-реалистическимъ. Приглядитесь поближе, и вы встрѣтите что-то очень знакомое: чуть ли не марксизмъ, марксистскія идейки въ націоналъ-либеральномъ одѣяніи. Пишутъ такъ, точно все время «Критическія замѣтки» Струве цитируютъ. Здѣсь иногда далеко упреждаются тенденціи классоваго развитія русской буржуазіи, здѣсь соціальный намекъ, легкій штрихъ въ опытныхъ рукахъ, искушенныхъ въ дѣлѣ соціальной схематиза-

ціи, превращается, на словахъ, конечно, въ вполнѣ зрѣлый законченный классовый продуктъ [1]).

Интеллигентъ, соціальный радикалъ, марксистъ проникъ и въ правительственную прессу, посвященную вопросамъ промышленнаго развитія. Просмотрите «Вѣстникъ Финансовъ» и «Торгово-промышленную газету»,—и вы здѣсь встрѣтите, то видныя имена извѣстныхъ марксистовъ и экономистовъ, то весьма прозрачные иниціалы. Изъ первыхъ рукъ эти и промышленныя изданія получаютъ свѣдѣнія изъ жизни рабочихъ организацій, они все знаютъ, ихъ обо всемъ оповѣщаютъ, и нѣтъ уже той стѣны между интеллигенціей труда и интеллигенціей капитала, которая стояла между ними раньше.

Русскій капиталъ европеизируется, и носителемъ и насадителемъ европеизирующихъ тенденцій является для него теперь особенно усиленно пошедшая къ нему въ наемъ интеллигенція. «Европейскій образъ мыслей и чувствованія не менѣе необходимъ для успѣшной утилизаціи машинъ, чѣмъ паръ, уголь и техника». Этотъ тезисъ Шульце-Гевернитца усваивается теперь русскимъ капиталомъ и именно въ интеллигенціи русской онъ видитъ хорошихъ поставщиковъ и этого образа мыслей и этого способа чувствованія. Съ другой стороны, и сама интеллигентная молодежь проникается той мыслью, что «паръ, уголь и техника», желѣзо-бетонъ и электричество не менѣе необходимы для того, чтобы жить, чѣмъ ея «европейскій образъ мыслей и чувствованія».

И вотъ мы видимъ огромное скопленіе молодежи въ среднихъ и высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Идетъ «перевоспитаніе взглядовъ молодежи», за которое во имя спасенія «всего торговопромышленнаго сословія Россіи» лѣтомъ прошлаго года такъ усиленно ратовало «Русское Слово». Этому стремленію къ «перевоспитанію» соотвѣтствуетъ сильный ростъ частныхъ высшихъ и среднихъ коммерческихъ, экономическихъ и техническихъ курсовъ. Растутъ, что весьма знаменательно, и женскія учебныя заведенія съ чисто-коммерческими и техническими задачами. Подготовляются кадры техниковъ, инженеровъ, архитекторовъ, химиковъ, коммерсантовъ, банковскихъ служащихъ, очень много банковскихъ служащихъ. И что весьма характерно: здѣсь, въ этихъ новыхъ учебныхъ предпріятіяхъ, студентамъ предлагается не только «паръ, уголь и техника», не только спеціально техническія знанія, но и «европейскій образъ мыслей и чувствованія», довольно недурно поставленное преподаваніе наукъ экономическихъ, юридическихъ и т. п. Крамольныя науки, преподаваемыя даже крамольными профессорами и приватъ-доцентами, сливаются въ единый европейскій синтезъ съ желѣзо-бетономъ, паромъ и гидравлическимъ прессомъ.

---

[1]) Едва ли не самымъ „марксистскимъ“ журналомъ является органъ бакинскихъ нефтепромышленниковъ „Нефтяное дѣло“. Здѣсь то и дѣло цитируютъ сочувственно рабочую прессу (ну, конечно, меньшевистскую) и вульгаризируютъ марксистскія положенія.

Перевоспитывается и старое студенчество. Студентъ въ массѣ сталъ учиться, или, вѣрнѣе, заниматься, или, еще вѣрнѣе, экзаменоваться, или, самое вѣрное—«кончать». Въ университетѣ тоже поняли, что надо «жить», надо дѣло дѣлать, надо «кончать», надо устраиваться. Надо «кончать» со всѣми мечтами и фантазіями и вплотную приступить къ практической дѣйствительности. Надо кончать во что бы то ни стало, хотя бы даже цѣною забастовки. И вотъ почти чудо: въ нѣкоторыхъ городахъ студентъ-октябристъ—самъ по себѣ чудо нашей общественности совершилъ чудо—забастовалъ рядомъ уже не съ чудомъ, со студентомъ-кадетомъ. Ахъ, господа, еслибы вы только знали, какъ циркуляры Шварца мѣшаютъ намъ кончать, еслибы вы только знали!

И всюду кругомъ тотъ же мотивъ. «Довольно, хватитъ». Пришла пора, приспѣло время одуматься, на себя поглядѣть. Облетѣли цвѣты? Ну, что же—облетѣли, зато остался весьма вкусный плодъ—«приматъ матеріальной культуры». Съ виду онъ безобразенъ, да, онъ очень корявъ и безобразенъ, но сколько же въ немъ пользы! Чтобы раскусить сей орѣхъ, нужны хорошія челюсти, крѣпкіе зубы, неопытные люди могутъ ихъ сломать, но вольно же имъ все романтическіе леденцы сосать! Сами и виноваты. Довольно безсмысленныхъ мечтаній, зудящаго неугомона, діониссовской неряшливости чувствъ. Долой Діониса вообще—онъ пьяный, онъ грязный, онъ распутный—этотъ варварскій богъ. Довольно, довольно, довольно. Будетъ...

II.

ЛИТЕРАТУРА.

5.

Долой Діониса.

Иные стали каяться въ грѣхахъ молодости. Въ сладостно-горькомъ томленіи покаяннаго чувства одинъ очень скромный, чрезвычайно скромный писатель сталъ жаловаться публикѣ.

«О, конечно, я не хочу сравнивать Мережковскаго и васъ съ Ницше, но долженъ сознаться, что и мы испытываемъ нѣкоторыя «адскія муки»... видя тотъ шабашъ, который воцарился въ русской литературѣ и въ которомъ и мы повинны отчасти. Да, многое было сказано нами не такъ, какъ слѣдовало и не вовремя. Мережковскій наплодилъ слишкомъ много кощунствующихъ эллинистовъ...» и т. д.

Теперь открытъ «походъ противъ выродившагося декадентства, претендующаго на общественное значеніе». «И въ этомъ походѣ Андрей Бѣлый стоитъ не одинъ. Рядомъ съ нимъ сражаются Д. С. Мережковскій, З. Н. Гиппіусъ и я». «И я» (будемъ пока такъ называть нашего скромнаго автора) далъ на свой пай сраженіе мистическимъ анархистамъ и въ этомъ сраженіи сквозь лязгъ оружія и громъ полемическихъ выстрѣловъ явно слышалось все то же: «Довольно, довольно, довольно. Будетъ»...

Одинъ, по собственному признанію, изъ зачинателей «Міра Искусства» и «Новаго Пути», сотрудниковъ «Вѣсовъ», чуть ли не праотцевъ русскаго мистицизма, эротизма, эстетизма, демонизма, русскаго декадентства вообще—онъ теперь рѣзко возсталъ противъ мистическихъ анархистовъ съ ихъ культомъ діонисовской оргійности, съ ихъ жаждой стихійнаго, хаотичнаго. «И я» очень хорошо понялъ и недурно выразилъ то обстоятельство, что мистико-анархическая идеологія хаоса, мистеріознаго изступленія и бурнаго времяпрепровожденія вообще идетъ въ разрѣзъ съ упроченіемъ бытопорядка, съ идеологіей «утрясенія», съ процессомъ соціально-психической европеизаціи Россіи, съ новымъ жизнеощущеніемъ интеллигенціи... Мистико-анархическая идеологія въ разнообразныхъ ея развѣтвленіяхъ явилась вполнѣ по-

нятнымъ литературнымъ отраженіемъ эпохи послѣ-революціонныхъ неистовствъ, когда разнуздались всѣ инстинкты, когда во тьмѣ кромѣшной расплясались всѣ стихійныя, хаотическія, варварскія силы, скованныя прежде всенароднымъ подъемомъ, впослѣдствіи выродившимся, распылившимся, распавшимся на ся. Понятно, что, когда взбаломученное море начало входить въ берега и общество взалкало порядка, всякаго порядка вообще, не только квартально-участковаго, долженъ былъ родиться протестъ и противъ литературной идеологіи эпохи «безумія». Мистическій анархизмъ, прежнее любимое литературное лакомство, стало не по душѣ, стало не по вкусу, стало вызывать рвотныя судороги. И вотъ пришелъ Д. Философовъ (онъ-то и есть знакомый намъ «и я») и громко въ «Русской Мысли» сказалъ: Хватитъ, понакуролесили и довольно... Будетъ.

«Въ человѣчествѣ всегда шла борьба формы съ хаосомъ, культуры съ природой, Аполлона съ Діонисомъ. Въ немъ всегда таилась жажда феноменальнаго проявленія обособленности, индивидуаціи, потребность мѣры и трезвости—рядомъ съ жаждой освобожденія отъ феноменальнаго міра, соприкосновенія съ духомъ музыки».

И хотя г. Философовъ утверждаетъ, что «культура есть безконечный путь все новыхъ и новыхъ сочетаній этихъ двухъ противоположныхъ началъ», онъ теперь всецѣло за одно изъ нихъ—за умѣренность и трезвость. Перепуганный очевидно сильно Петромъ Струве, Д. Философовъ, въ свою очередь, пугаетъ Иванова и его послѣдователей русскимъ народомъ, «который пьетъ еще угарную водку, зелено-вино, дающее не веселый хмель, а звѣрскую тупость». Не играйте съ звѣремъ! «Теперь, какъ никогда, вылился наружу, живущій въ варварскомъ русскомъ народѣ первобытный архаическій Діонисъ, и г. Ивановъ съ преступнымъ легкомысліемъ... хочетъ сдѣлать этого темнаго бога рычагомъ русскаго возрожденія».

— Безумцы, какъ бы гремитъ Философовъ, что вы дѣлаете! «Что русскому здорово, то нѣмцу смерть. И наши петербургскіе вагнеріанцы, ницшеанцы, оргіасты именно тѣ нѣмцы, которымъ придетъ смерть, какъ только они приложатъ свои безкровныя губы къ шкалику подлинной русской сивухи».

Одумайтесь, остановитесь! «Ужъ если христіанство не побѣдило сивухи хлыстовства, самосожигательства, не смогло преобразить эту страшную силу, заложенную въ народной стихіи, то гдѣ ужъ нѣмцамъ-аптекарямъ съ ихъ искусственной минеральной водой, съ ихъ филологіей, тредьяковщиной и оргіастической похотью. Не они побѣдятъ исчадіе Волги, а исчадіе Волги сожретъ ихъ безъ остатка». Д. Философова, сильно уже пропитавшагося духомъ «утрясенія», сердитъ и злитъ мальчишеское забіячество мистическихъ анархистовъ. «Въ хороводы, въ хороводы! О, соборуйтесь, народы!» Хулиганскіе ваши хороводы, бранится Философовъ. «О, соборуйтесь!» Но «не впередъ къ соборности, а назадъ къ стадности» идутъ эти мистическіе

хулиганы. «Новая форма соединенія интеллигенціи съ народомъ, соединеніе въ хулиганствѣ»—вотъ что такое мистическій анархизмъ, и еще рветъ и мечетъ родной племянникъ Аполлона, г-нъ Философовъ: «съ извращеннымъ сладострастіемъ они топчутъ свое *я*, спѣшатъ раствориться въ безформенномъ хулиганствѣ».

Ясное дѣло: Діонисъ—хулиганъ, Аполлонъ—умѣренно-трезвый европеецъ. Діонисъ страшенъ и противенъ, Аполлонъ милъ и пріятенъ.

6.

Догмы, нормы, абсолюты.

Намъ кажется очень характерной эта навязчивость образа хулигана въ походѣ Д. Философова. Она подчеркиваетъ нѣсколько полицейско-обывательскій духъ обуявшаго его гнѣва. Всюду жизнь входитъ въ рамки, всюду разстаются съ мечтами и фантазіями, все и вся начинаетъ цѣнить порядокъ, зашнуровывается въ европейскій корсетъ, ведетъ себя чинно и благородно, а тутъ вотъ Барыбины пострѣлы озорствуютъ, панибратствуютъ съ хаосомъ, орутъ на всю Русь «мы вѣдь можемъ, можемъ, можемъ!», а на самомъ дѣлѣ ни черта эти мистическіе пустоплясы не могутъ. Уже одинъ всамдѣлишный шкаликъ всамдѣлишной русской сивухи мигомъ ихъ съ ногъ свалитъ. Вотъ посмотрѣть бы на нихъ въ этакомъ видѣ: много ли они смогутъ. Бывшій вольный сынъ декадентскаго эфира, онъ теперь становится степеннымъ, уравновѣшеннымъ сыномъ прозаической земли. Онъ алчетъ порядка, правильности и размѣренности соціально-психическихъ эмоцій, онъ раздраженно бунтуетъ противъ всего неумѣреннаго, переливающагося черезъ край, хотя бы это былъ горячій восторгъ отъ художественной пляски Айседоры Дунканъ. Властнымъ учительскимъ тономъ онъ безстрашно коритъ общество за его художественныя увлеченія, и видно, что этого библейскаго пророка съ береговъ Сены раздражаетъ не столько предметъ увлеченія, сколько самый его фактъ, самая наличность чего-то превышающаго норму, производящаго шумъ и безпорядокъ. Самъ онъ являетъ собою примѣръ добропорядочности и благопристойности. Спустившись съ надзвѣздныхъ краевъ декадентской метафизики, онъ удобно усаживается на публицистической заваленкѣ «Слова» и здѣсь на либеральной балалайкѣ усердно тренькаетъ либеральныя частушки.

Для психики покоя и успокоенія нужны, конечно, абсолюты, строжайшіе абсолюты, спасающіе мятежную душу человѣка, удерживающіе ее въ должныхъ предѣлахъ, на случай безсмысленныхъ порываній въ высь. «Величайшая ошибка не видѣть дѣйственной прагматической стороны догмы, вѣчныхъ абсолютныхъ цѣнностей. Догма—это мостъ къ дѣйствію». Чрезвычайно необходима для человѣка и «норма», «имѣя которую, только и можно

дѣйствовать». Абсолюты, догмы, нормы — тройнымъ и тугимъ узломъ должны они стянуть духъ человѣка и только тогда человѣкъ сумѣетъ жить правильно въ духѣ новаго религіознаго сознанія. «Надо выявить въ завоеваніяхъ человѣческаго знанія и человѣческой воли абсолютную правду Христа. Она и въ церкви и въ міру». Новое религіозное сознаніе и выявитъ эту «абсолютную правду».

Философовъ—большой поклонникъ религіи Аполлона, потому что въ эллинизмѣ привлекательна для него именно его свѣтскость, обмірщенность его религіи, психологическій и формальный контактъ ея съ системой гражданско-бытовыхъ отношеній. Чтобы смирить рвущійся изъ предѣловъ духъ человѣческій, религія, небо не должны быть зыбучими, расплывчатыми. Философовъ мечтаетъ поэтому не о небѣ вообще, а о тверди небесной, именно о *тверди*, соединенной съ твердью земной. Религія совершенно необходима, но не какая-нибудь, сѣющая на днѣ человѣческой души сѣмена буйныхъ устремленій, а вполнѣ благоустроенная, твердо оформленная, съ надлежащими непререкаемыми догмами, съ церковью, вмѣщающей правду, не какую-нибудь правду, но тоже доброкачественную, надлежащую, преграждающую всякія порыванія, словомъ, абсолютную. Религію, окруженную частоколомъ изъ догмъ, абсолютовъ и нормъ, ее лучше всего удается пригнать къ по ребностямъ утрясеннаго буржуазнаго общества.

При этихъ условіяхъ получитъ и извѣстный соціальный смыслъ изреченіе П. Струве: «религіозная природа человѣка имѣетъ рѣшающее значеніе для экономическаго прогресса». Идея экономическаго прогресса, экономическаго благоустроенія—теперь она становится весьма модной и ходкой и ростъ ея оказываетъ сильное, жаропонижающее вліяніе: исчезаютъ бредовыя идеологіи, болѣе спокойно и равномѣрно бьетъ эстетическій пульсъ, исчезаютъ или ослабѣваютъ мистико-литературныя галлюцинаціи, усиливается чувство реальнаго, движенія становятся болѣе размѣренными, подымается аппетитъ къ хлѣбу насущному и люди, недавно бурно восклицавшіе «хочу быть дерзкимъ, хочу быть смѣлымъ», учтиво заявляютъ: «хочу получить мѣсто въ банкѣ».

7.

Тесемокъ, побольше тесемокъ...

«Очень пріятно. Вполнѣ вамъ сочувствую»—спѣшитъ ободрить очнувшагося отъ литературнаго и политическаго кошмара интеллигента Леонидъ Галичъ, и въ цѣломъ рядѣ статей онъ горячо и талантливо, до полнаго самозабвенія, развиваетъ все одну и ту же тему: «пора бы тебѣ, русскій интеллигентъ, успокоиться, пора бы тебѣ въ банкъ или еще лучше на желѣзную дорогу».

*

Леонидъ Галичъ является естественнымъ продолжателемъ Д. Философова въ ковкѣ новой идеологіи для интеллигенціи. Тамъ, гдѣ Философовъ остается въ области чисто-литературныхъ явленій, Л. Галичъ продолжаетъ его тенденцію до конца—житейскаго, практическаго, не допускающаго на счетъ себя какихъ-либо литературно-художественныхъ двусмысленностей. Леонидъ Галичъ тоже начинаетъ съ Бога, но онъ не стѣсняется ставить точки надъ і и прямымъ путемъ идетъ отъ Бога до начальника службы движенія. Мысль его рѣзка и прямолинейна, какъ Николаевская желѣзная дорога. Философовъ ратуетъ за Аполлона, Галичъ хорошо помнитъ, что, кромѣ Аполлона, былъ еще весьма полезный богъ Меркурій. Вотъ на его жертвенникѣ онъ и закалываетъ старую россійскую интеллигенцію. «Надо дѣло дѣлать»—вотъ основной символъ его вѣры. «Пойдемъ на выучку къ капиталу»—вотъ идеалъ ея практическаго приложенія.

Всему этому рѣзко противорѣчитъ увлекающая интеллигенцію религіозная и литературная романтика. И Леонидъ Галичъ идетъ на нее войною. Именно противъ романтики, а не религіи вообще, хотя чувствуется, что лично ему она, даже лишенная романтики, совершенно не нужна. Она нужна для другихъ, она даже необходима для другихъ. Лично Леонидъ Галичъ несомнѣнный атеистъ, даже съ граціознымъ оттѣнкомъ изящнаго, тонкаго цинизма атеистъ, лично онъ съ преогромнымъ удовольствіемъ запустилъ бы въ небеса не ананасомъ, а увѣсистымъ булыжникомъ, но у него нѣтъ мужества во всемъ этомъ сознаться. У Галича есть надобность въ Богѣ и религіи, потому что, хотя «въ религіи, конечно, есть своя поэтичность, есть въ ней и своя доля романтики, но вся она въ своей развернутой формѣ, во всемъ тяжеловѣсномъ и многосоставномъ видѣ своемъ, съ догматикой, обрядностью и моралью, путями вѣры и путями жизни—гораздо болѣе похожа на «бытъ», на ту именно широко распластанную по землѣ, систему «малыхъ дѣлъ на равнинѣ», откуда рвутся возродители романтизма». Галичъ имѣетъ надобность въ религіи, потому что «въ религіи не одна только «молитва», но еще и свой, особый позитивизмъ, своя мелкая работа разсудочности (религіозная метафизика и догматика) и, главное, своя *практика*, свои малыя, но важныя въ своей малости, прозаическія земныя дѣла, свой трудъ организаціи и строительства».

Лично Леонидъ Галичъ можетъ прекрасно обернуться и безъ сметаны религіи и безъ ея кислаго молока. Но кислое молоко религіи—«строй, организація, дисциплина, догматы, обряды, обычаи», «замкнутый и зашнурованный бытъ»,—все это чрезвычайно необходимо для народа, широко распластаннаго по землѣ. Но если романтики снимутъ верхній романтическій слой сметаны и кислое молоко выбросятъ, произойдетъ страшное крушеніе, наступитъ послѣдній часъ. Расшнуруются, круто стягивающія духъ народный, религіозныя тесемки. Л. Галичъ и пугаетъ насъ. «Прямой единый путь развѣтвится, пойдетъ разбродъ, разсыплется храмина». Здѣсь протестъ противъ романтики носитъ на себѣ уже явные соціальные слѣды. Романтизмъ—это цвѣточки на стволѣ экономическаго

паразитизма, романтизмъ — это крѣпостническая обломовщина,— думаетъ Л. Галичъ. Но онъ относительно нашего теперешняго романтизма глубоко ошибается. Дѣло просто въ томъ, что наши романтики пропитались духомъ романтизма не докапиталистическаго дворянства, а капиталистическаго декаданса. Романтика капиталистическаго декаданса,—вотъ эта импортированная къ намъ идеологія увядающаго класса заразила русскихъ декадентовъ, а вовсе не романтика дворянская, усадебная, обломовская. Новая расцвѣтающая у насъ теперь здоровая буржуазная идеологія естественно питаетъ отвращеніе къ этимъ цвѣтамъ смерти и тлѣнія, и поскольку она еще нова, поскольку она еще не развернула всѣхъ соціально-психическихъ возможностей, она враждебна всякой романтикѣ, всякому голому созерцанію, тѣмъ болѣе созерцанію духовно-буйствующему, вносящему въ психику окружающихъ элементы броженія, тревоги. Дальше, когда она, развернувши всѣ возможности, вдругъ къ ужасу своему ощутитъ въ костяхъ своихъ боли историческаго ревматизма, буржуазія сама пойдетъ на поклонъ къ романтикѣ, сама охотно увѣруетъ въ спасительную силу романтическаго спермина, но сейчасъ она еще у насъ «такая молоденькая», сейчасъ новая буржуазная интеллигенція чувствуетъ себя еще въ началѣ пути, и ей ненавистна эта музыка романтизма, ненавистна даже въ религіи. Но вѣдь она нужна для укрощенія «малыхъ сихъ». Ну, такъ что же? Для этого мы ее соотвѣтственно и приспособимъ, выкинемъ ея душу, подвергнемъ ее сухой перегонкѣ, выйдетъ опьяняющій спиртъ, останется только «строй, дисциплина», крѣпкій желѣзный корсетъ на психику народную, «замкнутый и зашнурованный бытъ». А вотъ для насъ, воюющихъ съ романтикой, новыхъ интеллигентовъ, религія другая. Нашъ Богъ— «цѣлокупность культуры», «государственное строительство», «дисциплина труда».

Взобрались по веревочной лѣстницѣ высоко на крестъ деревенской кирки, водрузили надъ крестомъ громоотводъ—элементъ «цѣлокупной культуры»—вотъ и готова религія. Что и говорить, легкая религія, легче даже религіи романтиковъ. Эти хоть, служа Богу, всю нервную систему свою вдребезги искрошатъ, а тутъ дѣло удивительно просто: вычертилъ рельефъ пути между Одессой и Бахмачемъ, и уже ты великую жертву сотворилъ, и уже горячія молитвенныя воздыханія къ Вѣчному Престолу вознеслись! Романтиковъ по человѣчеству пожалѣть надо, все-таки нервная система, расшатанная, огромныя страданія причиняетъ, ну, а за карту рельефа Одесса-Бахмачъ какъ заплочено, Боже мой, какъ заплочено! Не подымайте же, г. Галичъ, высоко рога вашего.

8.

Николаевскій вокзалъ и религія.

Однажды Л. Галичъ впалъ въ умилительное до чрезвычайности настроеніе. Вспомнился ему «трогательный до слезъ» образъ: «образъ умирающаго Бѣлинскаго, который въ злѣйшей ча-

хоткѣ, среди мрачнѣйшихъ политическихъ сумерокъ, когда таяла его мрачная жизнь и гасли всѣ общественныя надежды, ежедневно, словно правя обрядъ, ходилъ къ Знаменью, въ конецъ Невскаго, любоваться на постройку вокзала—перваго вокзала въ Россіи. Здѣсь была его послѣдняя Мекка. Здѣсь онъ отыскалъ новую вѣру, можетъ быть, и новое утѣшеніе. Какъ лебедь въ сказкѣ, онъ молился на солнце, умирая, прославлялъ солнце. Но это солнце умирающаго Бѣлинскаго было солнцемъ восходящей культуры. Онъ не дожилъ до великихъ реформъ не дожилъ до побѣды надъ рабствомъ. Но онъ дожилъ до желѣзной дороги и молился на достраивавшійся вокзалъ».

Оказалось, что молитва Л. Галича и молитва Бѣлинскаго совершенно совпали. Галичъ за «трудовую дисциплину» и Бѣлинскій за трудовую дисциплину. Галичъ за «мудрое мѣщанство Европы» и Бѣлинскій за это же мѣщанство. Заручившись сотрудничествомъ Бѣлинскаго, Галичъ почувствовалъ себя твердо и пошелъ крушить интеллигенцію за «просвѣтительство». Досталось ей за это самое «просвѣтительство» весьма круто. Подумать только: кругомъ пропасть всякаго дѣла, надо строить вокзалы, элеваторы, фабрики и заводы, «въ Россіи нѣтъ культурнаго класса, способнаго къ руководительству надъ трудомъ», «Россіи нуженъ новый правящій слой», въ ней нѣтъ хозяина, а русскій интеллигентъ ничего этого не видитъ и знай, все выкликаетъ: «учите, создавайте кооперації, секретарствуйте въ профессіональныхъ союзахъ». Но вѣдь это—возмущается неистовый Леонидъ—«отрыжка славянофильства», «скучнѣйшая и прозаичнѣйшая» утопія! То ли дѣло секретарствованіе въ профессіональныхъ союзахъ предпринимателей, въ поэтическомъ «совѣтѣ съѣздовъ», напримѣръ? И при томъ, вѣдь для Галича «еще вопросъ,—что болѣе просвѣтительно, новая ли школа въ деревнѣ или новый заводъ рядомъ съ деревней? И возможно, что тотъ самый интеллигентъ, который шелъ въ учительство съ неохотой, ломая свои вкусы и склонности, окажется прекраснѣйшимъ инженеромъ, отличнѣйшимъ руководителемъ производства».

Ахъ, зачѣмъ же они ломаютъ свои вкусы и склонности—эти русскіе интеллигенты! Какая жалость, какая жалость; душа, подумать только, вся въ безпоршневый прессъ ушла, а онъ ее все рочдельскими принципами, приспособленіемъ къ правиламъ 4-го марта истязуетъ! Да, больно Галичу за интеллигента... Прикиньте-ка, сколько изъ-за рочдельскихъ принциповъ «отличнѣйшихъ инженеровъ» зря погибло. Больно ему и за Бѣлинскаго: «Будь онъ сейчасъ среди насъ и при этомъ сохрани свою вѣру, послѣднюю предсмертную свою вѣру (вокзалъ!), онъ былъ бы и теперь одинокимъ». Да что и говорить, тяжело было бы теперь Бѣлинскому. Ибо никогда еще не эксплоатировали такъ грубо, такъ развязно и цинично свѣтлый геній неистоваго Виссаріона. Объ одеждѣ его метали жребій многіе и многіе, но никогда еще въ ихъ толпу не приходилъ «мудрый мѣщанинъ». Намъ не зачѣмъ доказывать, что панибратство Леонида съ Виссаріономъ—панибратство самозванное, просто кощунственное. Да это отча-

сти сдѣлалъ уже П. Берлинъ въ статьѣ о «Соціальномъ міровоззрѣніи В. Г. Бѣлинскаго» (Образ. 908.5), но одно важно отмѣтить: клевету на Бѣлинскаго Леонидъ Галичъ хочетъ обосновать именемъ марксизма. Онъ выставляетъ слѣдующее положеніе.

«Свобода можетъ устоять только тамъ, гдѣ есть ручательство за дисциплину труда, въ лицѣ здороваго мѣщанскаго слоя [1]). Быть можетъ, это «молодой русскій марксизмъ»? Что же? Вѣдь недаромъ я и марксистъ, и именно какъ убѣжденный марксистъ готовъ спорить съ русской соціалъ-демократіей, этой новой маской самобытничества и народничества».

Увы, мы должны признать это: Леонидъ Галичъ несомнѣнный «марксистъ». Онъ прямой наслѣдникъ нашего знаменитаго т. н. легальнаго націоналъ-марксизма и онъ вправѣ называть себя «марксистомъ». Не трудно видѣть, что Леонидъ Галичъ теперь болѣе, чѣмъ черезъ 10 лѣтъ, оживляетъ традиціи печальной памяти «марксизма» Струве. Мы знаемъ, что въ тогу марксистскаго рабочелюбія одѣвалась тогда болѣе или менѣе послѣдовательная апологія капитализма. Въ многочисленныхъ писаніяхъ того времени сквозила одна цѣль: вывести въ люди капитализмъ. Капитализмъ рисовали въ самыхъ радужныхъ краскахъ, самое слово «капитализмъ» звучало сладостно и нѣжно, съ упованіемъ глядѣли на каждую вздымавшуюся въ небеса трубу, молились на нее, боготворили ее. Совершенно исчезло революціонное отношеніе къ капитализму, какъ къ переходной формѣ экономической эволюціи, формѣ тяжелой и разрушительной, накопляющей на одномъ полюсѣ богатство и роскошь, а на другомъ нищету и разореніе. Цитировали Маркса, коверкали Маркса, клялись Марксомъ, но только не хотѣли перенять духъ его ученія. Галичъ хочетъ оживить традиціи этого стараго «марксизма». Онъ тоже горячій апологетъ фабричной трубы, вокзала, «отличнѣйшаго инженера». Онъ прекрасно понимаетъ, что, если прежняя капиталистическая идеологія жалась вслѣдствіе неразвитости общественныхъ отношеній къ рабочей массѣ, то теперь прошла пора внести скрижали націоналъ-марксизма прямо въ ковчегъ развившейся русской буржуазіи.

И вотъ—былъ чудный лѣтній день, и «скользя между тяжелыми шхунами на легкой парусной лодкѣ», Галичъ прочелъ романъ Гамсуна «Новь». Страшно ему романъ понравился. Ужъ, кажется, на что романтикъ этотъ Гамсунъ, а все-таки такъ онъ тамъ пробралъ романтиковъ-писателей, что даже Галичу завидно стало. Въ противовѣсъ романтикамъ въ романѣ выведены купцы—хорошіе такіе молодые купцы, очень хорошо кофе торгуютъ, такъ хитро, такъ хитро его фальсифицируютъ, тоже цѣны на хлѣбъ вздуваютъ, но какая при этомъ выдержка, какое благородство, сколько

---

[1]) Рекомендую вниманію Леонида Галича соотвѣтствующее изреченіе „Московскаго еженедѣльника“: „Свобода процвѣтаетъ тамъ, гдѣ дѣлаютъ сыръ“.

денегъ попрошайкамъ литераторамъ отдали, такъ безо всякихъ процентовъ изъ жилетовъ вынимали и отдавали. Но главное—рабочіе въ гавани—сравните-ка ихъ съ литераторами. Послѣдніе «пьютъ водку и рождаютъ молитвы, а случается и новенькіе религіи.

Въ гаваняхъ народъ посѣрѣе: матросы, грузчики, торговцы, приказчики. Эти люди не рождаютъ религій; они просто помогаютъ товарообмѣну.

Каждый день изъ городскихъ ресторановъ доносятся звучнѣйшія обѣщанія магически пересоздать міръ. Каждый день внизу, въ гаваняхъ, снаряжаются и разгружаются корабли, скрипятъ лебедки, громыхаютъ телѣги» ..

И дальше Леонидъ Галичъ изливаетъ свои чувства по поводу огромнаго значенія гавани съ людьми, просто помогающими товарообмѣну, и ничтожности ресторановъ съ литераторами, товарообмѣну не помогающими. Отсюда мы должны сдѣлать такой выводъ: сколь пріятно и пользительно, «скользя между тяжелыми шхунами на легкой парусной лодкѣ», читать въ хорошую погоду хорошіе романы. Какъ при этомъ не вспомнить, подобно Л. Галичу, «трогательнаго» изреченія Канта: «Des Menschen Leben ist achtzig Jahr: und wenn es wert war gelebt zu werden, so war es harte Arbeit und Mühe».

«Harte Arbeit und Mühe»—глубже всего проникнуть въ величайшій смыслъ этихъ словъ можно конечно, только «скользя между тяжелыми шхунами на легкой парусной лодкѣ» съ хорошимъ романомъ въ рукахъ.

«Harte Arbeit und Mühe»—«трудовое начало», «дисциплина труда»—вотъ, что отнынѣ одушевляетъ, совершающаго пріятныя лѣтнія прогулки ex-большевика Л. Галича, и настойчиво онъ повторяетъ эту свою идею капиталистическаго перевоспитанія интеллигенціи, усердно онъ сопрягаетъ ее съ обточенной отъ острыхъ угловъ идеей П. Струве о государственной мощи. Капиталъ долженъ взять власть въ свои руки, нужны національные организаторы національнаго производства, нужны новые люди съ новой психикой, съ новой религіей, новымъ жизнеощущеніемъ. Долженъ, наконецъ, сложиться талантливый «правящій слой», отъ отсутствія котораго пострадала, по мнѣнію Галича, русская революція, долженъ, наконецъ же, появиться настоящій капиталистическій интеллигентъ, впитавшій въ себя всю атмосферу упорядоченнаго развитого буржуазнаго строя, легкодышащій новыми капиталистическими жабрами, привыкшій командовать арміями труда, проводить дисциплину въ массы, оперировать съ ней стойко, увѣренно, съ полнымъ знаніемъ человѣческой психики. Должны же мы, наконецъ, стать настоящей капиталистической страной, съ настоящей государственностью, съ правильнымъ точнымъ соотношеніемъ власти, образованія и гражданственности. Должны же мы избавиться когда-нибудь отъ романтики, то усыпляющей энергію, то подстегивающей ее до размѣровъ и формъ, опасныхъ для упроченнаго бытопорядка. Должны же мы стать, наконецъ, европейской страной!

Мы видѣли раньше, что Галичъ мыслитель не изъ храбрыхъ.

Мысль у него какая-то увиливающая, трусливая... Но не ждите самой рѣзкой ноты отъ мыслителя спокойнаго, стойкаго... Самымъ высокимъ фальцетомъ взвизгнетъ всегда мысль трусливая, и какъ разъ въ тотъ именно моментъ, когда хочется-то ей проскользнуть шепоткомъ, шепоткомъ. И Галичъ—неоцѣнимый человѣкъ своей способностью взвизгнуть. Тутъ вы и слушайте его. Онъ боялся промолвиться, да такъ сильно боялся, что отъ страха взвизгнулъ и все выкричалъ. И въ этомъ несомнѣнная заслуга Леонида Галича, и за это мы должны ему быть благодарны.

9.

Оставьте насъ въ покоѣ!

Идеологіи упрочивающагося бытопорядка противорѣчитъ не только романтика цвѣтная, буйствующая, оргійная, но и романтика аскетическая, замораживающая всякія вожделѣнія. Необходима нормальная температура общественной психики, свои $36{,}4^0$, и опасны какъ оргійный жаръ, такъ и аскетическое остываніе. Ни горячей, ни холодной не должна быть психика общества, а только уютно тепловатой. Нужна норма и вредно все, что выше ея и что ниже ея. Аскетизмъ—это вѣчныя полярныя льдины, оргійность—это Везувій огнедышащій. Общество, желающее зажить по новому, страшится и того и другого. Но аскетизмъ все-таки страшнѣе: онъ базируетъ въ чистомъ видѣ на отрицаніи матеріальныхъ и общественно-политическихъ условій капиталистической культуры, онъ по самому существу своему полярно ей враждебенъ. Оргійность можетъ быть опасна съ точки зрѣнія нарушенія 1001 ст., но вся она цѣликомъ опирается на культуру, на самую изысканную, рафинированную и гипертрофированную культуру. Романтическую оргійность буржуазное общество видитъ впереди себя, и, потому что оно ее в и д и т ъ, она ему не такъ страшна. Аскетизмъ—онъ какъ бы двигается мрачной, пугающей тѣнью за спиной буржуазнаго общества, и пугаетъ это общество, волнуетъ, тревожитъ, не даетъ спокойно двигаться впередъ, заставляетъ то и дѣло пугливо озираться назадъ. Романтизмъ бурностремительный хочетъ очень многаго отъ міра сего—можно ему не давать; романтизмъ аскетическій не хочетъ ничего отъ міра сего—какъ его заставить хотѣть въ размѣрахъ средняго, нормальнаго? Борьба съ бурностремительностью легка—за нее охотно берутся Философовы и Галичи, благо сами они во время оно секреты бурностремительства вывѣдали; борьба съ аскетизмомъ тяжела—за нее берется крупный талантъ—В. Розановъ. Конечно, въ смыслѣ практическаго осуществленія идеалы аскетизма гораздо менѣе опасны, гораздо легче осуществимыхъ идеаловъ оргійности. Но аскетизмъ опасенъ не практикой своею, онъ опасенъ какъ принципъ жизни, отрицающій, обезцѣнивающій морально всѣ буржуазныя цѣнности, тяжелымъ чернымъ покровомъ закрывающій всѣ цвѣты и краски земного бытія. И борьба съ аскетизмомъ,

какъ съ практикой ничего, кромѣ аргументовъ отъ «городового», дать не можетъ. Ими охотно пользуется А. Изгоевъ.

«Въ наше время,—заявляетъ онъ,—нельзя создать религію, не считаясь съ полиціей, и г-ну Свенцицкому въ его будущей борьбѣ съ Антихристомъ тоже не обойтись безъ разрѣшенія начальства».

«Въ какую пустыню вы уйдете? Вездѣ васъ найдутъ и вездѣ потребуютъ паспортъ, ибо безъ прописки вида современному человѣку жить нельзя». Начальство навѣрно не разрѣшитъ жить безъ прописки и, слѣдовательно, г. А. Изгоевъ можетъ вполнѣ успокоиться. В. Розановъ же на городовомъ успокоиться не можетъ и не хочетъ. Аскетическому міросозерцанію онъ противопоставляетъ не господина паспортиста, а свое другое міросозерцаніе. И въ этомъ его сила.

Основной мотивъ моральной философіи Розанова послѣдняго времени намъ уже знакомъ: «оставьте насъ въ покоѣ», дайте намъ жить на землѣ просто, немудрено, не лейте намъ, пожалуйста, на голову ни холодной, ни горячей воды, въ особенности же холодной, не навязывайте намъ религіи «непремѣнно по типу зубной боли или судороги», дайте намъ спокойно исполнять завѣтъ Божій «растите и множитеся, наполняйте землю», отстаньте, уйдите! И когда къ нему приходитъ Брандъ со своимъ «Богомъ высотъ», «Долгомъ» и «Голгоѳой», Розанова охватываетъ настоящая ярость, ярость безмѣрно тревожимаго медвѣдя, собирающагося спокойно, удобно и тепло залечь въ утрясенную берлогу. Сначала онъ еще бросаетъ реплики ироническія, издѣвательскія: «Страдать... любить страданія, хотѣть страдать, ха-ха-ха». Но затѣмъ его разбираетъ злость. Экая, подумать, претензія! Родился—страдалъ, малъ у матушки тазъ оказался, и она бѣдная мучилась, и я ушибся; затѣмъ пошло дѣтство: бѣдность, нищета, затѣмъ Богъ наслалъ гадость скарлатину, «лупилась кожа на шеѣ и отходила цѣлыми тряпочками». Далѣе пошли бѣды: «четверо братишекъ и сестренокъ до двухъ лѣтъ померло», пошли годы «какой-то толчеи, ни ладно, ни неладно, день—сытъ, день—голоденъ, и, главное, эти ужасныя болѣзни, да еще выпадающія при нуждѣ». А «небеса»!—«они какія-то чугунныя, или очень ужъ «праведныя», что ли: ни трескаются, ни болѣютъ. Пролетитъ комета, промететъ хвостомъ—и ничего. Все имъ «ничего», этимъ небесамъ: а на землѣ—землетрясеніе, вулканы, голодъ, холера, ужасы и гадости». «Богъ высотъ» всемогущъ, «но не станетъ же онъ заниматься такими пустяками, какъ помощь роженицамъ или разрѣшеніе экономическаго вопроса. Но въ такомъ случаѣ, пожалуйста же, оставьте насъ въ покоѣ, оставьте вообще всю землю съ вашими выспренностями и якобы «идеализмомъ», который мнѣ представляется преестественной гадостью».

Это сильно, это ярко, это очень талантливо, но это же, конечно, не выходитъ изъ предѣловъ мелко-буржуазной идеологіи. «Оставьте насъ въ покоѣ»—вѣдь какая лютая злоба? Такъ завопить можно только тогда, когда ужъ очень круто придется,—когда дѣти и жена разболѣются, когда торговля въ лавкѣ захи-

рѣетъ, когда полиція за обмѣръ протоколъ составитъ, когда ростовщикъ станетъ подбираться къ старому турецкому дивану, когда придетъ срокъ мѣнять патентъ, платить за квартиру и дочь замужъ выдавать...

Приходитъ Брандъ и зоветъ на подвигъ—какъ же ему полѣномъ голову не проломать? «Вонъ, разбойникъ, дармоѣдъ и смутитель!» Вотъ что лежитъ въ основѣ бунта противъ аскетическаго романтизма. Жажда соціально-экономическаго благополучія, подрываемаго со всѣхъ сторонъ стихійными силами природы, хозяйственнаго процесса, политическихъ столкновеній, застойность психики, распластанной по землѣ, смѣшавшейся съ ея неизмѣннымъ, теплымъ и согрѣвающимъ навозомъ — вся эта идеологія герани, лампадки и пирога съ капустой, ударившись объ аскетическіе императивы, высѣкаетъ яркія, страстныя искры протеста, глубокаго, идущаго отъ самыхъ корней мелкаго буржуазнаго уклада. И здѣсь характерно вотъ что: воюетъ съ романтикой аскетической и оргійной не только идеологія мѣщанская, но устами Галича и Философова и идеологія класса, чувствующаго прочную почву подъ ногами, класса крупно-капиталистическаго, собирающагося лишь попировать на эксплоататорской трапезѣ, но въ протестѣ этого соціальнаго элемента не слышенъ тотъ ужасъ и страхъ, который такъ характеренъ для протеста мелко-буржуазнаго. Философовъ и Галичъ знаютъ увѣренно, что романтика будетъ преодолѣна, что она брошена будетъ новой буржуазной интеллигенціей «подъ нози». У нея все «ладно». И она допускаетъ себѣ иногда вольности, легко иногда даже съ романтикой флиртуетъ, но думаетъ при этомъ: будьте покойны, гг. романтики, не миновать вамъ нашихъ гроссбуховъ, станете отличнѣйшими инженерами, питаемъ надежды и уповаемъ... Розанову не до флирта, мелко-буржуазной идеологіи не до флирта съ романтикой. Ей не до жиру, быть бы живу. У нея «ни ладно, ни неладно», больше даже «неладно», и ясное дѣло—безъ дреколья не обойдешься... гони-ка этого кругленькаго, молоденькаго, счастливенькаго пастора въ шею; знаемъ его, какъ онъ жену-то въ гробъ загналъ... Чтобы на пеленки ребеночка бѣднаго, помершаго не глядѣла... У-у, у-у...

Конечно—эта психологія не спеціально теперешняя, не спеціально русская. Но важно другое. Теперь въ Россіи появился большого таланта морально-философскій выразитель ея. Теперь—это значитъ въ эпоху «утрясенія», въ эпоху образованія прочнаго бытопорядка. Мы не вдаемся въ изслѣдованіе линіи философско-религіозной эволюціи В. Розанова, но что она сдѣлала такой зигзагъ — это весьма знаменательно. Онъ революціоненъ—этотъ зигзагъ, онъ революціоненъ—этотъ яркій протестъ противъ Бога. Мелкая буржуазія по формѣ очень революціонной бываетъ одинаково, когда «на зло» голосуетъ за соціалъ-демократовъ и когда «на зло» голосуетъ за антисемитовъ, но что «революціонность» эта по существу консервативна—это показалъ и самъ В. Розановъ. «Оставьте все, какъ есть, не тяните ни туда, ни сюда». Это онъ провозгласилъ въ подобающемъ мѣстѣ, въ

«Новомъ Времени», и Мережковскій, пусть со своей точки зрѣнія, хорошо показалъ, что этотъ девизъ чисто-меньшиковскаго типа и содержанія. «Оставьте все, какъ есть», ибо знаемъ мы, на собственныхъ бокахъ узнали, къ чему ведутъ эти «освободительныя движенія» и революціи. Оставьте все, какъ есть, мы уже какънибудь выкарабкаемся, своими средствіями пробьемся...

Новая религія строится на томъ же принципѣ.

«Если бы я былъ великимъ іереемъ,—заявляетъ Розановъ—я сотворилъ бы религію «здѣсь» и «здѣшняго», и увѣренъ, тогда бы насъ гораздо лучше судили и «тамъ», если вообще есть «тамъ», что, впрочемъ, и не интересно, разъ уже все положено «здѣсь».

И съ этой же точки зрѣнія ведется Розановымъ война противъ христіанства. «Съ рожденіемъ Христа, съ возсіяніемъ Евангелія, всѣ плоды земные в другъ стали горьки. Во Христѣ про горкъ міръ, и именно отъ его сладости... Кто же послѣ ананасовъ схватится за картофель». Все уже положено «здѣсь», а «здѣсь» картофель, и какъ бы отъ него ни пучило, онъ основной продуктъ нашего морально-религіознаго питанія.

И вотъ Варварину, двойнику Розанова, чрезвычайно нравится «здѣшній»—«картофельный» Лютеръ. «Лютеръ—пишетъ Варваринъ въ «Русскомъ Словѣ»,—основалъ царство честныхъ возможностей, честной прозы, честнаго труда, честнаго заработка. Всѣ стали жить безъ фантазій, безъ «крестовыхъ походовъ», но зато... и не обсчитывая рабочихъ, не воруя у хозяина. То, что въ Берлинѣ горничныя не крадутъ себѣ «на булавки» отъ барынь, а кухарки не «обсчитываютъ» на провизіи господъ, тогда какъ въ Парижѣ дѣлаютъ то и другое,—это есть такіе же лютеранскіе факты, какъ и открытіе Америки».

Но Боже—что случилось? Вѣдь поглядите, мы незамѣтно вернулись къ началу, мы незамѣтно вновь приплыли къ «примату матеріальной культуры». «Надо жить не мечтами, не фантазіями, а практической дѣйствительностью такъ, какъ позволяютъ обстоятельства, не дѣлая явныхъ подлостей». Да вѣдь этотъ идеалъ изъ Боборыкинскаго романа—онъ тутъ цѣликомъ въ этой апологіи Лютера. «Честный трудъ», «честный заработокъ»—лютеранскій философъ Кантъ съ его девизомъ «Arbeit und Mühe», «трудовая дисциплина» Галича-Струве, «открытіе Америки», «безъ фантазіи», неприкосновенность булавокъ лютеранскихъ и прикосновенность католическихъ—какъ все это дивно сочеталось вмѣстѣ! И какъ эта апологія лютеранства ясно передъ нами обнаруживаетъ все тотъ же процессъ европеизаціи мысли, европеизаціи быта. Европеизація мысли даже такого самобытника, какъ В. Розановъ! Онъ внесъ въ эту европеизацію типичныя мелкобуржуазныя черты, Галичъ внесъ въ нее крупно-капиталистическіе элементы, Философовъ далъ общій литературно-философскій конспектъ процесса буржуазной европеизаціи интеллигент-

ской идеологіи—всѣ на свой пай потрудились въ дѣлѣ насажденія «трезвыхъ, безо всякой предвзятости» идей, всѣ болѣе или менѣе честно потрудились въ дѣлѣ формированія новой интеллигенціи.

И въ заключеніе вновь возникаетъ все одинъ и тотъ же вопросъ интеллигентскаго сознанія: что случилось?

Когда-то на это отвѣтили: разночинецъ пришелъ. Теперь приходится съ грустью отвѣтить: разночинецъ уходитъ. Блѣднѣетъ, таетъ его образъ, столь возлелѣянный русскимъ общественнымъ движеніемъ. Уходитъ онъ въ темную даль, и на историческую сцену выходитъ «отличнѣйшій инженеръ».

Конечно, разночинецъ не ушелъ совсѣмъ, онъ еще тутъ, возлѣ насъ, зачастую онъ даже увѣряетъ, что ни за что онъ не уйдетъ... но что жъ изъ этого? Аккордъ еще рыдаетъ, но арфа-то вѣдь сломана. Разночинное сознаніе еще цвѣтетъ, но оно вѣдь уже оторвано отъ соціальнаго ствола своего, оно уже не можетъ питаться живыми соками, идущими изъ толщи народныхъ массъ.

Эти народныя массы въ различныхъ своихъ классовыхъ группировкахъ начинаютъ воздвигать свои классовыя интеллигенціи и эти-то интеллигенціи съ классовыми прилагательными займутъ мѣсто болѣе или менѣе единой разночинной интеллигенціи.

Разночинецъ поработалъ надъ дѣломъ воспитанія своихъ наслѣдниковъ. Они съ честью выполнятъ свою историческую задачу.

Разночинецъ это знаетъ.

Ст. Ивановичъ.

Л. Мартовъ.

Реформизмъ въ рабочемъ движеніи

(къ 10-ти лѣтію «бернштейніады»).

Десятилѣтній юбилей извѣстной книги Эдуарда Бернштейна ознаменованъ въ различныхъ странахъ Западной Европы новыми страстными дебатами по вопросу о значеніи реформъ для рабочаго движенія. На конгрессахъ соціалистическихъ партій въ Нюренбергѣ, Флоренціи и Тулузѣ этотъ вопросъ занялъ центральное мѣсто—у французовъ и итальянцевъ въ самой общей его постановкѣ, у нѣмцевъ—въ формѣ конкретнаго вопроса объ отношеніи партіи къ современному государству. Ревизіонисты всѣхъ оттѣнковъ съ радостью констатируютъ, что вопросъ, казалось бы, окончательно похороненный послѣ конгрессовъ въ Амстердамѣ (1904 г.) и Іенѣ (1905 г.), вновь выплылъ на авансцену рабочаго движенія; что жизнь снова поставила подъ сомнѣніе истины «ортодоксіи», которыя недавно были провозглашены со всею торжественностью на развалинахъ, какъ утверждали, окончательно обанкротившагося реформизма.

На первый взглядъ этотъ новый подъемъ реформизма немедленно послѣ его, казалось бы, основательнаго банкротства въ лицѣ Турати, Норна и Бернштейна, можетъ смутить любого изъ «ортодоксовъ». Обычно при объясненіи соціалистическаго реформизма ограничиваются, съ одной стороны, ссылкой на примѣсь мелкобуржуазныхъ и крестьянскихъ избирателей, которыхъ интересы отвлекаютъ партію отъ прямой дороги пролетарской классовой борьбы; съ другой—на ту специфическую обстановку демократическаго государственнаго режима, которая, такъ сказать, сверху черезъ посредство парламентскихъ представителей движенія воздѣйствуетъ на его организованный авангардъ, вызывая въ немъ иллюзіи возможности сотрудничества классовъ и постояннаго политическаго компромисса. Съ этой точки зрѣнія естественно ожидать, что объективный ходъ общественнаго развитія, обостряя соціальныя противорѣчія, выдвигая впередъ основные пункты непримиримаго расхожденія классовыхъ интересовъ и заставляя правящіе классы все болѣе искажать демократическій характеръ политическаго режима, тѣмъ самымъ будетъ подрывать

почву подъ ногами реформизма. И быстрое паденіе послѣдняго въ началѣ текущаго столѣтія послѣ его временнаго успѣха многими такъ и понималось, какъ наглядное свидѣтельство сильно подвинувшагося впередъ процесса обостренія общественныхъ противорѣчій.

Между тѣмъ, приглядываясь ближе къ обстановкѣ, въ которой совершалось развитіе соціалистическихъ партій въ главныхъ странахъ, мы замѣчаемъ нѣчто иное.

Возьмемъ Германію. Колоссальный успѣхъ партіи на выборахъ 1903 года, давшій въ ея распоряженіе сразу сотни тысячъ голосовъ мелкой буржуазіи и крестьянства, не отразился усиленіемъ внутри нея реформистской струи: напротивъ, въ ближайшіе годы мы видимъ усиленіе лѣваго крыла партіи. Наступаютъ выборы 1907 года, въ которыхъ, какъ это неоднократно констатировалось самими соціалдемократами и ихъ противниками, отъ партіи отпала именно ея мелкобуржуазная часть: партія стала болѣе однородной по составу. И вотъ теперь-то вновь начинаетъ поднимать голову реформизмъ и, хотя и побѣждаемый въ каждомъ отдѣльномъ выступленіи, онъ явно пускаетъ глубокіе корни въ извѣстной—и не очень незначительной—части, ставшей болѣе однородною по классовому составу партіи.

Возьмемъ, съ другой стороны, Францію. Иллюзія сотрудничества классовъ была безжалостно разбита Миллерановскимъ экспериментомъ. Подъемъ буржуазнаго радикализма въ связи съ дѣломъ Дрейфуса помогъ соціалистической партіи привлечь къ себѣ массы мелкой буржуазіи, крестьянства и интеллигенціи. Острая внутренняя борьба между реформистами и революціонерами окончилась побѣдой послѣднихъ: въ основѣ договора объ объединеніи двухъ соціалистическихъ партій (1905 г.) положенъ отказъ отъ участія въ министерствѣ, отъ «лѣваго блока» и вотированія бюджета. Представители соціалистически настроенной мелкой буржуазіи отпали отъ объединенной партіи, образовавъ эфемерную партію «независимыхъ». Между тѣмъ, на другомъ полюсѣ—буржуазнаго радикализма—совершилась та же эволюція: «рабочелюбіе» и склонность къ развитію демократическихъ учрежденій таяли подъ давленіемъ классовыхъ интересовъ. Настала пора министерства Клемансо, когда передовое крыло буржуазнаго радикализма повело откровенную политику «крѣпкой власти» и соціальнаго консерватизма. И вотъ мы видимъ, что французскій соціализмъ, естественно выдержавшій соблазны и искушенія послѣдняго періода радикальнаго расцвѣта (вторая половина министерства Комба), именно во время министерства Клемансо чувствуетъ новый приливъ реформистскихъ сомнѣній—и это непосредственно послѣ того, какъ въ теченіе 2 лѣтъ политика партіи шла подъ знакомъ ультра—лѣваго настроенія, когда буржуазная пресса безъ большого преувеличенія могла выставлять главой партіи Гюстава Эрве!

Если прибавить къ этому тотъ несомнѣнный фактъ, что въ Италіи новыя побѣды реформизма имѣли мѣсто вслѣдъ за годами успѣшнаго развитія въ ней профессіональнаго движенія

и укрѣпленія связи между послѣднимъ и партіей, то придется сдѣлать, во всякомъ случаѣ, тотъ выводъ, что не вліяніемъ мелкобуржуазныхъ элементовъ общества или, по крайней мѣрѣ, не однимъ имъ объясняется наличность реформистскаго теченія въ современномъ соціализмѣ.

Въ настоящей статьѣ, посвященной борьбѣ двухъ теченій въ германскомъ рабочемъ движеніи, мы попытаемся разобраться въ вопросѣ о характерѣ наблюдаемаго нынѣ оживленія реформизма и его дѣйствительномъ значеніи.

* * *

Возникшій еще за нѣсколько лѣтъ до появленія книги Бернштейна, вопросъ о вотированіи бюджета вызвалъ страстные дебаты на франкфуртскомъ конгрессѣ 1894 года. Только на любекскомъ конгрессѣ (1901 г.) была санкціонирована обязательность отказа въ бюджетѣ для фракцій отдѣльныхъ германскихъ государствъ, при чемъ, однако, были допущены исключенія въ случаѣ чрезвычайныхъ обстоятельствъ, болѣе точно въ резолюціи не опредѣленныхъ. Дрезденскій конгрессъ 1903 года, осудившій тактическія воззрѣнія ревизіонистовъ, въ частности вновь отвергъ допустимость вотированія за бюджетъ. Какъ извѣстно, дрезденская резолюція въ слѣдующемъ, 1904 году была положена въ основу той резолюціи международнаго амстердамскаго конгресса, которая пыталась опредѣлить основныя линіи соціалдемократической тактики, какъ ее понимаетъ лѣвое крыло.

Какъ выше указывалось, эти годы были временемъ извѣстнаго революціоннаго подъема въ германской соціалдемократіи. Соотвѣтственно этому, принципіальный отказъ въ бюджетѣ практиковался на-ряду съ рейхстагомъ и въ ландтагахъ отдѣльныхъ государствъ. Начиная съ 1907 года, положеніе мѣняется. Сначала виртембергская фракція голосуетъ за бюджетъ, ссылаясь на наличность исключительныхъ условій, допущенныхъ любской резолюціей: она просто не хотѣла ссориться съ правительствомъ наканунѣ международнаго конгресса, который долженъ былъ собраться въ Штутгардѣ, въ разсчетѣ на либерализмъ виртембергскаго правительства. Моментъ былъ, въ силу именно этого обстоятельства, неподходящій для конфликта, и «ортодоксальное» большинство партіи прошло мимо этого эпизода. Въ слѣдующемъ году, одна за другой, вотировали за бюджетъ соціалдемократическія фракціи баварскаго и баденскаго ландтаговъ и вопросъ вновь пріобрѣлъ жгучій интересъ, затмивъ собою всѣ вопросы, поставленные въ порядкѣ дня приближавшагося конгресса.

Формально, съ точки зрѣнія «буквы закона», и баварскіе, и баденскіе соціалдемократы не прегрѣшили противъ любекской резолюціи. Послѣдняя, отвергнувъ голосованіе бюджета въ принципѣ, допустила отступленія при наличности исключительныхъ обстоятельствъ. И баварцы, и баденцы сослались на такія именно обстоятельства: и тамъ, и здѣсь удалось добиться введенія въ бюджетъ кредитовъ на увеличеніе жалованія низшимъ государ-

ственнымъ служащимъ и рабочимъ и на введеніе нѣкоторыхъ требовавшихся партіей, соціальныхъ реформъ. Почему бы и не признать этого факта «исключительнымъ обстоятельствомъ?» Но если имѣть въ виду не букву любекской резолюціи, редактированной въ соотвѣтствующей части осторожно и достаточно растяжимо, а ея духъ, если принять во вниманіе дебаты, изъ которыхъ она родилась, то станетъ очевидно, что условія, въ которыхъ произошли голосованія за бюджетъ въ Баваріи и Баденѣ, ничего общаго не имѣли съ тѣми, какія предусматривались осторожными авторами резолюціи; что, напротивъ, эти условія являлись почти типическими для той политической конъюнктуры, для которой любекская резолюція предвидѣла возможность в о п р о с а о голосованіи бюджета и для которой она давала категорическій отрицательный отвѣтъ. Ибо не о томъ же поднимался вопросъ, чтобы соціалдемократіи голосовать за бюджетъ, въ которомъ н е содержится, вообще, существенныхъ элементовъ реформы!

На нюренбергскомъ партейтагѣ защитники бюджетнаго вота остались въ меньшинствѣ; принята резолюція, признающая несовмѣстимымъ съ политической позиціей соціалдемократіи голосованіе за бюджетъ за исключеніемъ тѣхъ лишь случаевъ, когда отклоненіе даннаго бюджета привело бы къ утвержденію такого, который былъ бы менѣе благопріятенъ для интересовъ рабочаго класса. Эта резолюція собрала 258 голосовъ противъ 119. Послѣдняя цифра отнюдь не выражаетъ дѣйствительной силы представленныхъ на конгрессѣ элементовъ, стоящихъ за голосованіе бюджета: противъ резолюціи голосовали нѣкоторые изъ противниковъ вотированія бюджета, желавшіе лишь принятія болѣе мягкой и менѣе непримиримой резолюціи. Во всякомъ случаѣ, стоявшее за баварской и другими южными парламентскими фракціями меньшинство представляется достаточно компактнымъ и—что особенно важно—въ его составъ входило значительное большинство делегацій южно-германскихъ государствъ: Баваріи, Бадена, Виртемберга, Гессена. Это обстоятельство показываетъ, что за реформизмомъ въ германской соціалдемократіи стоятъ далеко не ничтожныя силы.

Обратимся къ дебатамъ, предшествовавшимъ принятію нюренбергской резолюціи, чтобы выяснить себѣ тактическія позиціи обѣихъ сторонъ.

Посмотримъ прежде всего, какъ мотивировали свои голосованія южно-германцы. Говорившій отъ имени баварской фракціи, *Гиммъ* напиралъ на то обстоятельство, что послѣдній баварскій бюджетъ включаетъ цѣлый рядъ расходовъ на увеличеніе жалованья и, вообще, улучшеніе положенія низшихъ государственныхъ служащихъ и рабочихъ. Если голосовать противъ такого бюджета, то врагамъ соціалдемократіи будетъ какъ нельзя легче посѣять смуту среди этой категоріи пролетаріата, вызвать въ ней недовѣріе къ желанію рабочей партіи придти къ ней на помощь. Представитель баденцевъ, Ф р а н к ъ, въ свою очередь, перечисляетъ аналогичныя реформы, принятыя ландтагомъ, но признаетъ, что ихъ однѣхъ было бы недостаточно для того,

чтобы побудить фракцію голосовать за бюджетъ. Дѣло—въ особомъ парламентномъ положеніи, которое возникло изъ соперничества двухъ главныхъ политическихъ силъ Бадена: либерализма и клерикализма. Вступивъ въ избирательный блокъ съ либералами на выборахъ 1905 года, баденскіе соціалдемократы добились того, что въ ландтагѣ ни одна изъ буржуазныхъ партій не имѣетъ большинства. Обладающіе относительнымъ большинствомъ, либералы могутъ править, лишь опираясь на 12 голосовъ соц.-дем. фракціи. Этимъ объясняются успѣхи послѣднихъ въ области соціальныхъ реформъ: благодаря этому же, либеральное министерство обращается съ рабочимъ классамъ и его организаціями совершенно иначе, чѣмъ это принято въ другихъ германскихъ странахъ, такъ что, по мнѣнію Франка, можно говорить о томъ, что въ Баденѣ рабочіе «находятся на пути къ полному гражданскому равноправію». Между тѣмъ, приближаются новые выборы. Клерикалы поведутъ избирательную агитацію въ томъ направленіи, что соціалдемократы, вотируя противъ бюджета, могутъ его сорвать, если клерикальная оппозиція захочетъ проявить свое недовѣріе либеральному правительству такимъ уже отрицательнымъ голосованіемъ. Чтобы лишить клерикаловъ этой возможности пугать избирателей перспективой остановки всего хода государственной жизни въ зависимости отъ воли соціалистовъ, послѣдніе и рѣшили показать, что для нихъ возможно и голосованіе за бюджетъ, если при его составленіи приняты въ достаточной мѣрѣ въ соображеніе интересы рабочаго класса.

Представитель Виртемберга, Гильденбрандтъ, опять-таки ссылается на улучшеніе положенія рабочихъ, состоящихъ на государственной службѣ, и описываетъ въ довольно розовыхъ краскахъ правовое положеніе, котораго рабочіе добились въ этой странѣ. Такъ, здѣсь уже человѣка не исключаютъ изъ списковъ присяжныхъ засѣдателей или шеффеновъ (нѣчто вродѣ сословныхъ представителей) за простую принадлежность къ соціалдемократической партіи — вещь, обычная въ прочихъ германскихъ государствахъ. Гильденбрандтъ не скрываетъ, что либеральный курсъ, взятый нынѣшнимъ виртембергскимъ правительствомъ, создалъ въ партіи извѣстное настроеніе («Stimmung») въ пользу того, чтобы пойти ему въ парламентъ навстрѣчу.

Подчеркивая въ своихъ рѣчахъ, что правовое положеніе рабочаго класса въ южно-германскихъ государствахъ значительно улучшилось за послѣдніе годы, сторонники вотированія бюджета настаиваютъ на томъ, что оппозиція, встрѣченная ими въ партіи, объясняется преимущественно наличностью противоположныхъ условій въ другихъ частяхъ Германіи. Пусть въ Пруссіи и Саксоніи будетъ завоевано болѣе демократическое избирательное право и соотвѣтственно демократизируется вся общественная жизнь—и тогда вся партія убѣдится, что парламентнымъ дѣятелямъ нельзя держаться иной тактики, чѣмъ та, которая примѣнялась въ Баваріи и Баденѣ.

Для всѣхъ защитниковъ голосованія бюджета вопросъ этотъ *не принципіальный, а тактическій*, вопросъ простой цѣ-

лесообразности. Нельзя, говоритъ Тиммъ, ограничиваться въ парламентахъ однимъ отрицаніемъ, необходимо дѣлать положительную работу, а на этомъ пути нельзя связывать себѣ руки обязательствомъ отказывать въ средствахъ всякому буржуазному правительству при всякихъ условіяхъ. Вотированіе бюджета столь же мало означаетъ выраженіе довѣрія классовому государству, какъ и вотированіе какого-нибудь отдѣльнаго законопроекта, который будетъ проводить въ жизнь то-же классовое государство (Франкъ-Кольбъ). Если нельзя голосовать за бюджетъ, то, въ силу той же логики, не слѣдуетъ голосовать и за какую-нибудь крупную конституціонную реформу только потому, что она не включаетъ превращенія германской имперіи въ демократическую республику (Гейманъ). Напрасно стараются изобразить отказъ отъ голосованія бюджета чѣмъ-то специфически свойственнымъ соціалдемократіи и постольку вытекающимъ изъ ея принциповъ: соціалдемократы заимствовали это орудіе борьбы изъ арсенала либерализма (Тиммъ); само по себѣ, вотированіе противъ бюджета не заключаетъ въ себѣ ничего революціоннаго. Если хотятъ, чтобы отклоненіе бюджета носило характеръ выраженія недовѣрія правительству, то оно не должно примѣняться изъ года въ годъ, какъ шаблонный жестъ, а лишь въ случаяхъ особой важности (Гильденбрандтъ); если его разсматривать, какъ внушительную демонстрацію, то имъ нужно дорожить и примѣнять его въ рѣшительные моменты (Давидъ). Въ концѣ концовъ весь споръ о голосованіи, находитъ Франкъ, принялъ характеръ чисто-нѣмецкаго спора о *церемоніи*—взглядъ, кстати замѣтимъ, всецѣло раздѣляемый анархо-бланкистскими и анархо-синдикалистскими элементами рабочаго движенія и опредѣленно выраженный по данному поводу Густавомъ Эрве: для послѣдняго «лѣвые» соціалдемократы представляются фарисеями, которые желаютъ прикрыть оппортюнистическое убожество своей легалистской парламентской тактики шаблонной революціонной церемоніей; заслуга реформистовъ, по мнѣнію Эрве, въ томъ, что, отбрасывая эту церемонію, они доводятъ до логическаго конца соціалдемократическій парламентаризмъ.

Самой сильной стороной въ критикѣ, которой позиція южанъ подверглась на конгрессѣ, является разборъ тѣхъ фактическихъ соображеній, которыми руководились депутаты, голосуя за бюджетъ. Безъ труда было показано и не могло быть опровергнуто фактами, что всѣ тѣ реформы, на которыя ссылались южане, носятъ крайне мизерный характеръ, что государственный строй южно-германскихъ государствъ еще крайне далекъ отъ дѣйствительнаго демократизма, доступнаго буржуазному государству; что въ тѣхъ же Баденѣ и Баваріи и до и послѣ вотированія соціалдемократами бюджета наблюдались случаи недопустимаго въ правовомъ государствѣ отношенія правительственныхъ органовъ къ рабочимъ организаціямъ и рабочей партіи. Не безъ основанія указывалось на односторонность той точки зрѣнія, которая разсматриваетъ политику южныхъ правительствъ изолированно, лишь въ сферѣ ихъ непосредственной компетенціи, тогда какъ въ дѣй-

ствительности эти правительства, либеральничая въ своихъ королевствахъ и герцогствахъ, въ общегерманской политикѣ (въ Союзномъ Совѣтѣ) поддерживаютъ крайнѣ реакціонный курсъ. Дебаты ясно показали, что свое право первородства южане, во всякомъ случаѣ, отдали за жалкую чечевичную похлебку. Между тѣмъ, проголосовавъ бюджетъ, они уже связали себѣ руки въ критикѣ буржуазныхъ партій и правительствъ. Желая объяснить причины измѣненія прежней своей тактики, они были приведены чуть ли не къ прославленію либерализма «своихъ» правительствъ. Такъ, по указанію Каутскаго, баварскіе соціалдемократы, мотивируя свое голосованіе, увѣряютъ, что баварскій бюджетъ «является выраженіемъ демократизма, прогрессивности, заботъ о развитіи культуры, характеризующихъ баварское государство», между тѣмъ, какъ еще на послѣднихъ выборахъ они справедливо бичевали отсталость ничуть не измѣнившейся податной системы и объясняли рабочимъ, что имъ въ передовой Баваріи приходится еще добиваться такихъ народныхъ реформъ, которыя въ отсталой Пруссіи осуществлены еще въ 1891 году. Съ другой стороны, на конгрессѣ Штребелемъ цитировалось поразительное мнѣніе одного изъ лидеровъ ревизіонизма Мауренбрехера, защищавшаго баварское голосованіе: «По отношенію къ нынѣшнему баварскому правительству отказъ въ бюджетѣ былъ бы просто безсмысленнымъ... Баварское правительство дѣлаетъ все, чего можно требовать отъ справедливаго, безпристрастнаго правительства.

Если мы будемъ продолжать заявлять, что, тѣмъ не менѣе, ведемъ принципіальную борьбу противъ этого правительства, какъ и всякаго другого, то мы достигнемъ лишь того, что правительство скажетъ: «ладно, если вы не хотите по иному, то и мы не можемъ, и снова станетъ столь же реакціоннымъ, какъ пруссаки».

Что южане, даже съ точки зрѣнія оппортунистическаго do ut des, по меньшей мѣрѣ, продешевили,—это должны были признать и дѣятели, которые въ общихъ вопросахъ стоятъ ближе къ нимъ, чѣмъ къ «ортодоксамъ». Въ этомъ духѣ на конгрессѣ высказались, напр., Рих. Фишеръ и ф. Эльмъ. «Вы всѣ знаете, сказалъ первый, что я сердцемъ всегда съ вами, и что лишь въ этомъ случаѣ не могу идти съ вами рука объ руку». Фонъ-Эльмъ полагаетъ, что предварительнымъ условіемъ для того, чтобы, вообще, партія могла голосовать за бюджетъ, является дѣйствительно проводимое въ жизнь правительствомъ и буржуазными партіями полное равноправіе рабочей партіи, чего, конечно, въ южной Германіи далеко нѣтъ. Тотъ же ораторъ — извѣстный дѣятель профессіональнаго и кооперативнаго движенія — энергично протестовалъ противъ ссылки южныхъ парламентаріевъ на экономическія реформы въ интересахъ различныхъ категорій рабочихъ, какъ довода въ пользу вотированія бюджета: въ этомъ онъ видѣлъ переоцѣнку значенія парламентаризма, которой онъ противопоставляетъ свой взглядъ на «внѣпарламентскую» работу организаціи массъ, какъ главную базу партійной дѣятельности.

Въ общемъ, дебаты даже и на вовсе непредубѣжденнаго читателя производятъ такое впечатлѣніе, что южно-германскіе соціалдемократы оказались совершенно неспособными обосновать голосованіе съ *дѣловой* точки зрѣнія; неспособны доказать, что они стояли на почвѣ Любекской резолюціи, (которую они въ своихъ рѣчахъ продолжали признавать правильной), и что передъ ними были тѣ «исключительныя» обстоятельства, о которыхъ эта резолюція упоминаетъ. Обстоятельства, напротивъ, представлялись до такой степени нормальными, что делегатъ Гохъ имѣлъ полное основаніе заявить, что отнынѣ баварскіе и баденскіе депутаты уже не могутъ голосовать противъ бюджета, ибо министрамъ нужно будетъ процитировать лишь рѣчи Тимма и Франка, чтобы показать, что при неизмѣнившихся условіяхъ послѣдовательность требуетъ отъ соціалдемократія принятія бюджета. Еще болѣе мѣтко указалъ другой делегатъ, что партія, считавшая себя обязанной вотировать бюджетъ, въ который внесена прибавка жалованія желѣзнодорожнымъ служащимъ и рабочимъ, должна будетъ и впредь голосовать за него, поскольку онъ будетъ включать уплату этого увеличеннаго жалованья.

Что южане не сумѣли обосновать свою тактику, это, въ сущности, признаетъ и глава ревизіонизма, Э. Бернштейнъ, и онъ же вѣрно указываетъ причину этой слабости. Въ статьѣ, появившейся въ IX—X кн. «Образованія» за истекшій годъ, онъ заявляетъ: «Свое теоретическое оправданіе оно (голосованіе за бюджетъ) можетъ найти только въ опредѣленной системѣ мышленія. Безъ такого теоретическаго оправданія голосованіе бюджета представляется *актомъ весьма мало симпатичнаго оппортунизма*» (курсивъ нашъ). Любопытно слѣдующее заявленіе того же автора: «Нельзя не признать, что реформистскіе элементы въ германской соціалдемократіи своимъ стремленіемъ постоянно избѣгать рѣзкой постановки программныхъ вопросовъ непрестанно вредили своей позиціи».

Боязнь *принципіальнаго* обоснованія своей тактики особенно рѣзко сказалась у реформистовъ именно на нюренбергскомъ конгрессѣ. Одинъ лишь Давидъ, вообще, отличающійся большей смѣлостью, чѣмъ другіе ревизіонисты, вскользь упомянулъ, что дѣло идетъ о «противорѣчіи между долголѣтней парламентской практикой и заоблачной теоріей» и требовалъ, чтобы теорія отступила передъ результатами практики. Остальные представители реформизма тщательно отметали отъ себя обвиненіе въ принципіальномъ расхожденіи съ противниками и горячо настаивали на томъ, что занимающій партію вопросъ есть не вопросъ принципа, а вопросъ «тактики».

Отмѣтимъ пока это отсутствіе принципіальной обосновки въ позиціи реформистовъ, чтобы вернуться къ нему впослѣдствіи. Теперь же обратимся къ ихъ противникамъ и посмотримъ, какую принципіальную позицію заняли они?

Для большинства выступавшихъ противъ голосованія бюджета спорный вопросъ не является простымъ вопросомъ цѣлесообразности. «Говорятъ, заявилъ Каутскій, что это вопросъ

чисто-тактическій. Бываютъ принципіальные вопросы, не являющіеся вопросами тактики, но нѣтъ такихъ тактическихъ вопросовъ, которые были бы совершенно оторваны отъ принциповъ. Тактика есть ничто иное, какъ примѣненіе принципа. Положеніе о томъ, что слѣдуетъ руководиться тактическими соображеніями, вовсе не означаетъ, что не слѣдуетъ руководиться принципами». Эта формулировка, надо признаться, не грѣшитъ излишней ясностью. Вѣрнѣе сказать, она состоитъ изъ слишкомъ азбучныхъ, слишкомъ элементарныхъ истинъ, чтобы на ней построить оправданіе или осужденіе вполнѣ конкретной тактики. Ибо вопросъ, на который надо было дать отвѣтъ, въ томъ и заключается: допускаютъ ли опредѣленные, всѣми признаваемые, принципы примѣненіе даннаго тактическаго пріема (вотъ бюджета)? Южане настаивали на томъ, что ихъ вотъ не противорѣчитъ принципамъ, которыми руководствуется партія во всей своей дѣятельности. Они указывали—и въ этомъ пунктѣ не были опровергнуты,—что, очевидно, большинство само не выводитъ изъ принциповъ партійной программы неизбѣжности отказа въ бюджетѣ, ибо предложенная сторонниками послѣдняго резолюція категорически допускаетъ возможность положительнаго вота при одномъ условіи, (если такимъ вотомъ можно предотвратить принятіе бюджета менѣе выгоднаго рабочему классу). Значитъ, заключали южане, вы сами допускаете, что принципы партіи не всегда требуютъ однороднаго голосованія въ данномъ вопросѣ.

Тактика есть примѣненіе принципа, говоритъ Каутскій. Но примѣненіе къ условіямъ времени и мѣста. А южане именно и доказываютъ, что, по условіямъ времени и мѣста, цѣлесообразное примѣненіе принципа выразилось въ голосованіи за бюджетъ.

Редакторъ «Vorwärts'a», Штребель заявляетъ: «мы держимся того, хорошо обоснованнаго мнѣнія, что одобреніе бюджета должно быть отвергнуто съ принципіальной точки зрѣнія». Очевидно, этому категорическому заявленію не соотвѣтствуетъ та часть принятой конгрессомъ резолюціи, въ которой упоминается о дозволительности вотировать за бюджетъ при точно опредѣленныхъ условіяхъ.

Клара Цеткинъ выражается менѣе категорически: «Тактическій этотъ вопросъ или принципіальный—все равно, ибо наша тактика тоже должна быть принципіальной». Спорный вопросъ здѣсь также обойденъ. Ближе подходитъ къ нему Вурмъ, заявляя: «По моему мнѣнію, рѣчь идетъ о жизненномъ для партіи вопросѣ, и не о вопросѣ тактики, а о вопросѣ принципа. Мы уже испытали на многихъ конгрессахъ, что, когда принципъ непріятенъ, то стараются свалить дѣло на тактику. И точки надъ і ставитъ, наконецъ, бременскій делегатъ Генке: «мы стоимъ на той точкѣ зрѣнія, что послѣднія битвы за завоеваніе политической власти разыграются внѣ парламентовъ. Если это такъ, то вопросъ о бюджетѣ самъ собой становится вопросомъ принципіальнымъ, а не только вопросомъ тактики, которая впрочемъ тѣсно связана съ нашими принципами... Мы боремся противъ того, чтобы голосовали за бюджетъ изъ оппортунистическихъ

соображеній... На другой сторонѣ (конгресса) стоитъ меньшинство, которое вѣритъ въ «вростаніе» въ государство будущаго.

Генке здѣсь выражаетъ ту самую мысль, которую впослѣдствіи выразилъ Бернштейнъ: что тактика южанъ получаетъ объясненіе лишь съ точки зрѣнія той опредѣленной концепціи общественнаго развитія, которая обычно называется ревизіонистской. Если принять точку зрѣнія «вростанія въ государство будущаго», то изъ нея уже нетрудно вывести необходимость рабочей партіи вступать въ тѣсный союзъ съ тѣми фракціями господствующихъ классовъ, которыя готовы на извѣстныя уступки пролетаріату. Ибо это бернштейніанское «вростаніе» осуществляется въ политической сферѣ путемъ пріобщенія рабочей партіи къ политической власти современнаго государства. Но такое пріобщеніе становится абсолютно невозможнымъ, если партія разъ навсегда объявляетъ, что классовому государству, хотя бы и въ самой демократической формѣ, она не вотируетъ средствъ на поддержаніе его существованія.

Принципіальная сторона вопроса въ этомъ именно и заключается и, поскольку «ортодоксы» съ полнымъ основаніемъ предполагали у южанъ подобную концепцію общественнаго развитія, постольку они имѣли право говорить о томъ, что споръ носитъ принципіальный характеръ. Но сами сторонники вота бюджета боя на принципіальной почвѣ принять не хотѣли, въ чемъ ихъ теперь и упрекаетъ Эд. Бернштейнъ. Они заявляли, что принимаютъ точку зрѣнія классовой борьбы, остаются при недовѣріи «къ современному государству»*) и голосовали за бюджетъ лишь по соображеніямъ тактической цѣлесообразности. Этотъ отказъ реформистовъ принять сраженіе на принципіальной почвѣ чрезвычайно затруднилъ ихъ противниковъ, и послѣдніе не всегда удачно выходили изъ него. На главный аргументъ реформистовъ—если наши принципы требуютъ при всякихъ условіяхъ голосованія противъ бюджета классоваго государства, какъ же вы допускаете въ резолюціи исключеніе на случай избѣжанія «худшаго зла»?—на этотъ аргументъ не было дано надлежащаго отвѣта. И надо признаться, что критика, которой подверглась со стороны нѣкоторыхъ делегатовъ предложенная вождями партіи резолюція, осталась неопроверженной. Особенно серьезной представляется критика, данная штутгартскимъ делегатомъ Кейлемъ.

«Я считаю, заявилъ этотъ делегатъ, ошибочнымъ придавать отклоненію бюджета безусловно смыслъ манифестаціи нашего враждебнаго отношенія къ современному государственному строю. Это съ теченіемъ времени перестаетъ оказывать то дѣйствіе, котораго мы ожидаемъ, но лишь связываетъ намъ руки; кромѣ того, мы не имѣемъ недостатка въ другихъ поводахъ для выраженія своего принципіальнаго отношенія къ государству. Если

*) И баварская и баденская фракціи, мотивируя въ ландтагахъ свое голосованіе за бюджетъ, подчеркнули, что этотъ вотъ отнюдь не долженъ разсматриваться, какъ выраженіе довѣрія министерства.

вся исторія до сихъ поръ была исторіей классовой борьбы, какъ учитъ «Манифестъ», то она и не перестанетъ быть исторіей борьбы классовъ отъ того, что мы въ отдѣльномъ случаѣ сочтемъ умѣстнымъ при данномъ положеніи дѣлъ голосовать за бюджетъ. Но если я думаю, что мы не должны дѣлать изъ вопроса голосованія бюджета вопросъ о демонстраціи противъ современнаго государства, то, съ другой стороны, я думаю, что этимъ вовсе не рѣшается вопросъ о томъ, дѣлать ли намъ положительную работу. Практической политикой можетъ заниматься всякій, отклоняющій бюджетъ, и чисто-отрицательной политикой можно заниматься, вотируя за бюджетъ. Не во всѣхъ государствахъ, вообще, происходитъ актъ голосованія бюджета въ цѣломъ, а между тѣмъ и тамъ, разумѣется, ведется «практическая» работа. Актъ голосованія бюджета въ цѣломъ я разсматриваю, какъ вѣрнѣйшее изъ имѣющихся у насъ средствъ парламентской борьбы, и мы должны при каждомъ удобномъ случаѣ придать ему такое значеніе. Естественно, что при нашихъ отношеніяхъ съ правительствами и буржуазными партіями примѣненіе этого боевого средства должно будетъ быть общимъ правиломъ*), но не всегда и не при всѣхъ условіяхъ, ибо иначе наша политика напоминала бы поведеніе быка, попавшаго въ посудную лавку. Какъ въ другихъ вопросахъ мы не прибѣгаемъ къ одному и тому же крайнему средству борьбы противъ любого противника въ любое время, такъ же точно мы не можемъ при всѣхъ условіяхъ и во всякое время примѣнять самое крайнее средство борьбы противъ правительствъ. Нужно дифференцировать. Къ сожалѣнію (?), мы не часто будемъ въ такомъ положеніи, чтобы намъ можно было избавить правительство отъ примѣненія этого крайняго средства, но мы должны сохранить такую возможность, ибо иначе при извѣстныхъ условіяхъ мы не только способствовали бы принятію менѣе благопріятнаго для рабочихъ бюджета, но и могли бы привести къ еще болѣе вреднымъ послѣдствіямъ. Резолюція Правленія непослѣдовательна, ибо она допускаетъ вотированіе за бюджетъ только въ томъ случаѣ, если иное голосованіе принесетъ рабочему классу вредъ въ видѣ вступленія въ дѣйствіе другого, худшаго, бюджета; но она игнорируетъ то обстоятельство, что при извѣстномъ положеніи отклоненіе бюджета можетъ вызвать иныя вредныя послѣдствія въ области, лежащей внѣ бюджета».

Иллюстраціей къ этимъ мыслямъ можетъ послужить вся исторія бюджетнаго вопроса въ германской соціалъ-демократіи и въ особенности эволюція взглядовъ Бебеля. Когда вопросъ впервые дебатировался на Франкфуртскомъ конгрессѣ (1894 г.), Бебель отстаивалъ резолюцію, абсолютно отрицавшую голосованіе за бюджетъ. Она гласила: «такъ какъ голосованіе бюджета въ цѣломъ признается вотумомъ довѣрія, депутаты должны... голосовать противъ него». Возражая противъ резолюціи, Фоль-

*) Курс. нашъ.

маръ поставилъ Бебелю вопросъ: какъ быть, если отклоненіе новаго, болѣе благопріятнаго для массъ, бюджета ведетъ за собой сохраненіе въ силѣ стараго, болѣе реакціоннаго? Бебель отвѣтилъ категорически: «Я не голосовалъ бы за бюджетъ. Я сказалъ бы: не моя вина, если вы должны платить болѣе высокіе налоги. Обвиняйте тѣхъ, кто согласился на налоги. Я голосовалъ не только противъ высокихъ налоговъ, но и противъ всякихъ налоговъ». Эта позиція не удовлетворила всѣхъ лѣвыхъ, и Штадтагенъ предложилъ къ резолюціи Бебеля поправку: вмѣсто словъ, «такъ какъ» поставить «поскольку». Получалось: поскольку голосованіе бюджета въ цѣломъ является вотумомъ довѣрія, оно недопустимо. Бебель и сторонники его резолюціи голосовали противъ этой поправки и, когда она была принята, голосовали противъ резолюціи въ цѣломъ, благодаря чему она была провалена. Дебаты, такимъ образомъ, не привели къ опредѣленному рѣшенію. Свою точку зрѣнія Бебель выразилъ въ словахъ: «Если правда, что правительство—лишь исполнительный комитетъ имущихъ классовъ, то мы ни въ какомъ случаѣ не должны вотировать бюджетъ и такимъ образомъ содѣйствовать продленію его существованія хотя бы на одинъ день».

Въ 1901 г., на конгрессѣ въ Любекѣ, Бебель уже защищалъ резолюцію, въ которой указывалось, что депутаты, по общему правилу, должны голосовать противъ бюджета, но «вотированіе можетъ быть допущено лишь какъ исключеніе, въ силу чрезвычайныхъ обстоятельствъ и особыхъ условій». Мотивируя резолюцію, Бебель, въ видѣ одного изъ примѣровъ этихъ особыхъ условій, привелъ именно тотъ случай, о которомъ шла рѣчь въ Франкфуртѣ: когда отверженіе одного бюджета ведетъ за собой принятіе худшаго. Роза Люксембургъ, Зингеръ и другіе теперь защищали франкфуртскую позицію Бебеля, недопускавшую исключеній. Правда, Зингеръ, выступивъ противъ Бебеля, долженъ былъ признать, что исключительныя условія могутъ заставить депутатовъ голосовать за бюджетъ, но онъ предпочиталъ игнорировать эту возможность въ резолюціи, дабы не развязывать заранѣе рукъ оппортунистамъ.

Предвидѣніе Зингера оправдалось: общій характеръ оговорки, сдѣланной въ любекской резолюціи, былъ использованъ реформистами для тѣхъ голосованій, которыя пришлось обсуждать на Нюренбергскомъ партейтагѣ. Поэтому, Бебель, а съ нимъ и большинство конгресса, на этотъ разъ рѣшило точно опредѣлить случаи, когда голосованіе за бюджетъ не противорѣчитъ общей принципіальной линіи. Это именно тѣ случаи, которые въ 1894 году Бебель не признавалъ оправдывающими отступленіе отъ общаго правила. Критики резолюціи могутъ ссылаться на это обстоятельство, какъ свидѣтельство того, что заранѣе трудно предвидѣть конъюнктуру, которая обяжетъ партію видоизмѣнить свою парламентскую тактику. Неопровергнутымъ остается и вышеприведенный доводъ Кейля: если допустимо голосованіе за данный бюджетъ, какъ единственное средство помѣшать сохраненію въ силѣ бюджета худшаго, то не

придется ли въ извѣстныхъ случаяхъ допустить такое же голосованіе, когда оно является средствомъ устранить какое-нибудь другое худшее зло (напр., вступленіе во власть особо-реакціоннаго министерства или провалъ какой-нибудь крупной реформы)? Совершенно очевидно, что на этотъ вопросъ—съ той точки зрѣнія, на которой стоитъ большинство партіи—можетъ быть только положительный отвѣтъ: отъ такого тактическаго пріема партія при извѣстныхъ условіяхъ отказаться не смогла бы. И этотъ пріемъ—голосованіе при экстраординарныхъ условіяхъ за бюджетъ въ цѣломъ—не противорѣчилъ бы общей тактической линіи, опредѣляемой взглядомъ на всякую форму современнаго государства, какъ на организацію классоваго господства. Вѣрнѣе сказать: онъ не противорѣчилъ бы постольку, поскольку такая общая линія во всей дѣятельности партіи и въ частности, въ ея отношеніи къ бюджету продолжала неукоснительно проводиться. Совершенно вѣрно замѣтилъ Фольмаръ еще на Франкфуртскомъ конгрессѣ: «Вѣра въ то, что принципъ воплощается въ подобныхъ одиночныхъ актахъ, вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣтскому міровоззрѣнію, которое требуетъ для всего символовъ и ищетъ сущности вещей въ ихъ формѣ». Въ примѣненіи къ парламентской дѣятельности эта мысль сводится къ тому, что политическое значеніе одинаковыхъ тактическихъ актовъ можетъ быть совершенно различно и прямо противоположно въ зависимости отъ всей совокупности окружающихъ условій и отъ мѣста, которое данный пріемъ занимаетъ въ общей системѣ дѣятельности партіи. Реформизмъ характеренъ не тѣмъ, что онъ склоненъ примѣнять все разнообразіе пріемовъ, имѣющихся въ арсеналѣ парламентской партіи, а именно тѣмъ, что либо онъ ихъ примѣняетъ отъ случая къ случаю, считаясь съ условіями момента и не давая себѣ отчета въ внутренней связи между своими отдѣльными дѣйствіями,—и тогда мы имѣемъ дѣло съ эмпирическимъ реформизмомъ, который даже Э. Бернштейнъ считаетъ возможнымъ квалифицировать, какъ «малосимпатичный оппортунизмъ»; либо руководящимъ началомъ объединяющимъ его тактику при примѣненіи разнообразныхъ пріемовъ, является идея «вростанія» одного общественнаго строя въ другой, идея постепеннаго смягченія общественныхъ противорѣчій—и тогда мы имѣемъ тотъ принципіальный оппортунизмъ, котораго представителемъ является самъ Э. Бернштейнъ. Нечего пояснять, что оппортунизмъ перваго рода, оппортунизмъ эмпирическій, служитъ принципіальному оппортунизму удобнымъ прикрытіемъ и, въ конечномъ счетѣ, работаетъ для него.

Если, какъ мною показано, резолюція, принятая Нюренбергскимъ конгрессомъ, редактирована не безупречно, то нельзя не признать, что большинству было бы трудно при данныхъ условіяхъ найти болѣе удачную формулировку. Наиболѣе точно выражаетъ дѣйствительное положеніе партіи въ данномъ вопросѣ резолюція Любекская. Но именно ея объективная добросовѣстность дала возможность правому крылу партіи недобросовѣстно ее интерпретировать, когда въ понятіе допускаемыхъ ею чрезвы-

чайныхъ и исключительныхъ условій оно втискивало такія ординарныя явленія, какъ прибавку жалованья жел.-дор. служащимъ и т. п. Цитированный нами Кейль и многіе другіе предлагали конгрессу принять резолюцію Фроме, которая подтверждаетъ Любекскую, но ставитъ признаніе въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ наличности исключительныхъ условій въ зависимость отъ соглашенія между заинтересованными депутатами и Правленіемъ партіи. Логически такое рѣшеніе безупречно, но при современномъ состояніи германской партіи оно несомнѣнно привело бы къ самымъ печальнымъ послѣдствіямъ, поскольку создаетъ почву для постоянныхъ неразрѣшимыхъ организаціонныхъ конфликтовъ между Правленіемъ, состоящимъ изъ лѣвыхъ, и оппортунистическими фракціями южныхъ ландтаговъ. Правленіе явилось бы въ роли группы, отвѣтственной за всѣ осложненія, которыя получились бы въ результатѣ противорѣчія между его veto по бюджетному вопросу и всей оппортунистической линіей значительной части южногерманскихъ соціалъ-демократовъ. Понятно, что именно Бебель и другіе члены правленія горячо возстали противъ резолюціи Фроме. Ея судьба показала, что тактическій споръ имѣетъ подъ собой глубоко-принципіальное основаніе и постольку неразрѣшимъ простымъ усовершенствованіемъ организаціоннаго аппарата.

Съ другой стороны, несовершенство принятой резолюціи естественно вытекло изъ того, что данный тактическій вопросъ—въ отличіе отъ того, какъ было въ Дрезденѣ въ 1903 г.,—большинству пришлось рѣшать внѣ связи съ основами всей тактики и всего міровоззрѣнія партіи. А это было вызвано тѣмъ, что сами реформисты тщательно изолировали данный вопросъ отъ компрометирующей связи съ ревизіонизмомъ, какъ цѣлымъ міровоззрѣніемъ. Обмануть они, конечно, этимъ никого не смогли—по крайней мѣрѣ, изъ среды «ортодоксовъ». Но добиться измельчанія дебатовъ, суженія въ нихъ поля зрѣнія—это имъ до извѣстной степени удалось.

Если обратиться къ причинамъ, побуждавшимъ реформистовъ къ такого рода тактикѣ, приведшей, какъ мы видѣли, въ негодованіе Бернштейна, то мы должны будемъ отмѣтить, что реформистамъ парламентаризма пришлось считаться съ настроеніемъ профессіоналистовъ, къ которымъ, кстати сказать, они (напр. Тиммъ) прямо апеллировали, защищая свою точку зрѣнія противъ «догматиковъ» и «теоретиковъ». Наиболѣе видные профессіоналисты голосовали противъ резолюціи Правленія за резолюцію Фроме и въ своихъ рѣчахъ нѣкоторые изъ нихъ, въ свою очередь, сопоставляли нападки «теоретиковъ» на южанъ съ ихъ же нападками на «цеховиковъ» современнаго профессіонализма. Правое крыло парламентскихъ дѣятелей нѣмецкой соціалъ-демократіи въ теченіе ряда лѣтъ уже идетъ, въ общемъ, рядомъ съ наиболѣе видной группой вождей Gewerkschaft'овъ. Но въ томъ, какъ на конгрессѣ эти послѣдніе выступали по бюджетному вопросу, очень характерно сказалось различіе тѣхъ условій, которыя вырабатываетъ поссибилистическій

«практицизмъ» профессіоналистовъ, и тѣхъ, которыя питаютъ реформистскія иллюзіи парламентаріевъ.

Энергично защищая южанъ отъ нападокъ ихъ критиковъ, всячески доказывая, что спорный вопросъ цѣликомъ сводится къ вопросу цѣлесообразности, извѣстный Гуэ заявляетъ: «Откуда происходитъ то, что вѣчно подымается вопросъ объ «уступкахъ современному обществу»? Не понимаю, какъ бы могъ я, въ качествѣ человѣка, дѣйствующаго среди самихъ рабочихъ массъ и въ непосредственной борьбѣ съ самымъ могущественнымъ крупнымъ капиталомъ, придти къ мысли объ уступкахъ современному обществу? Ибо гдѣ мы встрѣтимъ болѣе блестящее подтвержденіе ученія Маркса о концентраціи капитала, чѣмъ въ германской горной промышленности? Почему же я, у котораго практика находится въ гармоніи съ теоріей, сталъ бы тѣмъ, что называютъ ревизіонистомъ»?

Съ своей стороны, ф. Эльмъ оправдываетъ южанъ такимъ аргументомъ: «Всѣ мы того мнѣнія, что объективныя отношенія обусловливаютъ собою идеи. На сѣверѣ мы имѣемъ дѣло съ болѣе острыми классовыми противорѣчіями, чѣмъ на югѣ. Поэтому мы судимъ о вещахъ иначе. Но соціальное развитіе будетъ все болѣе обострять отношенія и на Югѣ и наши товарищи вскорѣ придутъ къ необходимости стать вновь въ оппозицію къ правительству... Поэтому я прихожу къ убѣжденію, что голосованіе южанъ за бюджетъ останется изолированнымъ актомъ... Мы, шлезвигъ-голштинцы, думаемъ—вы южане придете къ нашему воззрѣнію, а не мы къ вашему. Но мы желаемъ спокойно ждать развитія событій». Напомнимъ, что въ той же рѣчи Эльмъ рѣшительно возстаетъ противъ переоцѣнки значенія парламентаризма и настаиваетъ на томъ, что центръ тяжести борьбы рабочаго класса лежитъ внѣ парламентской арены.

Изъ цитированныхъ отрывковъ ясно, что, если парламентскій реформизмъ и находитъ большее или меньшее сочувствіе въ кругахъ профессіоналистовъ, то причина этому лежитъ не въ тяготѣніи послѣднихъ къ теоріи «притупленія противорѣчій». Это вѣрно, по крайней мѣрѣ, по отношенію къ переживаемому нынѣ періоду. Въ теченіе непосредственно предшествующаго періода—періода промышленнаго подъема и небывалаго развитія экономической борьбы—въ профессіональныхъ организаціяхъ Германіи несомнѣнно укрѣпились нѣкоторыя иллюзіи и пустили корни извѣстная ограниченность и самодовольство привилегированныхъ: на этой почвѣ произошло то сближеніе профессіоналистовъ съ ревизіонистами, которое такъ характерно сказалось въ моментъ Кельнскаго съѣзда профессіональныхъ союзовъ, отвергнувшаго мысль о политической всеобщей стачкѣ. Съ наступленіемъ промышленнаго застоя (въ прошломъ году безработица достигала во всей Германіи весьма значительныхъ размѣровъ), разумѣется, исчезаетъ почва для розовыхъ взглядовъ на возможность постепеннаго, капля за каплей, подъема рабочаго класса по пути увеличенія присваиваемой имъ доли производимыхъ про-

дуктовъ; рабочіе и ихъ союзы попали въ положеніе оборонительное и имѣютъ противъ себя методически и неуклонно дѣйствующіе боевые союзы предпринимателей. Какъ это выразилъ Гуэ, передъ ними встаетъ яркая и недвусмысленная картина соціальнаго развитія, какъ оно формулировано въ теоріи Маркса, а не какъ оно искажено въ маниловскихъ изображеніяхъ ревизіонистовъ. И если, тѣмъ не менѣе, профессіоналистскіе круги продолжаютъ проявлять крайне консервативное и умѣренное настроеніе, если они и въ Маннгеймѣ (1906), и въ Эссенѣ (1907 г.), и наконецъ въ Нюренбергѣ—во время дебатовъ о майскомъ праздникѣ—примыкаютъ къ правому крылу партіи *), то, помимо простой инерціи, здѣсь надо видѣть именно робость и осторожность передъ лицомъ наступающаго грознаго врага. Чѣмъ яснѣе выступаетъ констатируемое Эльмомъ и Гуэ обостреніе соціальныхъ противорѣчій, тѣмъ больше неувѣренности и боязни проявляется въ крѣпко организованныхъ, но достигшихъ своего максимальнаго могущества при наличности исключительно благопріятныхъ условій, рабочихъ организаціяхъ. Въ профессіональномъ движеніи, въ силу сравнительной элементарности и простоты захватываемыхъ имъ отношеній, такъ называемые «вожди»—какъ бы и здѣсь ни развивалась іерархія—гораздо менѣе, чѣмъ въ движеніи политическомъ, эмансипируются отъ вліянія тѣхъ настроеній, которыми живетъ въ каждый данный моментъ масса (бо́льшая сложность и разнообразіе проблемъ, встающихъ передъ политическими организаціями, и болѣе широкая плоскость ихъ тренія о другіе классы ставитъ въ этомъ отношеніи политическихъ дѣятелей въ болѣе благопріятныя условія). Поэтому, нѣмецкіе профессіоналисты и въ теченіе послѣдняго времени продолжаютъ тянуть ноту умѣренности и аккуратности и многими разсматриваются, какъ главное ядро реформистской арміи. Нетрудно, однако, видѣть, что это—одно недоразумѣніе. Движеніе отъ марксизма къ принципіальному ревизіонизму совершается въ направленіи, прямо противоположномъ тому, въ которомъ развивается движеніе профессіоналистовъ, еще нѣсколько лѣтъ назадъ склонныхъ вѣрить въ подновленныя иллюзіи стараго англійскаго тредъ-юніонизма, а нынѣ, устами Гуэ и Эльма, подписывающихся подъ «ортодоксальной» формулой неумолимаго обостренія общественныхъ противорѣчій.

Это значитъ, что волнообразный ходъ развитія современной промышленности, постоянный ростъ численности пролетаріата и втягиваніе въ сферу организованной классовой самодѣятельности новыхъ его слоевъ создаютъ внутри его для каждаго даннаго момента значительную дифференціацію, которая чрезвычайно затрудняла бы объединеніе его движенія одной систематически

*) Необходимо, однако, отмѣтить, что самые упрямые изъ вождей профессіональнаго движенія значительно поддались „влѣво“ за время съ Кельнскаго конгресса. Достойна вниманія та умѣлая тактика, которую примѣняютъ руководители партіи для того, чтобы воздѣйствовать на профессіоналистскіе круги въ этомъ направленіи (см. особ. дебаты на Маннгеймскомъ конгрессѣ).

обоснованной идеологіей даже и въ томъ случаѣ, если бы дѣло и не осложнялось, какъ это имѣетъ мѣсто въ Германіи, различіемъ мѣстныхъ условій политической жизни и мѣстныхъ политическихъ традицій. Въ этихъ предѣлахъ борьба реформизма и революціоннаго соціализма съ примыкающими къ нимъ побочными теченіями должна быть признана неизбѣжнымъ спутникомъ каждаго, принявшаго широкіе размѣры, современнаго рабочаго движенія. Процессъ осложняется соприкосновеніемъ этого движенія съ другими угнетенными общественными группами, но послѣднія напр., мелкую буржуазію отнюдь не приходится считать единственнымъ источникомъ оппортунистической реформистской заразы. Но вѣрно то, что лишь въ этихъ соприкасающихся соціальныхъ группахъ эмпирическій реформизмъ находитъ почву, опираясь на которую, онъ можетъ сложится въ реформистскую теорію, въ систему общественнаго развитія, отрицающую «скачки» и обостреніе противорѣчій.

Во внутренней борьбѣ реформизма и его антипода въ рабочемъ движеніи «то сей, то оный на бокъ гнется»: въ зависимости отъ политическихъ условій и колебаній экономическаго развитія, духъ компромисса и умѣренности то подавляетъ энергію классового антагонизма, то подавляется имъ; конечный итогъ этой борьбы «добраго» и «злого», съ точки зрѣнія соціалъ-политиковъ, началъ въ историческомъ движеніи предопредѣляться ходомъ экономическаго развитія.

Теперь мы можемъ вернуться къ затронутому въ началѣ статьи вопросу о «возрожденіи» германскаго реформизма, казалось, совершенно разбитаго на голову нѣсколько лѣтъ назадъ. Имѣя своими ближайшими источниками, съ одной стороны, быстрые успѣхи партіи среди непролетарскихъ избирателей, съ другой—быстрый экономическій подъемъ значительныхъ слоевъ пролетаріата въ періодъ промышленнаго оживленія (то и другое въ условіяхъ длительнаго политическаго застоя и общественной реакціи 90-ыхъ гг.), реформизмъ и опирающійся на него теоретическій ревизіонизмъ не успѣли совершить цикла своего нормальнаго развитія и развернуть всѣ свои силы, такъ какъ событія мірового характера—восточная война и русская революція—измѣнили всю общественную обстановку и облегчили марксизму его побѣду не только въ теоретической, но и въ практической сферѣ. Лишь въ той мѣрѣ, въ какой взбаломученное указанными міровыми событіями море западно-европейской общественной жизни стало понемногу входить въ прежніе берега, реформизмъ, казалось, похороненный, но на дѣлѣ вовсе не исчерпавшій всѣхъ скрытыхъ въ немъ потенцій, снова поднялъ голову. Но за это время соотношеніе общественныхъ силъ въ Германіи значительно измѣнилось. Выборы 1907 г. констатировали отпаденіе отъ соціалдемократіи широкихъ круговъ мелкой буржуазіи, слѣдовавшихъ одно время за нею. Тѣмъ самымъ реформизмъ вынуждается въ большей мѣрѣ считаться съ опредѣленными слоями рабочаго класса, чѣмъ съ тяготѣющими къ пролетаріату слоями городского и сельскаго населенія. Вотъ почему черезъ 10 лѣтъ послѣ выступленія Э. Бернштейна

мы видимъ реформизмъ тщательно затушевывающимъ свой принципіальный исходный пунктъ, свою «ревизію марксизма», а самого Бернштейна—скорбящимъ о такой безпринципности своихъ учениковъ. Сдача реформистами своей теоретической позиціи, совершаемая подъ давленіемъ настроенія самихъ рабочихъ-профессіоналистовъ, сама по себѣ уже показываетъ, что шансы реформизма въ Германіи на ближайшее будущее далеко не блестящи.

* * *

Я бы не хотѣлъ быть невѣрно понятымъ. Констатируя, что движеніе стало въ послѣдніе годы, по классовому составу, болѣе однороднымъ и что, благодаря этому, возможные захваты реформистскаго оппортунизма представляются на ближайшее время ограниченными, я вовсе не держусь того мнѣнія, согласно которому дальнѣйшая эволюція общественныхъ отношеній въ Германіи пойдетъ въ сторону все большей изоляціи пролетаріата. Это мнѣніе недавно высказалъ К. Каутскій въ полемикѣ съ Мауренбрехеромъ. По Каутскому, развитіе кооперативовъ отталкиваетъ отъ пролетаріата мелкихъ лавочниковъ; другіе слои городской мелкой буржуазіи отбрасываются въ ту же сторону тѣмъ ростомъ товарныхъ цѣнъ, которымъ союзъ капиталистовъ вознаграждаетъ себя за успѣхи профессіональнаго движенія, наконецъ, ростъ движенія сельскаго пролетаріата безнадежно реакціонируетъ крестьянъ - собственниковъ. Каутскому такой процессъ изоляціи пролетаріата представляется неизбѣжнымъ продуктомъ капиталистическаго развитія.

Если бъ это было вѣрно, то мы должны были бы придти къ неизбѣжности «ревидировать» нѣкоторые изъ взглядовъ Маркса и Энгельса, до сихъ поръ казавшіеся намъ безспорными. Творцамъ научнаго соціализма перспективы капиталистическаго развитія рисовались въ прямо противоположномъ направленіи: въ направленіи къ изоляціи капиталистической буржуазіи, которая въ опредѣленный моментъ станетъ передъ всѣми остальными классами, какъ классъ—«поработитель par excellence». Только въ условіяхъ этого момента Марксъ и Энгельсъ представляли себѣ диктатуру пролетаріата, и не даромъ Марксъ прообразомъ такой диктатуры рисовалъ коммуну 1871 года, исходнымъ пунктомъ которой была эта изоляція капиталистической буржуазіи. Такому представленію ни въ малой мѣрѣ не противорѣчитъ положеніе, заключающееся и въ официальной программѣ партіи, о томъ, что всѣ не-пролетарскіе классы безъ исключенія консервативны, поскольку стоятъ на почвѣ частной собственности. Этотъ ихъ консерватизмъ обусловливаетъ ихъ полную неспособность замѣнить классъ наемныхъ рабочихъ въ его исторической миссіи, облегчить ему его историческую инициативу. Но типическимъ, характернымъ въ положеніи всѣхъ «промежуточныхъ» классовъ современнаго общества является тотъ постоянный ихъ распадъ, тѣ процессы разложенія и дифференціаціи, которые въ нихъ происходятъ и которые перебрасываютъ ихъ

отдѣльные слои слѣва направо и обратно. То колебаніе ихъ между реакціей и революціей, о которомъ говоритъ «Манифестъ», остается ихъ существеннымъ признакомъ и для той высшей стадіи капиталистическаго развитія, о которой пишетъ Каутскій, когда кооперативы, аграрныя пошлины, «бѣгство рабочихъ изъ деревни» становятся въ центрѣ вниманія этихъ промежуточныхъ классовъ. Каутскій впалъ въ ту самую ошибку, въ которой онъ изобличилъ Мауренбрехера: онъ—въ этомъ пунктѣ—слишкомъ связалъ себя въ своемъ прогнозѣ специфическими особенностями даннаго историческаго момента. Мауренбрехеръ *), выступая съ защитой эмпирическаго реформизма построилъ оправданіе оппортунистической тактики на томъ, что въ теченіе сколько-нибудь предвидимаго будущаго для пролетаріата не представляется мыслимой иная тактика, кромѣ крайне осторожнаго, умѣренно-аккуратнаго движенія впередъ. Каутскій показалъ, какъ близоруко было бы намъ, недавно еще пережившимъ кризисы мірового значенія и вступающимъ въ новую полосу еще болѣе крупныхъ кризисовъ, строить прогнозъ на такой неподвижности общественныхъ отношеній. И самъ же Каутскій, выясняя взаимоотношеніе между пролетаріатомъ и промежуточными малоимущими классами, не поставилъ вопроса, какъ на немъ должны будутъ отразиться послѣдствія этихъ «катастрофическихъ» перерывовъ въ томъ «органическомъ» развитіи капиталистическаго міра, съ которымъ только и оперируютъ Мауренбрехеры. Неужели историческія послѣдствія какого-нибудь балканскаго кризиса или бурнаго выступленія всей Азіи на арену международной конкуренціи не окажутъ никакого воздѣйствія на такое явленіе, какъ растущее ожесточеніе мелкихъ лавочниковъ противъ роста кооперативныхъ предпріятій или недовольство мелкихъ крестьянъ растущей притязательностью батраковъ? Неужели обостреніе всѣхъ соціальныхъ противорѣчій, представляющееся Каутскому, не выдвинетъ факторовъ, парализующихъ эти тенденціи, которыя толкаютъ мелкихъ собственниковъ въ реакцію: напр., возмущенія монополіей трестовъ, возмущенія ростомъ податного бремени и ипотечной задолженности и т. п.?

Очевидно, Каутскій, какъ и многіе другіе нѣмецкіе ортодоксы, далъ увлечь себя впечатлѣніемъ отъ послѣдней избирательной компаніи, въ которой пролетаріатъ дѣйствительно явился такъ изолированнымъ, какъ уже давно не былъ въ Германіи. Но это лишь моментъ въ ломанной линіи историческаго развитія, и событія, разыгравшіяся въ Германіи въ послѣднее время, подтверждаютъ это. Уже на выборахъ 1908 г. въ прусскій ландтагъ можно было наблюдать вновь тяготѣніе извѣстныхъ мелкобуржуазныхъ слоевъ къ партіи пролетаріата. Недавно происшедшіе въ Берлинѣ выборы въ промысловые суды дали соціалдемократамъ значительное число выборщиковъ среди выбранныхъ хозяевами (конечно, мелкими): значитъ, мелкая

*) Neue Ziet 1908—9 № 5.

промышленная буржуазія не такъ уже вся перешла окончательно въ лагерь порядка. А разыгрывающаяся теперь въ Германіи кампанія подъ флагомъ «отвѣтственнаго министерства» дала уже не мало доказательствъ того, что лишь въ временныхъ условіяхъ опредѣленной политической конъюнктуры, а не въ основныхъ тенденціяхъ историческаго развитія, коренится та «изоляція», о которой говоритъ Каутскій. Мы видимъ, что германская соціалдемократія впервые послѣ 40 лѣтъ получила извѣстныя основанія разсчитывать на такое прогрессивное движеніе демократической буржуазіи, которое позволяетъ ей пробить нѣкоторыя бреши въ твердынѣ прусско-германскаго абсолютизма. Прямолинейное представленіе объ «изоляціи пролетаріата» должно было бы вести къ синдикалистскимъ выводамъ о конечномъ пунктѣ рабочаго движенія, а не къ тѣмъ, которые принимаютъ Каутскій и, вообще, »ортодоксы». Нетрудно было бы въ твореніяхъ синдикалистскихъ теоретиковъ найти этому подтвержденіе. Марксистскій взглядъ на развитіе современнаго общества, напротивъ, обязываетъ принять положеніе о вѣчномъ и все болѣе рѣзкомъ колебаніи «промежуточныхъ» классовъ, изъ подъ ногъ которыхъ ускользаетъ почва самостоятельнаго движенія, между реакціей и революціей, вплоть до момента, когда общая невыносимость созданныхъ капитализмомъ условій образуетъ вокругъ правящаго класса абсолютную соціальную пустоту, а возлѣ «класса-освободителя»—плотную атмосферу сочувственнаго ожиданія.

Поскольку слѣдуетъ предвидѣть такую эволюцію, постольку и реформизъ, нынѣ обреченный опираться на инерцію отстающихъ пролетарскихъ массъ, будетъ вновь и вновь находить себѣ точку опоры въ приливающихъ къ пролетаріату и далеко не «пролетаризированныхъ» идеологически слояхъ мелкой буржуазіи. И эта точка опоры будетъ, разумѣется, оживлять попытки теоретическаго ревизіонизма. Кризисы, подобные пережитому германской партіей послѣ появленія книги Бернштейна, будутъ еще повторяться. Всегда ли будутъ они такъ проходить безболѣзненно для самаго единства партіи, какъ то было 10 лѣтъ назадъ,—это зависитъ отъ многихъ условій, которыя учесть нельзя заранѣе. Надо надѣяться, что они будутъ давать плодотворные толчки развитію самой соціалистической теоріи.

Къ послѣдней растущее и дифференцирующееся движеніе будетъ предъявлять все болѣе серьезныя требованія. Чѣмъ болѣе партія принимаетъ массовый характеръ, чѣмъ болѣе въ самомъ рабочемъ классѣ неизбѣжно возникаетъ внутренняя борьба элементовъ, рвущихся впередъ, съ элементами, настроенными консервативно, и чѣмъ болѣе будутъ возрастать опасности, вытекающія отъ быстраго притока «Mitläufer'овъ» изъ не-пролетарскаго лагеря,—тѣмъ важнѣе, чтобы внутри движенія имѣлось то ядро, о которомъ говоритъ «Манифестъ»,—ядро людей, которые способны въ каждомъ частномъ движеніи отстаивать интересы цѣлаго. Чѣмъ болѣе реформизмъ, проигравшій свое дѣло на почвѣ теоріи, стремится укрѣпиться въ сферѣ политическаго и профес-

сіональнаго практицизма, тѣмъ болѣе основаній имѣетъ марксистская «ортодоксія» стремиться къ укрѣпленію своихъ теоретическихъ позицій, къ самоутвержденію на тѣхъ вершинахъ, съ высоты которыхъ только и можетъ быть освѣщаемо лучами познающей мысли необъятное поле, служащее ареной современной соціальной борьбы.

Л. Мартовъ.

Парвусъ.

Борьба культуръ въ Германіи.

Вмѣсто введенія: кое-что о матеріалистическомъ методѣ.

Германія, какъ извѣстно, страна капиталистическая, буржуазная, промышленная. Тридцать лѣтъ тому назадъ, при основаніи имперіи она уже обладала всѣми этими свойствами. Еще черезъ тридцать лѣтъ, если не произойдетъ въ Европѣ за это время коренного соціальнаго переворота, она будетъ все также капиталистической, буржуазной, промышленной страной. Значитъ ли это, что общественная жизнь Германіи за это время не измѣнялась и не измѣнится? Нисколько! Наоборотъ, мы знаемъ, что никогда общество не развивалось такъ быстро, какъ въ наши дни въ государствахъ капиталистическихъ и промышленныхъ.

Великое историческое обобщеніе, противопоставившее капиталистическій строй всѣмъ предшествующимъ ему общественнымъ формамъ и общественному строю, который послѣдуетъ за нимъ, даетъ намъ ключъ къ пониманію глубокихъ, основныхъ историческихъ теченій. Одна общая идея охватываетъ развитіе разныхъ странъ и временъ, и эта идейная связь такъ велика, что мы на основаніи типичной схемы развитія одной капиталистической страны можемъ поставить прогнозъ для всѣхъ другихъ. Мы знаемъ, что вездѣ капитализмъ ведетъ къ стеченію населенія въ города и развитію промышленности; что при немъ товарное производство вытѣсняетъ натуральное хозяйство, а частная собственность замѣняетъ всѣ другія формы владѣнія; что вмѣстѣ съ тѣмъ измѣняются нравы, жизненныя требованія, семейныя отношенія, весь укладъ жизни, создавая, несмотря на разность расъ, религій, естественныхъ условій жизни, одинъ общій культурный типъ — буржуазный; что это капиталистически-буржуазное развитіе вездѣ,—въ Германіи ли, или Россіи, или Китаѣ, или Абиссиніи,—ведетъ къ установленію опредѣленныхъ юридическихъ и политическихъ нормъ, къ гражданскимъ судамъ, городскому самоуправленію, всеобщей воинской повинности, парламентаризму; наконецъ, что всѣ формы классовыхъ отношеній отходятъ въ сторону передъ разрастающейся борьбой пролетаріата противъ класса капиталистовъ. Капиталистическое

развитіе дѣлаетъ страны сходными другъ съ другомъ и объединяетъ классовую борьбу пролетаріата, придавая ей интернаціональный, міровой характеръ.

Эти общія историческія черты достаточно объясняютъ, почему капитализмъ сталъ критеріемъ въ оцѣнкѣ развитія общества. Старались опредѣлить, напримѣръ, становится ли Россія капиталистической страной, или нѣтъ, и чѣмъ она разнится отъ странъ капиталистическихъ; капитализмъ при этомъ брался какъ опредѣленное, неизмѣнное, цѣлостное понятіе, почти совершенно не считаясь съ тѣмъ, идетъ ли рѣчь о капитализмѣ 40-хъ годовъ, или о капитализмѣ великой французской революціи, или о капитализмѣ нашихъ дней. Теорія развитія въ исторіи сыграла революціонную роль, разрушивъ догму объ абсолютномъ характерѣ, а слѣдовательно совершенствѣ существующаго порядка вещей. Современное капиталистическое общество стали разсматривать какъ продуктъ исторіи и переходъ къ соціализму. Такимъ образомъ капитализмъ противопоставлялся прошлому и будущему, самъ же какъ будто не имѣлъ ни прошлаго, ни будущаго. Развивалось человѣчество и вошло въ капитализмъ, изъ капитализма выходитъ въ соціализмъ,—а что же совершается въ тотъ промежутокъ времени, когда формы докапиталистическія исчезли, а соціализмъ еще не насталъ? Мы находимъ въ капиталистическомъ обществѣ не только остатки прошлаго и зачатки будущаго,—въ немъ имѣется очень сложное и сильное собственное развитіе: капиталистическій строй всегда измѣняется, оставаясь капиталистическимъ.

Одна и та же историческая теорія—научный соціализмъ—даетъ намъ характеристику капиталистическаго строя и раскрываетъ передъ нами революціонныя силы, которыя заставляютъ его безпрерывно ломать и возсоздавать самого себя. К. Марксъ даетъ намъ въ своемъ «Капиталѣ» классическую характеристику того, какъ измѣнился экономическій строй капиталистическаго общества при переходѣ отъ мануфактурнаго къ фабричному производству; онъ не пересталъ, разумѣется, измѣняться съ тѣхъ поръ, какъ К. Марксъ написалъ свой «Капиталъ».

Капитализмъ—живая сила. Онъ развивается, растетъ, становится все многообразнѣе, богаче содержаніемъ; классовыя отношенія упрощаются, но классовая борьба становится все слышнѣе. Чтобы бороться съ капитализмомъ, недостаточно знать общіе законы его развитія, надо еще знать конкретныя условія его жизни въ данное время и въ данной странѣ. Характеризуя страну, какъ капиталистическую, буржуазную, промышленную, мы говоримъ этимъ очень много, но все же не все. Надо еще отдать себѣ отчетъ: *какой* капитализмъ, *какая* буржуазія, *какая* промышленность!

Превращеніе понятія «капитализмъ» въ неизмѣняющійся шаблонъ ведетъ къ серьезнымъ заблужденіямъ. Такъ, напримѣръ, наталкиваясь на видоизмѣненія въ капиталистическомъ обществѣ, думаютъ, что это даже не капитализмъ, а нѣчто новое, и на

томъ строятъ теорію незамѣтнаго врастанія въ соціалистическое общество.

Или же намъ говорятъ: «соціальныя отношенія въ Россіи еще не настолько развиты, чтобы сдѣлать возможнымъ соціалистическое общество, слѣдовательно, будущее здѣсь пока что принадлежитъ капитализму и буржуазіи». Это, разумѣется, вѣрно; невѣрно, однако, думать, что этой общей формулой разрѣшаются всѣ вопросы экономическаго и политическаго развитія Россіи. Наоборотъ, вопросъ только лишь поставленъ, и разрѣшеніе его зависитъ отъ изученія мірового развитія капитализма въ наши дни и спеціальныхъ условій экономическаго развитія и политической жизни Россіи. Въ капиталистическихъ странахъ политическое государство принадлежитъ буржуазіи,—опираясь на эту общую формулу, политическіе фаталисты призываютъ въ Россіи буржуазію править народомъ, какъ раньше звали варяговъ. Однако, что намъ показываетъ политическая исторія капиталистическаго Запада? Господствуя, буржуазія безпрерывно ведетъ борьбу за господство: противъ господствующихъ слоевъ прежняго времени, въ собственной средѣ, противъ надвигающагося на нее пролетаріата. Это не то, что старое сословное государство, оставшееся неизмѣннымъ цѣлыя столѣтія; господство буржуазіи нѣчто неуловимо измѣнчивое, мѣняющее и составъ свой и характеръ. Въ рамкахъ парламентарнаго государства буржуазія создавала, разрушала и возсоздавала самыя разнообразныя политическія формы отъ самой широкой демократіи до открытой плутократіи. Измѣняется кореннымъ образомъ политическій характеръ буржуазіи: крупная буржуазія на Западѣ давно перестала быть революціонной и становится имперіалистичной не только въ смыслѣ расширенія могущества государства, не только въ смыслѣ усиленія правительственной власти насчетъ народнаго представительства. Не взирая на все это, требуютъ отъ другихъ общественныхъ слоевъ въ Россіи, чтобы они подчинялись, не то чтобы политическимъ интересамъ буржуазіи, а въ еще болѣе узкомъ смыслѣ парламентарному руководству буржуазныхъ партій. Однако, во всѣхъ общественныхъ движеніяхъ въ Россіи буржуазія до сихъ поръ была въ хвостѣ. Казалось бы, это должно наводитъ на мысли. Но вмѣсто того, чтобы сдѣлать изъ этого историческаго факта политическій выводъ и провѣрить свой исходный пунктъ, обвиняютъ исторію къ безпорядочномъ образѣ дѣйствій и командуютъ другимъ общественнымъ слоямъ отступить назадъ, чтобы выравнять линію. «Посторонитесь, господа, дайте мѣсто буржуа! Потише, ибо онъ пугливъ. Поскромнѣе, ибо онъ благовоспитанъ. Безъ задору, ибо онъ не любитъ раздражаться. Не упоминайте ему о матеріальныхъ жертвахъ, ибо онъ не безкорыстенъ. И не толкайтесь впередъ, ваше мѣсто позади!» Отступленіе оппозиціи по всей линіи называютъ объединеніемъ оппозиціи.

Наблюденіе повседневной жизни капиталистическихъ государствъ выдвигаетъ наружу факторы, которые, при изученіи основныхъ историческихъ теченій, играютъ второстепенную роль.

Таковъ идейный факторъ. Нѣтъ ничего болѣе ошибочнаго, какъ тотъ взглядъ, будто матеріалистическое пониманіе исторіи исключаетъ изъ нея элементъ идейныхъ конструкцій. Ученые, думающіе исправлять или дополнять Маркса тѣмъ, что указываютъ на существованіе и вліяніе юридическихъ нормъ, культурнаго развитія и т. п., исправляютъ и заполняютъ этимъ только свое собственное узкое пониманіе Маркса. Историческіе труды Маркса какъ и Энгельса достаточно ясно показываютъ, что они считались и съ идейнымъ и съ личнымъ факторомъ. Схема матеріалистическаго пониманія исторіи вкратцѣ слѣдующая.

Развитіе производства опредѣляетъ экономическую структуру общества. Послѣдняя, т. е. система отношеній въ добываніи и распредѣленіи матеріальнаго богатства, обусловливаетъ дальнѣйшую соціальную надстройку: государственную форму, правовыя нормы, семейныя отношенія. Все вмѣстѣ предопредѣляетъ, въ связи съ естественными условіями существованія людей и законами индивидуальной психики, духовную жизнь общества: развитіе религіозныхъ воззрѣній, науки, искусства, литературы. Но развитіе идей съ своей стороны вліяетъ на факторы первоначальные, не исключая даже естественныхъ условій существованія людей: человѣкъ, правда, не въ состояніи измѣнить природныя условія, среди которыхъ ему приходится жить, но онъ можетъ до извѣстной степени уйти изъ-подъ ихъ вліянія, оградивъ себя, напр. жилищами и одеждой отъ холода и зноя. Развитіе идей отражается на развитіи производства, но отъ экономической структуры въ очень сильной степени зависитъ, насколько быстро и полно совершается процессъ идейнаго развитія и его вліянія на производство, ибо эта экономическая структура опредѣляетъ, съ одной стороны, какая часть общества и насколько интенсивно принимаетъ участіе въ идейномъ развитіи, съ другой стороны, насколько тѣсна и непосредственна связь между развитіемъ культуры и производствомъ. Развитіе естественныхъ наукъ во время Галилея, конечно, гораздо меньше вліяло на развитіе производства, чѣмъ въ наши дни, когда капиталистическая индустрія пользуется каждымъ научнымъ открытіемъ, чтобы создавать новые товары и новыя потребности и распространить ихъ по всему міру, и вліяніе это будетъ еще болѣе велико, когда удовлетвореніе культурныхъ потребностей массъ не будетъ зависѣть отъ ихъ платежной силы, истощенной капиталистической эксплоатаціей. Развитіе производства, измѣняя экономическую структуру, ведетъ къ измѣненію всѣхъ другихъ общественныхъ отношеній. Въ силу этого происходитъ столкновеніе отживающаго общественнаго строя съ нарождающимся. Производство выдвигаетъ новые общественные интересы въ противовѣсъ старымъ, новыя общественныя группы, новые культурные вопросы. Въ этой коллизіи экономическихъ интересовъ, политическихъ силъ, міровоззрѣній, которыя составляютъ сущность борьбы классовъ, всѣ заинтересованныя стороны пользуются идейнымъ факторомъ для защиты своего положенія или своихъ требованій. Вся идеологическая надстройка исторіи, явившаяся продуктомъ развитія производ-

ственныхъ отношеній, государство, правовыя понятія, религія, культурный укладъ, всѣмъ этимъ теперь господствующій классъ сознательно пользуется, чтобы защитить существующій порядокъ вещей отъ измѣненій, которыя навязываетъ ему дальнѣйшее развитіе производства. Идейный факторъ становится препятствіемъ въ развитіи общества, и препятствіе это тѣмъ болѣе сильно, чѣмъ богаче культура, чѣмъ большими средствами сознательнаго воздѣйствія на общественныя отношенія владѣетъ господствующій классъ. Мы видимъ, какъ легко капитализмъ въ колоніяхъ измѣняетъ по образцу и подобію своему совершенно чуждыя ему производственныя и общественныя отношенія; измѣнить же нашъ политическій строй, опирающійся на міровое товарное производство, на парламентарное государство, на буржуазную армію и буржуазную культуру, далеко не такъ легко. Въ борьбѣ со старымъ идейнымъ порядкомъ, развитіе производства выдвигаетъ новыя идеи и ихъ носителя—новый общественный классъ. Развитіе производства измѣняетъ экономическую структуру общества не непосредственно, отнюдь не постепенно и незамѣтно, а при помощи политической борьбы, классовой борьбы, которая сопровождается борьбой взглядовъ, б о р ь б о й к у л ь т у р ъ.

Необходимо брать общество, какъ органически связанное, растущее, видоизмѣняющееся путемъ взаимодѣйствія, цѣлое. Отнюдь не каждое соціальное явленіе имѣетъ непосредственную экономическую причину, объясняющую его вполнѣ. Но возьмите какое угодно общественное явленіе, прослѣдите его развѣтвленія и связи, и ваши изслѣдованія, въ послѣднемъ результатѣ, васъ обязательно приведутъ къ экономической структурѣ общества. Портной шьетъ платье, поэтъ пишетъ стихи; дѣятельность перваго непосредственно связано съ производствомъ, дѣятельность второго—нѣтъ. Эта разница, однако, окажется гораздо менѣе существенной, если того и другаго взять въ болѣе широкой общественной связи. Вы найдете, напримѣръ, что нѣмецкая романтика была нарождена смутными вожделѣніями нѣмецкой буржуазіи, не находившими себѣ политическаго выраженія, и что та же среда нѣмецкихъ провинціальныхъ городовъ создала особый покрой платья, какъ она создала и особую архитектуру. Когда мы читаемъ сентиментальные стихи того времени, наше воображеніе рисуетъ намъ картину нѣмецкихъ городовъ стараго уклада жизни: тѣсныя, извилистыя улицы, узкіе дома съ заостренными кровлями, тѣсно жмущіеся другъ къ другу, таинственный полусвѣтъ луны, ночного сторожа съ длинной алебардой и фигуры въ широкихъ сюртукахъ съ неуклюжими цилиндрами.

Чтобы вѣрно примѣнять матеріалистическій методъ въ исторіи, нужно самый этотъ методъ понять матеріалистически, это значитъ: не какъ случайную идейную находку, а какъ продуктъ общественнаго развитія. Покуда исторія писалась для правителей (я оставляю въ сторонѣ древнія времена, когда общество еще было мало расчленено, и историческія сказанія, переплетаясь съ поэзіей, религіей, философіей, тѣсно примыкали къ общенарод-

ной жизни), до тѣхъ поръ она исключительно интересовалась дѣяніями князей, военачальниковъ, дипломатовъ, политикой династій и военными событіями. Уже церковь противопоставила этой исторіографіи болѣе широкую философскую идею всеобъемлящаго верховнаго начала, осуществленія воли божьей во всѣхъ дѣлахъ людскихъ, большихъ и малыхъ. Перспективы исторіи расширились, несравненно богаче стало ея содержаніе. Буржуазія, боровшаяся противъ сословнаго господства и противъ «тиранніи» верховной власти, должна была выставить новый принципъ, соотвѣтствовавшій ея боевымъ интересамъ. И вотъ въ исторіи ищутъ идейныхъ началъ. Идейные принципы эти созданы, въ сущности, никѣмъ инымъ, какъ буржуазіей, и историческій методъ ея сводится такимъ образомъ къ тому, чтобы показать, что все развитіе человѣчества имѣло своей спеціальной цѣлью—осуществить ея господство. По мѣрѣ того, какъ соціальное преобладаніе буржуазіи выступаетъ все болѣе рѣзко и ея интересы наполняютъ государственную жизнь, изъ-подъ великихъ идеологическихъ принциповъ исторіи начинаетъ пробиваться матеріалистическое содержаніе: исторія торговыхъ сношеній, исторія хозяйства, исторія обыденной жизни. Буржуазія создаетъ политическую экономію: науку объ экономической структурѣ общества или, съ точки зрѣнія буржуазіи, «о накопленіи богатствъ». На мѣсто культа власти и божества, буржуазія ставитъ свой собственный культъ. Гражданская жизнь, исторія нравовъ, исторія того, какъ создались современный буржуазный укладъ жизни и современная буржуазная культура — вотъ что стоитъ въ центрѣ интереса. Демократизируя политическую жизнь, буржуазія демократизировала исторію. Но съ буржуазіей поднялся также и пролетаріатъ, и его классовая борьба была перенесена въ науку и исторію. Выступая противъ господства буржуазіи, соціализмъ не могъ же видѣть въ исторіи только осуществленіе буржуазныхъ принциповъ. И вотъ онъ выступаетъ противъ идеологической цѣлесообразности въ исторіи вообще. Чтобы противопоставить буржуазному міросозерцанію новое, побѣждающее его, соціалистической мысли пришлось захватить человѣческія отношенія еще гораздо глубже и шире, чѣмъ это сдѣлала мысль буржуазная въ борьбѣ съ сословнымъ господствомъ. Такъ создалось соціалистическое, матеріалистическое пониманіе исторіи: развитіе производства, опредѣляющее экономическую структуру общества и классовое господство, и классовая борьба, измѣняющая въ связи съ развитіемъ производства общественныя отношенія.

Матеріалистическое пониманіе исторіи расширяетъ ея задачу—вотъ въ чемъ главная сила новаго метода. Въ кругъ историческаго изслѣдованія вводится рядъ явленій, которыя раньше ускользали отъ вниманія наблюдателя. Насъ интересуетъ народная жизнь, интересуетъ положеніе трудящихся классовъ, развитіе промышленности. Обративъ вниманіе на эти основныя явленія общественной жизни, мы открываемъ историческія теченія, охватывающія громадный промежутокъ времени и измѣняющія кореннымъ образомъ общественный строй. Мы видимъ то, что не ви-

дѣли и не могли видѣть исторіографы прошлыхъ временъ. Предметъ нашего изслѣдованія другой. Въ силу этого, мы, однако, отнюдь еще не перестали интересоваться тѣмъ, что интересовало ихъ: оно только въ нашемъ изслѣдованіи,—гораздо болѣе полномъ и богатомъ, отступило на задній планъ. Развитіе идей, дѣйствія правителей,—войны—все это имѣетъ интересъ для историка и въ наше время, но оно насъ не удовлетворяетъ, потому что не исчерпываетъ тѣхъ задачъ, которыя мы ставимъ исторіи. Съ другой стороны, изученіе экономическихъ отношеній, классовой борьбы, движеніе народныхъ массъ выдвигаетъ передъ нами большую сумму новыхъ интересовъ, побудительныхъ и обусловливающихъ причинъ, какъ въ развитіи идей, такъ и въ политикѣ правительствъ и въ военныхъ столкновеніяхъ.

Научный соціализмъ, давшій намъ матеріалистическое пониманіе исторіи, идейно вдохновилъ самое могучее политическое движеніе, когда либо охватывавшее рабочія массы. Идеалисты, противопоставляющіе соціалистическому матеріализму идейное начало, показываютъ этимъ то, что въ ихъ идеализмѣ нѣтъ мѣста идеализму пролетаріата; они не знаютъ революціонной идеи борющагося пролетаріата, а знаютъ только попечительство о бѣдныхъ, ихъ идеализмъ есть буржуазное міросозерцаніе, смягченное и замаскированное милосердіемъ.

Если мы дѣлаемъ предметомъ своего историческаго изслѣдованія промежутокъ времени, въ который коренныхъ измѣненій экономической структуры общества не произошло, то передъ нами сами собой болѣе выдвигаются факторы идейные и личные. Вотъ почему въ политическихъ эскизахъ Маркса и Энгельса роль идеи и личности выступаетъ болѣе ярко, чѣмъ въ ихъ большихъ соціальныхъ изслѣдованіяхъ.

Разсматривая исторію современной Германіи—исторію, развившуюся на почвѣ капиталистическихъ отношеній—мы поэтому также видимъ рядъ политическихъ явленій и борьбу культурныхъ теченій, которыя должны быть поняты въ ихъ идейной своеобразности, что, однако, не исключаетъ ихъ связи съ развитіемъ экономическихъ отношеній.

Германія послѣ Франко-прусской войны.

Современный нѣмецъ — новый типъ. Русская интеллигенція 40-хъ годовъ, ѣздившая въ Германію и привозившая изъ страны «мечтателей и поэтовъ» чувствительные стихи и головоломную философію, была бы чрезвычайно удивлена, если бы передъ ней предсталъ нѣмецъ-буржуа нашихъ дней, плотный, трезвенный, самодовольный, со взглядомъ, не знающимъ сомнѣній и готовымъ какъ будто пожрать весь міръ. Не стало философіи, не стало романтики, исчезъ лунный свѣтъ, исчезли мечтательные взоры, вдохновенныя идеализмомъ рѣчи, исчезли и длинные волосы студентовъ; торговые дома, залитыя электрическимъ свѣтомъ улицы,

стройные армейскіе ряды, бряцающіе оружіемъ, вотъ—современная Германія.

Эта новая Германія вступила въ свои права, расширила, раскрыла свой культурный характеръ послѣ великихъ прусскихъ побѣдъ надъ французами въ 1870—71 году. Но чтобы понять ее, намъ необходимо коснуться вкратцѣ событій, послѣдовавшихъ за 48-мъ годомъ.

Каковъ былъ характеръ нѣмецкой буржуазіи въ 48-мъ году? Историки даютъ ей различную оцѣнку. Одни, имѣя въ виду революціонное выступленіе буржуазіи, указываютъ на ростъ политическаго сознанія и подтверждаютъ ея политическую зрѣлость фактами идейнаго расцвѣта ея философіи и литературы и развитія ея торговли и промышленности. Другіе, обращая главное вниманіе на побѣду, одержанную правительствомъ надъ революціей, считаютъ нѣмецкую буржуазію того времени еще недостаточно сознательной, классовыя отношенія еще недостаточно развитыми и подтверждаютъ это статистическими выкладками. Третьи, наконецъ, объясняютъ отступленіе нѣмецкой буржуазіи ея страхомъ передъ надвигавшимся на нее пролетаріатомъ; они опираются на политическіе факты и экономическія данныя. Итакъ, нѣмецкая буржуазія оказывается въ одно и то же время созрѣвшей, недозрѣвшей и перезрѣвшей. Примѣръ этотъ доказываетъ, какъ легко предвзятое политическое сужденіе можетъ обставить себя экономическими и другими фактами.

Оставляя въ сторонѣ разборъ чрезвычайно сложной классовой борьбы и политическихъ теченій, нашедшихъ себѣ выраженіе въ Германіи въ революціи 48-го года, которую, между прочимъ, нельзя выключить изъ общей европейской революціи и нельзя понять безъ нея, остановимся на томъ, что побѣду надъ революціей одержали прусскія войска и австрійскія при помощи русской арміи.

Побѣдивъ революцію, Пруссія и Австрія этимъ самымъ предопредѣлили свою собственную дальнѣйшую исторію.

Для Австріи побѣда надъ революціей означала, какъ показали послѣдующія событія, выдѣленіе ея изъ среды нѣмецкихъ государствъ и паденіе ея могущества. Австрія перестаетъ быть концентраціоннымъ пунктомъ идейнаго стремленія нѣмецкой націи къ объединенію. Порвавъ свою связь съ многомилліонной и сильной нѣмецкой націей, австрійское правительство въ то же время всего меньше было въ состояніи создать политическую связь между народностями собственной страны, надъ которыми господствовала при помощи военной силы. Правительство побѣдило, но силы государства были подорваны. Это и сказалось впослѣдствіи, когда противъ Австріи двинулись прусскіе войска. Разгромъ австрійской арміи при Кенигретцѣ былъ подготовленъ разгромомъ австрійской революціи 48-го года.

Прусское правительство было сильно арміей, набиравшейся изъ крестьянства, и поддерживавшимъ его политически землевладѣльческимъ дворянствомъ. Великая французская революція и борьба противъ Наполеона I заставили Пруссію въ началѣ

19-го столѣтія отмѣнить крѣпостное право, ввести самоуправленіе общинъ, реформировать суды, администрацію, армію и централизовать государственное управленіе. Въ народѣ и въ правительственныхъ кругахъ долго сохранялись традиціи національной борьбы противъ господства французскаго императора. Побѣда надъ революціей также и въ Пруссіи не привела къ успокоенію страны. Безпомощная противъ военной силы, оппозиція не унималась. Политика аннексій, увеличивавшая могущество государства, отнюдь ее не примиряла. Еще въ началѣ 60-хъ годовъ прусскій ландтагъ, выбраный на основаніи трехклассной системы, сессія за сессіей громаднымъ большинствомъ отвергалъ военные кредиты, потребованные правительствомъ. Только послѣ побѣды надъ Австріей, сдѣлавшей осуществимымъ объединеніе Германіи подъ эгидой Пруссіи, прусское правительство находитъ себѣ опору въ націи. Объединеніе Германіи—одна изъ великихъ идей нѣмецкой революціи.

Итакъ, только исполняя требованія революціи, прусское правительство создаетъ себѣ новую популярность. Но идя по этому пути, оно уже съ самаго начала принуждено поступиться своей традиціонной, реакціонной политикой: сѣверо-германскій союзъ становится возможнымъ только путемъ народнаго представительства, выбраннаго на основаніи всеобщаго, равнаго, тайнаго избирательнаго права. Въ это время совершается переходъ буржуазіи на сторону правительства и создается націоналъ-либерализмъ, ставшій впослѣдствіи столь характернымъ для политическаго развитія германской имперіи.

Буржуазія увѣровала въ правительство. Свои надежды она клала на войну, а не на революцію, носителемъ ея идеаловъ стала армія вмѣсто народа. Апоѳеозомъ этой политики стала франко-прусская война.

Франко-прусская война тяжелымъ кошмаромъ легла надъ Германіей. Долгіе годы длилось ея вліяніе. Въ смыслѣ культуры нравовъ это было страшное время. Общественная жизнь развивалась согласно законамъ капиталистическаго, промышленнаго развитія. Росли города, проводились телефоны, прокладывались линіи электрическихъ трамваевъ, люди толпились на фабрикахъ, торговали за прилавкомъ, бѣгали и суетились, любили и ненавидѣли,—но надъ всѣмъ этимъ стлался какой-то кровавый туманъ, омрачавшій умы, мутившій душу.

Что такое произошло?

Нѣмцы убѣдились, что на ихъ сторонѣ сила—грубая, физическая, военная сила. При помощи пушекъ и штыковъ они заставили Францію повиноваться. Все, чѣмъ жила эта страна со времени великой революціи, идеи, волновавшія міръ и приводившія въ трепетъ правителей—все это должно было уступить передъ аргументомъ военнаго превосходства. Такъ вотъ какъ рѣшаются судьбы государства: у кого сила, тотъ и правъ. Армія командуетъ исторіей. Великая французская революція научила монарховъ считаться съ народами, научила уважать идеи: свобода, напримѣръ, была для нихъ раньше философской спекуляціей,

забавой праздной мысли, а революція, поднявшая французскій народъ, показала имъ, что свобода можетъ быть реальной, политической силой. Теперь сведены были старые счеты, и побѣда нѣмцевъ надъ французами заставила народы преклониться передъ военной силой. Хорошо обмундированная, выдрессированная, вооруженная армія—вотъ гдѣ, казалось теперь, залогъ преуспѣянія государства.

Прекрасная Франція, страна солнца и свободы, была повергнута въ прахъ. Сотни тысячъ нѣмецкой арміи со своими пушками, конями и обозами прошлись по ея селамъ и пажитямъ, оставивъ за собою кровавые потоки, пыль и смрадъ сраженій и трепетъ душевный милліоновъ сердецъ. Они стояли подъ Парижемъ, и каждый изъ нихъ чувствовалъ себя побѣдителемъ. Солдатъ, истомленный, грязный, износившійся, прошедшій всѣ муки ада въ многократныхъ сраженіяхъ, терпя голодъ и стужу, мучимый тоской по своимъ близкимъ и по своей родинѣ, дикарь въ новой странѣ, среди новыхъ ему людей, языка которыхъ онъ не понималъ, находилъ удовлетвореніе въ торжествѣ побѣды, въ сознаніи достигнутой цѣли. Онъ не отдавалъ себѣ отчета, какова эта цѣль, но онъ не могъ не дорожить ею, такъ какъ она была искуплена столькими жертвами и страданіями. Какъ всякій трудъ, увѣнчавшійся успѣхомъ, трудъ войны преисполнилъ его увѣренностью въ своихъ силахъ. Онъ неоднократно стоялъ передъ лицомъ смерти, и онъ потерялъ уваженіе къ жизни. Онъ убивалъ, и чувство его закоснѣло, не зная больше состраданія къ людямъ. Солдатъ потерялъ послѣдніе слѣды деревенской простоты, которые еще оставила ему казарма, и пріобрѣлъ свойства бродяги и авантюриста. Въ средѣ офицеровъ и генераловъ, людей привилегированныхъ сословій, огрубѣвшихъ уже въ силу своего классоваго положенія въ своемъ отношеніи къ народу вообще, а тѣмъ болѣе къ народу чужому, но чрезвычайно впечатлительныхъ во всемъ, что касается ихъ самихъ, развилось удальство, высокомѣріе, безразсудное пренебреженіе къ Франціи и безпредѣльная самоувѣренность. Официальный правительственный патріотизмъ всѣ эти свойства соединилъ въ одно, сознательно культивировалъ и прививалъ, какъ арміи, такъ и общественному мнѣнію страны. Буржуазная публицистика охотно содѣйствовала ему. Еще до войны газеты, журналы, книжный рынокъ переполнились національной философіей, національными историческими воспоминаніями, патріотической лирикой. Отчеты о побѣдахъ окончательно взбудоражили умы. Создался тотъ furor teutonicus, который былъ извѣстенъ еще древнимъ, бѣшенный патріотическій ураганъ, охватившій умы. Межъ тѣмъ война отражалась на экономической жизни Германіи тяжелыми бѣдствіями. Фабрики стояли изъ-за недостатка рукъ, поля оставались невоздѣланными, застой въ торговлѣ, общее вздорожаніе припасовъ, горе и слезы вдовъ и сиротъ, семей, оставленныхъ на родинѣ арміей. Но все это покрывалось разбуженными страстями, соединявшими всѣ стремленія къ одному: побѣда—торжество надъ врагомъ.

Въ бивуакахъ подъ Парижемъ, подъ громъ осадныхъ ору-

дій, при трескѣ митральезъ, какой-то нѣмецкій генералъ сочинилъ военный маршъ. Этотъ маршъ сталъ потомъ популяренъ въ германской арміи подъ названіемъ «парижскаго марша». Настроеніе войска въ немъ вылилось во всей его дикости и грубости. Тутъ слышенъ шумъ и лязгъ оружія и топотъ ногъ, и какой-то ревъ и гулъ, тяжелое дыханіе сотенъ тысячъ, грохотъ пушекъ сквозь густую мглу, полную пыли и порохового дыма, и надъ всѣмъ этимъ тонкіе, рѣзкіе, задорные звуки нѣмецкой свирѣли, когда-то увлекавшей за собою веселую толпу при шутовскихъ шествіяхъ въ городахъ средневѣковой Германіи. Парижскій маршъ можно считать символомъ культурнаго развитія Германіи съ тѣхъ поръ. Онъ пронесся по всей странѣ, онъ гудѣлъ у всѣхъ въ ушахъ, отзвуки его слышны до сихъ поръ, они постепенно замираютъ, заглушаемые рѣзко пробивающимися впередъ шумомъ улицы и трескомъ ярмарочныхъ барабановъ.

Долгое время нѣмецкій бюргеръ, каково бы ни было его соціальное положеніе, прежде всего чувствовалъ себя военнымъ. Отмѣривая ситецъ за прилавкомъ, онъ былъ вѣжливъ и предупредителенъ съ покупателями, но въ то же время чувствовалось, что это не просто купецъ, что при всей предупредительности у него есть что-то особенное, отдѣляющее его отъ васъ, что даетъ ему въ чемъ-то несомнѣнное превосходство надъ вами. Выпроводивъ съ любезными поклонами послѣдняго покупателя, нѣмецъ-продавецъ въ тотъ же моментъ переставалъ быть купцомъ и становился унтеръ-офицеромъ или лейтенантомъ въ запасѣ. Общества ветерановъ покрыли всю страну густою сѣтью. По вечерамъ они собирались въ закуренныхъ кабачкахъ, за своимъ особымъ столомъ, у стѣны, увѣшанной старыми клинками, ружьями, и вспоминали за кружкой пива свои военныя авантюры. Портреты Бисмарка и Мольтке, короля Вильгельма I, небольшая военная библіотечка дополняли этотъ мирный уютъ старыхъ солдатъ. Разумѣется они были патріотами до мозга костей. Они были обожателями военной выправки въ личной и общественной жизни не хуже нашихъ николаевскихъ солдатъ. Военная выправка, трезвенность, ясность, отчетливость, стали вообще высшими добродѣтелями, какъ у семейнаго очага, такъ и въ государственной жизни. Отецъ вводилъ въ семьѣ казарменный порядокъ, заставляя вечерами, по приходѣ домой, жену и дѣтей отдавать ему рапортъ по военному о событіяхъ дня. Военные взгляды были перенесены также и на любовь и на эстетику внѣ-семейную: въ кафешантанахъ подбирали рослыхъ дѣвицъ, одѣвали ихъ въ военные мундиры и заставляли ихъ экзерцировать на сценѣ подъ бой барабановъ. Публика была въ восторгѣ. Исчезъ идеалъ Лорелей, расчесывающей свои золотистые кудры при лунномъ свѣтѣ,—мѣсто ея заняла здоровенная баба, умѣющая дѣйствовать прикладомъ.

Вмѣстѣ съ культомъ военнаго духа, выдвинулся главный представитель его—пруссакъ. Нѣмецъ-мечтатель, нѣмецъ-поэтъ создался на югѣ Германіи. Здѣсь, въ причудливыхъ домахъ, среди холмовъ, покрытыхъ лѣсомъ, возникли его саги и народныя пѣсни. Здѣсь, и

по Рейну, стояли рыцарскіе бурги, отъ которыхъ и теперь еще вѣетъ старой романтикой. На югѣ играетъ солнце, зрѣетъ виноградъ; народъ здѣсь и по Рейну живой, общительный, склонный къ шуткѣ и къ пѣснѣ. Пруссакъ—тяжкодумъ, молчаливъ и скученъ. Но пруссакъ одолѣлъ, взялъ силу, и это тяжелое и неуклюжее созданіе, выросшее на пескѣ и навозѣ, среди мрачныхъ лѣсовъ и мертвенныхъ озеръ, стало считаться прототипомъ германца. Пруссакъ прямолинеенъ и твердъ, послѣдователенъ и исполнителенъ. Онъ создалъ необыкновенное чудо, единственное въ мірѣ: честную бюрократію. Такъ исторія распоряжается національными особенностями: понадобилась военная муштровка, и на сценѣ появился пруссакъ!

Гегемонія Пруссіи тяжело сказалась на государственной жизни Германіи. Повсюду вводился прусскій образецъ—прусская систематизація, трезвенность, прямолинейность. Духъ милитаризма, охватившій страну, требовалъ соотвѣтствующаго ему казарменнаго строя. Но вмѣстѣ съ тѣмъ повсюду подымается оппозиція и противъ милитаризма и противъ прусскаго вліянія.

Мы видимъ въ государственной политики Германіи три начала: прусское, имперское и южно-германское. Прусскій король очень неохотно принялъ корону германскаго императора. Ему казалось, что онъ такимъ образомъ отказывается отъ столѣтнихъ традицій династіи, что онъ перестаетъ быть монархомъ Божьей милостью, чтобы занять должностное мѣсто, данное ему по выбору. Онъ уступилъ только настояніямъ Бисмарка. Старикъ Вильгельмъ I оказался правъ въ своихъ опасеніяхъ: старо-прусскія традиціи, дѣйствительно, обречены на исчезновеніе, и уже внукъ его Вильгельмъ II гораздо больше чувствуетъ себя германскимъ императоромъ, чѣмъ прусскимъ королемъ. Гораздо важнѣе этого двойственность или даже тройственность государственной политики, которая, несмотря на несомнѣнное преобладаніе Пруссіи, не переставала раздѣлять имперію.

Промышленная буржуазія является носительницей имперскаго принципа. Мы знаемъ, что и прусскимъ милитаризмомъ она заинтересовалась только лишь въ тотъ моментъ, когда, при его помощи, удалось создать имперію. Такъ какъ послѣдовавшее за основаніемъ имперіи развитіе капиталистической индустріи дало ей огромное богатство, то ея проверженность къ имперіи еще болѣе усилилось. Сильное правительство, военная власть оказались ей къ тому же очень кстати, чтобы держать въ политической зависимости пролетаріатъ. Она и составляетъ кадры націоналъ-либерализма, разбросанные по всей странѣ.

Прусское начало поддерживается юнкерами—землевладѣльческимъ дворянствомъ. И по числу своему, и по своей экономической мощи, они далеко не составляютъ преобладающей силы въ странѣ. Они держатся при помощи династіи, и сами поэтому являются консервативной силой.

Южная Германія противопоставила Пруссіи свою относительную демократію и свою городскую культуру. Тутъ она чувствовала свое превосходство, но она не могла не сознавать своей

слабости передъ имперіей, отъ которой зависѣло дальнѣйшее развитіе націи.

Столкновенія этихъ принциповъ въ политическомъ развитіи германской имперіи были нерѣдки, но до сихъ поръ незначительны по своимъ послѣдствіямъ. Безъ сомнѣнія, въ наши дни готовится рѣшительное политическое столкновеніе между имперскимъ и прусскимъ принципомъ, которое въ тоже время будетъ борьбой между промышленной буржуазіей и аграрнымъ юнкерствомъ.

Насъ, однако, теперь главнымъ образомъ интересуютъ культурныя теченія. Въ литературѣ и искусствѣ югъ Германіи до снхъ поръ держится особнякомъ. Онъ создалъ себѣ свои литературные и художественные центры въ Мюнхенѣ, Карлсруэ, Дармштадтѣ и ревностно ихъ оберегаетъ отъ «прусскаго» вліянія. Югъ выдвинулъ очень сердитую публицистику, направленную противъ Пруссіи и ея вліянія. Наиболѣе выдающимся представителемъ этого направленія былъ знаменитый своими памфлетами докторъ Зигль, нѣмецкій Рошфоръ. Ему на смѣну выступили юмористическіе журналы: «Jugend» и «Simplicissimus», направившіе уже, однако, свои удары также—signum temporis!—противъ закоснѣлости и провинціализма Южной Германіи. «Jugend» съ самаго начала выступила горячимъ защитникомъ имперской идеи, «Simplicissimus», путемъ декадентской безпринципности, пришелъ, въ концѣ концовъ, къ тому же имперскому націонализму.

Главная борьба противъ милитаризма и Пруссіи шла, однако, не отсюда,—она шла изъ низовъ.

Войну вела вся нація, военное опьяненіе охватило всѣхъ, за исключеніемъ небольшой кучки соціалдемократовъ, — но пользу отъ побѣдъ, отъ національныхъ жертвъ и лишеній, съ которыми она была сопряжена, имѣли только промышленная буржуазія, классъ крупныхъ землевладѣльцевъ и правительство. Торжество буржуазіи вмѣстѣ съ тѣмъ вело къ разложенію и соціальному паденію средняго сословія.

Мѣщанинъ опять продѣлалъ одно изъ своихъ обязательныхъ разочарованій. Когда началось военное воодушевленіе, онъ суетился больше всѣхъ, онъ писалъ въ газетахъ, кричалъ на собраніяхъ, составлялъ патріотическія демонстраціи. Онъ былъ вездѣ и повсюду и своей поразительной подвижностью производилъ впечатлѣніе большаго числа. Крупной буржуазіи это нравилось, потому что онъ для нея маркировалъ народъ. Мѣщанинъ же и въ самомъ дѣлѣ увѣровалъ, что онъ и есть нація: отъ него, черезъ него идетъ все, безъ него ничего не возможно, и все для него! Когда же война миновала, о немъ и думать позабыли. Посыпались милліоны въ кассы капиталистовъ, а изъ его кошелька тащили подати. Мѣщанинъ завертѣлся, возмутился, разразился протестомъ и бранью. Онъ то билъ себя въ патріотическую грудь и восклицалъ: «Не мы ли стояли подъ Седаномъ»?—то вдругъ вспоминалъ свое старое якобинство и революціонный 48-й годъ. Было большое раздраженіе, недовольство правитель-

ствомъ, зависть къ капиталистамъ и недовольство больше всего своей собственной судьбой.

Межъ тѣмъ, нѣмецкій пролетаріатъ спокойно и увѣренно организовывался и направлялъ свои удары и противъ милитаризма и противъ капитализма. Соціалдемократическая агитація того времени находится, правда, еще подъ несомнѣннымъ вліяніемъ мелко-буржуазной политической критики. Таково, напримѣръ, то громадное значеніе, которое она придаетъ критикѣ налоговой системы. Но соціалдемократія въ то же время рѣзко отличается отъ всѣхъ другихъ направленій, помимо своей классовой, пролетарской основной точки зрѣнія, опредѣленностью и крайней смѣлостью своихъ требованій, цѣлостностью своего выступленія, направленнаго къ одной, твердо намѣченной политической цѣли. Этимъ она привлекаетъ къ себѣ вниманіе мелко-буржуазной интеллигенціи.

Соціализмъ былъ противопоставленъ буржуазному міросозерцанію, какъ извѣстно, еще въ 40-хъ годахъ. Революція, въ особенности, гражданская война во Франціи, закрѣпила исторически это раздѣленіе. Въ 60-хъ годахъ, при новомъ политическомъ, идейномъ подъемѣ нѣмецкой націи, пролетаріатъ уже выступаетъ отдѣльно, и создаетъ подъ руководствомъ Лассаля особое общественное движеніе. Быстро ставъ центромъ общественнаго вниманія, соціалдемократія, однако, подъ шумъ франко-прусской войны, на время оттирается въ сторону. Вслѣдъ за войной у нея новый расцвѣтъ. Кризисъ 70-хъ годовъ и общее недовольство быстро подымаютъ ее въ гору. Съ тѣхъ поръ она неудержимо растетъ и накладываетъ свою печать какъ на политическую, такъ и на культурную жизнь страны. Правительство и политическія партіи не могутъ не считаться съ соціалдемократіей въ своихъ политическихъ планахъ; но и вниманіе публицистовъ, литераторовъ, художниковъ, всѣхъ культурно-мыслящихъ людей не можетъ не наталкиваться на существованіе рабочаго класса, его особенныя жизненныя условія, особые интересы и взгляды, его неудержимое стремленіе впередъ, страстную политическую борьбу и какой-то затаенный, неизсякаемый, революціонный идеализмъ.

Бисмаркъ какъ-то заявилъ въ рейхстагѣ, что всѣ его политическіе шаги расчитаны на соціалдемократію; при такихъ условіяхъ классовая борьба пролетаріата не могла, конечно, не отразиться на идейной жизни общества. Соціалдемократія стала новымъ культурнымъ факторомъ въ исторіи Германіи.

Посмотримъ теперь, каковъ былъ въ 70-ые и 80-е гг. культурный укладъ нѣмецкаго общества.

Крупная буржуазія состояла изъ фабрикантовъ средней руки, главнымъ образомъ, текстильной промышленности, машиностроительной и желѣзо-заводчиковъ по Рейну. Банки и биржи играли большую роль, но все же, относительно, подчиненную, такъ какъ большинство предпріятій было въ личной собственности. Государственной идеей промышленной буржуазіи была сильная, объединенная Германія; дальше этого она въ то время не шла. Она

преклонялась передъ милитаризомъ и сдѣлала Бисмарка своимъ кумиромъ. Дѣти богатыхъ буржуа въ то время охотно служили въ арміи. Внутренняя политика сводилась къ тому, чтобы быть «хозяиномъ въ домѣ». Но ея авторитетъ отвергался соціалдемократіей,—поэтому она стояла за сохраненіе авторитетовъ. Она охраняла авторитетъ престола и хотя, поскольку была протестантской, не дошла до того, чтобы охранять авторитетъ церкви, однако очень неохотно и смущенно вспоминала о своемъ антирелигіозномъ критицизмѣ въ прошлыя времена и даже Бисмарковскій культуркампфъ былъ ей не совсѣмъ по сердцу. Свои философскіе и литературные интересы она свела на нѣтъ; въ воспитаніи клала главный вѣсъ на технику и коммерцію. Передъ Англіей, классической страной капиталистической промышленности, преклонялась и посылала туда своихъ сыновей на воспитаніе; дочери, однако, готовились къ тому, чтобы выйти замужъ за дворянъ или, по крайней мѣрѣ, военныхъ. Богатые буржуа охотно также сами покупали себѣ помѣстья не для корысти, а для важности, и устраивались въ старинныхъ замкахъ.

Юнкера, эти хранители традицій Пруссіи и династіи, составляли служилое сословіе. Они занимали главныя мѣста въ арміи и администраціи, но идиллія сельской жизни и служебная карьера давно уже перестали ихъ удовлетворять. Ипотечный кредитъ открылъ имъ доступъ къ биржѣ. Они зянялись грюндерствомъ, и ихъ потянуло въ города. Юнкерство обуржуазилось, но буржуазная культура, которую оно приняло, не была уже культурой просвѣтительныхъ идей, какъ въ 18-мъ столѣтіи, а была культурой денегъ, обнаглѣвшей, самодовлѣющей наживы.

Въ кругахъ средней и мелкой буржуазіи—купцовъ, ремесленниковъ, интеллигенціи—необычайная смѣсь интересовъ, понятій, стремленій. Такъ какъ эти общественные слои являются поставщиками идейной культуры въ капиталистическомъ обществѣ, то ихъ собственная путаница, смѣшавшись съ общими противорѣчіями историческаго развитія Германіи, нашло свое выраженіе въ идейныхъ теченіяхъ того времени. Романтика была отвергнута, на мѣсто ея выдвинулся реализмъ. Не стало больше смутныхъ стремленій. Не нужно идеализма. Вся суть въ дѣйствительности, какъ она есть. Дѣйствительность — это буржуазное общество. Люди этого общества, ихъ интересы и столкновенія—вотъ суть и смыслъ литературнаго и художественнаго творчества.

Художники уже раньше начали списывать природу. Какую природу? Зачѣмъ намъ Италія, у насъ есть своя природа, и у насъ свѣтитъ солнце, весна будитъ жизнь, осень покрываетъ наши болота цвѣтной пеленой, зима ихъ застилаетъ бѣлымъ пологомъ. Нѣтъ объективной красоты, надо умѣть воспринять красоту въ каждомъ кустикѣ, въ каждомъ свѣтовомъ пятнѣ, а это возможно только у себя на родинѣ. Какое разнообразіе человѣческихъ лицъ, народныхъ нарядовъ! Фантазія изгоняется изъ художественнаго творчества.

Въ ту пору, когда нѣмцы зачитывались стихотвореніями

Гейне, нѣмецкое художество выдвинуло Морица фонъ Швинда. Его творенія носятъ несомнѣнно отпечатокъ буржуазной культуры. Если бъ исчезли всѣ другіе документы общественной жизни Германіи, то по произведеніямъ Швинда можно было бы возстановить картину культурныхъ нравовъ Германіи въ 30-хъ и 40-хъ гг. И все же, чего бы ни коснулась его кисть,—имѣемъ ли мы передъ собою героевъ нѣмецкихъ сказокъ, комнату студента или выѣздъ почтоваго дилижанса раннимъ утромъ,—надъ всѣмъ разлита нѣжная, задумчивая лирика. Эта поэтическая поволока исчезаетъ въ художественныхъ произведеніяхъ послѣдующаго періода. 70-ые и 80-ые годы — время необыкновеннаго расцвѣта художественной техники и чрезвычайной бѣдности художественнаго содержанія. На сцену, протежируемая дворомъ, выступаетъ историческая и военная живопись. Если бы мы тутъ имѣли дѣло только съ господиномъ А. фонъ Вернеромъ, то все направленіе можно было бы пройти молчаніемъ. Но сюда относятся также геніальныя произведенія Адольфа Менцеля. Къ этому патріотическому художеству примыкаетъ портретная живопись Ленбаха.

Портретисты вообще идутъ въ гору. Рисуютъ отдѣльныхъ лицъ, но рисуютъ ихъ столь же ярко, какъ и трезвенно, или рисуютъ цѣлую среду, вродѣ, напр., Макса Либермана. Но не только идейное содержаніе художественныхъ произведеній, мѣняется также эстетическое настроеніе художниковъ. Культъ грубой силы создаетъ идеализацію тяжелыхъ человѣческихъ формъ въ произведеніяхъ Франца Штука.

Художество находится подъ гораздо болѣе сильнымъ вліяніемъ буржуазіи, чѣмъ литература. Литература разсчитана на большую публику, художественныя же произведенія находятъ себѣ покупателей въ исключительной средѣ. Но художники и литераторы по существу своему демократичны, отчасти по своему происхожденію, главнымъ же образомъ потому, что ихъ творческая мысль старается воспринять и возсоздать всю народную жизнь. Новыя культурныя теченія носятъ вначалѣ характеръ общій, реагируя на самыя противорѣчивыя общественныя явленія, но вскорѣ капиталистическая буржуазія накладываетъ на нихъ свою печать, претворяетъ ихъ въ себя, при чемъ процессъ этотъ въ художествѣ происходитъ гораздо скорѣе, чѣмъ въ литературѣ.

Нѣмецкое художество очень слабо реагировало на жизнь угнетенныхъ классовъ. Главнымъ образомъ, въ картинахъ на религіозныя и библейскія темы, изображая Христа, его проповѣдь, или возвращеніе блуднаго сына и т. п.; или же она изображала бѣдноту, очень рѣдко трудъ и жизнь рабочихъ. За то скульптура бельгійца Менье пользовалась большей популярностью. Онъ находитъ публику и почитателей, гораздо меньше покупателей.

Реалистическая нѣмецкая литература, такъ называемая «Молодая Германія», сразу проявила себя и демократичной и революціонной. Она отразила на себѣ буржуазную культуру, ставъ

къ ней въ оппозицію. Она не знаетъ больше буржуазныхъ идеаловъ, ея вниманіе сосредоточено на разложеніи буржуазнаго общества. Будничныя лица, будничные интересы, будничные конфликты составляютъ ея содержаніе. Интересы языка отходятъ для нея въ сторону, какъ для натуралистическаго художества интересы красоты. Она тѣмъ болѣе рьяно возстаетъ противъ классической позы, противъ романтической фразы, чѣмъ яснѣе разворачивается передъ ней въ своей грязной наготѣ буржуазная дѣйствительность. Этотъ взглядъ переносится также и на сценическое искусство. Хотятъ видѣть на сценѣ живыхъ людей, говорящихъ языкомъ улицы и домашняго обихода.

Наряду съ идейными конфликтами разлагающейся семьи, нѣмецкая литература того времени выдвигаетъ соціальные конфликты. Такъ, Максъ Кретцеръ съ чрезвычайной теплотой чувства, жгучестью красокъ рисуетъ соціальную агонію, обреченнаго капиталомъ на исчезновеніе, ремесла. Зудерманъ въ своей знаменитой «Чести» противопоставляетъ жителей «задняго двора» съ ихъ особой жизнью, особой моралью жильцамъ «свѣтлой половины». Гергадтъ Гауптманъ рисуетъ великую драму ткачей, возстающихъ противъ губящей ихъ, въ рукахъ капиталистическихъ предпринимателей, машины. Въ области соціальной лирики выдвигаются Арно Гольцъ и Рихардъ Демель.

Этотъ соціально агрессивный характеръ молодой реалистической литературы сближаетъ ее съ соціалдемократіей, до извѣстной степени онъ самъ обусловленъ ею. Между «Молодой Германіей» и германской соціалдемократіей не трудно установить и умственную и личную связь. Однако не соціализмъ, какъ міросозерцаніе, импонировалъ имъ—они были слишкомъ мѣщанами и буржуа, чтобы усвоить его—главнымъ образомъ имъ импонировало политическое выступленіе рабочаго класса. Они чуяли въ пролетаріатѣ новую соціальную силу, идущую на смѣну старой, цѣнили его за его революціонность и искали у рабочихъ новыхъ культурныхъ идеаловъ. Въ концѣ 80-хъ и началѣ 90-хъ годовъ возникаютъ планы единенія молодой литературы съ пролетаріатомъ, идея свободнаго народнаго театра и т. п. Это была та пора, когда германская соціалдемократія, сплотивъ вокругъ себя, несмотря на исключительные законы, милліонныя рабочія массы, достигла наивысшаго пункта своего моральнаго вліянія.

Единеніе съ пролетаріатомъ очень скоро завершилось повальнымъ бѣгствомъ отъ пролетаріата. Оказалось, что у рабочихъ нѣтъ интереса къ новой литературѣ. Оказалось, что личный идеалъ рабочаго не идетъ дальше мѣщанскаго благополучія. Съ горькимъ смѣхомъ разочарованія молодые поэты повернули ему спину. Въ сущности они впали въ противорѣчіе съ самими собой. Вѣдь сами же они рисовали нищету и грубость, среди которыхъ выросталъ и жилъ рабочій! Откуда же рабочему было взять новый великій культурный идеалъ? Пролетаріатъ боролся за то, чтобы выйти изъ матеріальной нужды. Для этого нуженъ былъ соціальный переворотъ. Тогда лишь пролетаріатъ по-

лучилъ бы возможность развить свои культурныя потребности и создать новую культуру. И создастъ онъ ее, только усвоивъ себѣ раньше культуру прошлаго. Но почему же рабочихъ не удовлетворила новая литература? Да именно потому, что рабочіе искали просвѣтленія, а имъ литературно воспроизводили ту мрачную дѣйствительность, отъ которой они хотѣли уходить прочь. Къ тому же рабочихъ, выдвигающихъ могучій коллективный духъ, личные конфликты, которыми переполнена буржуазная литература, мало затрагиваютъ, а еще больше чужда имъ червоточина интеллигентской психики. Рабочіе живутъ будущимъ. Они рвутся къ свѣту и красотѣ. Ихъ революціонизмъ тѣсно связанъ съ идеализмомъ.

Оторвавшись отъ пролетаріата, котораго въ сущности только коснулась, литература одно время осталась внѣ соціальной среды. Буржуазная дѣйствительность, которая когда-то, напримѣръ, въ романахъ Гуцкова, выставлялась какъ жизненный идеалъ, а впослѣдствіи, какъ мы только что видѣли, заинтересовывала негативной стороной, теперь теряетъ и этотъ интересъ. Но внѣ соціальной среды, внѣ идущихъ отъ общества идеальныхъ стимуловъ, всякое художественное творчество — форма безъ содержанія. На смѣну реализма выступаетъ импрессіонизмъ. Начинается культъ самодовлѣющаго художественнаго творчества, культъ формы, красоты, какъ таковой. Живопись ищетъ колористическихъ эффектовъ, поэзія—риѳмы и фразы. Чтобы маскировать бѣдность мысли, бросающуюся въ глаза, какъ рубище нищаго, покрываютъ содержаніе мистической пеленой, придаютъ отдѣльнымъ словамъ и положеніямъ какой-то особый символическій смыслъ, останавливаются на одномъ какомъ-нибудь настроеніи, утончая его воспріятіе, и воспроизводятъ его, варьируя многократно одну и ту же тему.

Межъ тѣмъ культурный укладъ общественной жизни Германіи опять измѣнился. Исполинскіе городскіе центры съ ихъ міровыми культурными связями опредѣляютъ ея общій характеръ. Капиталистическій городъ 20-го столѣтія подбираетъ себѣ особый составъ населенія, создаетъ новыя формы общественной жизни, новыя семейныя отношенія, новый типъ людей. Онъ ускоряетъ темпъ жизни, расширяетъ необыкновенно умственный кругозоръ своихъ жителей, будитъ ихъ жизненные интересы, увеличиваетъ ихъ самоувѣренность. Культура большого города, созданная капиталистическимъ міровымъ рынкомъ, рветъ со всѣми традиціями. Борьба этой новой культуры со старыми житейскими взглядами, ставшими въ ея глазахъ провинціализмомъ, одна изъ наиболѣе характерныхъ чертъ современной Германіи. Она именно даетъ содержаніе такъ наз. «новому либерализму».

Новое культурное теченіе находитъ себѣ выраженіе и въ политикѣ и въ литературѣ. Опредѣленной программы у него нѣтъ; самое большее, у него есть боевой лозунгъ. Послѣдній можно формулировать такъ: «Прочь всякую конвенціональность! Долой узость—просторъ, ширь, свѣтъ, свобода»! Застрѣльщикомъ

въ этой борьбѣ служитъ до сихъ поръ уже упомянутый нами сатирическій журналъ «Simplicissimus».

Культуру современнаго большого города нельзя умѣстить подъ прусскую государственную формулу съ ея военной выправкой и чиновной схемой. Оппозиція противъ военнаго духа уже идетъ не только съ юга, она охватываетъ всю страну.

Обаяніе военнаго мундира исчезло, и измѣнился духъ арміи. Лейтенантъ, въ 70-ыхъ г.г. рисовавшійся въ воображеніи нѣмецкихъ барышенъ молодымъ воиномъ съ загорѣлымъ отъ огня сраженій лицомъ, блестящими глазами, смѣлый, рѣшительный, страстный, сталъ героемъ баловъ и раутовъ, а затѣмъ отъ продолжительнаго бездѣлья, при непрерывномъ ухаживаніи дочерей и маменекъ, какъ-то размякъ, пріобрѣлъ томный видъ, не мужественныя, а женственныя манеры, и превратился въ смѣшную фигуру, не сходящую со страницъ каррикатурныхъ журналовъ. Къ тому же новое поколѣніе офицеровъ скоро убѣдилось, что крупный банковый чекъ важнѣе офицерскихъ погонъ, и создало въ своей средѣ культъ богатыхъ сынковъ. Еще до войны армія распадалась по сословіямъ. Патріотическое воодушевленіе передъ войной, годъ общихъ страданій и борьбы, торжество побѣды создали нѣкоторую идейную связь между офицерами и солдатами. Связь эта давно расторгнута. Нѣмецкая армія гораздо болѣе рѣзко раздѣлена на враждебные другъ другу классы, чѣмъ страна.

Палъ политическій авторитетъ арміи. Для единенія націи, насколько оно вообще возможно въ классовомъ государствѣ, недостаточно внѣшней связи, нужно развитіе гражданственности. Истина эта все болѣе настойчиво выступаетъ передъ нѣмецкимъ обществомъ. Но этому стоитъ въ пути та самая военная сила правительства, которая помѣшала объединенію Германіи въ 48 г. Наконецъ, политическое развитіе Европы показало, что могутъ быть комбинаціи военныхъ силъ, передъ которыми и вооруженная Германія должна пассовать. Выдвинувшаяся за послѣдніе годы политическая гегемонія Великобританіи сильно сбавила спѣси нѣмецкому милитаризму и чрезвычайно благотворно повліяла на развитіе культуры въ Германіи.

Даже внѣшній видъ націи какъ будто измѣнился. Съ людей спало оцѣпенѣніе военнаго гипноза. Члены расправились, движенія стали вольнѣе, выраженіе лица смягчилось, глаза перестали фиксировать точку въ пространствѣ, засвѣтились опять мыслью и разумнымъ вниманіемъ. Нѣмцы какъ будто проснулись послѣ тяжелаго сна, протерли глаза, оглянулись другъ на друга и на свѣтъ вокругъ себя. И все имъ показалось иначе, прежде всего проще, естественнѣе. Нація зашевелилась, заговорила.

Но это уже не Германія 40-хъ и не Германія 70-хъ и 80-хъ г.г. Помимо внѣшней культуры большого города, измѣнились соціальные интересы и культурные взгляды буржуазіи, такъ какъ измѣнился ея жизненный укладъ и измѣнился ея внутренній составъ. Укажу здѣсь только на главную черту. Промышленный капиталъ выдвинулъ магнатовъ индустріи, экономическое вліяніе которыхъ идетъ далеко за предѣлы объеди-

ненной въ имперію націи и охватываетъ міры. Биржа и банки концентрировали эту силу и увеличили ея интернаціональный характеръ. Для этой плутократіи народные интересы не существуютъ, она порвала свою связь съ націей. Правительства она считаетъ своими слугами. Монархическія династіи, предъ которыми буржуазія преклонялась, даже послѣ того, какъ урѣзала ихъ политическую власть, потеряли въ глазахъ королей биржи и промышленности свое величіе. Примѣръ американскихъ мультимилліонеровъ показываетъ имъ, что накопленіемъ капитала можно создать себѣ еще гораздо большую и экономическую и политическую власть. Самъ императоръ Вильгельмъ II преклонился передъ этими новыми властителями міра. Онъ продаетъ теперь свои королевскіе замки, превращаетъ старинное наслѣдіе дома Гогенцоллерновъ въ капиталъ. Разсчетъ ясный: содержаніе замковъ ему стоитъ сотни тысячъ въ годъ; если же онъ на вырученные отъ ихъ продажи милліоны купитъ американскія желѣзнодорожныя акціи или акціи Круппа—онъ уже и теперь владѣетъ ими—то получитъ сотни тысячъ дохода! Близко то время, когда императоръ Вильгельмъ II съ гордостью будетъ называть себя первымъ капиталистомъ своей страны.

Съ паденіемъ реалистической литературы сорвана послѣдняя идеологическая пленка, соединявшая пролетаріатъ съ буржуазіей. Обличительный характеръ этой литературы предполагалъ во всемъ обществѣ интересъ ко всякимъ проклятымъ вопросамъ, выдвинутымъ буржуазной средой, и къ жизни массъ. Теперь верхи буржуазіи ушли такъ далеко, что потеряли всякую воспріимчивость къ тому, что дѣлается въ низахъ. И вотъ, когда понадобилась новая культурная идеологія, на сценѣ, вѣрный своей исторической роли, опять появился мѣщанинъ-интеллигентъ и преподнесъ своему господину новою философію и новую поэзію. На этотъ разъ онъ превзошелъ самого себя. Онъ создалъ свою новую идеологію, совершенно не предвидя того, какъ измѣнятся соціальныя отношенія. Онъ дошелъ до нея путемъ самоотреченія. Просто, взялъ и вывернулъ себя на изнанку: отвергъ все, что считалъ благомъ и нравственными устоями—всѣ цѣнности жизни. И что же?—это какъ разъ оказалось нужнымъ! Культъ «сверхъчеловѣка» помогъ ему преклониться предъ взобравшимся на гору золота капиталистомъ.

Магнаты капитала—массы пролетаріата; индустріализмъ—соціализмъ,—таково теперь положеніе въ Германіи!

Парвусъ.

IV.

ФИЛОСОФІЯ.

В. Базаровъ.

Богоискательство и „богостроительство“ *).

Одной изъ характерныхъ особенностей переживаемаго нами времени является кризисъ интеллигентскаго свободомыслія. Все болѣе и болѣе широкіе круги нашего общества начинаютъ чувствовать себя какъ-то не ловко, не уютно, какъ-то «не по себѣ» въ атмосферѣ традиціонныхъ н а у ч н ы х ъ воззрѣній на природу и человѣка. Не только »грубый» матерьялизмъ и «пошлый» позитивизмъ не удовлетворяютъ болѣе истинно-культурнаго интеллигента, но и ходячій идеализмъ нѣмецко-кантіанской марки кажется ему слишкомъ прѣснымъ, тусклымъ, слишкомъ приспособленнымъ къ требованіямъ скучнаго «обыденнаго» разума. Лишь сверхъ-разумное откровеніе, лишь мистическое касаніе мірамъ инымъ обѣщаетъ пролить цѣлительный бальзамъ на раны истомленной интеллигентской души.

Съ этой тягой отъ позивитивизма къ мистицизму тѣсно связана другая черта, столь же характерная для психологіи современныхъ исканій.

Въ прежнее время русскій свободомыслящій интеллигентъ гордился своимъ культурнымъ интернаціонализмомъ. Ему пріятно было чувствовать себя духовнымъ гражданиномъ міра въ противовѣсъ узкимъ и ограниченнымъ «патріотамъ своего отечества». Отдаваясь какому-либо идейному потоку, порожденному движеніемъ всемірной культуры, интеллигентъ отнюдь не скрывалъ заграничнаго происхожденія своихъ доктринъ, а наоборотъ, умышленно выставлялъ его напоказъ и подчеркивалъ. Уже въ самой терминологіи явственно проступалъ этотъ «западно-европейскій» колоритъ русскихъ направленій; онъ сказывался уже въ преобладаніи глаголовъ на «ировать», существительныхъ на «измъ», «акція», «енція», и т. п.

---

*) Рефератъ, прочитанный въ „Спб. Литературномъ О б 1

Діаметрально противоположное стремленіе обнаруживается въ настоящее время. Въ лексиконѣ свободомыслящихъ искателей религіи «измы» и «енціи» тщательно замѣняются словами на «ость» и «еніе». Наблюдается явная склонность возстановить тотъ испорченный церковно-славянскій складъ рѣчи, который въ до-Пушкинскія времена именовался «высокимъ штилемъ» и считался необходимой принадлежностью «высокихъ матерій». Интернаціонализмъ провозглашается пошлымъ и «бездарнымъ». Свободомыслящія сердца настраиваются на строго патріотическій ладъ. Изъ родной почвы хотятъ они черпать свое вдохновеніе, родными соками питаться. И только при этихъ условіяхъ надѣются получить плодъ, способный насытить ихъ великое алканіе,—плодъ, имѣющій уже не мѣстное, а всемірное историческое значеніе, верховный синтезъ, озаряющій пути не одной русской, но и всеевропейской культуры.

Ex Oriente lux!—этотъ боевой кличъ стараго славянофильства все чаще и чаще начинаетъ звучать въ рѣчахъ нашихъ libre-penseur'овъ. Карты настолько перепутываются, что казенные «патріоты своего отечества», оффиціальные потомки и преемники слафянофиловъ оказываются зачастую въ совершенномъ недоумѣніи. Что сулятъ эти родные, ласкающіе звуки въ лагерѣ «наслѣдственнаго врага»? Собирается ли блудный сынъ вернуться въ отчій домъ, къ святымъ историческимъ завѣтамъ, и отрясаетъ съ этой цѣлью прахъ либеральной скверны отъ ногъ своихъ... или же онъ только закладываетъ новую либеральную мину, искусно маскируя ее святыми символами? И что надлежитъ предпринять: заклать упитаннаго тельца, широко раскрыть родительскія объятія... или кликнуть городового съ ближайшаго поста?

Будущее покажетъ, какъ разрѣшатся эти тягостныя недоумѣнія оффиціальныхъ блюстителей исторической святыни. По всей вѣроятности, упитаннаго тельца придется все-таки заготовить, но и нарядъ полиціи—нельзя же безъ предосторожностей!—займетъ подобающее ему мѣсто на пирѣ примиренія. И конечно, это ничуть не нарушитъ искренности и задушевности грядущаго торжества, а лишь придастъ ему необходимую торжественность и величавость.

Впрочемъ, эти блестящія и трогательныя перспективы вырисовываются въ довольно отдаленномъ будущемъ. Въ настоящее время даже тѣ религіозные интеллигенты, которые, подобно г. Струве, пытаются обоготворить государство, мистически воспріять

истину имперьялизма и слагаютъ пѣснопѣнія въ честь грядущаго россійскаго Бисмарка,—даже они далеки отъ оффиціальнаго признанія. Нечего уже и говорить о мистикахъ хиліастахъ, объявляющихъ всякую власть, кромѣ власти Христа, началомъ антихристовымъ и, вообще, дѣлающихъ изъ своихъ религіозныхъ посылокъ самые радикальные, самые революціонные, и даже сверхъ революціонные политическіе выводы. Черта, отдѣляющая ихъ отъ оффиціальныхъ святынь, намѣчена очень отчетливо; и въ настоящій моментъ они только тѣмъ и занимаются, что всячески углубляютъ эту черту, стараются возможно рѣзче выставить ее въ глазахъ публики, дабы никто не смѣшалъ ихъ огненнаго «катастрофическаго» мистицизма съ успокоенной религіозностью нашей позитивной государственной церкви.

Политическій радикализмъ мистиковъ въ связи съ ихъ тягой къ нѣдрамъ народной души вызвалъ за послѣднее время рядъ недоумѣній и породилъ даже толки о возрожденіи стараго народничества. Въ дѣйствительности тутъ нѣтъ рѣшительно ничего общаго. Когда г. Блокъ читалъ въ «Литературномъ Обществѣ» о трагической расколотости интеллигентской души, о ея жаждѣ перейти роковую черту, залегшую между интеллигенціей и народомъ,—то его слова только по внѣшности напоминали исканія революціоннаго народничества. Революціонное народничество, несмотря на всю свою вѣру въ самобытные устои мужицкой жизни, несмотря на все свое презрѣніе къ буржуазной культурѣ «Запада», было носителемъ идеаловъ именно этой «западной» европейской, вѣрнѣе, всемірной культуры. Народники устремлялись въ деревню, потому что тамъ, въ крестьянской общинѣ, въ порожденной его идеологіи и «поэзіи земледѣльческаго труда» видѣли мощный зародышъ той высшей формы жизни, до которой додумалась западно-европейская революціонная мысль,—зародышъ соціализма. Намѣчая для Россіи въ мечтахъ своихъ иной, болѣе короткій путь развитія, народники хотѣли идти къ той же цѣли, къ которой идетъ рабочая масса всего культурнаго міра. Мистическія стороны мужицкой души, ея традиціонныя вѣрованія разсматривались какъ порожденія внѣшняго гнета и невѣжества, которымъ предстоитъ растаять въ огнѣ всенароднаго революціоннаго пожара. Если народники, подобно мистикамъ нашего времени, положительно относились къ сектантству, то отнюдь не потому, что въ немъ разгорается мистическое пламя, угасшее въ храмахъ казеннаго православія,

а наоборотъ, потому что видѣли въ сектантствѣ торжество раціонализма, разума человѣческаго, освобождающаго народную думу отъ всѣхъ видовъ мистики. Не даромъ Достоевскій, истинный духовный отецъ современнаго интеллигентскаго мистицизма видѣлъ въ революціонныхъ народникахъ и вообще въ соціалистахъ только «бѣсовъ».

Этимъ завѣтамъ консерватора Достоевскаго остались вѣрны и его радикальные послѣдователи. Для г. Мережковскаго соціализмъ—это «грядущій хамъ». Если припомнимъ, что сущность діавола или «бѣса» есть по Мережсковскому именно «хамство», то мы должны будемъ признать, что политическій радикализмъ современныхъ мистиковъ не внесъ въ ихъ оцѣнку соціализма рѣшительно ничего новаго по сравненію съ оцѣнкой Достоевскаго,—г. Мережковскій только перевелъ выраженіе Достоевскаго на свой собственный языкъ. Правда, г. Мережковскій въ одномъ изъ собраній «Литературнаго общества» энергично протествовалъ противъ утвержденія, что терминъ «хамство» относится имъ въ первую голову къ соціализму. «Конечно и въ соціализмѣ есть хамскія черты, я этого не отрицаю», говорилъ онъ, «но вѣдь я же ясно сказалъ, что прежде всего я называю хамствомъ старый режимъ какъ государственный, такъ и церковный».

Всякій, знакомый съ работами г. Мережковскаго, согласится, конечно, со мной, что въ этомъ его заявленіи имѣется маленькая фактическая неточность, маленькое перемѣщеніе центра тяжести. И въ «Грядущемъ Хамѣ» и въ «Гоголѣ и Чортѣ» и во многихъ другихъ своихъ произведеніяхъ г. Мережковскій очень «ясно сказалъ», что въ соціализмѣ, въ «аллюминіевыхъ дворцахъ» соціалдемократіи, въ идеалѣ позитивнаго устроенія человѣчества, онъ видитъ высшее, законченное выраженіе той буржуазной пошлости, того хамства, которымъ пропитана современная европейская культура. Не подлежитъ такимъ образомъ никакому сомнѣнію, что именно къ соціализму, какъ принципіальному врагу всякой мистики, титулъ «Хамъ» относится въ первую голову, а лишь затѣмъ къ старому режиму, — и лишь постольку примѣнимъ онъ къ этому послѣднему, поскольку онъ своимъ мертвымъ позитивизмомъ подавляетъ въ душѣ человѣческой то мистическое начало, на которое самъ же онъ опирается. Да, наконецъ, если дѣло идетъ въ первую голову о старомъ режимѣ, то при чемъ же тутъ «грядущій» Хамъ? Мы, кажется, достаточное количество

вѣковъ наслаждаемся благами традиціонной государственности и традиціонной церковности для того, чтобы освоиться съ мыслью, что это дѣйствительно существующіе, а не грядущіе только факты.

Что касается г. Блока, упорно выступающаго въ нынѣшнемъ году въ роли мистика-народоискателя, то для него самая мысль о томъ, что съ соціализмомъ можно связывать какія-либо горячія, задушевныя надежды, совершенно дика и непонятна. Говоря въ своемъ рефератѣ о міросозерцаніи Горькаго, онъ счелъ необходимымъ извиниться передъ публикой за то, что міросозерцаніе это находится, какъ будто бы въ нѣкоторой компрометтирующей связи съ соціализмомъ. Многіе великіе люди, успокаивалъ насъ г. Блокъ, имѣли разныя слабости и причуды, иногда не совсѣмъ красивыя и даже не совсѣмъ опрятныя. Нѣкоторые ученые были пьяницами, Бэконъ Веруламскій былъ взяточникъ... Горькій—соціалистъ. И на томъ же основаніи, на какомъ потомство простило Бэкону его взяточничество, г. Блокъ рекомендовалъ намъ быть снисходительными къ соціализму Горькаго.

Мы видимъ, такимъ образомъ, что за внѣшнимъ, поверхностнымъ сходствомъ современнаго мистическаго радикализма съ революціоннымъ народничествомъ скрывается глубокая принципіальная противоположность. Народники при всей своей «самобытности» были типичнѣйшими интернаціоналистами, горячими и во многомъ совершенно дѣвственными, платоническими поклонниками всемірной культуры;—если они мирились съ временнымъ отказомъ отъ очень существенныхъ—не только матеріальныхъ, но и духовныхъ—благъ этой культуры, то исключительно потому, что такимъ путемъ разсчитывали всего скорѣе осуществить высшія культурныя цѣнности, завоевать ихъ вмѣстѣ съ народомъ и для всего народа.—На совершенно иной почвѣ выростаетъ современное мистическое устремленіе къ народу. Дѣвственности тутъ нѣтъ и слѣда. Все, что можетъ дать самая утонченная культура, здѣсь извѣдано, испробовано, просмаковано до конца и успѣло надоѣсть до тошноты. Въ итогѣ оказывается, что ни наука, ни философія, ни даже искусство, сами по себѣ, не могутъ уже породить творческаго вдохновенія, не могутъ дать стимула къ энергичной борьбѣ за расширеніе культурныхъ цѣнностей. Одухотворяющія культуру высшія эмоціи куда-то провалились,—и лишенная этого духовнаго цемента куль-

турная жизнь омертвѣла, превратилась въ трупъ, разсыпалась на рядъ отдѣльныхъ, ничѣмъ не связанныхъ между собою «благъ», на рядъ предметовъ матеріальнаго, умственнаго и нравственнаго комфорта.

Жить однимъ только потребленіемъ, однимъ только всестороннимъ комфортомъ, безконечно скучно,—но отказаться отъ этихъ презрѣнно-милыхъ культурныхъ мелочей жизни, отъ ея привычекъ, потребностей, формъ общенія, нѣтъ силъ, а главное нѣтъ смысла. Вѣдь весь трагизмъ человѣка, заболѣвшаго культурной оскоминой, какъ разъ въ томъ и заключается, что у него нѣтъ и не можетъ быть никакой серьезной жизненной цѣли, способной пробудить энергію, подвигнуть на борьбу и, если нужно, на подвигъ. Отреченіе ради отреченія, подвижничество, превращенное въ простое спортсменство, столь же внутренно пусто, безсодержательно и пошло, какъ и паразитическое прозябаніе въ нѣдрахъ комфортабельныхъ культурныхъ мелочей.

Вотъ на почвѣ этой пресыщенности и возникаетъ современная мистическая тяга къ прекрасному незнакомцу-народу, къ его религіознымъ устоямъ, къ его изумительной жизненной цѣпкости въ самыхъ ужасныхъ условіяхъ существованія. Дѣло идетъ, строго говоря, вовсе не о народѣ, а объ исцѣленіи загнившей интеллигентской души. Еще нѣтъ никакой вѣры, а есть только страстная, безсильная жажда вѣры. Народъ долженъ добыть намъ эту вѣру. «Онъ достанетъ»; онъ досталъ намъ культурный комфортъ,—онъ избавитъ насъ и отъ тлетворныхъ послѣдствій культурнаго пресыщенія; своимъ прирожденнымъ мистицизмомъ онъ оплодотворитъ наше омертвѣвшее, наше религіозно-импотентное сердце.

Г. Мережковскій въ своихъ добавленіяхъ къ реферату Блока совершенно правильно замѣтилъ, что роковая черта, отдѣляющая интеллигенцію отъ народа, прошла не внѣ, а внутри мистически настроеннаго интеллигента, разрѣзала пополамъ его собственное сердце. И если «народная» половина интеллигентскаго сердца все еще пока пуста, то ее необходимо наполнить, и какъ можно скорѣе,—иначе и отъ другой, «культурной» половины въ самомъ непродолжительномъ времени останется одно только не совсѣмъ ароматное воспоминаніе.

Я долженъ впрочемъ отмѣтить, что въ такой наивно-примитивной формѣ надежда на цѣлебную силу народной

мистики свойственна далеко не всѣмъ представителямъ радикальнаго мистицизма. Это настроеніе характерно для новообращенныхъ: для г. Блока, и быть можетъ для большинства той интеллигентной массы, которая лишь за самое послѣднее время ощутила жажду религіознаго просвѣтленія.

Наиболѣе яркое и оформленное среди современныхъ радикально-мистическихъ теченій, теченіе, душой котораго является г. Мережковскій, чуждо этой слѣпой вѣры въ народъ. Г. Мережковскій не думаетъ, вмѣстѣ съ г. Блокомъ, что мужикъ владѣетъ совершенно готовымъ, законченнымъ откровеніемъ, и лишь до поры до времени хранитъ его про себя съ хитрой усмѣшкой человѣка «себѣ на умѣ». А потомъ, когда исполнятся времена и сроки, сразу налетитъ на интеллигенцію, подобно «кореннику» Гоголевской тройки, и не то растопчетъ ее, не то унесетъ съ собою въ своемъ волшебномъ бѣгѣ. Г. Мережковскій *самъ* ищетъ того высшаго религіознаго синтеза, который могъ бы оживить омертвѣвшее тѣло современной цивилизаціи, который воспринялъ бы въ себя «всю настоящую и будущую культуру, всѣ ея откровенія и знанія». Какъ извѣстно, такимъ синтетическимъ сочетаніемъ религіи и культуры является въ глазахъ Мережковскаго возвѣщенное Апокалипсисомъ «тысячелѣтнее царство святыхъ на землѣ».

И теперь Христосъ царствуетъ среди праведниковъ, но «царство его не отъ міра сего»; земля, плоть, мірская культура не освѣщены Христомъ, не пріобщены къ его царству. Только послѣ второго пришествія, когда Христосъ воцарится *здѣсь*, на землѣ, культура получитъ вѣчную абсолютную цѣнность, только тогда возникнетъ истинно религіозная культура и истинно культурная религія. Согласно Апокалипсису, Христосъ при второмъ пришествіи сходитъ на землю въ человѣческомъ образѣ, повидимому, въ томъ же самомъ, въ какомъ онъ явился въ Палестинѣ 1900 лѣтъ тому назадъ. Согласно г. Мережковскому, второе пришествіе будетъ носить не внѣшній, а внутренній характеръ,—не *надъ* христіанами станетъ тогда Христосъ въ видѣ отдѣльнаго существа, а снизойдетъ въ самыя души ихъ, будетъ царить въ ихъ сердцахъ. Грядущая тысячелѣтняя церковь, пишетъ г. Мережковскій, будетъ «извнѣ казаться анархіей», а внутри она есть «теократія», «взаимовластіе»: «въ царствѣ Божіемъ—всѣ цари, всѣ господа, и единый Царь царствующихъ и Господь господствующихъ самъ Христосъ».

Такимъ образомъ, сущность хиліастической катастрофы есть полное духовное и матеріальное преображеніе человѣчества. Разумъ и воля человѣка становятся божественнымъ разумомъ и божественною волею; преграды между отдѣльными индивидуумами падаютъ; все человѣчество сознаетъ себя единой личностью, и эта вселенская, всечеловѣческая личность есть отнынѣ самъ Богъ, Христосъ, Логосъ; осуществляется, говоря словами Мережковскаго, «совершенное соединеніе Богочеловѣка съ Богочеловѣчествомъ въ безгранично свободной и безгранично любовной религіозной общинѣ». Вмѣстѣ съ тѣмъ люди становятся, конечно, безсмертными, такъ что всякая работа, всякія усилія для поддержанія жизни дѣлаются ненужными и невозможными.

Подобнаго рода построенія нелѣпо критиковать съ точки зрѣнія ихъ осуществимости, съ точки зрѣнія научныхъ представленій о ходѣ человѣческаго и космическаго развитія. Это—задача слишкомъ легкая, но и совершенно безплодная. Гораздо интереснѣе спросить себя: въ чемъ же субъективная, психологическая цѣнность тысячелѣтняго царства? въ чемъ притягательная сила этой мечты? Могутъ ли божественный разумъ и божественная воля быть идеаломъ для человѣческаго разума и человѣческой воли? И если этотъ идеалъ дѣйствительно укрѣпляется въ психикѣ, какъ прочное вѣрованіе, то какое вліяніе долженъ оказать онъ на практическую дѣятельность вѣрующаго?

Г. Мережковскій пишетъ, что грядущая религія соединитъ въ себѣ «разумъ, волю и чувство». Если употреблять эти слова не въ переносномъ и условномъ смыслѣ, а въ болѣе точномъ, описательно-психологическомъ, то придется признать, что разумъ, воля и чувство не нуждаются для своего объединенія ни въ новой, ни даже въ старой религіи, ибо они и безъ того неразрывно слиты между собой въ каждомъ нашемъ переживаніи, въ каждомъ актѣ нашего сознанія. Чувства не могутъ испытываться нами иначе, какъ въ связи съ представленіями; они образуютъ лишь «чувственный тонъ» представленій. Съ другой стороны, представленія никогда не даются намъ, какъ нѣчто готовое, законченное, самодовлѣющее: они присутствуютъ въ нашей психикѣ лишь тогда и лишь постольку, когда и поскольку они активно разрабатываются нашимъ познающимъ разумомъ. Сознавать что-нибудь—это значитъ расчленять и соединять данныя нашего

опыта. Психологи часто говорятъ о «состояніяхъ сознанія». Но никакія «состоянія сознанія», въ строгомъ смыслѣ этого слова, не возможны,—сознаніе не можетъ *стоять* на мѣстѣ, оно или не существуетъ вовсе, или «дѣйствуетъ». Всякое психическое переживаніе есть актъ, и именно *волевой* актъ; другими словами, во всякомъ сознательномъ переживаніи имѣется «цѣнность» или цѣль, къ которой мы стремимся, орудія, которыя мы употребляемъ для ея осуществленія, и матерьяльное сопротивленіе, которое мы побѣждаемъ, воплощая въ жизнь нашу цѣль.

Такимъ образомъ, внутренняя «цѣнность» и внѣшнее «бытіе» не двѣ совершенно самостоятельныя, реально обособленныя другъ отъ друга области, а лишь два противоположные полюса единаго сознательнаго акта.

Связь между этими полюсами осуществляется не посредствомъ примиренія ихъ въ высшей гармоніи, а посредствомъ *борьбы*, посредствомъ ихъ творческаго конфликта, который преодолѣвается лишь для того, чтобы снова возникнуть въ болѣе широкомъ масштабѣ, включить въ себя новое, болѣе богатое содержаніе.

Сознаніе освѣщаетъ не результаты, а самый процессъ жизненной борьбы: поэтому и жизненныя цѣнности возможны лишь постольку, поскольку онѣ руководятъ нами въ нашей трудовой, научной, художественной или общественной борьбѣ, поскольку борьба эта еще не закончена, поскольку внѣшнее сопротивленіе еще не вполнѣ побѣждено.

Когда вы приступаете къ изученію какой-либо науки, какого-либо искусства, ремесла, или просто спорта, элементарные техническіе пріемы новой для васъ дѣятельности выполняются вами сознательно. Вы будете сознательно переставлять ноги на каткѣ, пока не выучитесь твердо и легко держаться на конькахъ, будете сознательно выписывать каждую букву, пока не овладѣете техникой письма, вамъ придется сознательно изслѣдовать значеніе каждаго слова, если вы захотите прочитать фразу незнакомаго вамъ языка. Но какъ только вы вполнѣ усвоите себѣ эти элементарные акты данной науки, даннаго ремесла или спорта, какъ только вы доведете ихъ до высшаго совершенства, получите способность выполнять ихъ съ идеальной точностью и легкостью, безъ малѣйшаго сопротивленія, колебанія или раздумья,—сознаніе этихъ фактовъ немедленно *угаснетъ*; сознательные акты превратятся въ рефлекторные, инстинктивные, автоматическіе. И только цѣною такого превращенія нѣкоторыхъ элементарныхъ

актовъ изъ сознательныхъ въ безсознательные вы сможете получить доступъ къ высшимъ цѣнностямъ данной области. Пока сознаніе ваше поглощено процессомъ чтенія, вопросы, связанные съ самымъ содержаніемъ книги, для васъ не существуютъ; пока вы не выучитесь автоматически бѣгать на конькахъ, вы не можете наслаждаться этимъ спортомъ.

Съ этой точки зрѣнія весь прогрессъ человѣчества можетъ быть охарактеризованъ, какъ послѣдовательное превращеніе все болѣе и болѣе сложныхъ актовъ изъ сознательныхъ въ инстинктивно-автоматическіе; но результатомъ этого прогресса является не блаженное созерцаніе достигнутой гармоніи, а постановка и преодолѣніе новыхъ, болѣе мощныхъ дисгармоній.

Чувство безпредѣльно растущей мощи, безгранично расширяющейся власти человѣка надъ внѣшней матеріальной природой и составляетъ главную цѣнность, одухотворяющую собой культурное творчество. Чѣмъ энергичнѣе и успѣшнѣе идетъ жизненная борьба, тѣмъ ярче горятъ культурныя цѣнности.

До сихъ поръ я пользовался въ качествѣ иллюстрацій такими переживаніями, активный характеръ которыхъ очевиденъ съ перваго взгляда. Но, могутъ возразить мнѣ, этимъ область сознанія не исчерпывается. Вѣдь существуютъ же на ряду съ сознательными актами и чисто созерцательныя, совершенно пассивныя состоянія сознанія. Когда мы наслаждаемся природой, когда мы отдаемся грезамъ, когда мы всецѣло захвачены произведеніемъ искусства, мы не дѣйствуемъ, наша воля спитъ. А между тѣмъ эти статическія переживанія не менѣе, если не болѣе цѣнны, чѣмъ динамическія. Именно тогда, когда мы не боремся, не отстаиваемъ себя, а покорно «отдаемся» во власть «захватившей» насъ внѣшней силы — будетъ ли то природа или геній человѣческій—именно тогда узнаемъ мы, что такое поэзія.

Въ этой шаблонной характеристикѣ чистаго созерцанія далеко не все справедливо. Дѣйствительно, существуютъ такія переживанія, въ которыхъ мы не боремся за себя, не отстаиваемъ никакого своего интереса и вообще совершенно не ощущаемъ нашего «я», вѣрно также и то, что эта безличность, характеризуетъ собою самыя высокія и самыя цѣнныя наши переживанія. Но совершенно не вѣрно, что, отказываясь отъ борьбы за себя, мы тѣмъ самымъ отказываемся отъ всякой борьбы, отъ всякой

активности. Наоборотъ, именно въ безличныхъ переживаніяхъ наша воля, активность нашего вниманія, творческая энергія нашего интеллекта достигаютъ своего наивысшаго напряженія. Если вы только пассивно созерцаете произведеніе искусства, напримѣръ какую-нибудь геніальную статую, вы навѣрное не испытываете при этомъ никакого эстетическаго восторга. Эстетическій восторгъ создается не спокойнымъ созерцаніемъ статуи, какъ готоваго законченнаго совершенства, а мысленнымъ воспроизведеніемъ б о р ь б ы за это совершенство. Въ нашемъ сознаніи вырисовывается при этомъ художественная «идея» скульптора; мы стараемся представить себѣ, какъ она возникла въ головѣ автора, какія сопротивленія она должна была преодолѣть, прежде чѣмъ пріобрѣла свою окончательную, готовую для воплощенія форму. Только при этихъ условіяхъ мы дѣйствительно п о н и м а е м ъ произведеніе искусства, только при этихъ условіяхъ оно, вообще существуетъ для насъ какъ произведеніе человѣческаго генія. Если мы только пассивно созерцаемъ, не затрачиваемъ никакихъ усилій, никакой энергіи, ничего не обособляемъ нашимъ вниманіемъ, не задаемъ никакой работы нашему воображенію, статуя превращается для насъ въ простую глыбу мрамора, въ предметъ в н ѣ ш н е й п р и р о д ы.

Но и внѣшнюю природу нельзя созерцать совершенно бездѣйственно. Созерцать—значитъ фиксировать глазами одни контуры, отвлекаясь мысленно отъ другихъ, относить всѣ детали разсматриваемой картинки къ опредѣленному центральному пункту, и т. д.—и тутъ, слѣдовательно, приходится употреблять усилія, побѣждать сопротивленія, активно осуществлять нѣкоторую цѣль. Даже въ совершенно «свободныхъ» мечтахъ присутствуетъ этотъ элементъ внѣшняго препятствія. Наши субъективныя представленія, т. е. наши воспоминанія о предметахъ внѣшняго міра, сохраняютъ еще въ себѣ нѣкоторые слѣды той «матеріальности», той косности, которая характеризовала ихъ, когда они были непосредственными воспріятіями. Они противятся «произвольнымъ» комбинаціямъ нашей фантастической мечты, и работа фантазіи лишь постольку сознается нами, поскольку такое сопротивленіе имѣется въ наличности.

Вернемся теперь къ поставленному выше вопросу: могутъ ли божественный разумъ и божественная воля быть идеаломъ для человѣческаго разума и человѣческой воли? Какъ извѣстно, божественный разумъ тѣмъ, главнымъ образомъ, и отличается отъ

человѣческаго, что онъ не знаетъ никакихъ препятствій, никакихъ сопротивленій. Богъ не борется съ міромъ за осуществленіе своихъ цѣлей, но творитъ міръ. «Вещи суть мысли божества»; божественныя мысли матеріализуются, становятся вещами въ самомъ процессѣ своего возникновенія; тутъ царствуетъ, употребляя выраженіе Фейербаха, «непосредственное единство желанія и исполненія».

Не трудно замѣтить, что по типу своему божественное творчество относится не къ сознательной, а къ инстинктивной дѣятельности. Пчела строитъ свои соты, личинка ткетъ свой коконъ именно такъ, какъ Богъ мистиковъ творитъ міръ. Пчела не противопоставляетъ своей архитектурной задачи извнѣ данному матеріалу природы, она не въ головѣ, не изъ субъективныхъ представленій создаетъ планъ постройки, а непосредственно въ самой природѣ, изъ элементовъ объективной дѣйствительности. Прошедшее—т. е. міръ накопленнаго опыта—и будущее—т. е. проекціи этого опыта—существуютъ только для человѣка съ его несовершеннымъ, сознательнымъ, противорѣчивымъ методомъ творчества. Идеально гармоничное, «интуитивное» творчество пчелы не нуждается въ этихъ жалкихъ, искусственныхъ орудіяхъ интеллекта. Пчела преодолѣваетъ «дурную безконечность» времени; она не знаетъ ни прошлаго, ни будущаго, у нея нѣтъ представленій; она живетъ въ самой реальной дѣйствительности, въ той математической точкѣ настоящаго, гдѣ ея активность непосредственно отожествляется съ природой, въ этой математической точкѣ, которая есть въ то же время истинная вѣчность, окончательно поборовшая время.

Божественный типъ творчества—вовсе не идеалъ, не цѣль, еще только подлежащая осуществленію, а способность, искони присущая человѣку, какъ и всякому животному. Мы боги, поскольку у насъ есть врожденные инстинкты — и каждый разъ, когда какой-либо нашъ сознательный актъ превращается въ рефлекторный, мы перестаемъ творить какъ люди и начинаемъ творить, какъ боги. Чтобы стать насквозь божественнымъ, чтобы достигнуть того чудеснаго преображенія своей и внѣшней природы, о которомъ грезитъ г. Мережковскій, человѣку не нужно пріобрѣтать ничего новаго. Для этого необходимо, наоборотъ, отказаться отъ постановки всякихъ новыхъ сознательныхъ задачъ, закрѣпить въ неизмѣнной формѣ всѣ жизненныя отправленія и тѣмъ самымъ превратить ихъ въ автоматически-безсо-

знательные рефлексы, — надо однимъ словомъ погасить интеллектъ, изъ человѣка превратиться въ пчелу.

Мистики, конечно, возразятъ мнѣ, что только съ ограниченной, «слишкомъ человѣческой» точки зрѣнія божественный логосъ можно отожествлять съ инстинктомъ,—«въ самомъ себѣ». Богъ есть не инстинктъ, а высшее сознаніе. Опровергать это утвержденіе нѣтъ, очевидно, никакой фактической возможности, да въ этомъ нѣтъ и надобности. Какъ чувствуетъ себя Богъ «въ самомъ себѣ», — объ этомъ абсолютно ничего не извѣстно ни мнѣ, ни кому-либо изъ мистиковъ. Но представленіе о божественной волѣ и божественномъ разумѣ существуетъ въ человѣкѣ; идеалъ сліянія съ божествомъ выработанъ людьми,—и поэтому только съ человѣческой точки зрѣнія, только съ точки зрѣнія потребностей и запросовъ, сложившихся въ данной человѣческой психикѣ, этотъ идеалъ и можетъ обсуждаться. А для человѣческаго разума, какъ мы только что видѣли, претвореніе въ божественный логосъ равносильно смерти, окончательному угашенію сознанія.

И любопытно, что самъ г. Мережковскій косвенно призналъ этотъ выводъ. Въ преніяхъ по поводу доклада г. Блока, онъ заявилъ между прочимъ, что лучшее философское обоснованіе современнымъ мистическимъ порывамъ далъ Бергсонъ. Между тѣмъ центральный пунктъ философіи Бергсона какъ разъ въ томъ и заключается, что творческое, мистическое начало жизни лежитъ за предѣлами сознанія, что оно очень близко къ животному инстинкту, но абсолютно не доступно интеллекту, который есть лишь «орудіе для фабрикаціи орудій», и потому совершенно не способенъ постигать подлинную реальность вещей.

Спрашивается, какимъ же образомъ, «тысячелѣтнее царство» богочеловѣчества, т. е. царство безсознательнаго инстинкта, можетъ воспринять въ себя не только всю человѣческую культуру со «всѣми ея откровеніями и знаніями», какъ обѣщаетъ г. Мережковскій, а хотя бы самую маленькую ея частицу? Очевидно, это не мыслимо; никакого освященія и просвѣтленія культуры апокалипсическій идеалъ г. Мережковскаго создать не можетъ. Никакихъ путей въ практической жизни онъ указать не въ состояніи, — ибо онъ представляетъ изъ себя отрицаніе самыхъ основъ человѣческаго творчества,—отрицаніе несравненно болѣе радикальное, чѣмъ самый изувѣрскій аскетизмъ исторической церкви.

Не подлежитъ такимъ образомъ никакому сомнѣнію, что г. Мережковскій столь же далекъ отъ настоящей, дѣйствительной вѣры, какъ и г. Блокъ. Мало того, можно сказать съ полной увѣренностью, что на томъ пути, на которомъ онъ въ настоящее время стоитъ, вообще немыслимо обрѣсти творческую вѣру.

Въ самомъ дѣлѣ, въ религіозныхъ исканіяхъ г. Мережковскаго выступаютъ двѣ совершенно несовмѣстимыя, взаимно нейтрализующіяся тенденціи: съ одной стороны, стремленіе освятить всю культуру цѣликомъ, т. е. рѣшительно ничѣмъ не связывать свободу исканій разума человѣческаго, и, съ другой стороны, жажда «конца» міра, абсолютной, разъ навсегда законченной гармоніи,—при чемъ гармонія эта мыслится не какъ «предѣльное понятіе», дающее регулятивную идею для практики, а какъ надвигающаяся реальная катастрофа, какъ нѣчто подлежащее осуществленію во всей своей полнотѣ,—«Царство Божіе при дверяхъ», повторяетъ г. Мережковскій любимый припѣвъ хиліастовъ.

Въ исторіи бывали эпохи, когда значительныя группы людей дѣйствительно чувствовали себя «святыми на землѣ», и не гдѣ-нибудь въ отшельническихъ кельяхъ, а въ самомъ пылу жизненной борьбы, въ самомъ разгарѣ культурнаго творчества. Вспомнимъ хотя бы знаменитыхъ «желѣзнобокихъ» сподвижниковъ Кромвеля. Они такъ и назывались «святыми»; въ своемъ парламентѣ они гораздо больше молились, чѣмъ разсуждали; лжеумствованія лукаваго разума человѣческаго были почти не нужны, ибо всѣ съ полной непререкаемостью чувствовали, что не они совершаютъ великій политическій переворотъ, а самъ Духъ Святой черезъ нихъ установилъ англійскую республику и послалъ на эшафотъ англійскаго короля. Для нихъ абсолютная святость опредѣленныхъ формъ политической, общественно-хозяйственной, семейной жизни не подлежала ни малѣйшему сомнѣнію. Но въ томъ то и дѣло, что тутъ религіозно санкціонировались только нѣкоторыя, строго опредѣленныя формы культуры,—все же то, что внѣ ихъ, отметалось, какъ грѣховное и дьявольское. Прицѣпить религіозную, т. е. абсолютную, на вѣки нерушимую санкцію можно лишь къ извѣстнымъ конкретнымъ культурнымъ благамъ, а не къ самому процессу культурнаго творчества, который не мирится ни съ какими «вѣчными цѣнностями», непрерывно разрушаетъ, чтобы создавать, и создаетъ, чтобы разрушить. Психологія «конца» совершенно не совмѣстима съ человѣческой культурой, съ человѣческимъ сознаніемъ въ его высшихъ потенціяхъ. Соз-

наніе не знаетъ и не признаетъ конца; его дѣятельность есть «дурная безконечность», т. е. никогда ни въ чемъ не можетъ найти она своего окончательнаго завершенія. Сознаніе по самой природѣ своей серединно,—а такъ какъ «серединность» есть по Мережсковскому основная характеристика дьявола, то приходится признать сознаніе, а вмѣстѣ съ нимъ и всю культуру человѣческую, началомъ дьявольскимъ.

Надо впрочемъ замѣтить, что г. Мережковскій подъ именемъ «середины», «пошлости», «плоскости» и т. п. объединяетъ двѣ существенно различныя вещи. Серединой является въ его глазахъ съ одной стороны отрицаніе абсолютнаго завершенія жизненнаго прогресса, съ другой стороны раздробленіе психики между отдѣльными, внутренно несогласованными, стремленіями. Человѣческое творчество безусловно серединно въ первомъ смыслѣ: конфликтъ между человѣческими цѣлями и внѣшней природой, между «цѣнностью» и «бытіемъ», есть вѣчное и необходимое условіе творчества, культуры, сознанія.

Наоборотъ, внутренній конфликтъ между различными цѣнностями, обособленіе и противоборство въ царствѣ самихъ цѣлей не повышаетъ энергію жизненнаго творчества, а парализуетъ ее, ослабляетъ интенсивность сознательной работы, а слѣдовательно и ея цѣнность. Классическимъ символомъ «середины» въ этомъ второмъ смыслѣ является Буридановъ оселъ, трагически умирающій съ голоду только отъ того, что онъ помѣщенъ какъ разъ по серединѣ между двумя одинаково привлекательными стогами сѣна.

Г. Мережковскій въ своихъ попыткахъ найти монистическую религію, включающую въ себя все содержаніе жизни, энергично, но, какъ мнѣ кажется, тщетно пытается преодолѣть трагизмъ Буриданова осла. Но высоко и гордо держитъ знамя этого трагизма другая форма религіозности, очень популярная въ наши дни,—религіозность дуалистическая, обособляющая религію и культуру, какъ самоцѣнныя и равноцѣнныя, но внутренно непримиримыя области.

Въ собраніяхъ «Религіозно-философскаго общества» неустранимый дуализмъ религіи и культуры подчеркивался многими религіозными искателями, въ томъ числѣ нѣкоторыми мистиками радикальнаго направленія. Такъ, напр., г. Мейеръ утверждалъ что религіозное дѣланіе превращается въ реакціонную силу каждый разъ, когда пытается подчинить себѣ человѣческую культуру;

г. Вячеславъ Ивановъ также находилъ, что религіозныя «заповѣди» не должны и не могутъ превращаться въ практическіе «лозунги». Однако оба эти мистика по странному недоразумѣнію считаютъ себя союзниками г. Мережковскаго въ его безнадежно-наивныхъ попыткахъ дать гармоническій синтезъ религіи и культуры, «заповѣдей» и «лозунговъ».

Необходимость совершенно уединить религію отъ культуры рѣшительно отстаиваетъ г. Струве.

Вообще, сознательно—дуалистическая точка зрѣнія свойственна интеллигентамъ, желающимъ быть настоящими «европейцами». Нѣсколько схематично и упрощенно, но тѣмъ болѣе отчетливо выразилъ это настроеніе г. Галичъ въ своихъ недавнихъ фельетонахъ и въ рѣчи, произнесенной въ религіозно-философскомъ обществѣ. Его словами я и воспользуюсь для характеристики дуализма культуры и религіи.

Г. Галичъ находитъ «нетонкимъ и «неумнымъ» утвержденіе, что церковь тормозила развитіе человѣчества своимъ аскетизмомъ, своею враждою къ благамъ культурной жизни. «Если разсуждать исторически», пишетъ онъ, «то ни одно изъ благъ жизни собственно не отрицалось религіей; кое что, какъ напр. бракъ, даже прямо и рѣшительно освящалось». Въ церкви были не только «кельи, катакомбы и палачи», были и дворцы, и музеи, и пиршества, и свадьбы, и пляски. Церковь была, по мнѣнію Галича, губительна не потому, что она отрицала культурныя цѣнности, а, наоборотъ, потому что давала имъ свою, религіозную санкцію, и тѣмъ самымъ убивала ихъ «автономную» цѣнность.

Если человѣкъ такъ интенсивно и «тонко» воспринимаетъ культурныя цѣнности, что всякая попытка освятить ихъ извнѣ ощущается имъ не какъ возвышеніе, а какъ умаленіе автономной культуры, то, казалось бы, именно самоцѣнность культурнаго творчества и должна лежать въ основѣ его міросозерцанія. Но нѣтъ—это было бы тоже недостаточно «тонко и умно». Культура, несмотря на всю свою самодовлѣющую цѣнность, не отвѣчаетъ на наши послѣдніе вопросы «зачѣмъ» и «почему». Мало того, съ точки зрѣнія культуры, съ точки зрѣнія разума человѣческаго, вопросы эти просто не существуютъ, не имѣютъ смысла. Но есть иная область, область интимнѣйшихъ, личныхъ переживаній, которымъ нѣтъ никакого дѣла до нашей культуры, которыя объявляютъ культурное творчество «суетою суетъ и вся-

ческой суетой». И вотъ тамъ-то, въ этихъ тайникахъ нашего духа, задаемъ мы послѣдніе вопросы,—но задаемъ ихъ не разумомъ, не въ видѣ «задачекъ», подлежащихъ разрѣшенію «чисто головнымъ способомъ», «мы страстно вопрошаемъ всѣмъ духомъ» пишетъ г. Галичъ. И отвѣтъ получается опять-таки не въ раціоналистической формѣ, а въ формѣ «безмѣрной величавости ощущеній, знакомой намъ подъ видомъ благоговѣнія» [1]).

Люди, отрекающіеся отъ религіи въ интересахъ культуры, по мнѣнію г. Галича, не только недостаточно «тонки», но и недостаточно «храбры»,—это трусы, старающіеся шумомъ и гамомъ соціальной борьбы, наукой, искусствомъ, вообще культурнымъ дѣломъ заглушить въ себѣ трагическій гласъ послѣднихъ «вопрошаній».

Итакъ, имѣются въ наличности два противоположныя чувства, двѣ автономныя, но взаимно исключающія другъ друга цѣнности. Одно чувство гласитъ: послѣднее «зачѣмъ» есть безсмыслица, нуль,—но этотъ нуль превращается въ цѣпи, сковывающія мое творчество, когда одинъ изъ мнимыхъ отвѣтовъ на неправильно поставленный «послѣдній» вопросъ пріобрѣтаетъ санкцію религіозной истины. Второе чувство не менѣе категорично заявляетъ: только послѣднее «зачѣмъ» имѣетъ смыслъ,—всѣ остальные вопросы лишь тлѣнъ и суета и подлежатъ геенѣ огненной, разъ они противоборствуютъ конечной истинѣ. Если оба эти чувствованія столкнутся въ одной и той же психикѣ одновременно и притомъ съ одинаковою силою, то очевидно никакая жизнь ни въ культурной, ни въ религіозной области станетъ невозможной; пораженная параличемъ психика должна разложиться, сознаніе должно умереть отъ истощенія. Гдѣ же выходъ? Подчинить религіозное и культурное чувство какому-либо третьему, синтетическому началу не мыслимо, ибо они одинаково автономны. Пожертвовать однимъ въ интересахъ другого тоже нельзя, ибо этому мѣшаетъ третье чувство, чувство «утонченности», оцѣнивающее жизнь тѣмъ выше, чѣмъ она пестрѣе и разнокалибернѣе. Положеніе повидимому безысходно. А между тѣмъ опытъ показываетъ, что люди, пораженные этимъ трагическимъ самочувствіемъ, отнюдь не впадаютъ въ духовный параличъ и столбнякъ, а, наоборотъ, благополучно преуспѣваютъ въ области культурныхъ благъ, и, по всей вѣроятности, также

[1]) „Рѣчь". № 2. 1909. „Самодержавіе вѣры".

въ области благъ религіозныхъ. Выручаетъ тутъ опять-таки культурная утонченность, умѣнье командовать самыми «святыми» своими переживаніями, какъ хорошо дрессированными собаками. Безнадежный маразмъ сознанія наступаетъ, какъ мы видѣли, только въ томъ случаѣ, если религіозная и культурная оцѣнка жизни возникаютъ въ душѣ одновременно,—надо слѣдовательно разъединить ихъ во времени, надо жить и чувствовать по росписанію, въ строгомъ соотвѣтствіи съ четвертой заповѣдью закона Моисеева: «Шесть дней дѣлай и сотвориши въ нихъ вся дѣла твоя», и пока ты творишь твои текущія культурныя дѣла, строго наблюдай за своею душею, дабы ни одно религіозное, антикультурное помышленіе не прокралось туда контрабандой,—ибо иначе—бѣда, иначе неисчислимый вредъ для твоей культурной карьеры. Но вотъ по истеченіи шести дней наступаетъ «день седьмый», который не только Моисеемъ, но и самимъ начальствомъ повелѣно проводить въ праздности, отдавать «Господу Богу твоему». Ничто такъ не освѣжаетъ душу послѣ всѣхъ дрязгъ и мелочей будничной культурной работы, какъ благочестивыя воскресныя размышленія о Божьемъ величіи. Однако и тутъ необходима величайшая тонкость и дисциплина духа, необходимо неослабно охранять ту границу, за предѣлами которой благоговѣйная «величавость религіозныхъ ощущеній» грозитъ перейти въ негодующую критику нашей культурной пошлости. Ибо иначе вмѣсто возстановленія силъ для грядущей работы, вмѣсто благотворнаго воскреснаго обновленія души, столь необходимаго для того, чтобы въ понедѣльникъ съ новымъ рвеніемъ приступить къ службѣ, получится лишь тяжелая оскомина, очень напоминающая обычное похмѣлье.

Какъ мы видимъ, Буридановъ оселъ преодолѣлъ свою трагическую судьбу при помощи очень простого и чисто механическаго приспособленія: онъ пріобрѣлъ себѣ шоры, устроенныя такимъ образомъ, что лѣвый глазъ закрывается ими какъ разъ тогда, когда открывается правый, и наоборотъ. Благодаря этому онъ никогда не видитъ обоихъ стоговъ сѣна сразу; въ его сознаніи поперемѣнно присутствуетъ или только правый, или только лѣвый стогъ, и потому онъ, не смущаясь никакими конфликтами чувствъ, съ одинаковымъ аппетитомъ вкушаетъ и отъ того и отъ другого. По истинѣ, нѣтъ духа болѣе утонченнаго, болѣе мудраго и болѣе храбраго, чѣмъ духъ Буриданова осла!

Такимъ образомъ, на мой взглядъ, ни дуалистическая, ни

монистическая концепція не способна вывести религіозныхъ искателей нашего времени изъ того тупика, въ которомъ они обрѣтаются. И то и другое теченіе является симптомомъ распада современныхъ культурныхъ цѣнностей, но ни одно изъ нихъ не намѣчаетъ исхода къ творчеству новыхъ цѣнностей. Культурно-религіозный дуализмъ болѣе приспособленъ къ окружающей средѣ: онъ даетъ возможность отправлять черезъ пень колоду текущія культурныя нужды, и вознаграждать себя за тоску жизненныхъ будней гомеопатическими дозами празднично-безжизненной вѣры. Если не совершится никакого крупнаго культурнаго переворота, дуалистическое міросозерцаніе сможетъ благополучно продержаться цѣлые вѣка, но это будетъ скучнѣйшій изъ всѣхъ періодовъ, который когда-либо переживала всемірная исторія,—періодъ сѣренькой тусклой культуры и чахлой импотентной религіи.

Мистики радикально-монистическаго направленія глубже чувствуютъ культурный кризисъ, рѣшительнѣе ищутъ выхода изъ него, но тѣмъ безнадежнѣе ихъ положеніе, тѣмъ больше опасность, что ихъ мистическія алканія выродятся въ голую, безсодержательную истерику совершенно безпредметныхъ обличеній.

Но, быть можетъ, я вообще придаю слишкомъ много значенія религіозному кризису интеллигентской психики? Нерѣдко высказывается мнѣніе, что это случайное, поверхностное и мимолетное теченіе вызвано исключительно гнетущей атмосферой политической реакціи. Что духовная атмосфера реакціи чрезвычайно благопріятствуетъ расцвѣту мистическаго самочувствія, это не подлежитъ никакому сомнѣнію, но не здѣсь лежитъ основная причина, породившая уклонъ интеллигентской психики въ сторону мистицизма. Поворотъ отъ свободомыслія къ вѣрѣ обозначился задолго до наступленія реакціи, въ предреволюціонный періодъ, когда политическій радикализмъ нашего интеллигентскаго общества достигъ своего наивысшаго подъема, своей максимальной сосредоточенности. Именно тогда, на самомъ рубежѣ текущаго столѣтія, началась спѣшная эмансипація отъ «мертвящихъ» доктринъ позитивизма и матеріализма. Форсированнымъ маршемъ въ теченіе немногихъ мѣсяцевъ была пройдена стадія «возврата къ Канту», растянувшаяся въ Западной Европѣ на цѣлую четверть вѣка;—и уже въ 1902—1904 годахъ, съ возникновеніемъ «Новаго пути» и первыхъ «религіозно-философ-

скихъ собраній», классическій нѣмецкій идеализмъ былъ превзойденъ столь же радикально, какъ 2 года тому назадъ научный позитивизмъ. Такимъ образомъ, какъ разъ въ моментъ расцвѣта «освобожденства» загорѣлись въ душѣ наиболѣе «чуткихъ» интеллигентовъ новыя мистическія цѣнности.

Но если религіозныя исканія не являются мимолетнымъ отраженіемъ реакціи, и если они дѣйствительно знаменуютъ собою распадъ культурныхъ цѣнностей, то какъ же объяснить себѣ возникновеніе этого факта въ Россіи, — въ странѣ сравнительно молодой культуры, съ богатыми перспективами развитія для буржуазнаго и вообще для такъ называемаго культурнаго общества? Мнѣ кажется, что одними русскими условіями объяснить это явленіе невозможно. Мы имѣемъ здѣсь отголосокъ всемірнаго культурнаго кризиса; наша интеллигенція идетъ лишь по стопамъ западно-европейской. Пониженная оцѣнка благъ культурной жизни и связанная съ ней религіозная жажда наблюдаются въ западно-европейскомъ обществѣ отнюдь не съ меньшею силою, чѣмъ въ русскомъ. Отъ бодраго жизнерадостнаго научнаго матеріализма, господствовавшаго среди европейской буржуазіи полъ-вѣка тому назадъ, не осталось и слѣда. Самые радикальные и самые безбожные интеллигенты самой радикальной и самой безбожной изъ всѣхъ странъ—Франціи—поголовно увлечены мистикой Бергсона; возьмите любой N° «Mouvement socialiste», и вы убѣдитесь, что для теоретиковъ синдикализма Бергсонъ играетъ почти такую же роль, какъ Марксъ для теоретиковъ соціалъ-демократіи. Мистицизмъ проникаетъ въ смягченныхъ формахъ, напр. въ видѣ такъ наз. «неовитализма», въ біологію. И если сохраняются еще отдѣльные ученые, вѣрные завѣтамъ научнаго матеріализма, то это служитъ лишь къ вящему посрамленію послѣдняго. Ибо эти обломки прошлаго, въ родѣ ле Дантеко, не устаютъ стонать, что матеріалистическое міросозерцаніе, уничтоживъ въ ихъ душѣ возможность вѣры, сдѣлало ихъ жизнь пустой и безплодной. Правда, математики и физики выработали очень интересную и въ высшей степени прогрессивную теорію познанія, которая исходитъ изъ представленія о разумѣ, какъ чисто-практическомъ, активномъ началѣ, и окончательно освобождаетъ научную методологію отъ вѣчныхъ цѣнностей, прочно внѣдрившихся туда со временъ Канта. Но и это послужило не къ возвеличенію, а къ умаленію позитивизма. Гибель вѣчной цѣнности до такой

степени устрашаетъ современныя души, что Бергсонъ, Джемсъ и многіе другіе съ успѣхомъ эксплоатируютъ практицизмъ интеллекта въ качествѣ жупела, загоняющаго публику подъ сѣнь ихъ мистическихъ цѣнностей.

Если мы изъ области научнаго мышленія, перейдемъ въ сферу искусства, то едва ли получится картина, болѣе отрадная. Многіе до сихъ поръ считаютъ всю полосу декадентскаго искусства эпохой упадка. Допустимъ, что это мнѣніе односторонне, что декадентская поэзія въ періодъ своего расцвѣта создала высокія художественныя цѣнности. Несомнѣнно во всякомъ случаѣ, что въ настоящее время декадентство быстро отцвѣтаетъ; оно исчерпало свои силы, не породивъ достойнаго преемника, — и поэты мало-по-малу разбредаются кто куда: одинъ пытается пріютиться въ лонѣ католической церкви, другой неустанно скорбитъ о невозможности возродить антикатолическую, сатанинскую церковь вѣдьмъ и колдуновъ, третій поперемѣнно строитъ глазки соціализму, мистицизму, патріотизму, — и все безъ малѣйшаго результата.

Въ философіи наряду съ мистикой укрѣпляется особый видъ скепсиса, нѣсколько хулиганскаго, но безудержно легкаго, какъ мотылекъ, порхающаго. Это новое и характерное міросозерцаніе получило новый и характерный терминъ «je m'en fichism'a»,— и мы въ Россіи уже имѣемъ блестящаго представителя je m'en fichiste'ской школы въ лицѣ г. Шестова.

Такимъ образомъ, на лицо всѣ симптомы глубокаго культурнаго кризиса. Чѣмъ же вызванъ этотъ кризисъ? По общему убѣжденію всѣхъ, непосредственно пострадавшихъ отъ крушенія культурныхъ цѣнностей, виноватъ во всемъ позитивизмъ. Это онъ превратилъ науку изъ откровенія истины въ простое орудіе комфорта; это онъ парализовалъ творческое вдохновеніе художниковъ; это онъ убилъ бога.

Позитивисты сконфуженно замѣчаютъ, что они, собственно говоря, никого не убивали, они только анализировали, только уясняли истинную природу человѣческаго познанія.

«Но вотъ эта-то природа человѣческаго познанія и ужасна», запальчиво накидываются на позитивистовъ жертвы культурной катастрофы,—«все относительно, все условно въ области нашихъ интеллектуальныхъ операцій, — ужъ лучше бы намъ ничего не знать, лучше бы попрежнему смѣшивать вѣру и разумъ, нежели согласиться на такой безсмысленный позоръ и ужасъ. Только вѣра

въ абсолютную истину способна вдохновить на подвигъ, на жертву, Когда Галилей передъ судомъ святѣйшей инквизиціи топаетъ ногою и кричитъ: «А все-таки она вертится», мы понимаемъ эту трагическую борьбу, для насъ ясна и психологія Галилея и психологія святѣйшаго трибунала. Но представимъ себѣ, что Галилей топнулъ ногою и закричалъ: «А все-таки моя формула удобнѣе вашей»,—вѣдь величавая трагедія превращается тогда въ жалкій фарсъ. Изъ-за большаго или меньшаго удобства формулы никто не станетъ ни зажигать костровъ, ни всходить на костры. А между тѣмъ благодаря позитивизму, мы знаемъ теперь, что въ спорѣ между Галилеемъ и инквизиціей, между Коперникомъ и Птоломеемъ дѣло шло только объ удобствѣ,—ибо всякое движеніе относительно и потому самый вопросъ о томъ, «что въ дѣйствительности движется, земля или солнце?» лишенъ смысла. Можно спрашивать лишь одно: какая формула движенія цѣлесообразнѣе для нашей практики? Именно своимъ анализомъ, на днѣ котораго оказались такія чудовища пошлости, какъ «удобство», «цѣлесообразность», «экономія силъ»,—именно этимъ уясненіемъ природы интеллекта позитивизмъ и убилъ самодовлѣющую цѣнность познанія». Такъ разсуждаетъ разочарованный интеллигентъ.

Для того, чтобы перебросить нѣкоторый мостъ между этой типичной въ наши дни психологіей и психологіей тѣхъ немногихъ людей, которые находятъ, что позитивизмъ не убиваетъ, а утверждаетъ самодовлѣющую цѣнность познанія, я обращусь сначала къ нейтральной области, къ области чистаго искусства. При этомъ необходимо пояснить, что чистое искусство я противопоставляю не тенденціозному, а изобразительному.

Противопоставленіе чистаго искусства тенденціозному сводится въ сущности къ противопоставленію настоящаго искусства не настоящему, хорошаго—плохому. Различіе чистаго искусства отъ изобразительнаго состоитъ не въ степени совершенства, а въ самомъ характерѣ творчества. Въ однихъ случаяхъ главная задача художника въ томъ, чтобы воспроизвести нѣкоторое чувство,—въ другихъ случаяхъ на первый планъ выступаютъ тѣ чувства, которыя не воспроизводятся, а впервые создаются самимъ художественнымъ произведеніемъ, и внѣ его вообще не существуютъ. Конечно и это различіе условно, но въ своихъ наиболѣе рѣзкихъ проявленіяхъ очень замѣтно и практически важно.

Какихъ бы богатыхъ музыкальныхъ сочетаній ни достигъ лирикъ, но если онъ плохо, т. е. смутно, запутанно, расплывчато, вы-

разилъ изображаемое имъ чувство, то произведеніе его и вообще плохо, т. е. нехудожественно. Съ другой стороны, эта тѣсная связь формы и содержанія въ области изобразительнаго искусства проявляется въ томъ, что произведеніями его, даже высоко-художественными, чрезвычайно трудно наслаждаться разъ «тенденція» ихъ претитъ зрителю. Чтобы вполнѣ почувствовать красоту какого-нибудь садическаго стихотворенія Сологуба, надо самому быть садистомъ, или, по крайней мѣрѣ, мучительнымъ усиліемъ воображенія на минуту перевоплотиться въ садиста. Но никакого духовнаго самоистязанія отъ васъ не требуется для того, чтобы подготовить себя къ воспріятію красоты архитектурнаго произведенія, хотя бы «идея» послѣдняго и была вамъ глубоко враждебна. Мнѣ приходилось, напримѣръ, цѣлыми часами любоваться Кельнскимъ соборомъ, и при этомъ моя марксистская совѣсть не испытывала почти никакихъ угрызеній; а вѣдь съ перваго же взгляда на Кельнскій соборъ видно, что этотъ «ungeheuerer Geselle», какъ назвалъ его Гейне, что это «чудовище» призвано быть «бастиліей духа» («er sollte des Geistes Bastilie sein»).

Въ чемъ же тутъ дѣло? Очевидно, красота Кельнскаго собора менѣе тѣсно связана съ воплощеннымъ въ немъ средневѣковымъ міросозерцаніемъ, нежели красота сологубовскаго стихотворенія съ чувствомъ садиста. Средневѣковое міросозерцаніе опредѣлило собой лишь основной типъ постройки, готическое устремленіе ввысь, вообще такъ называемый стиль зданія. Но совершенство выполненія, то, что собственно и составляетъ гармонію или красоту зданія, связано очевидно съ чѣмъ-то другимъ. Было бы нелѣпо спросить себя, какимъ сторонамъ средневѣкового міросозерцанія соотвѣтствуетъ вотъ эта маленькая башенка на крышѣ или вотъ этотъ мраморный узоръ. Конечно, при достаточно подвижномъ воображеніи можно во всемъ усмотрѣть символъ, и всякую деталь собора истолковать, какъ каменную копію того или другого человѣческаго переживанія. Но мы непосредственно чувствуемъ, что, устремляясь въ своемъ воображеніи по этому пути, мы не проникаемъ глубже въ красоту созерцаемаго произведенія, а наоборотъ—отходимъ куда-то въ сторону, *отвлекаемся* отъ художественнаго наслажденія. Гармонія архитектурныхъ формъ имѣетъ въ значительной степени самодовлѣющее значеніе, въ основѣ ея лежитъ чисто *геометрическая* красота, т. е. законы симметріи въ различныхъ ея модификаціяхъ и т. п. Но злодѣй позитивизмъ и тутъ не оставляетъ насъ въ покоѣ: онъ доказываетъ, что геометриче-

ская гармонія формъ, подобно научной истинѣ, сводится къ той же презрѣнной «экономіи силъ», къ тому же пошлому «удобству» воспріятія. По ученію позитивистовъ, симметричнымъ или вообще гармоничнымъ является такое расположеніе элементовъ, которое даетъ возможность легче всего воспринять извѣстное содержаніе опыта, при данномъ его богатствѣ.

Вѣрно ли однако, что это объясненіе что-то разрушило въ красотѣ Кельнскаго собора? Неужели онъ хоть сколько-нибудь обезобразился отъ того, что въ основѣ его красоты найдены законы симметріи, а сама эта симметрія сведена въ свою очередь къ «удобству» воспріятія? Я думаю, что это не вѣрно; я думаю, кромѣ того, что на этотъ разъ со мною легче будетъ согласиться и тѣмъ, кто скорбитъ о разрушеніи культурныхъ цѣнностей позитивизмомъ. Вѣдь совершенно очевидно, что термины «удобство», «легкость воспріятія», «экономія силъ», описываютъ не самое эстетическое чувство гармоніи, а тѣ условія, при которыхъ оно возникаетъ. Но то же самое, буквально то же самое относится и къ области научнаго творчества. Когда фантазія ученаго рождаетъ новую синтетическую формулу, не удобство этой формулы для потребностей человѣческаго комфорта является стимуломъ творчества, а непосредственная красота формулы, та гармонія, которую она вноситъ въ мірозданіе. Современные «поэтически» настроенные люди нерѣдко унижаются до того, что ругаютъ формулы Кеплера и Ньютона, разрушившія тѣ хрустальныя сферы, въ которыя Птоломей вставилъ небесныя свѣтила. Это по истинѣ готтентоты; они не видятъ того, что мірозданіе послѣ Ньютона не только съ практически житейской точки зрѣнія стало «удобнѣе», но именно съ художественной стороны безконечно выше безобразной и неуклюжей машины Птоломея; античная статуя кажется имъ менѣе поэтичной, чѣмъ каменная баба, разъ эта послѣдняя сдѣлана изъ хрусталя.

Эту чистую, объективную, самодовлѣющую радость творчества и имѣлъ въ виду Горькій, говоря въ своей «Исповѣди» о «богостроительствѣ». «Богостроительство», — вотъ тотъ выводъ, къ которому пришелъ герой «Исповѣди», Матвѣй, убѣдившись въ безплодности «богоискательства». «Вотъ,— думаю,—говоритъ онъ, «разобрали Бога люди по частямъ, каждый по нуждѣ своей, у одного—добренькій, у другого страшный, попы его въ работники наняли себѣ и кадильнымъ дымомъ пла-

тятъ ему за то, что онъ сытно кормитъ ихъ. Только Ларіонъ необъятнаго Бога имѣлъ».

«Необъятный богъ» Горькаго—это пафосъ жизненнаго творчества, цѣнность и внутренняя красота котораго совершенно не зависятъ отъ тѣхъ отдѣльныхъ «нуждъ», которымъ служатъ продукты творчества, отъ тѣхъ способовъ, какими продукты эти будутъ потреблены, практически использованы. Важно только одно, чтобы завоеванія культурнаго творчества не были употреблены для подавленія однихъ людей другими, чтобы въ результатѣ открытія или изобрѣтенія не явилось пониженіе творческихъ силъ человѣка. И совершенно понятно, что для такого пафоса жизни позитивизмъ является не противникомъ, и не безразличнымъ научнымъ построеніемъ, а прямымъ союзникомъ.

Только позитивизмъ вполнѣ освобождаетъ цѣнность человѣческаго творчества, дѣлаетъ самоцѣннымъ творческій актъ. Въ самомъ дѣлѣ, если есть Богъ, т. е. цѣнность абсолютная, существующая независимо отъ нашей дѣятельности,—цѣнность, которую можно только разыскивать, а отнюдь не создавать, то очевидно высшимъ назначеніемъ жизни является не свободное творческое строительство, а благоговѣйно-покорное исканіе нѣкоторой отъ вѣка выстроенной божественной гармоніи бытія. И даже не самое исканіе тогда цѣнно, а исключительно результатъ исканія—Богъ; не жизнь имѣетъ смыслъ, а только «конецъ» жизни—блаженство въ Богѣ,—а пока жизнь еще не кончилась, человѣкъ ставитъ передъ собою не свои собственныя цѣли, а лишь осуществляетъ чужую, божественную цѣль. Однимъ словомъ, «Богъ существуетъ, слѣдовательно человѣкъ рабъ», какъ говорилъ Бакунинъ.

Это бакунинское настроеніе, но не въ отрицательной, а въ положительной формѣ, не въ формѣ простого протеста противъ Бога, а въ формѣ творческаго преодолѣнія бога какъ разъ и составляетъ основное содержаніе «Богостроительства». Богостроительство діаметрально противоположно богоискательству,—оно по духу своему гораздо враждебнѣе этому послѣднему, чѣмъ многія, такъ называемыя, научныя міросозерцанія, хотя бы напр. догматическій матеріализмъ. А между тѣмъ нашлись критики, которые усмотрѣли въ «исповѣди» Горькаго какой-то поворотъ къ мистицизму, къ традиціонной религіи. Смутилъ очевидно самый терминъ «Бого строительство»,—изъ-за слова не увидѣли содержанія.

Я впрочемъ отнюдь не защищаю термина; съ чисто тео-

ретической точки зрѣнія удобнѣе было бы другое слово, не дающее даже внѣшняго повода къ недоразумѣніямъ. Я замѣчу только, что Горькій писалъ не трактатъ, а повѣсть, герой которой все время занимается богоискательствомъ и только на самыхъ послѣднихъ страницахъ испытываетъ поворотъ въ сторону богостроительства,—психологически совершенно естественно, что онъ «вино новое» вливаетъ на первыхъ порахъ въ «мѣхи старые», называетъ найденную имъ новую цѣнность жизни тѣмъ же самымъ словомъ, которымъ онъ привыкъ называть всякую вообще верховную цѣнность.

Еще больше недоразумѣній породилъ коллективный, всенародный характеръ того «богостроительства», которое проповѣдуется въ «Исповѣди». Г. Розановъ усмотрѣлъ въ этомъ обоготвореніе мистическихъ сторонъ русской народной души, нѣчто въ родѣ извѣстной Шатовской вѣры въ «народа богоносца». Приблизительно такое же толкованіе предложилъ и г. Блокъ. Г. Бароновъ утверждалъ, что всенародное богостроительство есть гипертрофія алтруизма, отказъ отъ своихъ интересовъ въ пользу интересовъ другихъ людей, и снисходительно поучалъ Горькаго словами г. Бердяева, изъ коихъ явствуетъ, что истинно просвѣщенное моральное сознаніе не признаетъ за «ты» никакого нравственнаго преимущества по сравненію съ «я».

Въ дѣйствительности, Горькому совершенно чуждо всякое «народобожіе»,—въ особенности же народобожіе національнистическаго оттѣнка. Горькій отнюдь не думаетъ, что въ нѣдрахъ народной души скрытъ въ готовомъ видѣ какой-то кладъ, который стоитъ только вытащить на свѣтъ Божій, чтобы жизнь расцвѣтилась всѣми прелестями райскаго блаженства. Онъ цѣнитъ только великія потенціи коллективнаго творчества въ русскомъ народѣ, какъ и во всякомъ другомъ. И само собою разумѣется, въ этомъ идеалѣ коллективнаго творчества нѣтъ и слѣда гипертрофированнаго альтруизма. Здѣсь «мои» интересы не могутъ приноситься въ жертву интересамъ «другого»,—ибо здѣсь нѣтъ вообще ни меня, ни другого; въ творческомъ актѣ исчезаютъ всякія «я» и «ты» и остается только самый этотъ актъ въ его непосредственно объективной цѣнности. Пока мы что-нибудь создаемъ или даже хотя бы интенсивно созерцаемъ чужое творчество, въ нашемъ сознаніи нѣтъ и не можетъ быть мѣста такимъ чувствованіямъ, какъ «я», «мое» и т. п. «Я» и «ты», «мое» и «твое» выступаютъ на сцену лишь тогда, когда подни-

мается вопросъ о дѣлежкѣ, о распредѣленіи продуктовъ творчества и ихъ потребленіи.

Въ современномъ обществѣ вопросы дѣлежки играютъ такую колоссальную роль, борьба между людьми на этой почвѣ отнимаетъ такое колоссальное количество силъ, что наша психика почти совершенно утратила способность освобождаться отъ распредѣлительныхъ чувствъ. Мы почти не въ состояніи эмансипироваться отъ нихъ даже въ такіе моменты, когда они явно парализуютъ наше же собственное наслажденіе. А они парализуютъ какъ разъ самый высшій, самый богатый по содержанію изъ всѣхъ доступныхъ намъ типовъ наслажденія: наслажденіе творчествомъ.

Горькій замѣчаетъ въ одномъ мѣстѣ своей «Исповѣди», что индивидуальный художникъ только «шлифуетъ», только отдѣлываетъ то, что создано всенароднымъ творчествомъ. Г. Бароновъ не преминулъ сдѣлать къ этому мѣсту юмористическое примѣчаніе. Представимъ себѣ, говорилось въ его рефератѣ, что великій художникъ, какой-нибудь Фидій, высѣкаетъ статую изъ мрамора; по Горькому дѣйствительную цѣнность имѣетъ только творчество тѣхъ рабочихъ, которые добыли мраморную глыбу въ каменоломнѣ и доставили ее художнику: Фидій только «шлифуетъ» трудъ чернорабочихъ. Надо дойти до геркулесовыхъ столбовъ индивидуалистическаго самочувствія для того, чтобы *такъ* понять совершенно ясную фразу Горькаго о связи между личнымъ и коллективнымъ творчествомъ. Что высѣкаетъ Фидій изъ мрамора? Навѣрное, статую какого-нибудь героя, полубога или бога. Кто же создалъ самую идею этого героя или бога, самое представленіе о немъ, — Фидій или народъ? О, конечно, въ работѣ Фидія много индивидуальнаго; онъ обогатилъ образъ, созданный всенароднымъ творчествомъ, впервые ярко и выпукло выявилъ нѣкоторыя черты его, едва намѣченныя въ народныхъ легендахъ. Но все это только развитіе, только обработка коллективной идеи, и притомъ въ томъ самомъ направленіи, которое намѣчено коллективнымъ творчествомъ. Если бы это было иначе, если бы Фидій внесъ въ свое творчество нѣчто *абсолютно* индивидуальное, неповторимое, понятное и цѣнное только для самого Фидія и ни для кого другого, то статуя его была бы плоха, а не геніальна. Геніальность есть лишь необычайная чуткость къ объективнымъ тенденціямъ безличнаго, всечеловѣческаго развитія.

Но развѣ въ настоящее время существуетъ безличное всенародное творчество? И развѣ можно мечтать о его возрожденіи?

Вѣдь это значило бы похерить всю многовѣковую работу культуры, уничтожить всякое раздѣленіе труда, всякія различія между отдѣльными личностями, вернуться къ примитивному сплошному быту дикарей!

Мнѣ думается, что та способность къ коллективному творчеству, которая была свойственна всѣмъ народамъ въ періодъ такъ называемаго «первобытнаго коммунизма», и которая всѣми ими была утрачена при дифференціаціи общества,—что способность эта связана не съ самымъ фактомъ однородности различныхъ индивидуальныхъ психикъ, а съ чѣмъ-то другимъ.

Представимъ себѣ на минуту, что какимъ-либо чудеснымъ актомъ однородность психикъ возстановлена въ настоящее время; всѣ 150 милліоновъ людей, составляющихъ русскій народъ, стали какъ двѣ капли воды похожи на даннаго россійскаго гражданина, на коллежскаго регистратора Ивана Ивановича Иванова. Отнынѣ весь русскій народъ—это только Иванъ Ивановичъ Ивановъ, отраженный въ 150 милліонахъ зеркалъ. Спрашивается, вольютъ ли эти безчисленныя зеркальныя отраженія какія-либо новыя творческія силы въ душу Ивана Ивановича? Не очевидно ли, что одна только сплошность, одно только количественное умноженіе данной психики, не произведетъ въ ней никакого качественнаго преобразованія. И если Иванъ Ивановичъ до преображенія россійскаго народа могъ творить только въ области образцовой переписки бумагъ, то и послѣ такого преображенія 150 милліоновъ Ивановъ Ивановичей будутъ создавать лишь шедевры каллиграфіи.

Люди эпохи первобытно-родового коммунизма были гораздо менѣе дифференцированы, чѣмъ современные люди, но абсолютной сплошности не было и тогда; и тогда были различія въ области естественныхъ предрасположеній, дарованій, а также и различія индивидуальныхъ опытовъ. И лишь постольку могло существовать коллективное творчество, поскольку такая дифференціація психикъ уже имѣла мѣсто. Коллективизмъ психики состоитъ не въ простомъ повтореніи даннаго единичнаго переживанія, а въ способности объединять переживанія различныхъ психикъ въ единую, цѣлостную систему, въ способности разсматривать и оцѣнивать каждое свое переживаніе именно въ этой объективной связи коллективнаго опыта. При этомъ и въ голову не можетъ прійти, что цѣнность мысли человѣческой заключается въ ея единичности, неповторимости, принадлежности

именно этому человѣку, а не кому-либо другому. Заботиться о присвоеніи, о закрѣпленіи за собой продуктовъ своего творчества, о томъ, чтобы положить на нихъ печать своей индивидуальности не имѣетъ никакого смысла, ибо *все* коллективное творчество со *всѣми* его продуктами—*мое*, принадлежитъ мнѣ, совершенно такъ же, какъ и всякому другому.

Такимъ образомъ, *безличность* коллективнаго творчества состоитъ вовсе не въ обезличеніи, не въ приведеніи всѣхъ его участниковъ къ нѣкоторому общему среднему уровню,—наоборотъ, такая нивеллировка уничтожаетъ самую возможность коллективнаго творчества.

«Я» изгоняется изъ сознанія не преклоненіемъ передъ «ты», а чувствомъ объективной цѣнности сознательнаго акта, какъ такового. Точнѣе, «я» не изгоняется, а просто не имѣетъ почвы для того, чтобы сложиться. Вопросъ о томъ, въ чьей именно головѣ возникло впервые данное новое откровеніе творческой мысли или фантазіи не только не интересенъ, но и невозможенъ до тѣхъ поръ, пока взоръ устремленъ на самое откровеніе. Вѣдь въ дѣйствительности мысль возникаетъ вовсе не въ головѣ, изъ содержанія мысли не видно, какіе именно нейроны шевелили своими хвостиками въ тотъ моментъ, когда она зарождалась; цѣнность мысли ни мало не зависитъ отъ того, въ какомъ именно черепѣ эти нейроны помѣщались. Необходимо такъ называемое «косвенное» наблюденіе, необходимъ длинный обходный путь, для того, чтобы убѣдиться въ существованіи функціональной связи между мышленіемъ и нервными процессами въ мозгу даннаго человѣческаго организма. Но самый фактъ этой связи рѣшительно ничего не въ состояніи измѣнить въ содержаніи мышленія, въ царствѣ его цѣнностей. Вѣдь и мой индивидуальный мозгъ дифференцированъ, вѣдь и въ немъ есть строго спеціализированные органы, связанные въ своихъ функціяхъ съ отдѣльными сторонами моей психической жизни. Но развѣ это вызываетъ хоть какую-нибудь потребность обособить въ самодовлѣющія «автономныя» единицы тѣ содержанія моей психики, которыми «завѣдуетъ» данный спеціальный органъ мозговой коры? Развѣ это хоть сколько-нибудь мѣшаетъ *единству* моего сознанія? И развѣ уже такъ «трагична» мысль, что многіе изъ нейроновъ, живущихъ въ моемъ мозгу въ моментъ, когда я началъ извѣстную работу, умрутъ до ея завершенія и будутъ замѣнены другими?

Вопросъ о личной смерти для людей, способныхъ къ коллективному творчеству, имѣетъ такой же второстепенный интересъ, какъ вопросъ о гибели того или другого нейрона въ моемъ мозгу. Здѣсь опять таки нѣтъ никакого самоуничиженія, никакого принесенія себѣ въ жертву грядущимъ поколѣніямъ. Въ продолженіе жизни человѣка всѣ матеріальныя составныя части его тѣла успѣваютъ смѣниться по нѣскольку разъ; и тѣмъ не менѣе человѣкъ думаетъ о тѣхъ переживаніяхъ, которыя будетъ испытывать совершенно новый человѣческій организмъ, не имѣющій ничего общаго съ его теперешнимъ тѣломъ, какъ о *своихъ* собственныхъ. Столь же интенсивное и столь же непосредственное чувство единства должно связать грядущія и настоящія поколѣнія при коллективизмѣ.

Я не утверждаю конечно, что въ періодъ первобытно-родового коммунизма коллективное творчество фактически имѣлось уже въ такомъ вполнѣ развитомъ видѣ.

Первобытный человѣкъ былъ въ гораздо большей степени *рабомъ* сложившихся формъ жизни, нежели ихъ свободнымъ *зодчимъ*. Творчество его, чрезвычайно высокое по типу, было стиснуто рамками святыхъ, абсолютно непререкаемыхъ, высшею волею установленныхъ нормъ бытія. Это чувство непререкаемой святости основныхъ жизненныхъ устоевъ сохранилось, какъ извѣстно, и въ позднѣйшія времена, когда отъ первобытнаго коммунизма съ его всенароднымъ творчествомъ не осталось и слѣда.

Религіозная санкція есть необходимое подспорье военной силы при охраненіи общественнаго порядка. Безъ ея содѣйствія никакими мѣрами нельзя поддержать спокойствіе въ обществѣ, раздѣленномъ на сословія, касты или классы. Но и въ глазахъ самихъ господствующихъ классовъ нормы соціальнаго строя долгое время являлись божественнымъ установленіемъ,—они были святы сами по себѣ, независимо отъ приносимой ими пользы, были святы даже тогда, когда превращались въ оковы, стѣсняющія свободное развитіе самого господствующаго класса. При такихъ условіяхъ богоборческое «я», «я», бунтующее противъ застывшей коллективной святыни, было необходимымъ и мощнымъ факторомъ всяческаго прогресса. Но едва достигалась побѣда—и обыкновенно еще гораздо раньше побѣды—богоборцы въ свою очередь превращались въ богоносцевъ: идеалъ ихъ начиналъ расцѣниваться не по своему внутреннему значенію для развитія

жизненнаго творчества, но пріобрѣталъ абсолютную санкцію,—онъ застывалъ впредь до новаго натиска богоборцевъ-богоносцевъ. Только буржуазное общество съ его непрерывными техническими революціями, съ его постоянными перетасовками различныхъ слоевъ населенія, съ его утилитарнымъ конституціонализмомъ, уничтожило религіозный характеръ человѣческаго коллектива. Но вмѣстѣ съ тѣмъ и личность утратила свой богоборческій, революціонный характеръ. «Я», субъективная форма, въ которую облекалась прежде всякая вновь нарождающаяся объективная тенденція развитія, эмансипировалась теперь отъ всякаго содержанія, и именно въ этой своей формальной безсодержательности выступила, какъ высшая, автономная цѣнность жизни. «Я», «мое», «т о л ь к о мое», «только во мнѣ существующее», «неповторимое», «единичное»,—вотъ верховная цѣль и цѣнность жизни. Въ чемъ именно заключается это «я» и это «мое», совершенно не важно,—только бы оно было неповторимо, единично, о р и г и н а л ь н о.

Это безсодержательно-индивидуалистическое самочувствіе и лежитъ, на мой взглядъ, въ основѣ современнаго культурнаго кризиса. Наиболѣе ярко и поучительно проявилось оно въ декадентствѣ. Сначала декадентъ пѣлъ абсолютную свободу и самоцѣнность «я», ничтожество всѣхъ пошлыхъ, ординарныхъ общественныхъ связей по сравненію съ красотою «послѣдняго уединенія». Но затѣмъ его озарила счастливая мысль: да вѣдь и въ области абсолютно уединеннаго «я» не все обстоитъ благополучно, вѣдь и тутъ приходится заниматься скучной организаціонной работой, устанавливать внутреннюю гармонію, подчинять одно содержаніе другому; и самое «я»... не есть ли оно въ концѣ концовъ связь, взаимоподчиненіе, рабство?

Какая пошлость, плоскость и середина! Итакъ, долой «я» и да здравствуетъ каждое единичное переживаніе! Самоцѣнный «мигъ»—вотъ богъ свободнаго человѣка! Такимъ образомъ, вмѣсто гордыхъ, цѣльныхъ личностей, мы получили сплошную массу какихъ-то совершенно безличныхъ психическихъ атомовъ, калейдоскопъ «миговъ», настолько похожихъ другъ на друга въ своей неповторимой оригинальности, что совершенно уже не возможно разобрать, что кому принадлежитъ,—ибо для всѣхъ все стало одинаково возможно и одинаково безразлично.

Декадентство было кульминаціонной точкой индивидуализма,

его высшимъ взлетомъ, въ которомъ онъ окончательно развернулъ и исчерпалъ свои силы.

Но при современномъ строѣ активно преодолѣть индивидуализмъ, уничтожить его не на словахъ только, а на дѣлѣ, выйти на путь непосредственно коллективнаго творчества, совершенно немыслимо. Человѣкъ съ сильно развитымъ чувствомъ объективной цѣнности творчества и, слѣдовательно, съ пониженнымъ чувствомъ «я» представляетъ самую жалкую, комическую, ни къ чему не приспособленную фигуру въ рамкахъ буржуазнаго общества. Онъ вынужденъ переломить себя, раздуть свое «я» до того доминирующаго въ психикѣ положенія, которое необходимо, чтобы хоть сколько-нибудь сносно участвовать въ разныхъ видахъ конкурренціи; въ противномъ случаѣ ему остается только умереть. Общественный подборъ строго слѣдитъ за тѣмъ, чтобы коллективная психика не могла пустить сколько-нибудь замѣтныхъ корней въ современномъ человѣчествѣ.

Отсюда ясна самая тѣсная, самая кровная, а отнюдь не случайная и внѣшняя, какъ это кажется г. Блоку, связь между «богостроительствомъ» и соціализмомъ. Только соціализмъ создастъ тѣ матеріальныя условія, при которыхъ общественный подборъ станетъ силой, враждебной индивидуализму. И на мой взглядъ, особенно важную роль въ этомъ процессѣ должна сыграть не самая организація матеріальнаго производства, а ея косвенный результатъ: полная свобода всѣхъ видовъ высшаго духовнаго творчества, полная независимость ихъ отъ такъ называемыхъ «личныхъ» интересовъ. При дѣйствительномъ, послѣдовательно проведенномъ, соціализмѣ свободный художникъ или ученый не можетъ своимъ творчествомъ ни сдѣлать карьеры, ни разрушить ее. Къ какимъ бы выводамъ онъ ни пришелъ, какія бы произведенія ни создалъ, его матеріальное благосостояніе и его положеніе въ обществѣ не можетъ отъ этого ни улучшиться, ни ухудшиться. Это обстоятельство и придастъ общественному подбору соціалистическаго строя ту силу, которая необходима для психическаго перерожденія человѣчества.

Резюмирую. «Богоискательство» представляетъ одинъ изъ симптомовъ очень медленнаго, но очень глубокаго культурнаго кризиса,—кризиса индивидуализма. Не позитивизмъ превратилъ науку изъ откровенія истины въ орудіе комфорта, а индивидуализмъ отнялъ у человѣчества способность воспринимать объективную цѣнность сначала научнаго, а потомъ и художественнаго твор-

чества. Индивидуализмъ разлагаетъ и обезцѣниваетъ, низводитъ до комфортабельнаго времяпровожденія, до je m'en fichisme'a ту великую культуру, которую онъ самъ же создалъ. Это явный симптомъ, что культурное содержаніе индивидуализма уже исчерпано, что миссія его уже выполнена, что Мавру пора на покой.

В. Базаровъ.

П. Юшкевичъ.

На тему дня.

(Къ вопросу о философскомъ броженіи въ марксизмѣ) [1]).

Начавшееся недавно среди русскихъ марксистовъ оживленіе интереса къ философіи продолжаетъ расти. Все больше и больше сознается необходимость пересмотра традиціонной позиціи научнаго соціализма по вопросамъ міросозерцанія. Въ отдѣльныхъ статьяхъ, въ коллективныхъ работахъ, въ цѣломъ рядѣ книгъ, посвященныхъ общимъ или частнымъ проблемамъ философіи, намѣчается это новое направленіе марксистской мысли. За послѣдніе нѣсколько мѣсяцевъ марксистами написано по вопросамъ философіи, вѣроятно, не меньше, чѣмъ за все время существованія русскаго марксизма. Ужъ одна эта, грубо количественная, сторона дѣла показываетъ, что мы имѣемъ передъ собой фактъ серьезный и значительный. Было бы очень легкомысленно объяснять, какъ это нерѣдко дѣлаютъ, указываемое явленіе переживаемой нами эпохой реакціи, благопріятной занятіямъ отвлеченнымъ умозрѣніемъ. Вліяніе реакціи само собой, но наряду съ ней дѣйствуютъ и другія, не менѣе вѣскія, причины—хотя бы духовный голодъ, алканіе по теоріи, неизбѣжное послѣ многолѣтняго и многострадальнаго странствованія по пустынѣ тактическихъ проблемъ, или же тотъ

---

[1]) Отъ ред. Мы считаемъ необходимымъ оговорить еще разъ, что по ряду вопросовъ — и въ ихъ числѣ одно изъ первыхъ мѣстъ занимаютъ проблемы философіи—сборники „Вершины“ даютъ мѣсто свободной трибунѣ и открыты для различныхъ борющихся въ марксизмѣ направленій. Статья „На тему дня“ не носитъ поэтому программнаго характера, а выражаетъ только личную точку зрѣнія ея автора.

соціологическій «законъ», который гласитъ, что окончательный балансъ соціально-политическихъ движеній подводится обыкновенно въ области философской спекуляціи. Конечно, съ чисто логической стороны, это звучитъ довольно парадоксально: въ «безумный годъ» мы были побиты, и жестоко побиты—не говоря объ объективныхъ причинахъ нашего пораженія—потому прежде всего, что оказались прескверными политиками, а отвѣтъ за это взыскивается теперь съ ни въ чемъ неповинной философской теоріи. Какъ силлогизмъ, это не очень убѣдительно. Но такими странными силлогизмами движется соціальная мысль,—и въ этомъ есть своя внутренняя логика, можетъ быть, болѣе цѣнная и жизненная, чѣмъ иная, формально правильная, дедукція.

Какъ бы то ни было, но волна интереса къ философской теоріи продолжаетъ прибывать. Философскій споръ, загорѣвшійся среди марксистовъ, еще далекъ отъ своего конца.

Въ этой запутанной и довольно безпорядочной дискуссіи есть нѣсколько моментовъ, которые сразу же бросаются въ глаза.

Прежде всего поражаетъ дробность направленій, приводящая къ тому, что встрѣчается почти столько же разновидностей философской мысли, сколько есть пишущихъ по вопросамъ философіи марксистовъ. Я говорю это, имѣя въ виду, собственно, одну сторону—лагерь такъ называемыхъ «махистовъ». Здѣсь подлинно: сколько головъ, столько умовъ. Что касается «матеріалистовъ», ортодоксовъ—вѣрнѣе, плехановцевъ—то въ общемъ у нихъ наблюдается большее единомысліе, и во всякомъ случаѣ большая дисциплинированность.

Другая любопытная черта—это взаимные попреки въ идеализмѣ. Для ортодоксовъ всѣ махисты огуломъ представляютъ собою одно идеалистическое скопище. В. Ильинъ—подающій въ этомъ случаѣ руку Плеханову—не останавливается передъ весьма сильными выраженіями, чтобъ заклеймить тлетворную философскую дѣятельность своихъ ближайшихъ вообще единомышленниковъ=Богданова и Базарова. Въ свою очередь, Базаровъ разсматриваетъ матеріализмъ Плеханова и его группы, какъ особую форму мистицизма. И если пишущій эти строки въ эмпиріомонизмѣ А. Богданова видитъ варіантъ спиритуалистическаго міровоззрѣнія, то авторъ эмпиріомонизма возвращаетъ это обвиненіе цѣликомъ, суля защищаемой мной точкѣ зрѣнія конечное успокоеніе на лонѣ мистицизма.

Наконецъ, особенно характерна та проблема, въ связи съ которой возникла эта война всѣхъ противъ всѣхъ и эти отбрасываемыя другъ другу, какъ мячъ, обвиненія въ идеализмѣ. Это ни больше ни меньше, какъ вопросъ о существованіи внѣшняго міра, или-еще иначе-вопросъ о «вещи въ себѣ». Само собою разумѣется, что вопросъ этотъ имѣетъ огромное теоретико-познавательное значеніе. Обойти его нельзя, онъ долженъ быть рѣшенъ въ первую голову. Но имъ далеко не исчерпывается вся совокупность философскихъ проблемъ, среди которыхъ есть задачи не менѣе сложныя и существенныя. Между тѣмъ случилось такъ, что этотъ вопросъ о «вещи въ себѣ» выдвинулся въ центръ всей философской дискуссіи марксистовъ, сталъ той осью, вокругъ которой пока вертятся наши разногласія. Передъ этой основной проблемой стушевались кардинальнѣйшіе вопросы объ отношеніи между физическимъ и психическимъ, о пониманіи матеріи, о субстанціи, причинности и пр., трактующіеся обыкновенно вскользь, мимоходомъ, и часто опять таки въ связи все съ той же проблемой о «вещи въ себѣ». Благодаря этому получился совсѣмъ уже оригинальный результатъ, что идейная ликвидація нашего пораженія въ революціонный годъ совершается въ формѣ разрѣшенія отвлеченнѣйшихъ вопросовъ о существованіи внѣшняго міра и объективной реальности и въ видѣ утомительнѣйшихъ споровъ о субъективномъ идеализмѣ и солипсизмѣ.

Въ этомъ поразительномъ результатѣ имѣется, несомнѣнно, элементъ случайный, не связанный логической необходимостью съ самой сущностью вопроса о взаимоотношеніяхъ между марксизмомъ и философіей. Поклонникамъ теоріи культа героевъ этотъ эпизодъ можетъ дать не мало матерьялу для размышленій на тему о роли личности въ исторіи. Не обошлось дѣло безъ личности и здѣсь. Въ своихъ философскихъ спекуляціяхъ русскіе марксисты «зацѣпились» за Плеханова, наткнулись на Плеханова, и по существу дѣла не могли не наткнуться на видную фигуру автора «Монистическаго взгляда». Плехановская интерпретація философіи Маркса была у насъ общепризнанной, традиціонной. Плехановъ такъ много и такъ жестоко критиковалъ различныхъ ревизіонистовъ—въ томъ числѣ и ревизіонистовъ философскихъ—что въ глазахъ рядового марксиста онъ сталъ воплощеніемъ марксистскаго правовѣрія, единственнымъ правомочнымъ выразителемъ и толкователемъ философіи марксизма. Флагъ кроетъ товаръ. Для широкой марксистской публики имени Пле-

ханова достаточно было, чтобъ, отцѣживая комаровъ, проглотить верблюда, и она легко приняла ту кантіанскую инкрустацію, въ которую Плехановъ облекъ марксизмъ. Ученіе о «вещи въ себѣ» стало краеугольнымъ камнемъ философской ортодоксіи.

Этотъ камень легъ камнемъ на пути дальнѣйшаго развитія марксистской мысли, сталъ тяжелымъ и серьезнымъ препятствіемъ, которое должно было быть устранено. Съ глубоко вкоренившимся предразсудкомъ о «вещи въ себѣ» надо было покончить прежде всего, и естественно, что первые удары были устремлены въ этомъ направленіи. Въ дальнѣйшемъ же случилось то, что обыкновенно происходитъ на войнѣ, гдѣ часто стремленіе овладѣть какимъ-нибудь пунктомъ вызывается не столько его стратегическимъ значеніемъ, сколько упорствомъ защиты. Самыя кровопролитныя битвы происходятъ нерѣдко изъ-за довольно безразличныхъ для обѣихъ сторонъ «сопокъ въ 103 метра»: спорный пунктъ является здѣсь ключемъ къ моральной позиціи, онъ пріобрѣтаетъ характеръ знамени, символа. Такимъ же знаменемъ и символомъ оказался въ короткое время и вопросъ о существованіи внѣшняго міра. Повторяю: самъ по себѣ этотъ вопросъ имѣетъ огромное теоретическое значеніе. Но несоразмѣрность и выпяченность его въ теперешней контроверзѣ марксистовъ, то исключительное значеніе, которое онъ пріобрѣлъ въ ней объясняется только особыми условіями нашего философскаго развитія.

Но какъ ни односторонняя и даже однообразна по своему содержанію наша философская дискуссія, какъ ни велико обнаружившееся въ ней стремленіе къ парцеллированію, къ дробленію направленій,—во всей этой теоретической сумятицѣ ужъ намѣтились два раздѣльныхъ центра притяженія, двѣ линіи идеологическаго развитія, нашедшія свое выраженіе въ противоставленіи «махистовъ» «матеріалистамъ». Что знаменуетъ собой это противоставленіе? Какова соціальная подоплека его? Имѣется ли соціальный эквивалентъ для врѣзывающагося теперь въ тѣло марксизма клиномъ дѣленіе на махистовъ и матеріалистовъ? И если имѣется, то каковъ онъ?

Для нѣкоторыхъ авторовъ вопросы эти рѣшаются довольно просто. Такъ В. Ильинъ въ «махизмѣ», какъ и въ неокантіанствѣ нѣмецкихъ ревизіонистовъ, видитъ философію ревизіонизма, и, соотвѣтственно съ этимъ, легко добирается до «классоваго значенія» его. Ревизіонизмъ—это идеологія и міровоз-

зрѣніе мелкобуржуазныхъ слоевъ, вѣчно созидаемыхъ капитализмомъ и вѣчно же разрушаемыхъ имъ и отбрасываемыхъ въ ряды пролетаріата. Тѣ же классовые корни питаютъ философскія теченія неокантіанства и махизма («неоюмизма» и «необерклеанства», по выраженію Ильина).

Для Плеханова совсѣмъ не случайность тотъ фактъ, что въ философскомъ отношеніи теоретики большевизма опираются на Маха и Авенаріуса, являясь такимъ образомъ самыми несомнѣнными ревизіонистами. Линія философскихъ разногласій среди марксистовъ совпадаетъ со все нестирающейся линіей организаціонныхъ и тактическихъ разногласій. Философія большевизма—это махизмъ. Если мы продолжимъ этотъ ходъ мыслей по линіи: большевизмъ—бланкизмъ—мелкая буржуазія, мы придемъ—хотя и совсѣмъ противоположнымъ путемъ—къ тому же результату, что и г. Ильинъ.

Эти попытки вскрыть соціальное значеніе махизма, которымъ врядъ ли и ихъ авторы придаютъ серьезное значеніе, производятъ впечатлѣніе скорѣе отписки, желанія отмахнуться отъ новаго и докучнаго явленія. Отписки, которая дѣлается по обычному въ такихъ случаяхъ рецепту. Во первыхъ на изслѣдуемое явленіе кладется штампъ: «ревизіонизмъ», и тѣмъ самымъ оно провозглашается уже чѣмъ-то подозрительнымъ и вреднымъ для интересовъ рабочаго класса. Затѣмъ вспоминаютъ, что есть такая соціальная категорія, отъ которой исходитъ все затемняющее классовое самосознаніе пролетаріата—именно всевыручающая и всеобъясняющая категорія мелкой буржуазіи. Мелкая буржуазія—когда нужно что нибудь наспѣхъ объяснить, когда, по едва намѣтившемуся безконечно малому элементу движенія, торопятся предсказать всю дальнѣйшую траэкторію его—просто незамѣнима. Если бы ея не существовало, то торопливые марксисты должны были бы ее изобрѣсти. Мелкая буржуазія и ревизіонизмъ—это всегда бьющая карта, это всегда безпроигрышная ставка.

Но бѣда въ томъ, что такія безпроигрышныя, пригодныя всегда и вездѣ, объясненія ничего по существу и не объясняютъ. То же имѣетъ мѣсто и въ данномъ случаѣ. Между тѣмъ жизненное содержаніе отвлеченныхъ формулъ махизма, значеніе происходящаго на нашихъ глазахъ философскаго спора—не непремѣнно к л а с с о в о е значеніе его, какъ того пишетъ Ильинъ, а идейное, общественное значеніе его,—не такъ ужъ недоступно,

если глядѣть на вещи безъ нарочитаго хитроумія. Это прежде всего борьба между ортодоксіей, противовѣріемъ, съ одной стороны, и критическимъ знаніемъ, критической мыслью—съ другой. Это борьба между буквой марксизма и духомъ его, борьба между системой и методомъ марксизма, борьба между марксизмомъ—застывшимъ догматическимъ вѣроученіемъ и марксизмомъ, вѣчно живымъ и обновляющимся научнымъ міровоззрѣніемъ. Здѣсь неважно то, что такіе матеріалисты, какъ Плехановъ, фактически внесли въ ученіе Маркса чужеродные элементы кантіанства. Не важно и то, что иные махисты, напримѣръ, В. Базаровъ—пытаются доказать, что «въ ихъ новизнѣ старина слышится», что ихъ интерпретація и даетъ именно подлинную философію Маркса, является самой настоящей ортодоксіей. Предположимъ, что удалось бы со всей научной строгостью возстановить философскія воззрѣнія Маркса. Допустимъ для простоты, что вдругъ бы открылись новыя неизвѣстныя работы Маркса и Энгельса, гдѣ съ не оставляющей никакихъ сомнѣній ясностью были бы изложены ихъ взгляды по волнующимъ насъ теперь вопросамъ о «вещи въ себѣ», матеріи, субстанціи, о причинности, объ ученіи коррелативизма и т. д., и т. д. Я утверждаю, что «матеріалистъ», который въ поискахъ этой настоящей философіи Маркса совершилъ бы даже болѣе или менѣе серьезную «ревизію» его взглядовъ, былъ бы болѣе ортодоксомъ, чѣмъ «махистъ», который бы далъ правильную реконструкцію. Говорю это потому, что здѣсь дѣло не въ конечномъ результатѣ изслѣдованія, а въ характерѣ и въ духѣ его. Можно утверждать даже больше. Согласимся съ ортодоксами, что махисты стали, дѣйствительно, на ложную дорогу, идя по которой они должны будутъ или закончить чистѣйшимъ идеализмомъ или отказаться отъ своего махизма. Примемъ, что вся сумма правоты за матеріалистами, и не только передъ ученіемъ Маркса, но и передъ ученіемъ науки, въ настоящее время очень неблагопріятнымъ для представленій о матеріи. Все таки это не мѣняетъ характера взаимоотношеній между махистами и матеріалистами, не мѣняетъ того факта, что первые представляютъ собой теперь—поскольку дѣло идетъ о проблемахъ философіи—критическій, научный элементъ, а вторые—догматическій, церковническій, первые—моментъ динамическій, вторые—статическій. Махизмъ, въ худшемъ случаѣ, это живая ошибка; матеріализмъ, въ лучшемъ, это мертвая истина. А живая ошибка все-таки болѣе истина, чѣмъ мертвая истина. Махизмъ

марксистовъ представляетъ собой попытку трактовать проблемы философіи, стоя на уровнѣ современнаго знанія вообще и естествознанія въ частности. Матеріализмъ прежде всего преслѣдуетъ апологетическія цѣли. Онъ долженъ защитить, охранить, онъ долженъ сохранить исповѣдуемые имъ догматы въ ихъ первоначальной чистотѣ. Конечно, онъ не пренебрегаетъ развитіемъ науки, но лишь постольку, поскольку онъ можетъ использовать ихъ въ своихъ охранительныхъ задачахъ. Связанный опредѣленными тезисами, онъ къ нимъ пригоняетъ данныя науки, для нихъ дѣлаетъ надлежащій отборъ.

II.

«Махизмъ» въ настоящій моментъ синонимиченъ съ духомъ критики, съ стремленіемъ идти нога въ ногу съ наукой. Въ этомъ смыслѣ и находятъ свое оправданіе эти странные на первый взглядъ и ведущіеся съ такой настойчивостью и упорствомъ споры о вещи въ себѣ, о внѣшнемъ мірѣ, о матеріи. По поводу трудностей англійскаго произношенія какой-то шутникъ выразился: пишется Бозъ (Boz—псевдонимъ Диккенса), а читается Диккенсъ. Такими недоразумѣніями полна идеологическая жизнь, и когда, напримѣръ, наши ортодоксы пишутъ: «матерія», «вещь въ себѣ», «субстанція», то на самомъ дѣлѣ нужно читать: догматическій укладъ мышленія, держащій марксизмъ на низшей ступени, заглушающій всѣ содержащіяся въ немъ возможности.

Но рѣшается ли этими указаніями вопросъ объ отношеніяхъ между философіей и марксизмомъ? Разумѣется, нѣтъ. Махизмъ пока разсматривается нами, какъ знамя, поднятое въ рядахъ марксистовъ во имя свободнаго философскаго изслѣдованія. Другой вопросъ, является ли махизмъ той философской теоріей, которая органически связана съ марксизмомъ, и если нѣтъ, то какая система можетъ претендовать на званіе марксистской философіи.

Поставленный въ такой формѣ вопросъ содержитъ въ себѣ уже и нѣкоторое рѣшеніе, именно заключеннымъ въ немъ предположеніемъ, что существуетъ какая то особая марксистская философія. Между тѣмъ допустима и такая точка зрѣнія—и не только у противниковъ научнаго соціализма—согласно которой марксизмъ, какъ извѣстная частная доктрина, не имѣетъ какихъ-то особыхъ отношеній къ философіи. Связь между нимъ и философіей не больше и не меньше, чѣмъ между философіей

и любой другой научной теоріей. Законъ движенія и развитія соціальныхъ тѣлъ, открытый Марксомъ, по своему научному значенію не стоитъ, конечно, выше закона движенія небесныхъ тѣлъ, даннаго Ньютономъ. И если не существуетъ особой ньютоніанской философіи, то—скажутъ—тѣмъ меньше основаній разсуждать о какой то специфически марксистской философіи. Конечно, ньютоново ученіе, какъ одна изъ составныхъ частей всей системы знанія, вноситъ свою долю въ образованіе универсальнаго научнаго міросозерцанія, философіи. Но все-таки связь между ньютоновой теоріей и философіей преимущественно отрицательная. Здѣсь нѣтъ идейнаго сродства между совокупностью астрономическихъ идей, заключающихся въ законѣ всемірнаго притяженія, и общефилософской спекуляціей,—нѣтъ естественнаго тяготѣнія между одной системой понятій и другой болѣе универсальнаго характера. Требуется, главнымъ образомъ, одно, чтобъ изъ общефилософскихъ посылокъ нельзя было сдѣлать выводовъ, прямо противоположныхъ ученію Ньютона. А это собственно означаетъ почти полный нейтралитетъ разбираемой системы по отношенію къ проблемамъ философіи. Забота о положительной выработкѣ философскаго міросозерцанія перекладывается здѣсь на какія-то другія дисциплины, и отъ этого міросозерцанія требуется только одно, чтобы оно не задѣвало, не трогало ученій данной области. Но такъ какъ промежуточная цѣпь дедукцій, ведущая отъ какихъ-нибудь общефилософскихъ положеній къ истинамъ частныхъ наукъ, необычайно сложна и запутанна—а, значитъ, и неопредѣленна—то фактически почти не можетъ быть столкновеній между данной частной наукой и философіей. Философская спекуляція и научное изслѣдованіе совершаются въ различныхъ плоскостяхъ, и встрѣча между ними практически невозможна.

Для того, кто смотритъ на марксизмъ, какъ на подобную частную теорію (хотя бы и огромнѣйшаго научнаго значенія), кто не находитъ въ немъ универсальной тенденціи, собственно и не можетъ быть рѣчи объ особой марксистской философіи. Философія съ этой точки зрѣнія Privatsache—частное, личное дѣло каждаго человѣка; согласно ея, отлично можно быть марксистомъ и матеріалистомъ, марксистомъ и идеалистомъ, марксистомъ и кантіанцемъ, и т. д.

Но въ дѣйствительности марксизмъ не просто извѣстное соціально-экономическое и соціально-политическое ученіе. Я не

говорю ужъ о томъ, что исторически онъ выступилъ въ тѣсной связи съ философской доктриной діалектическаго матеріализма. Важнѣе здѣсь тотъ фактъ, что въ самомъ марксизмѣ есть внутренняя энергія расширенія, выводящая его далеко за предѣлы частной соціологической теоріи, въ марксизмѣ есть тенденція стать цѣлымъ міросозерцаніемъ. Не забудемъ того кардинальнаго факта, что марксизмъ совмѣщаетъ въ себѣ теоретическій и практическій моментъ. Онъ не только опредѣленная научная система. Онъ считаетъ себя также призваннымъ выразителемъ интересовъ и стремленій опредѣленнаго класса. Ужъ одинъ этотъ синтезъ сближаетъ марксизмъ съ философіей, которая тоже представляетъ собой соединеніе теоретическаго и практическаго разума, которая означаетъ не просто теорію познанія, но и нѣкоторое міросозерцаніе, нѣкоторое мироощущеніе, мірооцѣнку. Универсальная тенденція марксизма обнаруживается нагляднѣе всего съ практической его стороны. Здѣсь съ самого же начала разрываютъ съ нейтральностью и индифферентизмомъ по отношенію къ философской теоріи. Здѣсь требуется уже выборъ между различными философскими теченіями. Какъ выразитель интересовъ пролетаріата, марксизмъ не можетъ быть соединяемъ съ идеализмомъ, всегда игравшимъ роль философскаго замѣстителя клерикализма, который, въ свою очередь,—взятый въ цѣломъ и общемъ—имѣетъ явно антидемократическія тенденціи. Идеализмъ—это ученіе и тоска по высшему міру, сравнительно съ которымъ наше земное существованіе есть только временная и преходящая юдоль скорби. Идеализмъ учитъ міроправству нѣкоего Высшаго Разума, по своимъ замысламъ и планамъ устраивающаго дѣла міра сего. Идеализмъ по существу телеологиченъ. И эта его телеологія—какъ и вообще вся его доктрина—всегда есть явная или замаскированная теологія. Въ противоположность этому, антитеза идеализма—матеріализмъ въ широкомъ смыслѣ слова—устраняетъ дуализмъ двухъ міровъ, высшаго и низшаго, признавая чуждый всякаго іерархическаго дѣленія, насквозь единый, данный намъ «земной» міръ. Матеріализмъ отрицаетъ и міровладычество особаго Разума. Разумъ для него не въ началѣ бытія, а въ концѣ его. Онъ не творецъ природы, а высшее твореніе ея. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ отбрасываетъ телеологическую точку зрѣнія, ставя на мѣсто ея каузальный принципъ, принципъ механической, такъ сказать, непреднамѣренной детерминированности и взаимносвязанности явленій.

О матеріализмѣ въ этомъ смыслѣ антитезы идеализма говоритъ Энгельсъ въ знаменитомъ, постоянно цитируемомъ, мѣстѣ «Фейербаха». О немъ же, противоставляя его идеалистической метафизикѣ, пишетъ неоднократно Дицгенъ. Марксизмъ, несомнѣнно, матеріалистиченъ.

Марксизмъ матеріалистиченъ, т. е., иначе говоря, антиидеалистиченъ, позитивистиченъ. Этимъ устраняется возможность связывать марксизмъ съ цѣлой—даже бо́льшей—половиной философскихъ направленій [1]). Но получившаяся такимъ образомъ характеристика еще весьма обща. Матеріализмъ въ этомъ широкомъ смыслѣ слова не составляетъ частнаго достоянія марксизма. Иные найдутъ, что и этого достаточно. Скажутъ, что въ вопросахъ философіи марксизмъ требуетъ только отрицательнаго антиидеалистическаго credo, предоставляя въ остальномъ каждой личности, въ зависимости отъ ея знаній и вкусовъ, останавливаться на той или иной разновидности матеріализма (позитивизма). Философія въ этомъ случаѣ будетъ опять-таки Privatsache, хотя и въ значительно суженномъ кругѣ.

Но и эта точка зрѣнія недостаточна, произвольно ограничивая философскую тенденцію марксизма. Мы имѣемъ возможность специфицировать признаваемую марксизмомъ разновидность матеріализма. Вѣдь міровоззрѣніе Маркса и Энгельса есть не просто матеріализмъ, а діалектическій матеріализмъ. Діалектика есть, такимъ образомъ, та особенность, та differentia specifica, которая должна отдѣлять марксистскій матеріализмъ отъ другихъ видовъ матеріализма. Но дѣйствительно ли она обособляетъ его отъ нихъ? Чтобы отвѣтить на это, выдѣлимъ основные признаки этого понятія.

Въ діалектикѣ прежде всего нужно отмѣтить моментъ историзма, принципъ развитія, измѣнчивости формъ сущаго. Все течетъ, все движется—вотъ первая и основная формула ея.—Близко къ этой идеѣ, сливаясь даже съ нею, ученіе объ относительности всякихъ формъ бытія, въ томъ числѣ и формъ по-

[1]) Устраняется, конечно, теоретически, принципіально, но далеко не всегда практически. Не надо забывать того, что идеализмъ очень часто бываетъ крайне искусно замаскированъ. Только основныя черты его носятъ явственно клерикальный характеръ. Когда же дѣло доходитъ до различныхъ развѣтвленій и утонченій теоріи, то нелегко размотать запутанный клубокъ философскихъ построеній и нить за нитью привести ихъ къ ихъ теологическому первоначалу.

знанія. Діалектика означаетъ такимъ образомъ не только историзмъ (динамизмъ), но и релативизмъ.—Наконецъ, третья существенная черта діалектики—это ея синтетизмъ, ученіе о взаимновязности, взаимнозависимости элементовъ бытія, существующихъ только въ этой связи, а не какъ отдѣльныя, вполнѣ самостоятельныя и независимыя друга отъ друга, индивидуальности (эту сторону діалектики особенно, и даже метафизически-преувеличенно, развилъ Дицгенъ).

Благодаря діалектикѣ значительно сужается первоначальный кругъ матеріализма. Релативизмъ діалектики исключаетъ всяческіе абсолюты—абсолюты формъ бытія и формъ познанія. Признаніемъ релативизма устраняется съ одной стороны апріоризмъ мышленія (это устраненіе идетъ, впрочемъ, и со стороны матеріализма, ибо апріоризмъ, какъ ученіе о высшей формѣ мышленія, тѣсно связанъ съ идеализмомъ), а съ другой—разныя субстанціалистскія категоріи внѣшняго міра («матерія», «вещь въ себѣ»). По признаку релативизма философскія системы можно разбить на два обширныхъ семейства, аналогично тому широкому дѣленію, которое мы имѣли въ противоставленіи идеализма матеріализму. Для однихъ умовъ нуженъ абсолютно неподвижный центръ бытія, какая-то неподвижная точка, о которую опирается ихъ мысль, гдѣ отдыхаетъ ихъ душа; это метафизики, абсолютисты духа, безразлично отъ того, какъ они назовутъ этотъ свой яркій, гипнотизирующій ихъ духовный взоръ, пунктъ: Богомъ, апріорной категоріей, субстанціей или матеріей. Другіе умы не нуждаются въ такой абсолютно неизмѣнной подпоркѣ. Для ихъ душевнаго равновѣсія достаточно внутренней связи элементовъ познанія. Бытіе, съ этой точки зрѣнія, обходится безъ особаго субстанціалистскаго носителя, довлѣетъ само себѣ, держится, пользуясь астрономическимъ образомъ, такъ, какъ по ученію прежнихъ ученыхъ кольцо Сатурна, не опираясь на твердь планеты, держалось взаимной связью и давленіемъ своихъ частей. У абсолютизма есть огромное природное тяготѣніе къ идеализму; но не чужды ему бываютъ и матеріалисты. Превосходный образчикъ этого—наши ортодоксы, которые—вопреки духу діалектики—упорно держатся за такія субстанціалистскія понятія, какъ «вещь въ себѣ», «матерія», и даже прямо защищаютъ идею субстанціи.

Синтетизмъ діалектики дополняетъ эту антиабсолютистскую тенденцію ея, обобщая релативизмъ до коррелативизма, при чемъ подъ этимъ названіемъ я разумѣю не гносеологическое уче-

ніе о соотносительности субъекта и объекта, а принципъ соотносительности всѣхъ формъ сущаго. Безъ А, говоритъ формула этого расширеннаго коррелативизма, нѣтъ В; безъ В нѣтъ А. Нѣтъ изолированныхъ, отграниченныхъ отъ другихъ, самодовлѣющихъ формъ бытія. Всякое сущее предполагаетъ нѣкоторое другое сущее, къ которому оно соотнесено, и которое, въ свою очередь, соотнесено къ нему. Нѣтъ поэтому замкнутыхъ другъ для друга системъ, нѣтъ монадъ, атомовъ, нѣтъ мірового цѣлаго, которое не могло бы ничему противостоять.

Указанныя нами основныя черты діалектики вполнѣ гармонируютъ съ соціологической концепціей марксизма. Историзмъ и вытекающій изъ него релативизмъ можно разсматривать какъ перенесеніе на все бытіе процесса развитія и измѣнчивости, представляемаго человѣческими обществами и особенно ярко выраженнаго въ капиталистическую эпоху ихъ жизни. Синтетизмъ діалектики опять таки въ духѣ марксистскаго трактованія соціальной жизни, которое считаетъ радикально ложнымъ атомистическое пониманіе общества и которое въ соціальныхъ связяхъ, въ соціальномъ цѣломъ, а не въ отдѣльной личности, видитъ prius, первичный феноменъ.

Но, понимаемая такимъ образомъ, діалектика не есть все-таки исключительный удѣлъ марксизма. Подъ именемъ эволюціонной теоріи, точки зрѣнія развитія (хотя въ теоріи эволюціи моментъ синтетизма слабо выдвинутъ), она стала теперь общимъ достояніемъ науки. Діалектическій матеріализмъ на этой стадіи нашего изслѣдованія означаетъ лишь эволюціонный, релативистическій позитивизмъ, и ничего специфически марксистскаго, специфически пролетарскаго въ немъ нѣтъ. Требуется еще дальнѣйшее суженіе понятія «діалектическій матеріализмъ», чтобъ стали дѣйствовать молекулярныя силы сцѣпленія между этой философской доктриной и пролетарской идеологіей.

Этой спецификаціи достигаютъ разными путями. Одни прибѣгаютъ для этого къ ограниченію понятія діалектики и пытаясь отдѣлить и противоставить его идеѣ эволюціи. При этомъ въ однихъ случаяхъ выдвигается на первый планъ «революціонный» характеръ діалектики, отличающій ее, какъ пролетарскую идеологію, отъ эволюціонности буржуазнаго ученія о развитіи. Вопросъ о томъ, совершается ли развитіе непрерывно или оно допускаетъ и скачки, разсматривается здѣсь, какъ рѣшающій для пролетарскаго міровоззрѣнія.—Я уже въ другомъ

мѣстѣ указывалъ на недостаточность этого критерія, ибо и «буржуазная» наука ничего не можетъ имѣть принципіально, да и фактически не имѣетъ, противъ «революціонныхъ», «критическихъ» моментовъ въ развитіи. Математика, физика, химія, не могутъ и шагу двинуться безъ допущенія «критическихъ» точекъ, безъ признанія пунктовъ разрыва, перерыва. Даже эволюціонныя до послѣдняго времени par excellence науки, геологія и біологія, начинаютъ сызнова отводить видное мѣсто «скачкамъ».

Не видно также, въ силу какихъ особенностей своей классовой психологіи буржуазія должна a limine исключить всякое представленіе о революціи. Буржуазія знаетъ и признаетъ такіе моменты, когда вся «нація», весь народъ, охваченный однимъ порывомъ, возстаетъ противъ своихъ правителей, сбрасываетъ съ себя иго стараго порядка. Не исключена возможность такихъ моментовъ и для теперешней буржуазіи, одомашненной, прирученной и больше всего мечтающей о спокойствіи и порядкѣ. Почему же должна отвергнуть мысль о разрывахъ въ бытіи наука, которая, при всѣхъ своихъ личныхъ связяхъ съ буржуазнымъ міромъ, въ области идей пользуется значительной независимостью отъ него?

Въ другихъ случаяхъ діалектика противоставляется эволюціи, какъ ученіе о совершающемся опредѣленнымъ образомъ развитіи. Діалектика—это ученіе объ эволюціи по противорѣчіямъ, это теорія антагонистическаго развитія. Лучшій примѣръ діалектическаго развитія мы имѣемъ при изученіи процесса соціальной жизни. Движущей пружиной исторической жизни является борьба классовъ; противорѣчіе классовыхъ интересовъ опредѣляетъ ходъ историческаго развитія. Эта соціологическая схема универсализируется до размѣровъ міровой схемы. По типу общественной діалектики конструируется общая діалектика бытія и мышленія. Гераклитовскій принципъ: «вражда — отецъ всего» становится ключемъ къ пониманію всѣхъ явленій. Вслѣдъ за Энгельсомъ наши ортодоксы любятъ говорить о противорѣчивомъ характерѣ движенія, о развитіи по схемѣ тріады всѣхъ естественныхъ процессовъ, о діалектикѣ дифференціаловъ и пр.

Болѣе осторожные поклонники діалектики противорѣчій—напримѣръ, Б. Столпнеръ на своихъ лекціяхъ по философіи марксизма—съ сожалѣніемъ указываютъ на трудность расширить діалектику за предѣлы такъ называемыхъ наукъ о духѣ. Впрочемъ, трудность эта—фактическая. De jure, думаютъ и они,

власти діалектики подчинены всѣ процессы въ мірѣ. Мыслимы такіе успѣхи знанія, которые раскроютъ одинъ за другимъ діалектическій характеръ всѣхъ природныхъ процессовъ. Но при теперешнемъ состояніи нашихъ знаній математика и естествознаніе оказываются почти совсѣмъ недоступными, непроницаемыми для ученія о діалектикѣ.

Къ теоріи классовыхъ антагонизмовъ буржуазія относится, несомнѣнно, болѣе враждебно, чѣмъ къ ученію о революціонныхъ катастрофахъ. Допустить принципъ классовой борьбы—это значитъ для нея признать перманентную революцію въ своихъ собственныхъ нѣдрахъ. Философская транспонировка этого антагонистическаго момента общественнаго развитія должна поэтому быть гораздо менѣе пріемлемой для идеологовъ буржуазіи, чѣмъ универсализація момента революціонности. Но не нужно быть непремѣнно такимъ буржуазнымъ идеологомъ, чтобы вынести отрицательный приговоръ этому ученію о противорѣчіяхъ, въ пользу котораго его защитники, вмѣсто доводовъ по существу, приводятъ обыкновенно пару-другую неудачныхъ иллюстрацій. Лучшее въ этомъ смыслѣ, что могутъ предъявить сторонники діалектики, это—старые-старые софизмы Зенона о движеніи. Но, конечно, не этими отвлеченными и просто схоластическими соображеніями питается тяготѣніе къ діалектикѣ, наблюдающееся у иныхъ марксистовъ. Въ основѣ его лежитъ стремленіе найти ясную раздѣлительную черту, стремленіе сказать такое слово, котораго ни за что не выговоритъ буржуазная мысль. Отсюда—это неправильное обобщеніе кардинальнѣйшаго факта соціальной жизни. Развитіе обществъ въ отличіе отъ развитія біологическихъ индивидуальностей, или неорганизованныхъ системъ имѣетъ свои крупныя особенности, связанныя съ его расчлененіемъ на антагонистичные классы. Борьба классовъ—это совсѣмъ не то, что борьба клѣтокъ въ организмѣ или же какая-нибудь гипотетическая борьба за существованіе химическихъ элементовъ. Общая схема развитія—буде таковая можетъ быть найдена (скажемъ, въ видѣ петцольдтовскаго ученія о стремленіи всѣхъ системъ къ устойчивости, или какая-нибудь другая теорія)—здѣсь сильно осложняется. Но сама эта сложность соціальной схемы развитія мѣшаетъ разсматривать ее какъ прототипъ, какъ обязательную форму для всѣхъ рѣшительно процессовъ въ мірѣ.

Резюмируя, мы можемъ сказать, что діалектика—беря ее въ ея жизненномъ, цѣнномъ ядрѣ—это точка зрѣнія эволюціи, это

принципъ развитія и релативизма въ общемъ,—чѣмъ не исключается, разумѣется, особая форма этого развитія въ такихъ сложныхъ системахъ, какъ общество и общественная идеологія. Входя необходимой составной частью въ систему марксизма, діалектика значительно ограничиваетъ нашъ выборъ, уменьшаетъ число философскихъ возможностей. Но она все таки лишь необходимая предпосылка философіи марксизма, а не достаточное условіе ея, какъ это думаютъ сторонники специфически пролетарской («революціонной» или «противорѣчивой») діалектики.

Но спецификація діалектическаго матеріализма можетъ совершаться съ противоположнаго конца. Можно начать сужать первоначально крайне широкое понятіе матеріализма (позитивизма), осложняя его такимъ образомъ, чтобъ въ немъ обнаружились черты близкія марксизму. Знаменитая марксова формула историческаго матеріализма гласитъ: «не сознаніе опредѣляетъ бытіе, а общественное бытіе опредѣляетъ сознаніе». Общественная идеологія, согласно этой теоріи, есть производное отъ общественнаго бытія, отъ объективнаго и совершающагося безсознательно процесса общественной жизни. Философская транскрипція этого соціологическаго тезиса означаетъ прежде всего эмпиризмъ, равнозначуща съ приматомъ чувственнаго, конкретнаго («матеріальнаго») надъ отвлеченнымъ, абстрактнымъ («идеальнымъ»).

Этотъ эмпиризмъ есть въ то же время и сенсуализмъ, а не матеріализмъ (въ узкомъ смыслѣ слова), какъ это можетъ показаться въ виду названія соціологическаго ученія Маркса. Во-первыхъ, въ философскомъ матеріализмѣ имѣется абсолютистская тенденція, которую трудно согласовать съ релативистическимъ духомъ діалектики. Но дѣло не только въ этомъ. Въ философскомъ матеріализмѣ можно намѣтить двѣ главныя разновидности, которыя для краткости характеризуемъ, какъ монистическую и дуалистическую. Монистическій матеріализмъ отвергаетъ по существу наличность особеннаго «психическаго» («психическое» разсматривается, какъ особый видъ матеріи, движенія, энергіи; или же «психическое» трактуется, какъ эпифеноменъ, ненужный придатокъ). Дуалистическій же (или параллелистическій) матеріализмъ въ «психическомъ» видитъ особый аспектъ реальности, правда, подчиненный и зависимый отъ другого, «физическаго», аспекта ея, но несводимый къ нему и принципіально отличный отъ него. Какую бы изъ этихъ разновидностей матеріализма ни принимать—наши ортодоксы съ Плехановымъ во главѣ стоятъ здѣсь на дуалисти-

ческой точкѣ зрѣнія—«психическое», «идеальное», есть нѣчто рѣзко отличающееся отъ «физическаго», «матеріальнаго», нѣчто имѣющее мѣсто совсѣмъ въ другой плоскости бытія. Между этимъ ученіемъ и соціологической теоріей Маркса аналогія невозможна. Общественная идеологія, согласно теоріи историческаго матеріализма, не есть какой то излишній эпифеноменъ общественнаго бытія (общественной матеріи). Но она также и не представляетъ чего то принципіально отличнаго отъ этой матеріальной основы. Пропорція

экономика : идеологія = матерія : сознаніе,

которою можно было бы условно выразить интерпретацію историческаго матеріализма въ смыслѣ философскаго матеріализма, не имѣетъ смысла. Члены перваго отношенія («экономика» и «идеологія»), хотя и различны между собой, все таки явленія, въ извѣстномъ смыслѣ, одного порядка. Между тѣмъ во второмъ отношеніи, съ точки зрѣнія философскаго матеріализма, «сознаніе» или просто вычеркивается или разсматривается, какъ нѣчто несравнимое, не имѣющее ничего общаго съ «матеріей». Наоборотъ, если аналогизировать теорію историческаго матеріализма въ сенсуалистическомъ смыслѣ, мы получимъ правильную и удобочитаемую условную пропорцію:

Экономика : идеологія = ощущеніе : отвлеченное понятіе.

Если въ связи съ ученіемъ историческаго матеріализма принять въ разсчетъ и моментъ діалектики, то мы получимъ важный результатъ о развитіи формъ сознанія (познанія), получимъ взглядъ на познаніе, какъ на особую форму приспособленія организмовъ въ борьбѣ за существованіе. Это сближаетъ марксизмъ съ «махизмомъ», который въ основныхъ своихъ чертахъ есть объективный сенсуализмъ, обогащенный примѣненіемъ къ нему дарвиновской теоріи приспособленія. Между марксизмомъ и махизмомъ есть, впрочемъ, цѣлый рядъ общихъ и весьма важныхъ пунктовъ. И марксизмъ и махизмъ стоятъ на эмпирической, сенсуалистической точкѣ зрѣнія. Оба они признаютъ динамизмъ, релативизмъ и синтетизмъ формъ бытія и познанія. Для обоихъ нихъ познаніе есть своеобразный рефлексъ «бытія», т. е. жизни, рефлексъ, совершающійся въ силу законовъ борьбы за существованіе и приспособленія къ окружающей средѣ. Совсѣмъ не случайнымъ поэтому является то, что Махъ, изслѣдуя генезисъ наукъ, приходитъ нерѣдко къ формуламъ, поразительно напоминающимъ марксовы: примѣняя къ общественной жизни взглядъ на познаніе, какъ на

особую біологическую реакцію, онъ долженъ получать выводы въ духѣ историческаго матеріализма.

Но какъ ни близки между собой марксизмъ и махизмъ по многимъ основнымъ вопросамъ философскаго умозрѣнія, это все-таки не значитъ, что махизмъ и есть именно искомая марксистская философія. На теоріяхъ махизма не лежитъ отпечатка спеціально марксовой соціальной философіи. Махизмъ возникъ исторически, какъ приложеніе дарвиновскихъ идей къ проблемѣ познанія. Махизмъ есть философская спецификація біологической теоріи Дарвина, а не соціологическаго ученія Маркса, и онъ близокъ къ марксизму постольку, поскольку самъ марксизмъ можно разсматривать, какъ своего рода соціальный дарвинизмъ, какъ разновидность общаго біологическаго ученія о развитіи и борьбы за существованіе. Махизмъ не есть философскій отростокъ марксизма; оба они родственны между собой идеологически, какъ развѣтвленія одного ученія объ эволюціи формъ жизни.

III.

Подведемъ теперь нѣкоторые итоги. Каково взаимоотношеніе между марксизмомъ и философіей? Можно ли говорить о марксистской философіи? Именно о марксистской, а не марксовой, ибо какъ ни интересенъ самъ по себѣ вопросъ о подлинныхъ воззрѣніяхъ Маркса и Энгельса, это скорѣе проблема изъ области эрудиціи, марксистской филологіи, а не философіи. На поставленный нами вопросъ можно отвѣтить пока слѣдующее:

Во-первыхъ, та или иная философская позиція совсѣмъ не безразлична для марксизма. Философія это не Privatsache, а нѣчто существенное и важное для всей системы марксизма. Но отъ этого общаго утвержденія еще очень далеко до специфически марксистской философіи. Рядомъ постепенныхъ приближеній мы суживали ту идейную площадь, внутри которой должно заключаться искомое рѣшеніе. Штрихъ за штрихомъ прибавляли мы, обособляя этимъ марксистское міросозерцаніе отъ другихъ. Общимъ понятіемъ матеріализма, какъ антиидеализма, провели мы первую широкую борозду, отмежевавшись отъ безчисленной массы идеалистическихъ ученій. Динамизмъ, релативизмъ и синтетизмъ діалектики повели къ элиминаціи еще цѣлаго ряда философскихъ спекуляцій. Еще дальше углубились мы, принявъ взглядъ на познаніе, какъ на нѣкоторую біологическую реакцію. Идя такимъ образомъ, мы суживали и стягивали кольцо, теряя

одного за другимъ философскихъ попутчиковъ. Съ біологизмомъ эмпиріокритической школы мы подошли вплотную къ рубежу марксизма, и въ работахъ такихъ представителей этого направленія, какъ Махъ, для насъ зазвучали совсѣмъ марксисткія нотки. Проблема специфически марксистской философіи—если только возможна таковая— начинается именно здѣсь, у самой границы марксова соціологизма.

Эту границу ужъ пытались перейти нѣкоторые изслѣдователи-марксисты. По систематичности изложенія и настойчивости проведенія своей основной идеи на первомъ планѣ стоитъ, конечно, эмпиріомонизмъ А. Богданова. Богдановъ оперируетъ главнымъ образомъ съ теоріей о соотношеніи между общественнымъ бытіемъ и сознаніемъ. Въ то время, какъ для Маха познаніе есть біологическая реакція, Богдановъ разсматриваетъ его, какъ реакцію соціологическую. Различныя формы идеологіи онъ пытается связать съ соотвѣтствующими, опредѣляющими ихъ, соціальными категоріями. «Матерія», «духъ», «вещь въ себѣ», «индукція», «дедукція» и пр.—для всего этого Богдановъ, пользуясь такъ называемымъ имъ соціально-генетическимъ методомъ, отыскиваетъ свои особые соціологическіе эквиваленты (такъ, напримѣръ, противоставленіе матеріи и духа, или физическаго и психическаго, выражаетъ на философскомъ языкѣ соціальную антитезу исполнительскаго и организаторскаго труда, и т. д.). Пользуясь тѣмъ же соціально-генетическимъ методомъ, А. Богдановъ развиваетъ рядъ аналогій между своей эмпиріомонистической картиной міра и общественной средой, изъ которой она, по его мнѣнію, выросла. Онъ приходитъ такимъ образомъ къ выводу, что эмпиріомонизмъ «въ своей общей схемѣ воспроизводитъ основныя черты строенія современнаго общества», являясь въ то же время пролетарскимъ по своимъ тенденціямъ.

В. Базаровъ въ своей интерпретаціи философіи Маркса подчеркиваетъ преимущественно другой моментъ. Его интересуетъ, главнымъ образомъ, практическая, дѣйственная сторона марксова матеріализма. Онъ возстаетъ противъ взгляда на познаніе, какъ на пассивное отраженіе дѣйствительности; онъ отвергаетъ эмпиріокритическую теорію «чистаго описанія», которая исключаетъ роль человѣческой активности, человѣческой практики. Въ связи съ этимъ Базаровъ развиваетъ рядъ отдѣльныхъ интересныхъ замѣчаній, которыя въ своей совокупности не составляютъ однако чего нибудь цѣльнаго. Въ этихъ замѣчаніяхъ имѣется зерно, изъ

котораго могла бы развиться нѣкоторая «философія дѣйствія», какъ философія марксизма, но пока Базаровымъ сдѣланы только первые шаги въ этомъ направленіи.

Развиваемая мной теорія эмпиріосимволизма не ставитъ себѣ прямой задачей выработку спеціально марксистскаго міросозерцанія. Философскія проблемы она беретъ прежде всего съ чисто-философской же стороны. Но можно показать, что въ основныхъ своихъ чертахъ она вращается въ кругѣ идей соціальной философіи Маркса. Въ матеріалистическомъ пониманіи исторіи легко различить два основныхъ аспекта его, которые можно назвать соціально-психологической и соціально-космической сторонами его. Соціально-психологическая точка зрѣнія разсматриваетъ общежитіе, какъ сложную трудовую ассоціацію, въ основѣ которой лежитъ трудъ экономическій; она указываетъ на связь идеологической надстройки съ матеріальнымъ базисомъ, въ борьбѣ классовъ видитъ основное содержаніе исторіи и пр. Съ соціально-космической точки зрѣнія исторія представляется, какъ непрерывно происходящій процессъ между человѣчествомъ и природой, процессъ, въ которомъ человѣчество постепенно завоевываетъ природу. Мѣра этой власти надъ природой дается степенью развитія производительныхъ силъ. Исторія, съ этой точки зрѣнія, это повѣсть о томъ, какъ въ естественную—физическую и біологическую—среду внѣдряется искусственная соціальная среда и пускаетъ прочные корни съ помощью широко развѣтвленнаго техническаго аппарата. Исторія—это переходъ отъ «необходимости» къ «свободѣ», это все большее проникновеніе «даннаго» «созданнымъ», «реальнаго» «конвенціональнымъ», «чувственно-конкретнаго» «абстрактно-символическимъ». Эмпиріосимволическая точка зрѣнія выдвигаетъ на первый планъ эти антитезы. Она могла бы быть поэтому разсматриваема, какъ философская транскрипція соціально-космическаго разрѣза теоріи историческаго матеріализма.

Этими примѣрами не исчерпываются, конечно, всѣ философскія конструкціи. Мыслимы еще и иныя построенія того же типа. Какъ понять это? Какъ понять сосуществованіе нѣсколькихъ системъ марксистской философіи? Первый являющійся въ голову отвѣтъ—это тотъ, что, кромѣ одной изъ этихъ теорій, всѣ прочія невѣрны, несостоятельны. Но дѣло не въ этомъ. Всѣ эти концепціи могли бы быть внутренне непротиворѣчивы и правильны, не стѣсняя и не кунктуррируя другъ съ другомъ. Въ марк-

совой соціальной философіи можно выдѣлить нѣсколько основныхъ мотивовъ, весьма близкихъ между собой, спаянныхъ въ одно цѣлое могучимъ синтезомъ, но все таки представляющихъ разные аспекты, разные нюансы одной идеи. Универсализируя—на основѣ принятыхъ выше предпосылокъ антиидеализма, релативизма и пр.—тотъ или иной моментъ соціальной доктрины Маркса, мы получимъ въ очерченномъ нами кругѣ нѣсколько философемъ марксистскаго пошиба, марксистскаго стиля. Уже одни эти выраженія показываютъ, что мы подошли къ той грани философскаго творчества, гдѣ прекращается работа исключительно теоретическая, научная, а начинаетъ чувствоваться вліяніе уже практическаго момента ея, гдѣ говоритъ уже дѣятельность искусства.

Значитъ, нѣтъ марксистской философіи, а есть марксистскія философіи или даже—пользуясь терминомъ, имѣющимъ, впрочемъ, совсѣмъ другое значеніе — есть «марксистообразныя» философіи? Пожалуй, такъ. Конечно, мыслимъ такой философскій синтезъ, который объединитъ всѣ эти dis jecta membra marxismi. Но и безъ этого синтеза дѣло не обстоитъ особенно плохо, ибо однозначности нѣтъ пока вообще въ философіи, нѣтъ ея даже въ болѣе узкомъ кругѣ такъ называемой научной философіи. Все поле философскаго творчества изсѣчено продольными и поперечными межами, дѣлящими его на рядъ клѣтокъ, рядъ направленій, отграниченныхъ по различнымъ признакамъ другъ отъ друга. Въ каждой такой клѣткѣ помѣщается не одна доктрина, а нѣсколько близкихъ между собой. Съ развитіемъ научной мысли эта пестрота, чрезполосица и неопредѣленность философской спекуляціи будетъ, несомнѣнно, сокращаться, никогда, однако, можетъ быть, не падая до нуля: философія — не говоря уже о трудности и запутанности изучаемыхъ ею проблемъ—всегда останется до нѣкоторой степени «поэзіей понятій»—какъ Ланге охарактеризовалъ метафизику, — а поэзія не можетъ приводить къ однозначнымъ рѣшеніямъ. Но эта многозначность научныхъ философій будетъ имѣть мѣсто на все сокращающейся площадкѣ идеологическаго творчества. Амплитуда качаній въ философскихъ рѣшеніяхъ міровой загадки будетъ все болѣе сокращаться.

Вопросъ объ особой марксистской философіи свелся у насъ подъ конецъ къ вопросу объ особомъ стилѣ философской доктрины, объ особой окраскѣ ея. Скажутъ: не значитъ-ли это попросту, что въ сущности нѣтъ специфически-марксистской фи-

лософіи, что слово «стиль» здѣсь поставлено вмѣсто чего-то болѣе скромнаго — напримѣръ, орнаментики — и что полученную обыкновеннымъ путемъ философскаго умозрѣнія систему мы потомъ подкрашиваемъ и убираемъ въ надлежащіе марксистскіе тона? Не лучше ли отказаться отъ этого занятія, по существу безвреднаго, но придающаго конечнымъ результатамъ такой философской дедукціи характеръ чего-то придуманнаго, искусственнаго, за волосы притянутаго? Не лучше ли вмѣсто марксистской философіи говорить попросту о научной философіи—вѣдь къ ней по существу клонили мы все время, когда дѣлали одно за другимъ наши ограниченія,—и не цѣлесообразнѣе ли поступятъ марксисты, если, отказавшись отъ излишнихъ претензій, займутся и съ своей стороны разработкой этой научной философіи?

На это я замѣчу слѣдующее. Марксизмъ не можетъ, разумѣется, ничего имѣть противъ того, чтобы раствориться въ научной философіи, но подъ условіемъ, чтобы научная философія не забывала, что она въ извѣстномъ отношеніи марксистская. Матеріализмъ и діалектика—эти основныя посылки научной философіи—не просто личная концепція Маркса и Энгельса, подобно тому какъ подъ именемъ принципа эволюціи и позитивизма они были взглядами Спенсеровъ, Дарвиновъ и пр.,—они выражаютъ также характеръ идеологіи цѣлаго класса. Въ этомъ своемъ новомъ качествѣ они пріобрѣтаютъ совсѣмъ иное значеніе и цѣнность. Никогда не слѣдуетъ забывать подчеркнуть эту сторону дѣла и указать, что научная философія имѣетъ для себя твердой опорой нарождающееся міровоззрѣніе наиболѣе прогрессивнаго класса. Это во-первыхъ. Но, кромѣ того, не слѣдуетъ забывать и того чувственнаго тона, въ который идеологія этого класса сумѣетъ окрасить сухія философскія схемы, того вида «поэзіи понятій», который онъ долженъ призвать къ жизни. Конечно, это—лишь далекая пока цѣль. Возможно даже, что философія пролетаріата—какъ и многія другія задачи, лежащія теперь на его плечахъ — осуществится вполнѣ лишь тогда, когда съ исторической сцены сойдетъ самъ пролетаріатъ, какъ таковой. Но во всякомъ случаѣ, какъ такая конечная цѣль, какъ регулятивная идея, понятіе пролетарской (марксистской) философіи можетъ стоять рядомъ съ понятіемъ научной философіи, ничуть не противорѣча ему.

Но въ философіи, какъ «поэзіи понятій», важенъ прежде всего чисто-теоретическій моментъ, моментъ систематизаціи, ло-

гической дедукціи. А нить дедукціи, логическихъ связей, несравненно легче вести съ общефилософскаго, общенаучнаго конца, чѣмъ съ конца спеціально марксистскихъ теорій. Результатъ здѣсь не можетъ обмануть. Если въ марксизмѣ есть, дѣйствительно, κτῆμα εἰς ἀεί, если имъ правильно намѣчена основная линія развитія человѣческихъ обществъ и ихъ идеологій — я не говорю, конечно, о временныхъ блужданіяхъ и ограниченностяхъ, ибо мы вправѣ здѣсь, какъ и въ наукѣ, апеллировать къ будущему, апеллировать отъ марксизма плохо освѣдомленнаго къ марксизму лучше освѣдомленному—то философская дедукція, идущая отъ общенаучныхъ посылокъ, должна рано или поздно привести къ пересѣченію съ марксизмомъ, привести къ той идейной площадкѣ, на которой развертываются «марксистообразныя» философемы. Выражая это отношеніе сравненіемъ: чтобы получить соединеніе марксизма съ философіей, чтобы получить марксистскую философію, можно вести туннель какъ отъ марксизма, такъ и отъ философіи. Съ этого второго конца вести его несравненно легче; не надо смущаться только, если во мракѣ подземной работы не видно того, что дѣлается за гребнемъ горъ, съ противоположной стороны. Компасъ науки—вообще говоря—оріентируетъ насъ правильно; если такъ же правиленъ компасъ марксизма, то встрѣча рано или поздно произойдетъ.

IV.

Я сказалъ выше, что среди марксистовъ «махизмъ» тождественъ съ стремленіемъ идти нога въ ногу съ наукой. Заканчивая же свой поневолѣ бѣглый очеркъ отношеній между философіей и марксизмомъ, я пришелъ къ выводу о цѣлесообразности строить философію марксизма, исходя изъ общенаучныхъ посылокъ. Въ результатѣ получается какая-то сплошная «похвала Разуму», похвала наукѣ—итогъ самъ по себѣ довольно скудный и неинтересный. Но итогъ скудный безотносительно, неинтересный именно «самъ по себѣ», а не въ атмосферѣ того духовнаго гетто, надъ созданіемъ котораго такъ трудятся почему-то иные марксисты.

Г. Булгаковъ когда-то писалъ о себѣ, что въ его философскихъ исканіяхъ Кантъ всегда былъ для него несомнѣннѣе Маркса. Печальный конецъ этого ex-марксиста показываетъ, насколько ненадеженъ былъ выбранный имъ критерій. Но въ

терминахъ г. Булгакова можетъ быть поставленъ болѣе интересный вопросъ объ отношеніи между наукой и марксизмомъ. Пользуясь этой терминологіей, можно сказать, что для нашихъ ортодоксовъ марксизмъ «несомнѣннѣе» науки. Я имѣю въ виду, конечно, не слово ортодоксіи, а дѣяніе ея, не букву ея, а духъ: ортодоксіей непремѣнно подразумѣвается приматъ марксизма. Отношеніе къ наукѣ здѣсь лучше всего характеризуется девизомъ прусскихъ феодаловъ:

Und der König absolut,
Wenn er unsern Willen thut.

Наука суверенна, но лишь постольку, поскольку она творитъ мою волю, поскольку, напримѣръ, она подтверждаетъ исповѣдуемое мною вѣроученіе матеріализма.

Въ оправданіе ортодоксовъ можно привести нѣкоторыя серьезныя обстоятельства. Ничего, казалось бы, проще на первый взглядъ, чѣмъ вопросъ о томъ, что несомнѣннѣе: наука или марксизмъ? Хотя марксизмъ и самъ есть наука — и даже одно изъ величайшихъ завоеваній ея — но онъ все-таки лишь часть науки, лишь одинъ изъ интегрирующихъ элементовъ ея. Здѣсь, въ вопросѣ о взаимоотношеніяхъ между цѣлымъ и частью, не можетъ быть, повидимому, никакихъ сомнѣній. Но это рѣшеніе хорошо только въ общихъ чертахъ, суммарно, принципіально, ибо имѣется рядъ такихъ наукъ, гдѣ это общее рѣшеніе испытываетъ значительныя ограниченія. Въ этихъ случаяхъ обнаруживается конфликтъ между истиной—не абсолютной и извѣчной Истиной идеалистовъ,—а истиной, общей линіей идеологическаго развитія человѣчества, и частными истинами, выражающими состояніе идеологіи извѣстной эпохи, извѣстнаго класса, извѣстной группы. Такія науки, какъ право, политическая экономія, вообще соціальныя науки, въ извѣстной мѣрѣ философія, слишкомъ тѣсно связаны съ интересами борющихся классовъ, чтобъ не носить на себѣ слѣда вліянія ихъ. Они чаще всего трактуются безъ того безкорыстія, которое необходимо для строго-научнаго изслѣдованія; и если ужъ искать minimum своекорыстія, то мы его встрѣтимъ въ этихъ случаяхъ у идеологовъ пролетаріата, которые, пожалуй, и вправѣ говорить тогда, что марксизмъ несомнѣннѣе науки.

Но это все-таки не значитъ, что марксизмъ здѣсь непогрѣшимъ, что онъ даетъ безусловно надежный критерій, съ помощью

котораго истина легко отдѣляется отъ лжи. Такихъ критеріевъ вообще нѣтъ. Нѣтъ истины—эталона, бережно хранящагося, подобно интернаціональному метру, въ малодоступномъ внѣшнимъ вліяніямъ помѣщеніи, съ которой можно сравнивать наши будничныя, идущія въ обычное употребленіе, истины. Нѣтъ ея и у марксизма. Условія чистаго опыта, вообще говоря, складываются благопріятнѣе для идеологовъ пролетаріата. Но только «вообще говоря», ибо и здѣсь имѣютъ мѣсто противодѣйствующія тенденціи. Идеальная линія пролетарскаго развитія часто закрывается какимъ-нибудь временнымъ и случайнымъ зигзагомъ движенія. Безкорыстіе, объективизмъ пролетарской идеологіи нерѣдко оборачиваются въ своекорыстіе, субъективизмъ. Этотъ субъективизмъ, претендуя на объективизмъ, легко превращается въ догму, въ церковничество. Идеальная истина—метръ, истина—эталонъ, выступаютъ тогда, какъ истина — догматъ, какъ истина—канонъ, отъ котораго ужъ нельзя отступить подъ страхомъ анаѳематствованія и экскоммуникаціи.

Царскаго пути къ знанію нѣтъ и въ марксизмѣ. Нѣтъ въ немъ широкихъ, удобныхъ дорогъ, попавши на которыя ужъ не ошибешься въ поискахъ истины. Я указываю на всѣ эти трудности не для того, чтобы приглашать къ скептицизму—хотя хорошая доза скепсиса не мѣшала бы для разрушенія той толщи догматизма, въ которую теперь замурована марксистская мысль. Скептицизмъ вѣдь это абсолютизмъ незнанія. Между догматизмомъ—этимъ абсолютизмомъ знанія—и скептицизмомъ—этимъ абсолютизмомъ незнанія—вьется узкая тропинка критицизма—релативизма знанія—то «остріе бритвы», о которомъ любилъ говорить Антоній Лабріола. Указаніе на «остріе бритвы»—это, разумѣется, меньше всего указаніе на опредѣленный методъ. Методъ здѣсь, повидимому, совсѣмъ исчезаетъ, превращаясь въ какое-то чувство нюансовъ, оттѣнковъ. Но это *субъективное* чувство, этотъ научный *тактъ*, стоящій на грани точныхъ методовъ и есть то, благодаря чему дѣлаются вообще въ наукѣ наиболѣе цѣнныя *объективныя* завоеванія. Научный тактъ дороже научнаго метода, ибо научный тактъ—это методъ, облекшійся въ плоть и кровь, это методъ, ставшій живымъ органомъ, ставшій щупальцемъ для захватыванія истинъ. Чтобъ ходить по лабріолову острію бритвы, нужно особое умѣніе, нужна особая интуиція, и въ этомъ смыслѣ марксистами рождаются, а не дѣлаются, какъ рождаются математиками, философами, вообще талантами. Но для этого ро-

жденія нужна благопріятная наслѣдственность, нужна благопріятная духовная атмосфера. Такой атмосферой, разумѣется, не является догматизмъ, притупляющій чувство осязанія истинъ, не утончающій метода до степени такта, а, наоборотъ, мечтающій превратить методъ въ какую-то вычислительную машину, долженствующую въ своемъ концѣ выбрасывать надлежащую истину, подобно тому какъ въ магазинахъ счетныя машины выбрасываютъ тикетъ съ итогомъ.

Не о скепсисѣ идетъ здѣсь рѣчь, а о работѣ надъ превращеніемъ метода марксизма въ живой, нащупывающій живыя истины, органъ, о работѣ надъ утонченіемъ его до степени научнаго такта. А научный тактъ предполагаетъ и к о н т а к т ъ съ научной дѣйствительностью, во всей ея полнотѣ, во всемъ многообразіи ея подчасъ опасныхъ проблемъ, не пугаясь ея буржуазнаго происхожденія. Этотъ страхъ «буржуазнаго» тѣмъ отличается отъ страха Божія, что онъ совсѣмъ не начало премудрости. Въ области науки съ нимъ пора покончить. Не нужно здѣсь запретовъ, не нужно шлагбаумовъ и пограничныхъ столбовъ, не нужно пограничной стражи, не нужно отгораживаться отъ общаго движенія науки и философіи...

Историческая легенда сохранила намъ два напрашивающихся на сопоставленіе разсказа.

Въ одномъ изъ нихъ повѣствуется о поступкѣ халифа Омара, приказавшаго сжечь всѣ книги александрійской библіотеки: если, разсуждалъ онъ, въ этихъ книгахъ говорится то же, что и въ Коранѣ, то онѣ излишни, ненужны; если же въ нихъ есть что-нибудь новое, то онѣ вредны, такъ какъ идутъ противъ слова Божія.

Съ другой стороны, въ «Дѣяніяхъ апостоловъ» мы читаемъ, что, когда въ синедріонѣ обсуждалась проповѣдь христіанства, начатая апостолами, то одинъ изъ членовъ собранія, фарисей Гамаліилъ, высказался противъ преслѣдованія апостоловъ: «и нынѣ говорю вамъ — доказывалъ онъ — отстаньте отъ людей сихъ и оставьте ихъ: ибо, если это предпріятіе и это дѣло отъ человѣковъ, то оно разрушится, а если отъ Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вамъ не оказаться и богопротивниками».

Я думаю, что правъ былъ фарисей, а не халифъ, и что марксистамъ не мѣшаетъ задуматься надъ тѣмъ, какъ бы не оказаться «богопротивниками», противниками святого духа зна-

нія. Обернувъ разсужденіе Гамаліила, можно сказать: если марксизмъ ученіе «человѣческое», т. е. истина временная, даже кратковременная, истина эпохи, пережившая уже себя, то никакими изгородями и частоколами мы не задержимъ его разрушенія и разложенія. Если же онъ ученіе «божественное», т. е. еще полное энергіи и силъ, то никакой контактъ съ буржуазными теоріями для него не страшенъ: онъ ассимилируетъ ихъ себѣ, а не будетъ ими ассимилированъ.

V.

Борьба за право на знаніе, борьба за это элементарное культурное право,—такова нуменальная сущность, «вещь въ себѣ» всѣхъ этихъ феноменальныхъ—подчасъ подлинно феноменальныхъ—разсужденій о «вещи въ себѣ», таково жизненное общественное значеніе происходящей теперь философской контроверзы. Но это только одна сторона дѣла, и притомъ не важнѣйшая. Переоцѣнка философскихъ цѣнностей—это лишь первый рѣшительный шагъ на пути культурнаго расширенія марксизма. Начавшееся идейное броженіе перешло уже границы спеціально философскихъ проблемъ; оно перебросилось въ сосѣднюю область религіозныхъ вопросовъ, съ одной стороны, а съ другой—все болѣе захватываетъ сферу литературной критики и эстетики. Правда, нельзя признать особенно удачными первыя попытки марксистовъ на новомъ поприщѣ. Перековать сразу мечи на серпы, перейти однимъ рѣшительнымъ движеніемъ изъ роли политическихъ дѣятелей на амплуа литературныхъ критиковъ оказалось дѣломъ далеко не легкимъ. Особой граціи и изящества при трактованіи этихъ новыхъ проблемъ марксисты пока еще не обнаружили. Но въ новомъ дѣлѣ такіе промахи и неудачи неизбѣжны; придавать имъ особаго значенія не слѣдуетъ. Важнѣе то, что сломанъ, наконецъ, ледъ. Важнѣе то, что поняли все огромное значеніе культурной борьбы, борьбы за культурныя цѣнности. Всѣ эти неуклюжія, вызывающія часто досаду и смѣхъ, попытки «матеріалистическаго» трактованія проблемъ искусства, философіи, морали, представляютъ собой лишь зачаточныя формы болѣе широкаго пониманія марксизма. Дѣло идетъ теперь, если можно такъ выразиться, о великомъ марксизмѣ, о марксизмѣ, культурно болѣе великомъ, чѣмъ та исключительно политическая форма, которую онъ принялъ въ XIX вѣкѣ.

Чѣмъ долженъ быть марксизмъ? можно спросить формулой Сіейеса. Всѣмъ.—Что онъ такое въ дѣйствительности? Кое-что: извѣстное соціально-экономическое ученіе, легшее въ основу дѣйствій партіи рабочаго класса. Это, разумѣется, относительное «кое-что»; это—огромное «кое-что». Но отъ этой актуальной формы марксизма еще далеко до того потенціальнаго богатства, которое заключается въ немъ, которое вкладываютъ въ него всѣ его сторонники, даже тѣ, что заняты какой-нибудь самой крохотной, самой узкой, практической злобой дня. Потенціальный марксизмъ, марксизмъ-идея четвертаго сословія, универсаленъ, всеобъемлющъ; ничто человѣческое, ничто культурное ему не чуждо. Религія, этика, эстетика, философія, вопросы литературы, критики—на все это онъ долженъ дать свои отвѣты—положительные или отрицательные—но во всякомъ случаѣ опредѣленные, ясные, связанные въ одно стройное органическое цѣлое. Актуальный марксизмъ едва-едва робко затрагиваетъ ихъ, обыкновенно отмалчиваясь отъ нихъ, въ лучшемъ случаѣ довольствуясь какимъ-нибудь пренебрежительнымъ, вскользь брошеннымъ замѣчаніемъ насчетъ буржуазности, антидемократичности и т. п. существующихъ идеологическихъ формъ.

Нетрудно понять основную причину, создающую это положеніе вещей. Пролетарское движеніе крайне молодо, его идеологія не имѣла еще просто времени развернуть всѣхъ своихъ потенцій, тѣмъ болѣе, что огромнѣйшую часть интеллектуальныхъ силъ приходится тратить на насущные вопросы практической политики. Весьма вѣроятно, что, въ силу одного этого послѣдняго обстоятельства, въ предѣлахъ историческаго горизонта никогда не заполнится пропасть между актуальнымъ и потенціальнымъ марксизмомъ, и идея четвертаго сословія воплотится въ жизнь, можетъ быть, лишь тогда, когда исчезнетъ классовое общество, когда само четвертое сословіе растворится въ единомъ человѣчествѣ.

Но это причина, такъ сказать, внѣшняго характера. Между тѣмъ есть и другой важный факторъ, объясняющій этотъ антиномическій результатъ, факторъ, кроющійся въ самой антиномической, антитетической сущности марксизма.

Марксизмъ, замѣтили мы раньше, имѣетъ съ философіей общаго то, что оба они соединяютъ въ себѣ моментъ теоретическій и моментъ практическій. Этотъ синтезъ составляетъ историческую заслугу научнаго соціализма, представляетъ источникъ

его силы. Но въ немъ же и слабость марксизма. Туго стянутыя противоположныя тенденціи по временамъ начинаютъ рвать въ разныя стороны, и изъ-подъ сбившейся на бокъ строгой маски монистическаго синтеза начинаетъ выглядывать перекошенное лицо дуализма. Впрочемъ противоположность практическаго и теоретическаго разума въ ея различныхъ формахъ и проявленіяхъ не единственная въ марксизмѣ. Національнизмъ и интернаціонализмъ, революціонизмъ и реализмъ, классовая точка зрѣнія и точка зрѣнія интересовъ всего общества и пр.,—всѣ эти объединяемыя въ одно цѣлое антитезы, которыя могутъ порадовать сердце иного любителя противорѣчивой діалектики, причиняютъ немало хлопотъ марксистамъ. Но здѣсь мы не коснемся всей системы дуализмовъ марксизма, а ограничимся лишь немногими замѣчаніями по поводу нѣкоторыхъ изъ такихъ, имѣющихъ для нашего вопроса значеніе, антиномій.

Дуалистическій характеръ марксистскаго синтеза ясно обнаруживается уже въ противоположности между марксизмомъ—политической программой и марксизмомъ—научной доктриной, противоположности, легко переходящей въ родственную ей антитезу марксизма — вѣрученія, и марксизма — просто ученія. Съ этой антитезой мы, собственно, и имѣли дѣло на протяженіи всей статьи. Какъ научная система, марксизмъ пропитанъ духомъ діалектики, динамизма, относительности. Для него нѣтъ абсолютныхъ истинъ, истинъ послѣдней инстанціи. Въ наше быстро бѣгущее время истины стали такъ хрупки и непрочны. Ихъ вѣкъ короче человѣческаго. 10—15—20 лѣтъ, и то, что казалось такимъ прочнымъ завоеваніемъ человѣческой мысли, что вчера еще властно покоряло себѣ всѣ умы, сегодня уже отвержено, забыто. Некрополь усопшихъ истинъ быстро растетъ. Это знаетъ и принимаетъ научный марксизмъ: все бренно, все тлѣнно, все смертно, только смерть безсмертна.

Марксизмъ - вѣрученіе готовъ счесть исповѣдуемые имъ догматы за нѣчто абсолютное, неизмѣнное, данное разъ на всегда.

Марксизмъ—научное міровоззрѣніе—это воплощенный духъ критики. Для него нѣтъ фетишей; всему установленному, существующему, онъ противоставляетъ свое разрушительное «нѣтъ». Во всемъ ищетъ онъ моментъ отрицанія, взоръ его направленъ въ будущее.

Марксизмъ - программа и вѣрученіе прежде всего ортодо-

ксаленъ, правовѣренъ. Онъ прикованъ къ прошлому, къ неизмѣнной буквѣ писанія. Какъ и всякое вѣроученіе, онъ нетерпимъ, исключителенъ, даже фанатиченъ. Онъ бережно блюдетъ традицію, ревниво относится ко всякому новшеству. Онъ трудолюбиво окружаетъ ядро ученія комментаріями, толкованіями, запретами. Въ теоріи, конечно, онъ допускаетъ свободу критики. Выросши изъ одной изъ величайшихъ революцій духа, онъ, понятно, ничего не можетъ сказать противъ того пункта буржуазныхъ контитуцій, который гласитъ, что ученіе науки свободно. Но свободѣ критики онъ противоставляетъ могущественное оружіе—свободу организаціи, свободу группировокъ. Свобода критики и свобода группировокъ это лишь особая форма проявленія указываемаго здѣсь дуализма. Въ сферѣ теоретическаго разума царитъ неограниченная свобода мнѣній. Но эта теоретическая свобода не должна мѣшать свободѣ дѣйствій индивида, свободѣ его объединенія съ людьми одинаковыхъ взглядовъ. Во имя этой свободы группировокъ у насъ уже не разъ производились расправы съ инакомыслящими, «товарищи» превращались въ «господъ» и т. д.

Другая трудность, выступающая передъ марксистами, проистекаетъ изъ двойственнаго положенія пролетаріата, являющагося, съ одной стороны, частью современнаго общества, а съ другой—носителемъ будущаго. Новый міръ равенства и братства не представляетъ собой полнаго разрыва со старымъ міромъ, онъ выростаетъ изъ него, какъ естественное продолженіе и завершеніе его. Эмансипація пролетаріата, этотъ великій исходъ изъ буржуазнаго общества, не будетъ произведенъ съ пустыми руками. Экспропріація экспропріаторовъ предполагаетъ и экспропріацію огромныхъ накопленныхъ ими культурныхъ цѣнностей. А это предполагаетъ, въ свою очередь, выборъ между цѣнностями, предполагаетъ работу расцѣнки ихъ, которая—въ чаяніи будущаго—должна производиться уже теперь, въ нѣдрахъ самого стараго общества. Не все буржуазное по своему происхожденію буржуазно и по своему значенію. Въ буржуазной культурѣ должно сумѣть найти общечеловѣческіе элементы, чтобы взять ихъ съ собой, подобно тѣмъ драгоцѣнностямъ, которыя забрали у египтянъ израильтяне при своемъ выходѣ изъ Египта. Передъ марксистами такимъ образомъ встаетъ огромная проблема оцѣнки, которую нужно разрѣшить въ области философіи, морали, искусства. Очень трудная и сама по себѣ эта проблема оцѣнки

въ марксизмѣ осложняется еще тѣмъ, что параллельно съ нею должна быть разработана проблема генезиса цѣнностей, а затѣмъ должны быть сопоставлены и сравнены между собой результаты этихъ параллельныхъ изслѣдованій. Здѣсь встаетъ передъ нами антитеза между трансцедентнымъ методомъ трактованія идеологій и имманентнымъ методомъ анализа ихъ.

Какъ читатель помнитъ, когда мы искали характеристики марксистской философіи, мы съ самаго же начала отвергли идеализмъ, какъ антидемократическое, а значитъ и антипролетарское направленіе философіи. Теоретическую систему мы отбросили во имя практическихъ соображеній,—правда, исходя изъ той предпосылки, что эта система служитъ для наипрактическихъ же цѣлей. Но, какъ теоретическую систему, идеализмъ можно было бы анализировать, оставаясь на почвѣ чистой теоріи. Мы бы пришли къ тому же отрицательному результату, доказавши, напримѣръ, что идеализмъ противорѣчитъ духу современной науки, что онъ ведетъ насъ въ болото метафизическихъ спекуляцій и пр.

Такъ же двойственно наше отношеніе къ принципу діалектики (эволюціи). Съ одной стороны онъ для насъ та основная точка зрѣнія, съ которой современная наука разсматриваетъ всѣ явленія во вселенной. Но мы въ то же время подчеркиваемъ практическое, прикладное значеніе этого начала, какъ извѣстной тенденціи пролетарскаго мышленія.

И т. д., и т. д.

У насъ такимъ образомъ имѣется цѣлыхъ два метода анализа, два критерія истинности: съ одной стороны трансцендентный соціологическій критерій, въ силу котораго мы отвергаемъ концепціи, противорѣчащія интересамъ пролетаріата или неудовлетворяющія пріобрѣтаемымъ имъ въ ходѣ развитія навыкамъ мышленія,—а съ другой—имманентный идеологическій критерій, который при расцѣнкѣ какой-нибудь теоріи апеллируетъ непосредственно къ состоянію науки, къ логикѣ, къ разуму. Какъ относятся между собой эти критеріи? Въ случаяхъ съ идеализмомъ и діалектикой они, скажемъ, приводятъ къ одинаковымъ результатамъ. Но всегда ли между ними наблюдается такое доброе согласіе? Какъ быть въ случаѣ конфликта между ними? Мы исходимъ изъ презумпціи,—что à la longue, въ конечномъ счетѣ, между обоими методами непремѣнно установится согласіе, что здѣсь имѣется своего рода предустановленная гармонія: марксизмъ и наука, если и не всегда

сразу, то ассимптотически совпадаютъ между собой. Но это ассимптотическое рѣшеніе, это рѣшеніе «въ конечномъ счетѣ» мало помогаетъ при конкретныхъ случаяхъ конфликта въ предѣлахъ эмпирически обозримаго будущаго [1]).

Но если даже допустить наличность полнаго согласія между обоими критеріями, то этимъ еще вопросъ объ ихъ взаимоотношеніи не порѣшенъ. Методы эти, очевидно, не идентичны, не дублируютъ другъ другу. Приводя, въ случаѣ гипотезы гармоніи, къ одинаковымъ результатамъ, они дополняютъ другъ друга, одинъ, обращаясь больше къ волевой, эмоціальной сторонѣ, другой—апеллируя къ интеллекту. Здѣсь и возникаетъ проблема о границахъ употребленія обоихъ методовъ. Гдѣ сходятся между собой интеллектъ и воля, гдѣ прекращается имманентный методъ и начинается трансцендентный? Не забудемъ и слѣдующаго. Имманентный методъ проникаетъ повсюду; нѣтъ такой узенькой логической щели, которая была бы для него мала, такого мелкаго звена дедукціи, котораго онъ не могъ бы разобрать. Но, зарываясь часто въ безконечное малое, онъ теряетъ изъ виду общую перспективу. Трансцендентный же методъ оперируетъ

---

[1]) Я здѣсь оставляю въ сторонѣ два очень трудныхъ вопроса гносеологическаго характера. Во-первыхъ, трансцендентный критерій въ концѣ-концовъ опирается на имманентный: сведеніе какой-нибудь идеологіи къ ея матеріальной соціологической основѣ совершается путемъ обычной научной работы, т. е. на основаніи внутренняго имманентнаго критерія истинности. Здѣсь мы имѣемъ перенесенную лишь на почву марксизма антиномію генетическаго и критическаго методовъ.

Въ тѣсной связи съ этимъ стоитъ вопросъ о самостоятельной имманентной закономѣрности идеологій. Пусть A. B, C... будутъ элементы матерьяльной основы, а a, b, c... элементы идеологій, выростающихъ на этой основѣ, являющихся результатомъ приспособленія къ ней. Слѣдуютъ ли a, b, c..., какъ тѣни, покорно за соотвѣтствующими ими A, B, C..., или у нихъ есть и своя особая тенденція развиваться, комбинироваться между собой и пр. Конкретизируя и пользуясь терминологіей Маха, спросимъ: существуетъ ли только приспособленіе мыслей къ вещамъ или есть также и приспособленіе мыслей между собой, а если имѣетъ мѣсто послѣднее, то каково отношеніе другъ къ другу этихъ двухъ видовъ приспособленія? Вопросъ этотъ на одномъ полюсѣ приводитъ къ проблемѣ возможности самостоятельныхъ логическихъ связей, возможности дедуктивныхъ наукъ (математика и пр.), а на другомъ—къ проблемѣ о возможности самостоятельныхъ хронологическихъ связей въ сферѣ идеологіи, т. е. къ проблемѣ объ имманентныхъ законахъ развитія идеологіи.

почти всегда съ безконечно-большимъ; петли его сѣти такъ велики, что черезъ нихъ проскальзываетъ почти весь уловъ идеологій. Какъ наложить тонкое миніатюрное кружево логическаго анализа на широкое переплетеніе невода соціологическаго объясненія?

Благодаря всѣмъ этимъ обстоятельствамъ и безъ того поставленная въ неблагопріятныя условія борьба марксистовъ за культурныя цѣнности становится еще тяжелѣе и сложнѣе. Антиномическія тенденціи въ марксизмѣ, не гармонизованныя, не синтезированныя, приводятъ къ взаимной нейтрализаціи, къ неподвижности мысли, къ косности ея. Свобода группировокъ, вступая въ конфликтъ и подчиняя себѣ свободу мнѣній, превращаетъ ее въ несвободу мнѣнія, въ мышленіе согласно догмѣ, трафарету, принятому шаблону. Потребность выдѣлить общекультурныя цѣнности наталкивается на смущающій фактъ буржуазнаго—точнѣе, непролетарскаго—ихъ происхожденія и останавливается передъ этимъ фактомъ, какъ передъ непреодолимымъ барьеромъ. Трансцендентный методъ ополчается противъ имманентнаго и, оторвавшись отъ него, приводитъ къ подчасъ чудовищнымъ образчикамъ «матеріалистическаго» объясненія идеологіи, чаще всего, впрочемъ, вырождаясь въ дешевое обличительство «буржуазной», «мѣщанской» и т. д. культуры.

Неразрѣшившая своихъ дуализмовъ марксистская мысль пребываетъ точно въ параличѣ. Въ лучшемъ случаѣ она будетъ, по выраженію ветхозавѣтнаго пророка, «хромать на оба колѣна», служа то одному, то другому изъ членовъ антитетическихъ паръ. Отъ идолослуженія свободѣ группировокъ она перейдетъ къ преклоненію передъ свободой мнѣній, проблема генезиса будетъ оставлена для проблемы оцѣнки и т. п., пока не почувствуется необходимость качнуться въ противоположную сторону. Неужели маятникообразные размахи, ритмическая смѣна дыханія выдыханіемъ, періодическое сокращеніе и расширеніе сердца, являются прототипомъ развитія марксизма? Неужели за переживаемымъ нами, доживаемымъ нами, періодомъ марксистской систолы — періодомъ судорожнаго сжатія, ревнивой обособленности марксистской мысли—послѣдуетъ эпоха идейной діастолы—безбрежнаго, не останавливающаго, ни передъ какими границами, расширенія — для того, чтобы потомъ смѣниться новой систолой, и т. д. до конечнаго преодолѣнія буржуазнаго міра? Или будетъ найденъ настоящій, гармонизирующій всѣ эти дуализмы, синтезъ?

Я не берусь здѣсь рѣшать этого вопроса. Но онъ долженъ быть поставленъ, и онъ будетъ поставленъ во всей своей широтѣ. По существу онъ имѣется уже въ теперешней нашей философской дискуссіи. Но для того, чтобы эта дискуссія стала по истинѣ плодотворной, для того, чтобы она явилась преддверіемъ того великаго марксизма, о которомъ я говорилъ выше, она должна подняться надъ этими набившими уже всѣмъ оскомину разсужденіями о вещахъ въ себѣ и заняться «вещами для насъ», заняться всѣми этими основными и тревожными проблемами марксизма.

П. Юшкевичъ.

М. Невѣдомскій.

Модернистское похмѣлье.

Та «мертвая точка», которую проходитъ,—и—судя по коекакимъ признакамъ, въ близкомъ будущемъ пройдетъ—колесо нашей жизни, среди цѣлаго ряда удивительныхъ несообразностей и неключимостей, подарила насъ однимъ особенно страннымъ явленіемъ. Нежданно быстрый и такой кошмарный по своему характеру и глубинѣ захвата переходъ отъ эпохи невиданныхъ и небывалыхъ надеждъ, нежданнаго и небывалаго напряженія жизни къ полнѣйшей, мертвой прострації, къ тому временному бездорожью, къ той волчьей ямѣ, въ которыя мы сейчасъ ввергнуты, породилъ удивительную расшатанность оцѣнокъ, сбилъ и до странности перепуталъ углы зрѣнія. Къ объективнымъ причинамъ внѣшняго фіаско присоединилось еще явленіе внутреннее: та дифференціація нашей интеллигенціи, то перебѣжничество части ея въ лагерь недавно поносимой буржуазіи, которыя происходили съ тою же феерической и подлой поспѣшностью, съ какою періодъ Sturm'a и Drang'a смѣнялся періодомъ разбитаго корыта.

Въ итогѣ—право, такъ!—получилась психологія человѣка, переживающаго головокруженіе: вмѣсто твердо стоящихъ на своихъ мѣстахъ предметовъ—какіе-то мелькающіе круги, перспективы нарушены, относительная величина и значеніе предметовъ—играютъ въ чехарду, не поддаются учету...

Только подобнымъ умонастроеніемъ можно, думается, объяснить такія явленія, какъ, напримѣръ, всплываніе въ первые ряды художества «геніевъ» à la Сологубъ, который, не для всѣхъ еще являясь «учителемъ жизни», съумѣлъ почти у всѣхъ добиться признанія его именно за перворазряднаго художника.

Только подобной психологіей «головокруженія», думается мнѣ, можно объяснить и тотъ фактъ, что именно въ наши дни интеллигентская мысль удѣляетъ такъ много вниманія модернизму разныхъ видовъ и толковъ... а, впрочемъ, даже не разныхъ, а преимущественно одному его толку, который, повидимому, поглощаетъ сейчасъ всѣ остальные, чтобы затѣмъ лопнуть, въ свою очередь, какъ мыльный пузырь...

Если бы въ прошлый — первый пореволюціонный—сезонъ какой-нибудь досужій человѣкъ, въ родѣ г. Чуковскаго (зани-

мавшагося статистикой «ругательствъ», попадавшихся въ прессѣ по адресу Л. Андреева), попытался сдѣлать статистическій подсчетъ наиболѣе часто употребляемыхъ интеллигенціей словъ, то я увѣренъ, что у насъ, въ С.-Петербургѣ, изъ устныхъ и печатныхъ разсужденій онъ извлекъ бы колоссальную цифру для графы: п о р н о г р а ф і я.

Кое-гдѣ, и, право, совсѣмъ ужъ не такъ часто, онъ вмѣсто слова подслушалъ бы, такъ сказать, д ѣ л о, насчиталъ бы десятокъ-другой авторовъ, потрафлявшихъ модѣ, искавшихъ «своего счастья»—въ прозѣ и стихахъ «обнажавшихъ плоть»; но гораздо чаще, въ гораздо большемъ количествѣ регистрировалъ бы онъ р а з г о в о р ы о порнографіи, большей частью негодующіе, полные порицанія и отрицанія, но неимовѣрно обильные. Говорили о «паденіи нравовъ», о «духовномъ растлѣніи» молодежи, о неслыханномъ интересѣ къ вопросамъ пола и т. д. Газетчики пустились въ мнимыя разоблаченія разныхъ мнимыхъ «лигъ» и «притоновъ» и заполняли этимъ матеріаломъ свои столбцы; журналы, основываясь на газетахъ, печатали сводки подобныхъ данныхъ и т. д. Я нѣсколько скептически относился къ этимъ ужасамъ. Въ одной газетной замѣткѣ, въ самый разгаръ «обнаженій» я осмѣлился даже предсказать, что явленіе это, во-первыхъ, преувеличено, а, во-вторыхъ, временное и быстротечное, что не пройдетъ года, какъ его и слѣдъ простынетъ. Если не ошибаюсь, дѣйствительность оправдала мой скептицизмъ. Порнографы наши, за изъятіемъ пока одного, во всѣхъ отношеніяхъ единственнаго—Сологуба, кажется, окончательно провалились...

Теперь вмѣсто порнографіи повсюду—«богъ», «богостроительство», «богоборчество», «богоискательство» и, Богъ вѣсть, въ какихъ еще сочетаніяхъ, но непремѣнно и неизбѣжно слово—именно с л о в о—«богъ»!

У «статистика» нашихъ дней именно графа «богъ» разбухла бы по преимуществу передъ прочими. И слово это употребляется не въ обычномъ, давно установленномъ смыслѣ, а въ смыслѣ, конечно, модернизированномъ или реставрированномъ—въ смыслѣ б о г а с т и л ь м о д е р нъ...

Въ наиболѣе посѣщаемыхъ публикой собраніяхъ, какъ «Литературное общество» и общество «Религіозно-философское», мой гипотетическій статистикъ пожалъ бы богатую жатву. За одну первую половину сезона въ первомъ изъ названныхъ обществъ цѣлыхъ три засѣданія, а во второмъ, конечно, в с ѣ засѣданія—были посвящены именно этому слову, именно «богу стиль модернъ».

Съ другой стороны, если вы заглянете въ критическіе сборники, вышедшіе въ этомъ году, и прежде всего въ марксистскіе сборники, какъ «Литературный распадъ» №№ 1 и 2, какъ «Кризисъ театра», вы убѣдитесь, что они почти сплошь говорятъ о модернизмѣ и о томъ же «богѣ», воюютъ съ модернизмомъ и съ этимъ богомъ [1]).

[1]) Здѣсь, впрочемъ, имѣются и своеобразныя причины къ подобному выбору темъ—я еще вернусь къ этому.

Наконецъ, въ столичной газетной прессѣ не только этимъ же темамъ посвящается немало статей, но именно мистики-модернисты почти всюду завѣдуютъ отдѣломъ литературной критики: въ «Словѣ» г. Философовъ, въ «Рѣчи» г. Мережковскій, г-жа Гиппіусъ, г. Чулковъ; даже въ «Нашей Газетѣ» пишутъ тотъ же г. Философовъ и та же г-жа Гиппіусъ. Изъ журналовъ послѣ двухмѣсячнаго, кажется, сотрудничества въ «Образованіи» упомянутые «богоискатели», окончательно утвердились въ давно пріютившей ихъ «Русской Мысли» (они тамъ второй годъ размежевываются съ г. Струве, и никакъ это имъ не удается). Такимъ образомъ картина полнаго успѣха этой послѣдней фазы модернизма на-лицо. Видимость серьезнаго интереса къ слову «богъ», желаніе слушать произносителей этого слова, казалось бы, безспорная. Побѣда, такъ сказать,—очевидная. А между тѣмъ...

А между тѣмъ—это опять только видимость. Опять только статистическая «графа». И подобно прошлогодней графѣ порнографіи, и эта графа—я опять дерзаю пророчествовать—въ недалекомъ будущемъ имѣетъ опустѣть.

Такъ какъ я не «богоискатель», не «богостроитель», не мистикъ-модернистъ и къ модному нынѣ четырехъ-буквенному слову никакого отношенія не имѣю, мнѣ, разумѣется, приходится мотивировать свое «пророчество». Когда господа модернисты читаютъ намъ рефераты о приближающейся нашей, интеллигентской, погибели, и прямо такъ-таки и взываютъ къ намъ: memento mori! — мы, разумѣется, отъ нихъ аргументовъ не требуемъ: это произведенія «лирическія», какъ пытался защищать одинъ подобный рефератъ г. Чулковъ—«писанныя сокомъ нервовъ»...

Мы же пишемъ чернилами, а этотъ прозаическій матеріалъ для того, чтобы изображенное имъ имѣло мало-мальскую цѣнность, нуждается въ дополненіи—въ видѣ логическихъ доводовъ.

Доводы мои будутъ двоякаго рода. Одни критико-литературнаго свойства; другіе,—такъ-сказать, психологическаго: результаты непосредственныхъ впечатлѣній, «ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ»—при посѣщеніи упомянутыхъ собраній за текущій сезонъ.

Начну съ модернизма нашего вообще. По всѣмъ признакамъ, онъ уже уперся въ стѣну, договорился до конца и ликвидируетъ свои дѣла. Именно «богоискательство» (оставляю пока это неудачное опредѣленіе) господъ Мережковскихъ является его послѣднимъ этапомъ. Именно «догматизмъ» г. Мережковскаго заводитъ наше декадентство въ тупикъ, гдѣ начинается да и завершается уже полное его разложеніе.

Что этотъ именно тупикъ затянулъ или затягиваетъ въ себя нѣкогда столь пеструю струю нашихъ былыхъ эстетовъ-индивидуалистовъ и даже солипсистовъ, въ этомъ можно убѣдиться, просмотрѣвши за послѣдній годъ лейбъ-органъ модернизма «Вѣсы». Нѣкогда тамъ шло поголовное расшаркиваніе другъ передъ дру-

жкой. Всякій с в о й человѣкъ объявлялся чуть не геніемъ, пролагателемъ новыхъ путей, творцомъ новыхъ цѣнностей. Затѣмъ, года три назадъ, наступилъ, по ихъ же терминологіи, «кризисъ индивидуализма». Настала очередь «соборности» и «всенародности» всѣхъ видовъ и типовъ, отъ мистическаго анархизма гг. Иванова и Чулкова, отъ «орхестръ» и «θимелъ» перваго до соборности воскресшихъ въ «духѣ и плоти» «абсолютно-цѣнныхъ личностей» — катастрофически мыслящаго г. Мережковскаго... Слѣдующая стадія—поголовная ссора и ругань (и еще какая—третье-думская п р а в а я могла бы, пожалуй, позавидовать инымъ выходкамъ этихъ эстетовъ!). Доставалось Вяч. Иванову за его «анархизмъ», доставалось «коммивояжеру», «хулигану» и т. д. Георгію Чулкову, доставалось Бальмонту за его—дѣйствительно плачевные—«гражданскіе стихи»; а ужъ о «профанахъ», о непосвященныхъ — въ родѣ Леонида Андреева, Ценскаго, Зайцева, Куприна и говорить нечего! [1])... Не доставалось, по понятной причинѣ, гг. Брюсову, Аврелію и Бакулину, да еще Андрею Бѣлому съ Бугаевымъ, а также супругамъ Мережковскимъ (это могло служить симптомомъ будущаго сближенія). Именно объ этомъ періодѣ г. В. Бакулинъ писалъ въ № 4 «Вѣсовъ» 1908 г. слѣдующія, вполнѣ «соотвѣтствующія дѣйствительности» строки, которымъ онъ, впрочемъ, придалъ нѣсколько распространительное толкованіе:

„Увѣряютъ, что въ теченіе минувшей зимы русскіе писатели только и дѣлали, что бранились другъ съ другомъ... Притомъ бранились не только реалисты съ декадентами и декаденты съ мистическими анархистами, но и реалисты между собой, и декаденты другъ съ другомъ".

Если откинуть лицемѣрное «увѣряютъ», да «реалистовъ», помянутыхъ, кажется, всуе,—картина модернистскаго бытія за прошлый годъ получается очень вѣрная.

Въ нынѣшнемъ сезонѣ Андрей Бѣлый, повидимому, ставшій болѣе близкимъ къ редакціи «Вѣсовъ», во-первыхъ, самъ обнаруживаетъ эволюцію въ сторону г. Мережковскаго, а, во-вторыхъ въ одной замѣткѣ дѣлаетъ очень цѣнное признаніе. Этотъ странный писатель, какъ извѣстно — о двухъ и п о с т а с я х ъ: одна — вполнѣ общедоступная и часто интересная (сошлюсь на его замѣтки объ Ибсенѣ и Достоевскомъ въ 1906 и 1907 гг.), другая, на мой взглядъ, совершенно не интеллигибельная; но помимо этихъ двухъ ипостасей стилистическихъ, въ немъ до послѣдняго времени жила и другого рода двойственность: онъ никакъ не могъ сдѣлать выбора между двумя кориθеями модернизма — «язычникомъ» Ивановымъ и «хиліастомъ» Мережковскимъ, и изнывалъ въ стараніяхъ сочетать Діониса и орхестры одного съ апокалипсисомъ другого. Теперь онъ рѣшился. Из-

[1]) Г. Ценскій, по поводу одной такой критической замѣтки въ третье-думскомъ стилѣ, печатно потребовалъ отъ „Вѣсовъ" извиненія. Послѣдніе извинились. Фактъ чуть ли не единственный въ лѣтописяхъ нашихъ литературныхъ нравовъ...

бранникомъ оказался г. Мережковскій, во всякомъ случаѣ отъ г. Иванова Андрей Бѣлый освободился:

„Всѣ соборники, мистики, оргіасты, эротисты, эротоманствующіе христіане, чулкисты—читаемъ мы у Андрея Бѣлаго—ловко черпали изъ Мережковскаго; здѣсь его проштемпелевали, тамъ запутали, а онъ остался самимъ собой — цѣльнымъ, незабываемымъ. Попрежнему встрѣчаемъ мы его необычное слово съ глубокимъ почтеніемъ; съ преклоненіемъ головы выслушиваемъ мы его даже тогда, когда не соглашаемся". („Вѣсы", 1908 г., № 6).

Въ такомъ благоговѣйномъ родѣ начинаетъ Бѣлый свою критику «пролегоменовъ» Мережковскаго: «Не миръ, но мечъ».

А вотъ что пишетъ въ тѣхъ же «Вѣсахъ» г. Бугаевъ по адресу Вячеслава Иванова:

„Истинный художникъ, какъ и истинно-религіозный человѣкъ всегда предпочтетъ до времени облечься броней научно-философскаго міровоззрѣнія передъ обществомъ (какъ, напримѣръ, Гете), а если ужъ будетъ говорить открыто, то открыто и честно назоветъ имя своего Бога, а не станетъ безсильно вихляться между Идоломъ (Діонисомъ) (sic!) и Богомъ, по мѣрѣ надобности принося жертвочки и Тому, и другому" („Вѣсы", 1908 г., № 5).

Этотъ суровый репримандъ преподается г. Иванову за его знаменитый рефератъ «Двѣ стихіи въ современномъ символизмѣ», читанный однажды въ Петербургѣ и дважды въ Москвѣ, всѣ три раза — съ одинаковымъ успѣхомъ. Мнѣ здѣсь нужно отмѣтить мальтретированіе Діониса («Идолъ»!) и прописныя буквы въ словахъ «Богъ» и «Тому». Повидимому, здѣсь авторъ нѣсколько распахиваетъ свою «научно-философскую броню» и подъ броней мы видимъ сердце... «Богоискателя».

Приведу и другое, еще болѣе цѣнное, ибо болѣе общее по своему содержанію, признаніе того же автора отъ лица какъ бы всей школы: признаніе, которое вводитъ насъ сразу въ атмосферу модернистскаго похмѣлья, которое лучше всего характеризуетъ начало конца, начало ликвидаціи этого теченія— притомъ конца, сознаваемаго и самими модернистами:

„Мы переоцѣнивали наличность литературныхъ силъ въ той группѣ писателей, которая по духу казалась намъ ближе; отъ нѣкоторыхъ именъ ждали мы большаго, нежели способны дать эти имена; изъ нихъ сотворили мы кумиры; кумиры наши окончательно заслонили отъ насъ образъ Горькаго...

Но—вотъ среди лицъ, сосредоточившихъ въ своей дѣятельности традиціи великихъ завѣтовъ русской литературы или дѣйствительно только пролагающихъ новые пути въ литературѣ, начинаетъ твориться что-то неладное: новыя слова ихъ превращаются въ дешевый модернизмъ; строгость пути ихъ смѣнлется подозрительной шаткостью; принимая въ свои ряды авантюристовъ, они все болѣе и болѣе изъ воиновъ движенія попадаютъ въ провіантмейстеры; снабжаютъ модернистскимъ провіантомъ потребителя. И печальная, но— увы!—неизбѣжная переоцѣнка ихъ дѣятельности становится неизбѣжнымъ фактомъ".

Такова печальная—но увы!—правдивая переоцѣнка и самооцѣнка, которую дѣлаютъ себѣ нынѣ гг. модернисты. Ясно, что

конецъ близокъ. Ясно, что почва, если она у нихъ когда-либо и была подъ ногами, сейчасъ изъ-подъ ногъ уходитъ.

Изъ остальныхъ видныхъ сотрудниковъ «Вѣсовъ» надо остановиться на фигурѣ редактора ихъ г. Брюсова. Это—типичный эклектикъ. Никакого «религіознаго» ученія онъ, кажется, никогда не принималъ и не исповѣдывалъ. Словесно и формально будучи новаторомъ и піонеромъ нашего декаденства, онъ въ сущности по темпераменту и психическому складу настоящій п а р н а с е ц ъ изъ самыхъ разсудочныхъ, книжныхъ, «библіотечныхъ»—такъ сказать... Поэтому этотъ писатель, въ интересующемъ меня смыслѣ, совершенно не характеренъ. Въ годы революціоннаго подъема онъ, правда, высказывалъ такія вещи: «Пусть поэтъ творитъ не свои книги, а свою жизнь... На алтарь нашего божества мы бросаемъ самихъ себя. Только жреческій ножъ, разсѣкающій грудь, даетъ право на имя поэта» («Вѣсы» 1905 г., № 1). Но это не лишаетъ насъ «права» видѣть и въ этой тирадѣ лишь «творенье своихъ книгъ», а въ «божествѣ» г. Брюсова мы спокойно можемъ видѣть поэзію или искусство вообще, совершенно не сближая автора съ нашими «богоискателями».

Иначе обстоитъ дѣло съ г. А. Блокомъ. Подобно Андрею Бѣлому, приблизился, повидимому, къ «богоискательному» Мережковскому и этотъ самый талантливый изъ нашихъ молодыхъ модернистовъ, искренній, несмотря на все продиктованное «школой» ломаніе, часто интересный, при всемъ неряшествѣ, при всей поверхностности его отношенія къ своему дарованію... Если изъ двухъ десятковъ его стихотвореній заслуживало бы напечатанія лишь одно, если почти въ каждой строфѣ этихъ стихотвореній «значатъ» только первые два стиха, а два остальныхъ, очевидно для каждаго, привлечены лишь рифмой, то все же это несомнѣнно одаренный, можетъ быть, единственный въ этомъ лагерѣ подлинный поэтъ. Кое-какое вѣяніе духа Мережковскаго и раньше ощущалось въ его стихотвореніяхъ. Теперь онъ читаетъ рефераты объ «интеллигенціи и народѣ», а г. Мережковскій усиленно защищаетъ каждый его тезисъ. Послѣднія стихотворенія Блока ни въ малой мѣрѣ «богоискательства» не обнаруживаютъ. Даже напротивъ: тонъ ихъ проще, жизненнѣе, а темы почти исключительно любовныя, и адресованы они несомнѣнно уже не къ «Прекрасной Дамѣ», а къ дамѣ, быть можетъ, и прекраєной, но не съ прописной буквы... Но зато рефератъ и нѣкоторыя его статьи свидѣтельствуютъ о настоящемъ переломѣ, происходящемъ въ этомъ писателѣ. Къ реферату я еще вернусь, а вотъ одно мѣсто изъ статьи, напечатанной въ «Рѣчи» (отъ 27 октября). Не менѣе вышеприведенныхъ словъ г. Бугаева констатируетъ оно ту смуту внутреннюю, то п о х м ѣ л ь е, которое царитъ теперь въ этомъ недавно еще столь бодро и гордо державшемъ голову лагерѣ. Рѣчь идетъ о выступленіяхъ поэтовъ на «вечерахъ искусства»—г. Блокъ излагаетъ сначала слова одного писателя иного, старшаго поколѣнія:

„Почему потрясали сердца Майковъ со своей сухой и изящной декламаціей, Полонскій съ торжественно протянутой и романтически

дрожащей рукой въ грязной бѣлой перчаткѣ, Плещеевъ въ серебряныхъ сѣдинахъ, зовущій „впередъ безъ страха и сомнѣній“? Да потому, говорилъ мнѣ писатель, что они какъ бы напоминали о чемъ то, будили какія-то уснувшія струны, вызывали къ жизни высокія и благородныя чувства. Развѣ есть теперь что-нибудь подобное, развѣ можетъ быть? Изъ моихъ личныхъ впечатлѣній есть развѣ одно подобное: это,—когда Н. А. Морозовъ читалъ свои стихи—тоже плохіе, конечно, еще гораздо хуже Плещеевскихъ. Но когда онъ читалъ ихъ, я слышалъ, что онъ хотѣлъ передать ими слушателямъ, видѣлъ, по пріему и по лицамъ аудиторіи, что ему удалось это,—и готовъ былъ сказать (какъ и теперь готовъ), что стихи Н. А. Морозова не только можно, а пожалуй, и нужно читать на литературныхъ вечерахъ, стихи же любого изъ новыхъ поэтовъ читать не нужно и почти всегда—вредно.

Вредно потому, что новые поэты еще почти ничего не сдѣлали; потому, что нельзя пріучить публику любоваться на писателей, у которыхъ нѣтъ ореола общественнаго, которые еще не имѣютъ права считать себя потомками священной русской литературы; вредно потому, что нельзя пріучать публику къ любопытству на счетъ писателей въ ущербъ любознательности на счетъ литературы; вредно потому, что большинство новыхъ произведеній, (исключая безчисленныя фабрикаціи и поддѣлки) недоступно большой публикѣ, и она права, когда чистосердечно ничего не понимаетъ; вредно потому, что все это, вмѣстѣ взятое, порождаетъ атмосферу не только пошлости и вульгарности,—хуже того: вечера новаго искусства въ особенности, а также всѣ остальные примыкающіе къ нимъ, по нашимъ временамъ, очень тѣсно, порождая все перечисленное, тѣмъ самымъ становятся какъ бы ячейками общественной реакціи; какъ бы ни были крохотны и незначительны эти ячейки въ круговоротѣ нашей жизни, они дѣлаютъ свое медленное дѣло неуклонно. Потому, будучи глубоко убѣжденъ въ правотѣ своихъ выводовъ, основанныхъ на личномъ опытѣ, и видя въ этомъ дѣло общественной совѣсти, я обращаюсь къ писателямъ, художникамъ и устроителямъ съ горячимъ призывомъ не участвовать въ дѣлѣ, разлагающемъ общество, т. е. не способствовать размноженію породы людей „стиля модернъ“, дни которыхъ сочтены. Общество интеллигентное и безъ „вечеровъ новаго искусства“ довольно пропитано ядами косности и праздности, и прибавлять хоть каплю въ море дурныхъ инстинктовъ есть дѣло недостойное художника и гражданина“.

Плещеевъ, Майковъ, Полонскій, Морозовъ—за такими второразрядными и третьеразрядными поэтами признается больше правъ на званіе «потомковъ священной русской литературы», на вниманіе публики, нежели за недавними «вершинами европейской культуры» «слишкомъ ранними предтечами слишкомъ медленной весны» и т. д., и т. д... Какой, съ Божьей помощью, поворотъ!

А г-жа Гиппіусъ одному изъ своихъ фельетоновъ въ той же «Рѣчи» такъ-таки прямо и предпослала эпиграфъ:

„Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ,
Умывающихъ руки въ крови,
Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви!“

Ну, г-жу Гиппіусъ, конечно, въ разсмотрѣніе принимать не нужно: мало ли что они съ г. Мережковскимъ писали, мало ли что еще напишутъ!.. Но вотъ въ словахъ г. Блока, безусловно,

звучитъ что-то подлинное, что-то надломленное. Оглядка и «похмѣлье»—очевидныя...

Онъ, впрочемъ, дѣлаетъ кое-какія оговорки, оставляющія открытымъ путь къ отступленію, затушевывающія основной стержень его мысли: можетъ быть, главная вина, въ концѣ концовъ, упадетъ на публику, на толпу, не умѣющую понимать современную поэзію, не доросшую до нея? Можетъ быть Плещеевъ и Морозовъ потому «имѣютъ право», что они стоятъ на одномъ съ толпою уровнѣ, не возвышаются надъ нимъ, тогда какъ модернисты... Но при всѣхъ этихъ затушевываніяхъ настроеніе все же ясно: и совершенно понятно это настроеніе въ поэтѣ, который задумался объ «интеллигенціи» и «народѣ», который испыталъ «огромную скуку» (это изъ реферата) на высотахъ своего декадентскаго или «индивидуалистическаго» отъединенія.

И я позволю себѣ поймать г.Блока на словѣ и сдѣлать то же сопоставленіе или почти то же, перейдя къ другому вопросу—къ вопросу о художественной цѣнности завоеваній модернизма, о художественныхъ заслугахъ его адептовъ. Плещеевы, Майковы, Полонскіе—съ одной стороны, Мережковскіе (прежнихъ лѣтъ), Минскіе, Бальмонты, Брюсовы, Блоки, Городецкіе, Ивановы, Коневскіе, Соловьевы, и т. д.—съ другой... Я убѣжденъ, что г. Блокъ подобнаго сопоставленія не ожидалъ. Какое же тутъ сравненіе!—Ну, а все-таки, г. Блокъ...

Что меня касается, я не такъ уже рѣшительно выскажусь за второй рядъ поэтовъ. Возьмемъ «вершины»—Брюсова и Бальмонта. Ну, а изъ стариковъ возьмемъ не Плещеева, который поэтически ужъ вовсе ничтожная величина, а напримѣръ Апухтина. И вотъ, думается, если разборчиво и строго процѣдить сквозь эстетическое сито томъ за томомъ произведенія названныхъ двухъ вершинъ, врядъ ли составится такой объемистый томикъ, какъ Апухтинскій, куда вошли только выношенныя, только дѣйствительно дорогія ихъ автору вещи... Удивительно много лишняго, безвкусно, неразборчиво допущеннаго къ тисненію въ этихъ томахъ современныхъ поэтовъ! О молодежи я ужъ не говорю... И еще одно: попробуйте сдѣлать оцѣнку съ точки зрѣнія цѣльности, съ точки зрѣнія единства авторской духовной физіономіи, поскольку она выявляется въ этихъ томахъ. Въ томикѣ Апухтина чувствуется это единство отъ первой до послѣдней страницы, чувствуется, что сюда вложены завѣтныя думы—цѣлой, можетъ быть, и не особенно мудрящей и сложной—жизни. Все это—адэкватно самой интимной сути авторской души. И при чтеніи томика, передъ вами встаетъ въ лучшихъ своихъ проявленіяхъ, въ наиболѣе цѣнныхъ своихъ настроеніяхъ личность поэта. Ну, а у тѣхъ, у «вершинъ» нашего модернизма—что выйдетъ въ результатѣ подобной оцѣнки, подобнаго анализа? Я боюсь,—положа руку на сердце, говорю—что ни одинъ изъ модернистовъ не выдержитъ подобнаго экзамена... Пожалуй, просто—тождества личности не получится!.. Эклектически, отбрасывая искусственно надуманное, для публики или для своего брата-эстета нарочито сочиненное—отбрасывая цѣлыя страницы,

цѣлыя пьесы, и почти въ каждой пьесѣ строфы, строки, слова,—кропотливой аналитической работой придется добираться до авторской сути, до подлиннаго «лика», чтобы получить впечатлѣніе отъ этого лика, отъ личности, съ ея подлинными думами и переживаньями... Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ, даже микроскопическій Плещеевъ головой выше современныхъ «вершинъ». И вотъ эту-то адекватность прежде всего чуетъ всякій слушатель, и вотъ эту-то адекватность, составляющую основную и глубочайшую предпосылку подлиннаго художества, всякая толпа любитъ и цѣнитъ. И если она не совсѣмъ почтительно относится на «вечерахъ искусства» къ современнымъ его жрецамъ, хотя бы они были въ десять разъ болѣе одарены, чѣмъ Плещеевъ и даже Апухтинъ, то она права,—не потому только, что «чистосердечно ничего не понимаетъ», а потому, что чутьемъ понимаетъ именно эту первооснову подлиннаго художества, и значитъ—именно передъ искусствомъ, передъ поэзіей—она права!

Та полоса, въ сущности, «техницизма», которая господствовала у насъ въ поэзіи до самаго послѣдняго момента—какъ и въ живописи, какъ и въ музыкѣ, если не ошибаюсь — эта полоса техницизма, переживающая нынѣ свою ликвидацію, интересна одной своей особенностью. Выдвигая знамя чистаго искусства, принося жертвы только на алтарь искусства—эта полоса, можно сказать, заклала, по какому-то трагикомическому недоумѣнію, на этомъ алтарѣ—именно само искусство. Факты и неопровержимые—на-лицо. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что дѣло тутъ не въ случайности появленія талантовъ: мнѣ думается, что тѣ же Брюсовъ и Бальмонтъ и тотъ же А. Блокъ—одарены талантами незаурядными... И тѣмъ не менѣе при подсчетѣ всего, что внесло въ нашу литературу декадентство, модернизмъ и т. д., придется, кажется, признать, что не только Лермонтовыхъ и Пушкиныхъ—объ этихъ смѣшно и вспоминать! — а даже Некрасовыхъ, даже Тютчевыхъ, это направленіе намъ не подарило; въ ней нѣтъ—если ссылаться на прозаиковъ—не только Чеховыхъ, но и Гаршиныхъ и даже Короленокъ... Всѣ только что названныя имена принадлежатъ къ иной полосѣ, къ иному по духу художественному направленію, къ направленію подлинныхъ жизненныхъ цѣнностей и серьезнаго, адекватно-честнаго художественнаго творчества... Вотъ, поистинѣ, эпизодъ, достойный самаго тщательнаго обсужденія,—это эстетическое фіаско, постигшее нашъ модернизмъ!.. Какъ тутъ, въ силу одного этого эпизода, не переживать похмѣлья — какъ тутъ не задуматься надъ вопросомъ о «правѣ считать себя потомками священной русской литературы»?..

Передъ лицомъ подобнаго фіаско, передъ лицомъ подобныхъ параллелей между эпохой наивнаго реализма и эпохой модернизма, столь хорошо вооруженнаго всякими техническими утонченностями,—«воинамъ движенія», какъ ихъ называетъ г. Бугаевъ, естественно было, изъ чисто эстетическихъ мотивовъ, заняться оглядкой, удариться въ покаяніе.

И естественно, что теперь, производя себѣ «переоцѣнку»,

какъ выражается тотъ же г. Бугаевъ, они говорятъ другъ о другѣ въ такомъ родѣ:

„Въ литературѣ вчерашній день,—вѣрнѣе вчерашній вечеръ,—замедлилъ, длится, и новаго утра нѣтъ. Городецкіе да Ценскіе, Блоки да Горькіе, имитаторы да стилизаторы, „экспропріасты“ да оргіасты—развѣ это не вчерашній день, не петербургская майская заря, противоестественно горящая въ небѣ, когда ей слѣдовало бы давно умереть“?

Это изъ очаровательныхъ causeries—«Литературнаго дневника»—г-жи Гиппіусъ... И я спрошу читателя: неужели, выкинувши изъ этой цитаты имена Ценскаго и Горькаго, и замѣнивши ихъ хотя бы именемъ самой г-жи Гиппіусъ, онъ не подпишется подъ этой тирадой—особенно подъ концомъ ея, мною подчеркнутымъ? Я, лично, подписываюсь обѣими руками. Но, возразятъ мнѣ, г-жа Гиппіусъ теперь перешла въ иную фазу: она теперь вмѣстѣ съ г. Мережковскимъ и г. Философовымъ хочетъ «спастись», а за одно и спасти нашу гибнущую интеллигенцію, она проповѣдуетъ теперь религію Святаго Духи и—какъ увидимъ ниже—«опростительство». Ея отзывъ еще не характеренъ. Увы!—или къ счастію—характеренъ ея отзывъ. Вотъ, что пишетъ, напримѣръ, Андрей Бѣлый о «Лирическихъ драмахъ» Блока:

„Блокъ—талантливый изобразитель пустоты; пустота какъ бы съѣла для него дѣйствительность (ту и эту). Красота его пѣсни—красота погибающей души: красота „оторопи“, а не красота созиданія цѣнности“...

И въ видѣ резюме всей статьи:

„Бри—и все тутъ!

„Пусть поэтъ творитъ не свои книги, а свою жизнь“—говоритъ В. Брюсовъ... „Пусть поэтъ творитъ свои строчки: поэтъ вообще—это строчка съ пишущимъ аппаратомъ въ видѣ такъ называемой человѣческой личности,—отвѣчаетъ А. Блокъ“. („Вѣсы“, 1908 г., № 5.)

Можно ли выразиться опредѣлительнѣе? Можно ли найти что-либо болѣе характерное для момента ликвидаціи направленія, для момента современнаго похмѣлья послѣ былого пира? И курьезно, что именно въ такой моментъ, когда сами модернисты подводятъ себѣ подобные итоги, человѣкъ имъ вполнѣ посторонній, писатель ужъ совсѣмъ не модернистскаго закала—г. Венгеровъ—пишетъ о «расцвѣтѣ» модернистской литературы, о завоеваніяхъ модернизма и привѣтствуетъ его сліяніе съ кореннымъ русломъ нашей литературы, якобы совершившійся его переходъ отъ «безпечальнаго артисцизма», какъ онъ выражается, къ «учительству», къ жаждѣ «подвига»!.. Приведу слѣдующую любопытную характеристику, которую г. Венгеровъ даетъ модернистамъ нашихъ дней:—«модернистамъ второго поколѣнія», какъ онъ ихъ называетъ:

„Это все люди свѣжіе, неизломанные, своими мечтательными глазами бодро (!) смотрящіе на космосъ во всемъ его объемѣ, безъ всякой усталости, отдающіеся всѣмъ впечатлѣніямъ бытія... А ужъ если взять модернистовъ второго поколѣнія по признаку (?) аполитизма или того ярче—по отношенію къ несомнѣнной связи декаденства съ реакціей 80-хъ годовъ, то различіе двухъ фазисовъ русскаго

модернизма выступаетъ еще явственнѣе... Почти всѣ они примыкаютъ къ походу крайнихъ партій противъ современнаго общественнаго устройства. Всѣ они опредѣленные враги современнаго буржуазнаго строя и мечтаютъ о полномъ соціальномъ переустройствѣ".

И въ восторгѣ отъ нарисованной имъ идиллической картины, г. Венгеровъ восклицаетъ:

„Вотъ какъ все это чудесно обернулось!" [1])

Г. Венгеровъ даже Сологуба сумѣлъ раскрасить трогательными, сладенькими красками и пріобщить къ «жаждѣ подвига» и идеалистическому настроенію современныхъ модернистовъ. Онъ и его какимъ-то чудомъ противополагаетъ декадентамъ 80-ыхъ годовъ, (а ужь кажется и хронологически и психологически г. Сологубъ цѣликомъ долженъ быть отнесенъ къ «первому поколѣнію»). «Декадентство, видите-ли, кичилось своей порочностью»,—пишетъ г. Венгеровъ. Ну, а г. Сологубъ?—спросите вы...

— „У Сологуба, отвѣчаетъ г. Венгеровъ, въ его истинно скорбной и трагической психологіи и слѣда нѣтъ этого дешеваго и потому пошлаго кокетничанія... Страдальческія думы у Сологуба жгучѣе, чѣмъ у кого бы то ни было въ современной литературѣ"...

Вотъ какъ все это чудесно обернулось!—скажемъ мы тутъ вслѣдъ за г. Венгеровымъ... Не мудрено, что при помощи подобныхъ критическихъ маневровъ автору удается придти къ ряду пріятнѣйшихъ выводовъ. И между прочимъ, вѣроятно, въ цѣляхъ поощренія «исправившихся», онъ подводитъ такое эстетическое резюме двухъ періодовъ модернизма:

„Чисто эстетическая полоса „новыхъ теченій"... ничего не дала русской литературѣ... Несравненно плодотворнѣе и богаче талантами въ исторіи русскаго модернизма синтетическій (т. е. нынѣшній) періодъ соединенія стараго исканія правды съ новой формой и углубленнымъ отношеніемъ къ вѣчнымъ вопросамъ жизни".

Я обратился къ брошюрѣ г. Венгерова собственно для того, чтобы остановиться на этомъ его резюме. Оно интересно, на мой взглядъ, какъ нѣчто діаметрально противоположное истинѣ. Если бы тутъ былъ хотя намекъ на правду, то, разумѣется, мы бы не слышали отъ самихъ модернистовъ тѣхъ воплей, тѣхъ панихидъ, которыя они теперь поютъ другъ другу—каждому изъ компаніи въ отдѣльности и всѣмъ вообще—образчики каковыхъ приведены мной выше. Если бы дѣло обстояло такъ, то ни о какой ликвидаціи, разумѣется, нельзя было бы и рѣчи заводить.

На самомъ дѣлѣ, если «новыя теченія» и давали что-либо русской литературѣ, то именно въ лицѣ «чисто эстетическаго»—«перваго поколѣнія модернистовъ»—въ 80-ыхъ и началѣ 90-ыхъ годовъ. Тогда, какъ мнѣ уже приходилось указывать, они имѣли

[1]) С. А. Венгеровъ. Основныя черты исторіи новѣйшей русской литературы. 2-е изданіе. Съ прибавленіемъ этюда „Побѣдители или побѣжденные" (о модернизмѣ).

кое-какое raison d'être, кое-какой эстетическій смыслъ и значеніе. Тогда они поднимали знамя «бунта» противъ отжившихъ теорій гражданскаго искусства, теорій, съуживавшихъ область искусства, задерживавшихъ его ростъ. Тогда они, пожалуй, дѣлали—съ искаженіями, съ извращеніями, съ эффектничаніемъ и вѣроятно безсознательно,—нѣкоторое полезное дѣло, отрывая искусство отъ исключительно моральныхъ и публицистическихъ мотивовъ. Искусству нашему пора было расширить свой захватъ и изъ искусства моралистски-публицистическаго превратиться или начать превращаться въ искусство философскаго характера. Они, опять таки ломаясь и кривляясь, провозглашали культъ личности—это тоже шло отчасти на потребу момента. Они, правда, исполняли, главнымъ образомъ, отрицательную задачу—лишь отрывали отъ прежняго, не давая въ замѣнъ его ничего по содержанію новаго и нужнаго. Но все же в ъ п р и н ц и п ѣ—такъ сказать, они играли нѣкоторую прогрессивную роль. А на ряду съ этимъ, и формальныя ихъ новшества т о г д а имѣли значеніе «бунта»—бунта противъ застоявшагося стиля, противъ неподвижности традиціонныхъ привычныхъ формъ. Они сыграли до извѣстной степени роль тарана, прошибающаго предвзятые, установившіеся и окостенѣвшіе вкусы читателя. Какъ всегда бываетъ съ крайними новаторами, перенося къ намъ пріемы европейскаго искусства, они творческой созидательной роли сыграть не могли. С о з и д а л и новую литературу Чеховы, Горькіе и Андреевы. И пожалуй, не трудно было бы доказать, что эти послѣдніе — представители о р г а н и ч е с к а г о р а з в и т і я нашей литературы, оставшіеся вѣрными основному руслу серьезныхъ жизненныхъ цѣнностей,—ввели въ формальную сторону нашего искусства рѣшительно все то новое, что въ немъ сейчасъ имѣется. Я взялся бы доказать, что во всѣхъ упражненіяхъ современныхъ модернистовъ нельзя найти ни одного сколько-нибудь цѣннаго новшества, которое не имѣлось бы, напримѣръ, у Л. Андреева... Но все же, именно говоря о модернистахъ 90-ыхъ годовъ, надо признать въ нихъ элементы прогресса, элементы положительнаго.

Ну, а теперь этотъ нашъ современный «синтетическій модернизмъ»—что вноситъ онъ? чѣмъ даритъ онъ нашу литературу? Основная функція, въ былые годы имъ выполняемая, функція «тарана» въ настоящій моментъ отпадаетъ. Это дѣло уже сдѣлано. Ухо и вкусъ русскаго читателя, поистинѣ, не страдаютъ теперь консерватизмомъ и предвзятостью... Я—ей Богу!—не могъ бы указать въ этомъ смыслѣ болѣе либеральнаго существа, чѣмъ этотъ теперешній русскій читатель. Онъ готовъ отозваться рѣшительно на все, подъ какой бы формой, въ видѣ какой бы «стилизаціи»,—ему ни предподносили художники свои дары. Русскій человѣкъ теперь не то что либералъ, а н и г и л и с т ъ сущій—по части стиля, ритмовъ, мазковъ, колорита, контрапункта и гармоніи!.. Но заинтересовать и привлечь его по настоящему можетъ только суть, только содержаніе,—только то, словомъ, чего—увы!—совершенно не имѣется въ богатомъ арсеналѣ «синтетическихъ

модернистовъ». Ибо какое уже тамъ «содержаніе» у «талантливыхъ изобразителей пустоты», говоря языкомъ Андрея Бѣлаго?!

Кризисъ «модернизма» прежде всего этимъ и обусловленъ. Если у него была какая-нибудь историческая миссія—она ужъ выполнена. А новой миссіи—нѣтъ. Если у него было raison d'être, то теперь оно утрачено. Отсюда—переоцѣнки, оглядки, «похмѣлье». Отсюда тѣ лестныя аттестаціи, которыя они другъ другу расточаютъ, (очевидно не успѣвъ ознакомиться съ «этюдомъ» г. Венгерова). Отсюда, наконецъ, и устремленіе ихъ въ объятія почтенной троицы—г. Мережковскаго, г-жи Гиппіусъ и г. Философова или—точнѣе говоря—лишь въ объятія перваго, ибо вторые двое являются только «зеркалами», только своего рода нимфами Эхо при этомъ Нарциссѣ..

Ну, а теперь послѣдній вопросъ: что могутъ наши модернисты получить въ объятіяхъ «Нарцисса»?.. Объятія Нарцисса—это своего рода contradictio in adjecto. А ужъ ждать плодовъ отъ подобныхъ объятій—значитъ, поистинѣ, предаваться утопіи. Состоящіе при Нарциссѣ немедленно превращаются въ камень, какъ несчастная Эхо миѳа, и лишь отражаютъ звуки, издаваемые имъ,—Нарциссомъ. «Святой Духъ», святая плоть не «оживетъ аще не умретъ», «второе пришествіе» (оно же «мистическая» революція), воскресеніе съ плотью, съ «зубами и волосами», по удачному выраженію г. Минскаго; интеллигенція, очистившаяся отъ своихъ «позитивистскихъ» скверновъ, «просто сказавшая простыя слова: вѣрую Господи!—помоги моему невѣрію», и тѣмъ самымъ нашедшая доступъ къ народу, уничтожившая пропасть, лежащую между нею и народомъ... Вотъ и все, кажется... Другихъ «звуковъ» отражать не придется. «Апокалипсисъ»—по Достоевскому и Соловьеву, «любовь»—по нимъ же, «святая плоть»—по Ницше,—«святой духъ» и абсолютная цѣнность личности»—опять по Соловьеву,—вотъ и все то богатство оригинальнѣйшихъ и современнѣйшихъ идей, которое имѣетъ спасти не только гибнущую, коснѣющую въ своемъ позитивизмѣ, «наивную» интеллигенцію (недавнихъ «духовныхъ босяковъ»), но и «синтетическій модернизмъ»—«покаявшихся г.г. Блоковъ и Андреевъ Бѣлыхъ»... Велики ли надежды на спасеніе?

О, сколь безмѣрно правы «адогматическіе» мистики въ родѣ г. г. Струве, Галича, Розанова! Нѣтъ ничего опаснѣе для мистиковъ, какъ переходить къ утвержденіямъ: утвержденія обнажаютъ ихъ... д н о. Мертвая... скудная догма г. Мережковскаго, разумѣется, не долго можетъ занимать кого бы то ни было... Мертвая, скудная догма эта, конечно, не вольетъ «живой воды» въ разлагающееся тѣло современнаго модернизма. Нѣтъ въ ней ни капли живительной влаги, да и вообще влаги: она суха, какъ безплодная смоковница, какъ лезвіе той косы, которою снабжается фигура смерти на ея традиціонныхъ изображеніяхъ. Именно этой «навьей» косѣ—г. Мережковскаго и суждено, по моему разумѣнію, прикончить съ нашимъ модернизмомъ. Поэзія въ объятіяхъ «догмата», да еще искусственнаго, разсудочно реставрированнаго, поэзія въ объятіяхъ гальванизированнаго трупа—вотъ комбинація

поистинѣ отвратительная! И долго она длиться, конечно, не можетъ. А стало-быть—стало-быть я могу отважиться на новое пророчество: какъ провалилась недавно столь много шумѣвшая, столь многихъ пугавшая порнографія, такъ точно провалится и шумливый богъ г. Мережковскаго, и въ своемъ паденіи увлечетъ прислонившійся и прилѣпившійся къ нему модернизмъ:

Скатившись съ горной высоты,
Лежалъ во прахѣ дубъ, перунами разбитый,
А съ нимъ и плющъ, лежалъ, вокругъ него обвитый...
О дружба—это ты!

Вотъ, г. Блокъ, какія открываются передъ вами перспективы... Не страшно вамъ? Вы предупреждали насъ, бѣдныхъ русскихъ интеллигентовъ, о грозящей намъ гибели. Долгъ платежомъ красенъ. Мы считаемъ нужнымъ съ своей стороны предупредить васъ и вамъ подобныхъ объ опасности, вамъ грозящей: mementote mori—господа Блоки!

Если вы мнѣ не вѣрите, вчитайтесь, пожалуйста, въ слѣдующія строки проповѣдницы новой религіи—г-жи Гиппіусъ. Она получила отъ одной «учащейся» обычное письмо съ запросами о смыслѣ жизни, о путяхъ и средствахъ. И вотъ какія мысли новѣяло на нее это письмо:

„Пусть себѣ „учащаяся“ смѣшиваетъ, сваливаетъ въ одну кучу всѣ вопросы, благодаря своей незрѣлости,—мы-то взрослые люди, вѣдь можемъ же мы ихъ раздѣлить? Мы вправѣ отвѣтить улыбкой на дѣтскій вопросъ, „что будетъ черезъ милліонъ лѣтъ?“, но можемъ ли мы, могутъ ли Бальмонты, Брюсовы, Куприны, Андреевы, Арцыбашевы, всѣ литературные,—и другіе,—дѣятели нашихъ дней отвернуться отъ вопроса (все равно, кѣмъ заданнаго)—„чего вы хотите?“ Думается, что нельзя, оставаясь чистымъ передъ собою, на такой вопросъ ничего не отвѣтить..

Если „учащіеся“ и „неучащіеся“ замолкнутъ, если никто извнѣ не будетъ спрашивать,—не возникнетъ ли этотъ вопросъ изнутри, не встанетъ ли самъ: „чего мы хотимъ?“ Наконецъ, можетъ быть, въ другой формѣ: „хотимъ ли мы чего-нибудь?“.....

До тѣхъ же поръ нельзя намъ разговаривать съ „учащейся“ ни о ея желаніи пойти въ „лигу свободной любви“, ни о чемъ другомъ. И вовсе не оттого, что она слишкомъ наивна и мало понимаетъ. Эти наивны, другія не наивны. Но просто потому, что нельзя ни разсуждать, ни дѣйствовать, ни жить, если нѣтъ увѣренности, что всѣ чего-то хотятъ, и нѣтъ надежды понять, чего хотятъ всѣ“...

Утѣшительно—не правда-ли, г. Блокъ? Ну, какъ не послѣдовать за подобными «вождями»!

Въ области «догмата» все ясно до скуки: «святая плоть», «святой духъ» и т. д., и т. д. А вотъ, чуть дѣло коснется чего-нибудь живого и жизненнаго, пророки и вожди «имѣютъ предъявить»лишь подобныя соображенія...

Я боюсь, что иной читатель упрекнетъ меня въ недостаточно серьезномъ отношеніи къ явленіямъ, о которыхъ теперь съ такимъ серьезомъ всюду говорятъ и пишутъ, къ людямъ, о которыхъ тоже всюду говорятъ и пишутъ и которые сами всюду и вездѣ говорятъ и пишутъ. Я не отрицаю, что этотъ повсе-

мѣстный шумъ можетъ кое-кому импонировать, можетъ создавать своего рода гипнозъ. Но вѣдь главная цѣль настоящей замѣтки, которая какъ-то сама собою, помимо моей воли (должно быть—благодаря цитатамъ), впала въ фельетонный стиль,—главная моя цѣль и сводится къ тому, чтобы показать, что мы въ данномъ случаѣ имѣемъ дѣло съ гипнозомъ, съ «психологіей головокруженія», очевидно, легко поддающейся всяческимъ гипнозамъ. Эта психологія, можетъ быть, дѣйствительно, серьезный фактъ, серьезный симптомъ. Но явленія, ее вызывающія, но сами гипнотизаторы, при всемъ моемъ желаніи, серьезнаго отношенія къ нимъ вызвать во мнѣ не могутъ.

Наиболѣе существеннымъ моментомъ отмѣчаемаго мною «модернистскаго похмѣлья», на мой взглядъ, надо признать несомнѣнные призраки ликвидаціи нашего модернизма въ поэзіи.

Думается мнѣ, что мой «фельетонъ», который можно было бы озаглавить: «Messieurs les Modernistes peints par eux mêmes»,—ихъ собственноручными письменными показаніями, достаточно краснорѣчиво свидѣтельствуетъ объ этой ликвидаціи.

Эта предстоящая, а пожалуй, и представшая уже—ликвидація, есть, разумѣется, фактъ, чреватый послѣдствіями. Не къ нарожденію «синтетическаго модернизма» г. Венгерова приведетъ этотъ фактъ (г. Венгеровъ, впрочемъ, полагаетъ, какъ мы видѣли, что подобный модернизмъ уже народился);—не къ переходу поэзіи съ чисто-словесными и эстетическими заданіями въ поэзію «созиданія цѣнностей», употребляя выраженіе Андрея Бѣлаго,—такой переходъ былъ бы, по-истинѣ, психологическимъ чудомъ! Нѣтъ, тутъ рѣчь можетъ идти лишь о полномъ исчезновеніи современнаго модернизма, какъ школы, какъ направленія, какъ извѣстно, заполнившаго всю нашу поэзію. И только при такой ликвидаціи мыслимо нарожденіе новой поэзіи, съ совершенно иными источниками вдохновенія, съ совершенно перемѣщенными элементами творчества. Если въ модернизмѣ—это основная его черта—господствовало заданіе образомъ, эстетическимъ мотивомъ, стилемъ, формой, и все это являлось самоцѣнной и руководящей цѣлью, то въ новой, истинной поэзіи—я, впрочемъ, спѣшу отказаться отъ слова новая: это поэзія Пушкиныхъ и Лермонтовыхъ, Гете и Байроновъ, истинная поэзія всѣхъ временъ и народовъ—въ поэзіи, которая должна смѣнить собою модернизмъ, отправной точкой, какъ и конечной цѣлью, будетъ подлинное субъективное отношеніе поэта къ его подлинному переживанію и образъ, адекватно воплощающій это отношеніе. Можно сказать, что столь теоретически кичившееся своимъ субъективизмомъ, дерзновеннымъ отображеніемъ мимолетнѣйшихъ нюансовъ авторскаго *я* декадентство было, въ сущности, всегда чрезмѣрно объективнымъ творчествомъ, ибо именно объектъ поглощалъ цѣликомъ весь творческій пафосъ или—точнѣе—гасилъ этотъ пафосъ... Отсюда та трудность, если не невозможность, возсоздать по произведеніямъ поэта его интимную личность, его *я*,—на каковую трудность я ссылался выше.

Для нарожденія иной поэзіи, очевидно, надо перевернуть

все вверхъ ногами и внизъ головой—въ области современнаго стихотворчества. Для такого «переворота» нужна, быть можетъ, цѣлая смѣна поколѣній. Тотъ разрывъ между творческимъ я и творчествомъ, которымъ характеризуется нашъ модернизмъ,—есть такая глубокая, такая органическая болѣзнь, излечиться отъ которой врядъ ли возможно. Можетъ быть, одинъ, двое изъ молодыхъ представителей современнаго модернизма, примкнувшіе къ нему не по естественному влеченію, а лишь подъ давленіемъ господствующей школы, модной доктрины,—и сумѣютъ выздоровѣть. Но, это будутъ факты индивидуальные и частные, а не сліяніе современнаго модернизма съ завѣтнымъ, исконнымъ русломъ русской литературы. Его традиціи и преданія восходятъ только къ 90-мъ годамъ прошлаго столѣтія, т. е. именно къ пункту окончательнаго разрыва съ традиціями и преданіями нашей литературы. Безъ почвы, безъ традицій этотъ модернизмъ напоминаетъ тѣ луковичныя растенія, которыя иногда можно видѣть въ витринахъ цвѣточныхъ магазиновъ: голая луковица подвѣшена къ проволокѣ, а чахлая зелень свѣшивается внизъ; растеніе нѣкоторое время пробавляется воздухомъ, да собственными соками... Нашему декадентству или модернизму подобной пищи хватило на двадцать почти лѣтъ—срокъ изрядный...

Итакъ, въ итогѣ ближайшія перспективы нашей поэзіи, если не ошибаюсь, таковы. «Школа» въ ближайшемъ будущемъ исчезнетъ. Остаются только разрозненные «вольные казаки», изъ коихъ одни продолжаютъ прежнее «объективное» творчество, можетъ быть, оперируя со словами, заимствованными изъ лексикона «новаго религіознаго сознанія» г.г. Мережковскихъ; другіе бряцаютъ кое-гдѣ, кое-какъ, кое о чемъ въ разныхъ стиляхъ и тонахъ. Затѣмъ наступитъ дифференціація на двѣ струи: одна обратится къ подлиннымъ жизненнымъ цѣнностямъ, сомкнетъ порванныя звенья традиціи Пушкиныхъ, Тютчевыхъ, Некрасовыхъ, вдохновляемая новыми мотивами, новой, болѣе опредѣлившейся жизни; другая струя будетъ покоиться въ «объективизмѣ», будетъ творить не поэзію, а стиль и образы,—услаждая досугъ извѣстной части общества, для которой поэзія, какъ и все прочее, является предметомъ комфорта. Думать надо, что изъ «воиновъ» современнаго модернизма большинство поплыветъ именно по этому теченію, и, вѣроятно, отказавшись отъ современныхъ воинствующихъ теорій, «мистическихъ анархизмовъ», «соборностей» и пр., (которыми они заплатили дань годамъ революціи) мирно возсядетъ на Парнасѣ. Таковъ, думается, прогнозъ, который можно сдѣлать «въ разсужденіи» наиболѣе серьезной изъ затронутыхъ мною темъ—судебъ нашего модернизма, какъ школы. Являясь безусловно «первой ласточкой» нарождавшейся у насъ буржуазной литературы, послѣ недавняго пребыванія въ состояніи «небулярности», смуты и броженія, модернизмъ консолидируется въ ядро именно буржуазнаго типа и свойства. Помимо его, независимо отъ него, будетъ происходить зачатіе новой поэзіи, которой теперь, судя по ихъ писаніямъ, такъ жаждутъ и сами модернисты, но родоначаль-

никами этой поэзіи, разумѣется, не станутъ современные «изобразители пустоты», хотя бы и покаявшіеся, хотя бы и искренно страдающіе отъ своего похмѣлья: совсѣмъ не тѣ для такихъ родовъ нужны чресла! [1]).

Другая тема—о словѣ «богъ», въ столь различныхъ словосочетаніяхъ теперь произносимомъ, является, на мой взглядъ, гораздо менѣе серьезной.

Анализъ писаній людей «новаго религіознаго сознанія», въ сущности, приводитъ почти къ тѣмъ же результатамъ, что и внимательное изученіе нашей поэзіи-модернъ. Прежде всего надо констатировать здѣсь тотъ же р а з р ы в ъ, ту же дистанцію огромнаго размѣра между субъективнымъ «я» проповѣдниковъ и содержаніемъ или, вѣрнѣе, т е к с т о м ъ ихъ проповѣдей. Въ этомъ смыслѣ никакого существеннаго переворота не произошло съ бывшими эстетами и декадентами при переходѣ ихъ къ исповѣданію ихъ нынѣшней вѣры. Такъ что чисто-э с т е т и ч е с к а я, такъ сказать, критика ихъ писаній побуждаетъ видѣть въ нихъ именно лишь одну изъ формъ, въ которыхъ происходитъ ликвидація модернизма. Я совершенно оставляю при этомъ въ сторонѣ вопросъ объ искренности или неискренности того или иного изъ этихъ писателей. Искрененъ или неискрененъ былъ г. Блокъ, когда писалъ свои стихи «Прекрасной Дамѣ»? Искрененъ или неискрененъ г. Брюсовъ, когда, скажемъ, онъ «влечетъ по днямъ, клонясь какъ волъ».

„Изнемогая отъ усилій,
Могильнаго креста тяжелый пьедесталъ:
Живую груду тѣлъ, которыя ласкалъ,
Которыя его ласкали и томили“...

Или г. Городецкій, заявляющій въ посвященіи къ сборнику «Перунъ»:

„Узнай же ты: возсталъ я нынѣ
И руку поднялъ на Отца:
Моей сіяющей пустынѣ
Не свѣтитъ око мертвеца“.

Я не знаю, можно ли тутъ говорить объ и с к р е н н о с т и. Но что можно и должно говорить объ «объективности» этого творчества, въ указанномъ выше смыслѣ, о разрывѣ между подлинными переживаніями и творимымъ или—точнѣе—говоримымъ,—это для меня ясно. И ясно еще, что подлинной поэзіи здѣсь нѣтъ.

Буквально то же ощущаю я при чтеніи любой «религіозной» строки г. Мережковскаго. Все это тоже—т в о р и м о е и г о в о р и м о е, а подлинной религіозности здѣсь нѣтъ.

Беру случайную цитату изъ статьи по поводу повѣсти Андреева: «О семи повѣшенныхъ»:

„Муся „очень любитъ“ такъ же, какъ Вернеръ. Для того, кто любитъ, нѣтъ смерти, потому что любовь есть абсолютное утвержденіе жизни. Абсолютнымъ утвержденіемъ уничтожается абсолютное отрицаніе, любовью уничтожается смерть. Любовь есть жизнь; кто

[1]) Ссылки на Моррисовъ и Верхарновъ, которыя дѣлаетъ между прочимъ г. Венгеровъ, на мой взглядъ, не законны: Моррисы и Верхарны отъ юности своей не бывали „словесниками“.

любитъ, тотъ живъ, и поскольку любитъ, постольку живъ, безсмертенъ—„воскресъ изъ мертвыхъ". Любовь не внѣшнее свойство, не сила души, а сама душа. Любовь не можетъ не любить, душа не можетъ не жить въ любви не только будущею, загробною, но и теперешнею, здѣшнею вѣчною жизнью, которая есть не отвлеченное безсмертіе души", а реальное воскресеніе плоти и духа въ совершенномъ единствѣ личности. Любовь не путь изъ этого міра въ тотъ, а совершенное откровеніе того міра въ этомъ—совершенное соединеніе двухъ листовъ. Любовь не есть познаніе Бога, любовь есть Богъ" („Въ тихомъ омутѣ", стр. 78 и сл.).

Чувствуется ли здѣсь хоть мало-мальская религіозная теплота, о пламеніи я уже и не заговариваю... Есть ли тутъ хоть намекъ на дрожаніе какихъ-нибудь сердечныхъ струнъ въ душѣ автора, которое невольно, безсознательно порождаетъ созвучное какъ бы атавистическое дрожаніе души и читателя хотя бы онъ былъ совершенно чуждъ всякой мистики? Чей это стиль?—Стиль математика. Вся эта тирада, переполненная такими «горячими» словами, холодна какъ ледъ. Это какая-то алгебраическая формула съ нелѣпо проставленными знаками равенства, съ приравненіемъ неравныхъ величинъ, но именно алгебраическія буквы, буквы прежде всего. А говоритъ человѣкъ о томъ, что, казалось бы должно представлять «святая святыхъ» его души.

Это тотъ же родовой «стиль», свойственный всей школѣ, стиль Брюсовскаго «могильнаго креста тяжелаго пьедестала», стиль «ока мертвеца» г. Городецкаго.

Это—«стиль модернъ».

А «каковы слова, таковы и мысли»,—какъ сказалъ самъ г. Мережковскій въ другой статьѣ своей объ Андреевѣ.

Я уже не упоминаю о томъ, что это непосредственное впечатлѣніе отъ «стиля» г. Мережковскаго еще усиливается при воспоминаніи объ удивительныхъ трансформаціяхъ его идей, въ разныя фазы его писательства. И не только въ разныя фазы. Только что въ годъ смерти Чехова онъ успѣлъ провозгласить его «духовнымъ босякомъ», «умершимъ худшею изъ всѣхъ смертей—смертью духовною, о которой въ апокалипсисѣ» сказано и т. д. (см. «Грядущій хамъ»): А въ «Тихомъ омутѣ» мы уже читаемъ про того-же Чехова:

«Пусть еще не зналъ онъ имени Бога живого—онъ уже предчувствовалъ его. И, дѣлая не искусство, а жизнь религіей, шелъ къ истинѣ, къ тому, чтобы сдѣлать религію жизнью»...

Трансформаціи происходятъ не только въ отношеніи къ умершимъ, но и по отношенію къ живымъ, глядя по обстоятельствамъ.

На буквально ту же мысль Л. Андреева г. Мережковскій въ двухъ рядомъ напечатанныхъ статьяхъ «Тихаго омута» даетъ такіе два «резонанса».

Мы видѣли, какъ онъ старался восторженно истолковывать ощущеніе не «безсмертія» (это онъ подсказываетъ только Андрееву свою собственную идейку), а «отсутствія смерти»,—ощущеніе, что «смерти нѣтъ», которое Андреевъ приписываетъ героямъ своей «Повѣсти о семи повѣшенныхъ». Именно эти мѣста повѣсти

побуждаютъ г. Мережковскаго восклицать, что «сѣмя прорастаетъ въ темнотѣ», что у Андреева появляется «религіозное да».

А въ драмѣ «Къ звѣздамъ» есть такое мѣсто: Тернавцевъ говоритъ идущей «въ жизнь» Марусѣ:

„Смерти нѣтъ... Ты погибнешь, какъ погибъ Николай, какъ гибнутъ, кому душой своей, безмѣрно счастливой, суждено поддерживать вѣчный огонь. Но въ гибели твоей ты обрѣтешь безсмертье... Развѣ умеръ Джіордано Бруно?“

Но мысль Андреева и тутъ, какъ въ цитатѣ изъ повѣсти, совершенно тождественна; вся разница лишь въ томъ, что въ первомъ случаѣ изображено субъективное ощущеніе предстоящей смерти и самихъ обреченныхъ, а здѣсь — объ этой смерти, жизни ради пріемлемой, высказывается человѣкъ посторонній, высказывается какъ бы объективно... по поводу именно этихъ строкъ, г. Мережковскій въ статьѣ «Въ обезьяньихъ лапахъ» пишетъ слѣдующее:

„Развѣ умеръ Джіордано Бруно“?—Еще бы не умеръ! Издохъ, какъ песъ, хуже пса, потому что животное не знаетъ, что съ нимъ дѣлается“ и т. д.

И видитъ въ этихъ строкахъ драмы лишній поводъ для опредѣленія Андреева, какъ — опять-таки — «духовнаго босяка».

И печатается все это рядомъ, на страницахъ одного сборника...

Однако, довольно ссылокъ. Я имѣлъ въ виду лишь охарактеризовать стиль и характеръ творчества нашего «богостроителя» *).

Если кому случалось бывать на собраніяхъ «Религіозно-философскаго общества» въ Петербургѣ, тотъ, вѣроятно, констатируетъ полное совпаденіе литературнаго стиля г. Мережковскаго со стилемъ его ораторски-проповѣдническихъ или полемическихъ выступленій. Да и вообще констатируетъ, что «стиль» этихъ собраній вполнѣ подходитъ подъ ту характеристику модернизма, которую я пытался дать выше.

Мнѣ лично привелось присутствовать на этихъ собраніяхъ всего два раза. Публика довольно пестрая. Говорятъ, тутъ представлены всевозможныя секты. Есть нѣсколько священниковъ въ рясахъ. Много барышенъ съ прическами «модернъ», съ «мистически» устремленнымъ впередъ взоромъ... Но все это пестрое общество сидитъ и слушаетъ. Апплодисменты выведены изъ употребленія, такъ что судить о настроеніи и симпатіяхъ аудиторіи даже по этому внѣшнему признаку нельзя. Говорятъ исключи-

*) Кстати: совершенно неправильно примѣнять къ г. Мережковскому титулъ „богоискателя“, какъ это дѣлаютъ иные. Если вообще эта серія производныхъ отъ „бога“ словъ, порожденная одной фразой въ „Исповѣди“ Горькаго, являетъ изъ себя крайне неудачную терминологію, то ужъ въ примѣненіи къ г. Мережковскому слово „богоискательство“ совсѣмъ неумѣстно. Онъ не ищетъ: онъ—пока—„нашелъ“. Онъ догматикъ, и именно догматическая сторона его религіи вполнѣ имъ разработана. Это, пожалуй, и единственная сторона, имѣющаяся въ ней на-лицо: психологическое содержаніе, напримѣръ, совсѣмъ въ ней, думается мнѣ, отсутствуетъ...

тельно или почти исключительно г. Мережковскій и «эхо» его, г. Философовъ. Изрѣдка вступаютъ въ бесѣду г. Тернавцевъ, священникъ Аггеевъ и др. Но руководительство, дирижерская палочка безсмѣнно въ рукахъ поклонниковъ «святого духа» и «святой плоти»...

И всякій посѣтитель, желающій изучать этихъ господъ не на бумагѣ, а въ натурѣ,—много цѣннаго можетъ почерпнуть изъ этихъ собраній.

Очень интересной чертой этихъ собраній въ настоящемъ году было то, что почти всѣ они были посвящены борьбѣ съ интеллигенціей «позитивистскаго» настроенія и прежде всего и почти исключительно съ марксистами.

Г. Блокъ въ своемъ рефератѣ, (повторенномъ затѣмъ въ «Литературномъ обществѣ») ставилъ вопросъ: «Существуетъ ли пропасть между интеллигенціей и народомъ, и если существуетъ, то чѣмъ заполнить ее»? Въ сущности рефератъ не вопрошалъ, а утверждалъ и угрожалъ. «Пропасть есть—и если интеллигенція во-время не спохватится—memento mori»!.. Интеллигенція, наша русская интеллигенція, характеризовалась... какъ «индивидуалисты» чистой воды (sic!); въ ея лагерѣ будто бы царитъ сейчасъ огромная скука, этой скукой объяснялись частые случаи идейныхъ самоубійствъ... И г. Мережковскій подхватывалъ идеи г. Блока, и распространялся о той же пропасти и угрожалъ той же гибелью.

Само собою разумѣется, что первый отвѣтъ, который вызывалъ рефератъ Блока, былъ слѣдующій: «Parlez pour vous, monsieur» или «messieurs»!

А впечатлѣніе—буквально такое, будто какимъ нибудь марсіанамъ удалось пробраться на нашу грѣшную планету: такую интимную освѣдомленность проявляли эти господа по части умонастроенія и судебъ нашей злополучной интеллигенціи!..

Съ этого реферата такъ пошло, и такъ же продолжалось все время... Можно было подумать, что главная задача «людей новаго сознанія»—это именно дискредитированіе нашей интеллигенціи. Г-жа Гиппіусъ, молчавшая на собраніяхъ, излагала приблизительно тѣ же самыя «идеи» объ интеллигенціи нашей въ «Образованіи», въ газетѣ «Рѣчь»... Кое-кто изъ марксистовъ возражалъ. И тутъ происходила любопытная картина: обнаруживалось, что люди говорятъ на до того различныхъ языкахъ, что даже пренія никакъ не налаживались: полемическіе мечи не скрещивались, а прорѣзывали лишь въ разныхъ плоскостяхъ воздухъ...

Г-нъ Философовъ спрашивалъ, «друзья ли мы или враги?»—доказывалъ невозможность примирить въ «позитивномъ планѣ» такія «антиноміи», какъ «личность» и «общество», какъ я и ты... В. А. Базаровъ «отвѣчалъ»... психо-біологическимъ опредѣленіемъ личности! Мистическіе и метафизическіе абсолюты, разумѣется, не находили точки встрѣчи съ біологіей и соціологіей. Логическая неурядица выходила чрезвычайная... Единственнымъ выводомъ, который вытекалъ изъ преній,—былъ выводъ о разныхъ языкахъ, разныхъ плоскостяхъ, разныхъ... «стиляхъ».

И я собственно лишь о «стилѣ» и хотѣлъ здѣсь поговорить. Со стороны г.г. Мережковскихъ это былъ сплошной стиль п о б ѣ д и т е л е й: слова «наивный», «элементарный» по адресу противниковъ не сходили съ ихъ языка. «Мимика»—была еще того краснорѣчивѣе. Никакого признака желанія найти общую почву для спора; за то одно—ужъ черезъ чуръ очевидное—желаніе: демонстрировать, во что бы то ни стало, всю «бездонную глубинность» «новаго сознанія», красоту и утонченность «стиля»...

Словомъ, стиль, стиль и только стиль! Все тотъ же вѣчный, неизмѣнный стиль,—все тѣ же «могильныхъ крестовъ тяжелые пьедесталы», да «очи мертвецовъ, не свѣтящія сіяющей пустынѣ»...

Теперь, въ стихахъ и въ прозѣ, гг. Мережковскіе, какъ извѣстно, проводятъ идею стилизованной «простоты». Слѣды этого о п р о с т и т е л ь с т в а замѣтно даютъ себя чувствовать въ драмахъ «Маковъ цвѣтъ», «Павелъ I», въ небольшихъ «восьмистишіяхъ», печатаемыхъ въ «Русской Мысли».

И съ эстрады мы слышали отъ г. Мережковскаго, что онъ «не умѣетъ быть краснорѣчивымъ», что, пожалуй, «косноязычіе» даже полезно, болѣе приличествуетъ святости дебатируемыхъ сюжетовъ.

Но этотъ стиль не всегда выдерживался. «Косномысліе» гораздо чаще обнаруживало себя, нежели «косноязычіе». Такъ, напримѣръ, г. Тернавцеву, въ духѣ затхлой старинки и офиціальнаго народничества, воспѣвавшему «святость и спасительность трудовой крестьянской жизни», было замѣчено, что его рефератъ представляетъ «тонкую византійскую мозаику».

Иногда собранія принимаютъ характеръ почти бедлама. Слушателямъ преподносятся рефераты о «гоголевской лихой тройкѣ», которую, по мнѣнію г. Розанова, по днесь изображаетъ собою русскій народъ и въ частности русское крестьянство; г. Блокъ подхватываетъ эту идею и грозитъ интеллигенціи «копытами» коренника; г. Галичъ, съ своей стороны, заявляетъ, что необходима «двойная бухгалтерія»—партійная работа, какъ серьезное дѣло, и «трагическое созерцаніе предѣльныхъ глубинъ бытія» — на «религіозно-философскихъ» собраніяхъ; г-нъ Мережковскій грозно объявляетъ его б у д д и с т о м ъ или т е о с о ф о м ъ; два оскорбленныхъ теософа вскакиваютъ и непремѣнно желаютъ говорить о «кармѣ» и т. д. и т. д. Каждый ораторъ какъ бы тянетъ свою собственную ноту, вовсе не заботясь о хорѣ, и еще того менѣе о смыслѣ и цѣляхъ собранія.

Никто никому ничего не выясняетъ, а всѣ только говорятъ.

Такова картина, таковъ «стиль». И картина и стиль эти прежде всего подсказываютъ мысль—о полной б е з в р е д н о с т и этой проповѣди «новаго религіозного сознанія», этого религіозно-философскаго препровожденія времени.—Cela ne tire pas à conséquences—вотъ первое и основное впечатлѣніе...

До личнаго соприкосновенія съ этими собраніями и собирающимися на нихъ, мнѣ—каюсь—приходила иногда въ голову

мысль, что эти «богостроители» могутъ найти себѣ резонансъ и почву въ нашемъ столь развившемся за послѣднее время сектантствѣ. Въ самомъ дѣлѣ: и тамъ и тутъ какъ бы нѣкоторая раціонализація православія и нѣкоторое приближеніе его къ болѣе современному моральному сознанію.

Явленіе, которое—суммарно и въ общемъ—можно назвать нарожденіемъ «протестантизма» въ Россіи, есть фактъ безспорный и огромный по своему значенію. Отъ Льва Толстого, свящ. Григорія Петрова—до различныхъ безвѣстныхъ основателей десятковъ раціоналистическихъ сектъ,—всѣ находятъ живой откликъ, живой интересъ къ себѣ въ массахъ.

Мнѣ думалось, что и религія «святого Духа» можетъ влиться въ это широкое русло, можетъ пустить сколько-нибудь живые корни...

Но пришлось убѣдиться, что эта религія течетъ совсѣмъ въ другую сторону. Проповѣдники ея обращаютъ свои взоры исключительно на интеллигенцію, «спасаютъ» ее, интеллигенцію и преимущественно марксистовъ...

Это, конечно, дурной признакъ, не очень обнадеживающій побѣдой—симптомъ.

Но это и легко объяснимо.

Тамъ, въ массахъ, процессъ идетъ отъ слѣпого довѣрія къ авторитету и инстинктивной элементарной мистики—къ раціонализаціи и къ свободѣ религіозной совѣсти. Здѣсь у господъ «мережковцевъ» онъ—діаметрально противоположный. Отъ разума, отъ философскаго скептицизма, услужливой работой сознанія люди заставляютъ себя «вѣрить въ то, чему разумъ вѣрить запрещаетъ». Слиться въ одномъ руслѣ, потечь въ одномъ направленіи такія существенно различныя струи, конечно, не могутъ. И потому въ сектантской массѣ имъ совершенно нечего дѣлать.

Мнѣ передавали, что сектанты («адвентисты» и др.) гораздо охотнѣе ведутъ споры съ атеистами, позитивистами-революціонерами,—чѣмъ со «стилизованными» представителями «новаго религіознаго сознанія». Я охотно вѣрю этому факту: онъ въ высокой степени психологиченъ. Эти темные, но искренне ищущіе люди чутьемъ чуютъ, что «стиль» ничего имъ дать не можетъ.

А въ распоряженіи господъ Мережковскихъ ничего другого не имѣется. И они обречены остаться въ одиночествѣ. Никого, кромѣ себя, имъ «спасти» не удастся. Они совершенно безвредны.

Тотъ шумъ, который они сумѣли поднять около своей затѣи, объясняется, помимо безусловнаго литературнаго таланта «главы» этой немногочисленной секты, еще тѣмъ обстоятельствомъ, что психологія русской интеллигенціи была подготовлена къ этому шуму. Какъ недавно въ порнографіи, такъ теперь въ этомъ появленіи «богостроителей» и «богоискателей»-смущенное современной «конъюнктурой» воображеніе спѣшило видѣть обычные — классическіе такъ сказать — признаки

реакціи. Отсюда—разговоры, отсюда—разбуханіе статистической графы «мистика», на смѣну опустѣвшей уже графѣ: «порнографія»...

Тѣмъ же, отчасти, объясняется, вѣроятно, и то усиленное вниманіе, которое удѣляла и удѣляетъ господамъ мистикамъ соціалистическая литература. Можетъ быть, однако, въ послѣднемъ случаѣ дѣйствуетъ еще и то обстоятельство, что соціалистическая интеллигенція сейчасъ переживаетъ моментъ философской жажды, моментъ усложненія и уточненія своего общаго міросозерцанія, и иные изъ вопросовъ, поднимаемыхъ мистиками, рикошетомъ, совершенно по иному преломляясь въ умахъ и сердцахъ, являясь почти только словеснымъ напоминаніемъ,—все же вызываютъ къ себѣ извѣстный интересъ.

Но главная причина, конечно, — первая: преувеличенная чуткость къ «классическимъ» симптомамъ реакціи. Именно она— у страха глаза велики—побуждаетъ преувеличивать размѣры и значеніе современныхъ разговоровъ о «богѣ», размѣры и значеніе того резонанса, который имѣютъ современныя декадентскія «стилизаціи» на мотивы религіи. Размѣры этого резонанса, въ дѣйствительности,—ничтожны (литература въ этомъ смыслѣ не показатель) *). А главное, ничтожно все это по своему значенію: ибо какое жизненное значеніе можетъ имѣть «стиль» самъ по себѣ, an und für sich, какое значеніе можетъ имѣть хотя бы и талантливое «изображеніе пустоты»? Повторяю, современный модернизмъ уже ликвидируетъ свои дѣла, переживаетъ довольно тяжкое «похмѣлье», а «разговоры о богѣ»—это лишь одна изъ формъ его ликвидаціи. Эти разговоры ведутся пока въ «побѣдномъ» стилѣ, гг. Мережковскіе дѣлаютъ видъ, что никакого «похмѣлья» не ощущаютъ.

Но это ничего: скоро ощутятъ похмѣлье и они. Все это— ненадолго... Ибо очень ужь все это бѣдно... психологическимъ содержаніемъ.

М. Невѣдомскій.

---

*) Тотъ фактъ, что гг. мережковцы пишутъ почти во всѣхъ столичныхъ газетахъ, объясняется просто тѣмъ обстоятельствомъ, что почти всѣ газеты теперь у насъ кадетскія или полукадетскія. А взаимное тяготѣніе другъ къ другу „реальныхъ политиковъ“ кадетизма и „людей новаго религіознаго сознанія“ есть фактъ, давно отмѣченный и объясненный. Формула „двойной бухгалтеріи“—данная, какъ я упоминалъ, г. Галичемъ, этимъ вторымъ послѣ г. Струве идеологомъ кадетизма и мистицизма—прекрасно резюмируетъ суть этого удивительнаго, на первый взглядъ, явленія: люди, только и говорящіе, что объ „абсолютахъ“ и „предѣльностяхъ“, погребающіе заживо весь современный укладъ общества и прежде всего интеллигенцію, такъ хорошо уживаются съ представителями „примиренства“ политическаго и „примиренства“ моральнаго...

Содержаніе *).

стр.

Вмѣсто предисловія III

Семенъ Юшкевичъ. Деньги (семья). Комедія нравовъ . . 1

Дм. Крачковскій. Утѣшительница (разсказъ) 93

В. Муйжель. Старухина земля (разсказъ) 125

Ив. Бунинъ. Сталь (стихотвореніе) 153

Его же. Ленъ (стихотвореніе). 154

А. Гликбергъ. Теплая ночь (стихотвореніе) 157

Его же. Идиллія (стихотвореніе). 158

А. Ѳедоровъ. Весеннее (стихотвореніе) 161

Вл. Кранихфельдъ. Ѳедоръ Сологубъ (критическ. этюдъ). 165

А. Луначарскій. Еще о театрѣ и соціализмѣ:

1. Наши разногласія 191
2. Идеологія и экономика въ эволюціи театра . . 198
3. Смерть театра 201

М. Морозовъ. Ужасъ безцѣльности («Мои Записки» и «Черныя Маски» Леонида Андреева). 219

П. Берлинъ. Къ кризису парламентаризма на Западѣ . . 249

---

*) Статья М. Невѣдомскаго «Модернистское похмѣлье», въ силу чисто внѣшнихъ обстоятельствъ помѣщена въ концѣ сборника, а не въ отдѣлѣ критики. По тѣмъ же причинамъ статья А. Потресова «Къ вопросу о богостроительствѣ» пойдетъ лишь во второй книгѣ «Вершинъ».

стр.

Ст. Ивановичъ. Новыя времена, новыя пѣсни (къ ликвидаціи разночинца):
I. Жизнь 263
II. Литература 272

Л. Мартовъ. Реформизмъ въ рабочемъ движеніи (къ 10-лѣтію «бернштейніады») 287

Парвусъ. Борьба культуръ въ Германіи 309

В. Базаровъ. Богоискательство и «Богостроительство» (рефератъ, прочитанный въ «СПБ. Литературн. Обществѣ») 331

П. Юшкевичъ. На тему дня. (Къ вопросу о философскомъ броженіи въ марксизмѣ) 365

М. Невѣдомскій. Модернистское похмѣлье 399

Каталогъ кн-ва „ПРОМЕТЕЙ“.

СПБ., Пушкинская, 15.

Готовится къ печати КНИГА ВТОРАЯ литературно-критическихъ и философско-публицистическихъ сборниковъ

„ВЕРШИНЫ“.

Въ сборникахъ «ВЕРШИНЫ» принимаютъ участіе:

Л. Акселькродъ (Ортодоксъ), Д. Айзманъ, Шоломъ Ашъ, В. Базаровъ, П. Берлинъ, Я. Берманъ, Ив. Бунинъ, В. Вересаевъ, А. Гликбергъ, Деборинъ, Ст. Ивановичъ, Кондурушкинъ, Вл. Кранихфельдъ, Дм. Крачковскій, А. Луначарскій, Л. Мартовъ, П. Масловъ, М. Морозовъ, В. Муйжель, М. Невѣдомскій, Осиповичъ, Д. Н. Овсянико-Куликовскій, Парвусъ, А. Потресовъ (Старовѣръ), Сергѣевъ-Ценскій, Финнъ-Енотаевскій, Евгеній Чириковъ, П. Юшкевичъ, Семенъ Юшкевичъ, А. Ѳедоровъ и др.

I. Беллетристика.

Амфитеатровъ, А. В. *Сумерки божковъ.* Романъ въ 2-хъ частяхъ.
Часть I. Ц. 1 р. 25 к.
Часть II Ц. 1 р. 50 к.

Амфитеатровъ, А. В. *Противъ теченія.* Ц. 1 р.

Амфитеатровъ, А. В. *Антики.* Ц. 1 р. 25 к.

Волинъ, Ю. *Разсказы.* Изд. 3-е Ц. 1 р.

Войничъ, Е. *Оводъ.* Романъ изъ революціонной жизни Италіи XIX вѣка. Переводъ съ англійскаго З. А. Венгеровой. 3-е изданіе. 320 стр. Ц. 60 к.

Степнякъ-Кравчинскій. Собраніе сочиненій, дополненное по рукописи. Единственное разрѣшенное вдовою автора изд.
Ч. I. *Штундистъ Павелъ Руденко.* Съ предисловіемъ П. А. Кропоткина и фотографическимъ портретомъ автора. Ц. 1 р.
Ч. II. *Подпольная Россія.* 3-е дополн. изд. Съ 7-ю фототипіями. Ц. 1 р.
Ч. III. 1) *Домикъ на Волгѣ.* 2) *Новообращенный.* 3) *Сказка о копейкѣ.* Съ фототипическимъ портретомъ автора Ц. 1 р.
Ч. IV. *Андрей Кожуховъ.* Романъ. Съ предисловіемъ П. А. Кропоткина, статьей Георга Брандеса и фототип. портретомъ Степняка. Ц. 1 р.
Ч. V. *Эскизы и силуэты.* Ольга Любатовичъ.—№ 39.—Жизнь въ городишкѣ.—Степанъ Халтуринъ.—Волшебнику.—Гарибальди. Ц. 1 р.
Ч. VI. *Критика и Публицистика.* Съ предисловіемъ В. В. Водовозова.

Ѳедоровъ, А. *За океанъ.* Изданіе иллюстрированное. Съ 4 автотипіями, отпечатанными на мѣловой бумагѣ. Ц. 1 р.

II. Исторія.

Бѣлинскій, В. Г. *Письмо къ Гоголю.* Съ предисловіемъ С. А. Венгерова. Ц. 10 к.

Линдовъ, Г. *Великая французская революція.* Предисловіе прив.-доц. Рожкова. Ц. 50 к.

Пестель, П. И. *Русская Правда.* Наказъ Временному Верховному Правленію. Подъ редакціей и съ предисловіемъ П. Е. Щеголева. Ц. 1 р.

Самодержавіе и печать въ Россіи. *Исторія петиціи 114 писателей и мартирологъ русской печати.* Съ предисловіемъ С. А. Венгерова. Ц. 25 к.

Цебрикова, М. К. *Письмо къ Александру III.* Съ прибавленіемъ написанныхъ. для настоящаго изданія воспоминаній. Ц. 20 к.

Цебрикова, М. К. *Каторга и ссылка.* Ц. 20 к.

III. Исторія и теорія литературы.

Арсеньевъ, К. К. *Салтыковъ-Щедринъ.* Съ 5 фототипіями. Ц. 1 р. 50 к.

Венгерввъ, С. А. *Очерки по исторіи русской литературы.* Изд. 2-е Ц. 2 р. 50 к.

Венгеровъ, С. А. *Основныя черты исторіи новѣйшей русской литературы.* Изданіе 2-е съ приложеніемъ этюда: **Побѣдители или побѣжденные?** (О модернизмѣ). Ц. 40 к.

Венгерввъ, С. А. *Эпоха Бѣлинскаго.* Ц. 20 к.

Волынскій, Ѳ. М. *Достоевскій.* Ц. 3 р.

Вѣтринскій, Ч. *Герценъ.* Съ 20 иллюстр. и біографіей. Ц. 3 р.

Горнфельдъ, А. Г. *Муки Слова.* Ц. 20 к.

Котляревскій, Н. А. Проф. *Литературныя направленія Александровской эпохи.* Ц. 1 р. 25 к.

Котляревскій, Н. А. Проф. *Рылѣевъ.* Съ 4 иллюстр. Ц. 1 р 25 к.

Мильтонъ. *Рѣчь о свободѣ печати.* (Areopagitica). Ц. 20 к.

Овсянико-Куликовскій, Д. Н. Проф. *Собраніе сочиненій:*
Т. I. Гоголь. Ц. 1 р.
Т. II. Тургеневъ. Ц. 1 р. 25 к.
Т. III—IV *печатаются.*

Овсянико-Куликовскій, Д. Н. Проф. *Исторія русской интеллигенціи.* Ч. I. Ц. 1 р. 50 к. Ч. II Ц. 1 р. 50 к.

IV. Исторія религіи.

Арнольдъ Эдвинъ. *Свѣтъ Азіи,* изложеніе въ поэтической формѣ буддизма. Съ 24 иллюстраціями и предисл. и примѣч. академика С. Ѳ. Ольденбурга. Ц. 1 р. 50 к.

Бороздинъ, А. К. Проф. *Русское религіозное разномысліе.* Изданіе 2-ое, дополненное. Ц. 1 р.

Лютгенау, Фр. *Естественная и соціальная религія.* Переводъ съ нѣмецкаго В. Величкиной. Ц. 1 р.

Пфлейдереръ, Отто. *Исторія религіи.* Пер. Мейера подъ редакціей П. Юшкевича.

Матеріалы къ исторіи и изученію русскаго сектантства и раскола. Выпускъ первый. Подъ редакціей Владимира Бончъ-Бруевича. Баптисты. Бѣгуны. Духоборцы. Л. Толстой о скопчествѣ. Павловцы. Поморцы. Старообрядцы. Скопцы. Штундисты. Ц. 2 р.

Ревиль, Альбертъ. *Іисусъ Назарянинъ.* Съ предисловіемъ проф. О. Ѳ. Зелинскаго. Ц. 2 р.

Ренанъ, Э. *Жизнь Іисуса.* Полный научный переводъ А. С. Усовой подъ редакціей и съ предисловіемъ академика Александра Веселовскаго. Съ портретомъ Ренана. Ц. 1 р. 50 к.

Фейербахъ, Л. *Сущность христіанства.* Полный пер. подъ. ред. Ю. М. Антоновскаго. Ц. 1 р. 50 к.

V. Философія, соціологія и анархизмъ.

Абрамовичъ. *Человѣкъ будущаго. Очеркъ философской утопіи Фр. Ницше.* Ц. 50 к.

Луи Поль. Послѣдствія русской революціи. Ц. 10 к.

Ницше Фр. *Такъ говорилъ Заратустра.* Полный переводъ Ю. М. Антоновскаго. Изданіе 3-е Ц. 1 р. 25 к.

Руссо, Ж. Ж. *О причинахъ неравенства.* Переводъ Н. С. Южакова съ предисл. и со вступит. статьей С. Н. Южакова.

Руссо, Ж. Ж. *О вліяніи наукъ на нравы* Съ пред. проф. Н. И. Карѣева Ц. 30 к.

Максъ Штирнеръ. *Единственный и его собственность.* Изд. комментированное. Ч. I.—1) Дж.-Г. Макай. Максъ Штирнеръ. Его жизнь и творчество. Полный переводъ М. О. Розова. 2) Единственный и его собственность. Переводъ Б. В. Гиммельфарба и М. Л. Гохшиллера. Часть I. Человѣкъ. Съ 2-мя автотипіями на мѣловой бумагѣ. Ц. 1 р. 25 к.
Часть II. Ц. 2 р.

Эльцбахеръ. *Сущность анархизма.* Ц. 75 к.

VI. Кооперація.

Жидъ Шарль. *Кооперація.* Подъ редакціей и съ предисловіемъ В. Ѳ. Тотоміанца. Ц. 1 р. 25 к.

Тотоміанцъ, В. Ѳ. *Сельско-хозяйственная кооперація.* Съ приложеніемъ уставовъ Ц. 2 р.

VII. Популярная библіотека.

№ 1. **Н. А. Рубакинъ.** Исторія русской земли. Съ рисунками. Кн. I. . . . . 25 к.

№ 2. **Н. А. Рубакинъ.** Исторія русской земли. Кн. II. . 20 „

№ 3. **Н. А. Рубакинъ.** Исторія русской земли. Кн. III. . 25 „

№ 4. **Н. А. Рубакинъ.** Исторія русской земли. Съ рисунками. Кн. I, II, III. . . . . 70 „

№ 5. **Линдовъ.** Великая французская революція . . . . 50 „

№ 6. **Вандервельде.** Соціализмъ и сельское хозяйство . 50 „

№ 7. **Смирновъ.** Краткій народный словарь. Пособіе при чтеніи газетъ и популярныхъ брошюръ . . . . . 10 к.

№ 8. **Н. А. Рубакинъ.** Дѣдушка-Время . . . . . 35 „

№ 9. **Н. А. Рубакинъ.** Птичьи гнѣзда. (Искусство въ царствѣ животныхъ) . . . . . 50 „

№ 10. **Н. А. Рубакинъ.** Путешественники и переселенцы въ царствѣ животныхъ. . . . . 25 „

№ 11. **Н. А. Рубакинъ.** Какъ, когда и почему появились люди на землѣ. . . . . 40 „

№ 12. **Н. А. Рубакинъ.** Какъ и когда разные народы научились говорить каждый на своемъ языкѣ? . . . 15 „

Камиллъ Фламмаріонъ. *Невѣдомыя силы природы.* Переводъ съ французскаго, съ 10 рисунками, отпечатанными на отдѣльныхъ листахъ мѣловой бумаги, и около 30 рисунк. и черт. въ текстѣ. Ц. 2 р.

Эта книга извѣстнаго астронома Фламмаріона посвящена изслѣдованію „невѣдомыхъ“ силъ въ природѣ. Излагая наблюденія и опыты въ области такъ называемаго спиритизма, какъ свои собственныя, такъ и другихъ извѣстныхъ ученыхъ, какъ: К р у к с а, проф. Т у р и и др., авторъ, признавая существованіе въ природѣ чего-то *„таинственнаго“* и *„невѣдомаго“*, даетъ въ то же время вполнѣ научное объясненіе всѣмъ этимъ явленіемъ, разоблачая попутно плутни, мистификаціи и жонглерства, практикуемыя нѣкоторыми медіумаии. Этому вопросу посвящена цѣлая глава.

Присущій Фламмаріону поэтическій талантъ, развитая фантазія, глубокая эрудиція наряду съ популярнымъ изложеніемъ дѣлаютъ предлагаемую книгу необходимой для всѣхъ, интересующихся вопросами таинственнаго и непонятнаго, что происходитъ въ природѣ, а приложенные въ изобиліи рисунки и чертежи вполнѣ наглядно иллюстрируютъ мысли автора.

БИБЛІОТЕКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМІИ.

Типографія т-ва „Общественная Польза“, Спб., В. Подъяческая, 39.

Книгоиздательство „ПРОМЕТЕЙ“

СПБ., Пушкинская, 15.

Руссо, Ж. Ж. О вліяніи наукъ на нравы. Съ пред. проф. Н. И. Карѣева . . . . — р. 30 к.

Руссо, Ж. Ж. О причинахъ неравенства. Переводъ Н. С. Южакова . . . . . — „ 75 „

Вѣтринскій, Ч. Герценъ . . . . . 3 „ — „

Котляревскій, Н. А. Литературное направленіе Александровской эпохи . . . . 1 „ 25 „

Котляревскій, Н. А. Рылѣевъ . . . . . 1 „ 25 „

Штирнеръ, Максъ. Единственный и его собственность. Изданіе комментированное. Ч. I. . . . . 1 „ 25 „

Ч. II . . . . . 2 „ — „

Ревиль, А. Іисусъ Назарянинъ . . . . . 2 „ — „

Жидъ, Шарль. Кооперація . . . . . 1 „ 25 „

Рубакинъ, Н. А. Исторія русской земли . — „ 70 „

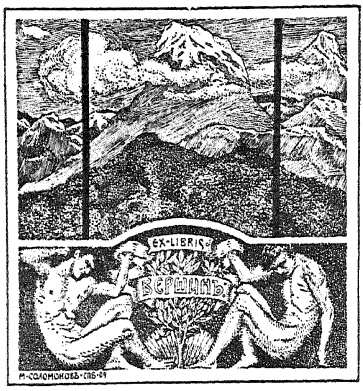
Фейербахъ, Л. Сущность христіанства . . 1 „ 50 „

Фламмаріонъ, Камиллъ. Невѣдомыя силы природы. Съ иллюстр. . . . . 2 „ — „

Эльцбахеръ. Сущность анархизма . . . .

Лютгенау, Фр. Естественная и соціальная религія. Переводъ В. Величкиной . . 1 „ — „

Каталогъ безплатно.



Цѣна 1-50

Клише и печать Г.М.Прокудинъ-Горскаго
Б.Подъяческая 22. С.П.Б.